

ЮРИЙ  
ДРУЖНИКОВ

1

ЮРИЙ<sup>3</sup> ДРУЖНИКОВ

1



**Юрий Дружников**  
**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ**

**Том 1**



**YURI DRUZHNIKOV**

**Collected Works  
in Six Volumes**

**Volume One**

**Micronovels  
Novel *Passport to Yesterday*  
Short Stories  
Parables  
Poems**

**Baltimore  
1998**

**ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ**

**Собрание сочинений  
в шести томах**

**Том первый**

**Микророманы  
Роман «Виза в позавчера»  
Рассказы  
Притчи  
Стихотворения**

**Балтимор  
1998**

YURI DRUZHNIKOV  
COLLECTED WORKS IN SIX VOLUMES

Volume One

Russian edition

Copyright © Yuri Druzhnikov  
All rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions.

**Library of Congress Cataloging-in-Publication Data**

Druzhnikov, Yuri, 1933 — Collected Works in Six Volumes  
Sobranie sochinenii v shesti tomakh / Yuri Druzhnikov

Volume One. Micronovels and Short Stories.  
Volume Two. Angels on the Head of a Pin.  
Volume Three. Prisoner of Russia (Pushkin).  
Volume Four. Literary Criticism. Informer 001.  
Volume Five. Prose and Plays for Children.  
Volume Six. Essays. Memoirs.  
p. cm.

Includes an Introduction by Professor Alicja Wolodzko (The University of Warsaw), bibliographical references and index.

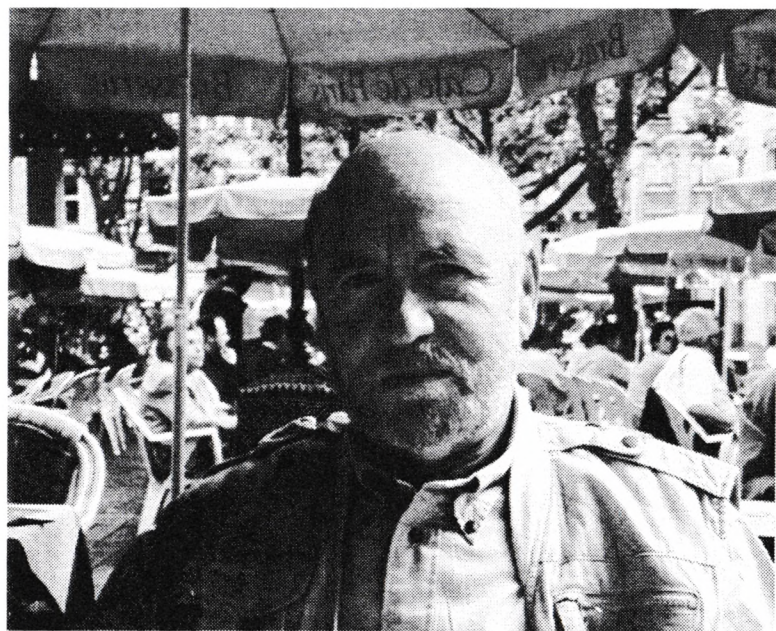
ISBN 1-885563-16-7 (set)  
ISBN 1-885563-10-8 (v.1)

1. Russian literature—Fiction. 2. Russia—XIX–XX century History.  
3. Russian writers—Literary criticism.  
I. Title. II. Title: Sobranie Sochinenii.

PG3350.5.J68D78 1998  
891.71'44--dc20 98-60549  
CIP

Published by VIA Press  
6100 Park Heights Ave  
Baltimore, MD 21215  
tel.(410) 358-0900

Manufactured in the United States of America



## ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

В настоящее шеститомное собрание сочинений Ю.И.Дружникова входят художественные произведения, литературоведческие работы, публицистика и мемуары писателя. Том 1 составляют микророманы, не издававшийся ранее роман в рассказах «Виза в позавчера», другая проза и стихотворения. Том 2 содержит впервые публикуемый полностью роман «Ангелы на кончике иглы»; том 3 — роман-исследование о Пушкине «Узник России»; том 4 — литературные эссе и книгу «Доносчик 001»; том 5 — роман «Каникулы по-человечески», комедии «Учитель влюбился», «Отец на час» и другие произведения для юношества. В томе 6 собраны журнальные и газетные статьи, литературные и житейские воспоминания, интервью, открытые письма и записные книжки. В последнем томе имеется алфавитный указатель к собранию сочинений.

Тексты печатаются по многочисленным изданиям в США и России с указанием источников, а также по рукописям. При поисках материалов использованы фонды Бахметьевского архива Колумбийского университета, Архива Гуверовского института Станфордского университета и Отдела литературы русского зарубежья Российской государственной библиотеки.

Издание сопровождается вступительной статьей о творчестве писателя и подготовленными издательством примечаниями справочного характера в конце каждого тома.

## В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОЙ ПРАВДЫ

*(О творчестве Юрия Дружникова)*

В двадцатые годы нашего столетия распространилось определение «пасынок России». С тех пор часто так называли сами себя многие писатели, обреченные быть изгоями после 1917 года. В стране, «где так вольно дышит человек», как гласила бодрая песенка конца страшных тридцатых годов, самые талантливые и независимые духом: Анна Ахматова, Михаил Булгаков, Андрей Платонов, Осип Мандельштам — были вынуждены молчать или гибнуть; другие же — что с перспективы вечности может показаться еще страшнее — продавали свой творческий дар за номенклатурные привилегии.

Вместе с хрущевской оттепелью пришли в литературу шестидесятники, называемые также «детьми XX съезда». Поколение это надеялось, что после развенчания культа личности жизнь и литература очистятся ото зла, а правда восторжествует. Увы, эти надежды не оправдались, и опять лучшие, бескомпромиссные, не желающие, как выразился Солженицын, жить по лжи, молчали или покидали Россию. Плеяда русских талантов, среди которых были Владимир Максимов, Андрей Синявский, Василий Аксенов, Иосиф Бродский, Сергей Довлатов, снискала тогда признание везде, но только не в своем отечестве.

Дружникову, одному из «пасынков России», эмигранту третьей волны, удалось вырваться из СССР после десятилетних мытарств, в 1987 году, на заре эпохи горбачевской перестройки. Длительное противоборство писателя с властью могло бы стать темой сенсационного романа. Дружников, которому не разрешали ни публиковаться, ни эмигрировать, открыл в своей московской квартире публичную выставку «Десять лет изъятия писателя из советской литературы», а затем пригласил на пресс-конференцию советских и иностранных корреспондентов. Уехал он на Запад благодаря вмешательству Конгресса США, дважды обсуждавшего дело писателя, и письму шестидесяти пяти американских сенаторов и конгрессменов, направленному тогдашнему президенту Михаилу Горбачеву, после чего тот разрешил Дружникову покинуть Советский Союз.

Подробности жизни во внутренней эмиграции, между небом и землей, не в тюрьме, но и не на свободе, остались в неоконченной дружниковской рукописи «Затяжной прыжок» и в стихах. «Шлагбаум» — так назван возникший в то время цикл стихотворений, полных горечи и отчаяния. Их лирического героя, «русского писа-



теля, склонного к инакомыслию» (как назовет он сам себя уже в Америке), преследуют в сонных кошмарах «крысолюди»:

То в квартире меня забирают,  
То на стул сажают — и ток.  
То в подъезде меня забивают,  
То допрос, то обыск, то срок.

Темнота подступает с затылка,  
И всю ночь идет маята:  
То Лубянка, то пересылка,  
То психушка, то Воркута...

(«Сновидения», 1985)

Прожив некоторое время в Австрии, Дружников перебрался в США, сначала в Остин, где преподавал писательское мастерство в Техасском университете, а потом в Калифорнию. С декабря 1988 года он профессор русской литературы Калифорнийского университета в Дейвисе. Со времени, когда он покинул Россию, прошло десять лет. Исчез с лица земли Союз Советских Социалистических Республик, в мире наступили коренные политические перемены, а в России и в русском зарубежье выросли новые поколения читателей.

К сожалению, шестидесятиникам в свободной от цензуры стране пришлось вкусить не только славу, но и огорчение. Вместе со свободным рынком появились новые барьеры, теперь экономические. Одновременно с триумфальным наплывом западной поп-литературы, раньше недоступной советским гражданам, заметно понизился читательский спрос на произведения эмигрантов и диссидентов, — они перестали быть запретным плодом. Вдобавок, к концу нашего столетия шестидесятники старшего поколения стали уходить из жизни (стрессы не проходят бесследно): нет уже меж нами Владимира Максимова, Булата Окуджавы, Андрея Синявского.

Для шестидесятника Юрия Дружникова именно минувшее десятилетие стало плодотворным. За это время он наверстал упущенное, опубликовав романы, повести, рассказы, стихотворения, пьесы, публицистические статьи, литературные эссе, литературоведческие работы, — как давние, возникшие еще на родине, так и новые, созданные за рубежом. Издают Дружникова и пишут о нем все чаще в России, Европе и, конечно, в Америке. Из-под пера В.Свицкого вышла умная, обстоятельная монография о его прозе.<sup>1</sup>

Творчество этого писателя давно признано такими мастерами литературы, как Александр Солженицын, Бернард Маламуд, Курт Воннегут, Генрих Бёлль. Работы его стали объектом изучения в уни-

верситетских центрах Европы и Америки. Теперь о нем пишут крупнейшие российские критики. Пришла пора подводить некоторые итоги. Публикация многотомника сочинений Дружникова тем более необходима, что часть работ этого писателя появилась в России, а часть на Западе; одни распространялись только в Самиздате, другие, например, пьесы, снятые когда-то со сцены, вовсе неизвестны широкому читателю (комедия «Учитель влюбился», к примеру, теперь снова поставлена в российской глубинке). Разбросаны по зарубежным журналам рассказы и очерки, в свое время нелегально переправленные запрещенным писателем, эссе, написанные по-английски уже в постсоветскую эпоху.

Шеститомник Дружникова знакомит нас с самобытным, оригинальным, жанрово и тематически разнообразным, полным парадоксов, автоироничным творчеством, рождавшимся на протяжении тридцати с лишним лет. Вместе с тем тома эти позволяют проследить судьбу строптивного литератора из поколения шестидесятников, так как автобиографизм присущ многим его произведениям. Писатель, сам себя называющий «летописцем эпохи», во многом документирует бег истории. Он доказал, что в противовес мнению классика, единица отнюдь не вздор и не ноль, но большая сила в борьбе с советской «технологией лжи» и омертвением мысли.

Хотя Дружников упорно и долго добивался выезда из советской России, а в стихотворении «Кровать-желание» иронизировал, что он хотел бы быть «в России всей душою! Но телом — ни-ни», хотя судьба занесла его далеко от родины, он вопреки всему остался русским писателем, частицей русской культуры, истории и литературы. В дружниковском творчестве всегда присутствует Россия, блеск и нищета ее истории и культуры, ее взлеты и падения, но прежде всего ее мощная притягательная сила. Подметил это, не без полемического задора, московский критик Лев Аннинский, рецензируя вышедший в 1995 году публицистический сборник Дружникова «Я родился в очереди». «А все-таки самое интересное для меня в этой книге, — пишет Аннинский, — перестрой души. Процесс перемещения из одной реальности в другую. А также та загадка, что душа при этом почему-то «здесь», то есть при тотальных мифах и бесконечных очередях».<sup>2</sup>

Добавим, что русскость Дружникова проявляется также в виртуозном владении словом: его мысль парадоксальна, язык богат, образен, элегантен и остроумен.

\* \* \*

Многие детали биографии этого писателя типичны для его поколения. Юрий Ильич Дружников родился 17 апреля 1933 года в

старом районе Москвы, в Замоскворечье, у Яузских ворот, в семье художника. С четырех лет учился играть на скрипке; его первой учительницей музыки была мать Кирилла Кондрашина. Военное детство, с 1941 по 1945 год, провел в эвакуации в Воткинске и Ижевске (Удмуртия), затем семья вернулась в Москву, где будущий писатель окончил среднюю школу. Правда, не без проблем: лишенный серебряной медали за «недооценку роли тов. Сталина во время гражданской войны» он не был принят ни одним московским вузом. Пришлось поступать в Латвийский государственный университет, где с 1951 по 1953 год Дружников — студент филфака. Именно тогда он увлекся актерским искусством и играл в Рижском русском драматическом театре (это увлечение останется при нем на всю жизнь: испробовав ряд других профессий, он будет также актером кино, драматургом, киносценаристом).

После смерти Сталина молодой адепт филологии смог вернуться в Москву, где продолжал обучение в Государственном педагогическом институте. Будучи студентом, служил в архиве, работал фотографом. Защитил написанную под руководством известной пушкинистки А.Г. Гукасовой работу «Цикл лицейских годовщин Пушкина». Был учителем, редактором в книжном издательстве, журналистом. Свои первые литературные опыты приурочивает к 1947 году и к студенческим временам: сочинял тогда стихи, как говорит сегодня, подражательные, сделанные для им же самим выпускаемого журнала тиражом один экземпляр.

Поэзия — постоянная спутница Дружникова, хотя и не главная, конечно. Его стихи, классические по форме, — это лирический дневник, запись восприятия окружающего мира и субъективного к нему отношения. Есть среди стихотворений эротика, глубоко интимная («Женщина и мужчина», «Прости меня», «Моя свобода, каторга моя»), есть множество произведений горьких, ироничных, отражающих атмосферу беспросветной тоски в отечестве, враждебном лирическому герою. В стране этой всё опротивело, и — «мельчает русский наш народ». Некоторые стихотворения — и они особенно интересны — документируют творческий процесс, литературные увлечения автора.

Я живу в девятнадцатом веке.

Там брожу я, и там я дышу, —

писал в 1985 году Дружников, отождествляющий «явь прошлого» с «русским запахом». Когда в начале восьмидесятых годов возник замысел книги о Пушкине, в стихах Дружникова стали появляться пушкинские мотивы и рифмы. К примеру, образ шлагбаума — ко-

сой решетки «родной и любимой тюрьмы», — приводящий на ум пушкинскую метафору неудачничества: «Иль мне в лоб шлагбаум влепит / Непроворный инвалид».

Художественную прозу писал Дружников еще в шестидесятые годы, но опубликовать первый сборник рассказов ему удалось только в следующем десятилетии, неудобном для всякого творчества. В брежневские времена, вспоминал потом он, «всех нас парализовала идеология».<sup>3</sup> Подобно другим шестидесятиникам, Дружников неохотно, зачастую с иронией, говорит сегодня о тех своих произведениях, которые напечатал в эпоху застоя: слишком высокую цену пришлось за это платить.

Тексты выхолащивались усердными редакторами, после «исправлений» теряли художественность, становились малопонятными, иногда лишены смысла. Так, название сборника рассказов «Мне не везет» замещено невразумительным «Что такое «не везет» («Молодая гвардия», 1971), — надо думать, из-за установки, что в Советском Союзе нельзя быть пессимистом. Написанный эзоповским языком рассказ «Родная стена», из того же сборника, мог бы стать «историческим экспонатом для Музея цензуры, если он будет когда-нибудь создан».<sup>4</sup> Рассказ (и, стало быть, книгу) оборвали на запятой.

Ранние рассказы, повести, эссе Дружникова появлялись на страницах многотиражных журналов и газет («Юность», «Работница», «Неделя») и в отдельных сборниках. В 1971 году он был принят в Союз писателей СССР. После уже упомянутого сборника рассказов «Что такое «не везет» вышли три книжки эссе, посвященных хобби: «Скучать запрещается», «Спрашивайте, мальчики» (обе в Москве, 1974) и «Страсти на отдыхе» (в Варшаве в 1977 году, когда автор на собственной родине был уже запрещен). С 1971 года по 1974 он вел на центральном радио еженедельную передачу «Взрослым о детях», множество раз выступал перед читателями в разных городах, ездил даже за границу в августе 1968 года. С группой журналистов он оказался в Варшаве, а потом в Будапеште и Вене, когда войска стран Варшавского договора вошли в Чехословакию.

Путь преуспевающего советского литератора, числившегося для властей в детских писателях (давняя советская традиция: бегство в детскую литературу авторов, пишущих серьезные вещи для себя, в стол), закончился в 1974 году. На последующие 15 лет, до 1989 года, имя Дружникова исчезло из советской печати и литературной жизни, первая его книга переиздана в Москве после известных событий августа 1991 года. А тогда, в середине семидесятых, он стал негоден партийным функционерам из-за нарастающей

идеологической крамольности, своего все более критического отношения к режиму, усиливающегося инакомыслия.

В 1977 году власти решили покончить с диссидентством в Союзе писателей и, вместе с Георгием Владимовым, Львом Копелевым и Владимиром Войновичем, Дружников тайно исключают из Союза писателей. Рукописи трех его книг прозы конфискуют в московских издательствах, запрещают выступать, со сцен снимают две дружниковских комедии: «Учитель влюбился» и «Отец на час». Первая из них рассказывала о ханжестве советской школы, вторая — о бедствии безотцовщины и алкоголизме низшего слоя общества. Как и прочие произведения Дружникова, обе пьесы были потом нелегально вывезены за границу в виде микрофильмов.

Запрет создает духовный дефицит, насилие рождает рост противодействия; писатель еще больше сближается с диссидентским движением, пишет открытые письма Союзу писателей в защиту политзаключенных и академика Сахарова, создает литературный клуб «Мастерская», в котором неофициально выступают зарубежные писатели, официально приглашенные в советскую столицу. Затем начинает сотрудничать с западными газетами, журналами и издательствами. В 1979 году газета «Вашингтон пост» печатает его эссе «Я родился в очереди» и «Исключение писателя №8552». Вместе с киноактером-отказником Савелием Крамаровым Дружников открывает в Москве подпольный литературно-эстрадный театр «ДК» (Дружников-Крамаров).

В ответ репрессии усиливаются, следуют новые допросы в КГБ, там угрожают психушкой и концлагерем. В марте 1987 года писатель рассылает по почте пятьсот экземпляров открытого письма членам Союза писателей СССР о создании независимого Союза для исключенных писателей и основании первого российского независимого частного издательства «Золотой петушок». После упомянутой выставки «Десять лет изъятия писателя из советской литературы» и самиздатовской публикации открытого письма на случай ареста только эмиграция оставалась для него выходом. Другого пути у писателем уже не было.

\* \* \*

Раннее творчество Дружникова, адресованное юношеству, представляется лишь этапом развития писателя; тем не менее уже в ювеналиях литературный дар налицо. По профессии педагог, два года отработавший учителем и завучем в школе, писатель пытался проникнуть в детскую психику, находил с юными читателями общий язык, писал о проблемах, которые их действительно волновали.

Молодого Дружникова заметили и подбодрили еще в начале шестидесятых годов крупнейшие тогда писатели Корней Чуковский, Самуил Маршак, Валентин Катаев, Лев Кассиль. Последний отдал «взрослые» рассказы Дружникова в редакцию журнала «Новый мир». Вход в «большую» прозу для Дружникова, однако, был сразу же заперт. Александр Твардовский, недавно перед тем опубликовавший «Один день Ивана Денисовича», вернул рассказы молодому автору, хмуро объяснив, что «весь процент непроходного уже заполнил Солженицын, и места не осталось».<sup>5</sup>

Была в детском творчестве Дружникова улыбка и грусть, стремление сказать слово читателю о доброте и человечности. В романе для маленьких «Каникулы по-человечески» романист, наделенный прекрасной памятью о детстве, сам себя называет «бывшим мальчишкой». В юмористическом этом романе, запрещенном цензурой, заметили — и, по мнению В.Свирского, должно быть, не без оснований — сходство между этой историей о девочке, которая решила превратить обезьяну в человека, с крамольными «Приключениями обезьяны» Михаила Зощенко.<sup>6</sup> Но еще страшнее для цензуры, нам кажется, был в подтексте намек на то, что обезьяна не хотела превращаться в *советского* человека.

Не удивительно, что широкую известность принесла Дружникову книга, написанная, правда, для взрослых, но посвященная судьбе подростка Павлика Морозова, героя одиозного мифа о преданности делу коммунизма. Это нашумевшее произведение «Доносчик 001, или Вознесение Павлика Морозова» выросло из литературного расследования. Дружников ведет поиски, разгадывает давно и глубоко запрятанную тайну, анализирует секретные архивные документы, которые ему удалось разыскать. Сегодня об этой книге много написано; общий объем критических статей в российской прессе, принимающих авторскую версию убийства Морозова или защищающих советского героя, давно превысил объем самого расследования.

Итак, проникновение в идеологические мифы писатель начал с истории Павлика Морозова и работал над этой темой долго, с 1979 по 1983 год. Тайно, опасаясь привлечь внимание компетентных органов, посещал места трагических событий, разыгравшихся в 1932 году. Впрочем, интерес возник не внезапно.

Еще в мае 1977 года, на всероссийском совещании драматургов в Ростове-на-Дону Дружников поставил риторический тогда вопрос: долго ли еще литература будет воспитывать честность на примере подлости? Если культ Сталина официально осужден, то почему не осужден доносчик Павлик Морозов? Однако лишь десять лет спустя появилось, разумеется, не в советской России, но за

рубежом, «Вознесение Павлика Морозова», немедленно переведенное на несколько языков и ставшее бестселлером в ряде стран. Книга эта содержит «первое независимое расследование зверского убийства подростка, донесшего на отца, и процесса создания из мальчика самого известного советского героя, проведенное через пятьдесят лет после трагических и загадочных событий московским писателем, который рискнул сопоставить официальный миф с историческими документами и показаниями последних очевидцев».7

Принципиального пионера убили якобы кулаки, враги большевистской власти. Павлик Морозов был возведен в сонм советских святых, о нем писались поэмы, пьесы, симфонии, оперы, создавались фильмы вроде известного «Бежина луга» — совместной работы Сергея Эйзенштейна и Исаака Бабеля. Маленький предатель отца красовался на почтовых марках и спичечных этикетках, его бронзовые, гранитные и гипсовые статуи стояли в городах и селах, чаще всего перед школьными зданиями. Молодежь должна была подражать Павлику, восхищаться его подвигом.

Дружников отправился в сибирскую деревню Герасимовка, где жил и был убит Павлик Морозов и где потом был создан музей и национальный парк его имени. Писатель разыскал родных Морозова и других свидетелей событий, хотя их мало осталось в живых: многие умерли при таинственных обстоятельствах. После бесед с ними автору удалось разыскать архивы первых журналистов и часть секретного «Дела №374 об убийстве братьев Морозовых», — поскольку были зверски зарезаны два мальчика: Павлик и его младший брат Федя. Изучив все материалы, в том числе самиздатские и западные, автор пришел в своем расследовании к наводящим ужас выводам.

Действительно, Павлик Морозов существовал и был убит. Все же остальное оказалось вымыслом. Образцовый мальчик не мог быть членом пионерской организации, так как при его жизни она в Герасимовке не существовала. Пионером он стал благодаря мифотворцам. А донес на отца, погибшего потом в лагерях, отнюдь не из-за идеологических причин, не как «непримиримый борец за дело рабочего класса», но вследствие семейно-бытового конфликта. Мать уговорила его донести, чтобы таким образом напугать ушедшего к другой женщине мужа. Отец Павлика не был кулаком и врагом советской власти. Напротив, во время гражданской войны он сражался на стороне красных и дважды был ранен.

Дружников разматывает в этой истории целый клубок лжи. Анкета настоящего Павлика была, по тогдашним советским требованиям, сильно подмочена. Истинный положительный герой обязан быть «старшим братом», то есть русским, а Павлик был белорусом. Пра-

дед его служил тюремным надзирателем, дед — жандармом. В возрасте 13 лет (советские источники, замечает Дружников, указывают его возраст от 11 до 15 лет) Морозов еле читал по складам; сверстники ненавидели его за перманентное стукачество и вздорный характер. Когда Дружников разыскал единственную подлинную фотографию, которая никогда до этого не публиковалась, выяснилось, что сходства между этим снимком и широко тиражированными портретами героя с вдохновенным лицом нет. А в разных концах страны имеются не похожие друг на друга портреты, названные одним именем.

Во имя чего и кем был создан миф о Павлике? Кому это было нужно? Писатель доказывает, что Павлик Морозов был сделан героем тогда, когда такой герой понадобился. Дело о его убийстве стало первым инсценированным процессом над кулаками, «репетицией еще более грандиозной провокации — убийства Кирова. И то, и другое было необходимо для развязывания и оправдания террора».<sup>8</sup>

Весьма убедительна авторская гипотеза, что убийство братьев Морозовых совершено не его родными, расстрелянными за это, а по приказу местных органов ОГПУ, чутко прислушивавшихся к веяниям наверху. Сделали это многократный убийца и чекистский палач Спиридон Карташов и его осведомитель Иван Потупчик, тоже найденные и опрошенные писателем. Но главную ответственность за это преступление несет сталинский аппарат с его идеологией, требующей воспитывать людей так, чтобы, порвав со старой, христианской моралью, они были готовы по зову партии жертвовать абсолютно всем.

В списке создателей мифа о Павлике Морозове оказались рядом с забытыми сегодня партаппаратчиками и преданными им журналистами известные писатели, в том числе Сергей Михалков, тогда еще начинающий, но ретивый автор первой песни о доносчике, уже упомянутый Бабель и сам основоположник соцреализма Максим Горький, восхитившийся подвигом маленького доносчика и поддерживавший инициативу сбора денег на памятник ему. Слышавший великим гуманистом автор романа «Мать» сказал в связи с этим, что если «кровный родственник является врагом народа, так он уже не родственник, а просто враг, и нет больше никаких причин щадить его».<sup>9</sup>

В советском обществе Павлик Морозов олицетворял модель нового человека, а в советской литературе — образ положительного героя. После его подвига доносительство и предательство стали добродетелью. Вся эта история положила начало процессу моральной деградации советского общества, потери им нравствен-



ных ориентиров, запрограммированного партией растления многих поколений детей.

Интересно в связи с этим предположение В. Свирского, что в романе Дж. Оруэлла «1984» есть места, инспирированные мифом о Павлике Морозове. «Доносительство, по Оруэллу, — органическая часть тоталитарной системы, необходимейшее качество жителя Океании».<sup>10</sup>

В сущности, Дружников ставит один из универсальных, вечных вопросов об Иуде, изменнике, рассматриваемый по-новому каждой культурой. Еще в древности люди задумывались над тем, как оценивать доносительство и предательство: измену родине, вере, семье, дружбе, собственным идеалам. Хотя Дружников особо отмечает, что сам мальчик ни в чем не виноват, достойна внимания увлеченность, с которой писатель, развенчивая псевдогероя, одетого в мифологический камуфляж, рассматривает его психику под стеклом, увеличивающим только отрицательные черты, почти не оставляя надежды, что все-таки псевдогерой этот был человеком. Откуда такая ярость?

Думается, это результат стремления раз и навсегда убедить читателей: подобная идеологическая скульптура стоит на крайне хрупком постаменте. Книга о доносчике 001 заставляет также задуматься, остаются ли павлики морозовы в сегодняшней, более зрелой и человечной, чем минувшая, системе. Кто сегодня, в новую эпоху, собирает компромат на своих политических оппонентов?

Подобным же образом со скрупулезностью историка Дружников приступил к работе над своими, как он сам определил их жанровую специфику, «романами-исследованиями» о Пушкине. Научный анализ сочетается в них со средствами, характерными для художественной литературы: домыслом, психологическим анализом, стилистической, экспрессивной окраской. Как отметил В. Свирский, почти два века тому назад так же писал Николай Карамзин в своей «Истории государства Российского», а затем Пушкин в исторической прозе. Их продолжателями в двадцатом веке были Юрий Тынянов, Андрей Синявский, а на Западе — Владимир Набоков.<sup>11</sup> Добавим к этому списку Стефана Цвейга, Викентия Вересаева, Андре Моруа, Бориса Бурсова.

В рамках такого жанра, документального и вместе с тем художественного, под новым, свободным от идеологии углом зрения, проводит автор демистификацию русской жизни — политической, общественной, а прежде всего культурной и литературной. Название сборника «Русские мифы», опубликованного в 1995 году, могло бы, в сущности, стать эпиграфом всей этой части дружниковского творчества. Ибо, говорит писатель, «пока Россия не избавит-

ся от мифологического мышления, не быть ей цивилизованной страной...», тем более, что охватывало это мышление «не только политику, но и экономику, историю, философию, даже точные науки, а сама литература обрела роль глашатая мифологических успехов». <sup>12</sup> Дружников считает необходимым «разгрести» мифотворчество, хотя оговаривается, что его концепции субъективны, а сам он лишь «малая частица, творец и жертва» литературного процесса. <sup>13</sup>

\* \* \*

Проза Дружникова, увидевшая свет только на Западе и в основном после эмиграции, создавалась в разное время, начиная с шестидесятых годов в России, но, за небольшими исключениями, могла быть опубликована только вне СССР. Это прежде всего роман «Ангелы на кончике иглы» (написан в 1969–76 годах, тогда же переправлен на Запад, опубликован в 1989 году). Дружников выпустил также книгу небольших по объему произведений, которые назвал *микророманами*. По его мнению, этот жанр «шире и социально глубже рассказа». <sup>14</sup>

Герои микророманов — советские люди: служащие, инженеры, учителя, пенсионеры, шоферы, партработники. Есть среди них даже цензор — въедливый читатель книг автора, как оказывается, с двойным дном в душе. Все они задыхаются в атмосфере лжи и безнадежности, каждый, не исключая преуспевающего историка КПСС, мечтает о другой жизни. Один хотел бы попасть за границу, другой хотя бы поменять профессию. Умерли настоящие чувства. Это трагикомические истории о нравственном маразме, охватившем быт. В микророманах почти нет речи о политике, они концентрируются на показе будней и деформации человеческой психики. В этой прозе важную роль играют детали, мозаика подробностей ежедневного существования.

Дружников близок здесь Юрию Трифонову, также и примерно в то же время обнажавшему в *московских повестях* конформизм советской интеллигенции. Оба автора обеспокоены утратой нравственных норм, с той, однако, разницей, что поступки героев Дружникова поддаются более сильной отрицательной оценке. В эссе «Судьба Трифонова», включенном в книгу «Русские мифы», Дружников доказывает, что талантливый писатель Трифонов знал правила мимикрии, *техники выживания*, не хуже, чем его герои-конформисты, которые платили за успех полуправдой-полуложью и утаивали самое важное даже от самих себя. Это эссе возмутило многих поклонников Трифонова в России и на Западе. Зря: ведь Дружников не отрицает божьего дара автора «Дома на набережной», жалеет только, что вне творчества Трифонова-художника

осталось многое, что он сумел бы показать и заклеить. В глазах Дружников Трифонов — классический пример загубленного идеологическим прессом таланта.

Тем не менее именно Трифонову одному из первых показал Дружников черновик законченного в 1976 году романа «Ангелы на кончике иглы». Прочитав рукопись, Юрий Валентинович предостерег автора: «Смертельный номер. Этого не напечатают никогда».<sup>15</sup>

Воспользовавшись своим журналистским опытом и знанием среды газетчиков, Дружников создал на этот раз роман «с ключом» — о жизни московской журналистской, партийной и гебешной номенклатуры, ее мафиозных связях, а также об интеллигенции, диссидентах, правых и обывателях. Прототипы многих героев, точнее, антигероев романа: редакторы газет, приближенные к верхам журналисты, гебисты, партаппаратчики (среди них Брежнев, Суслов, Андропов) легко распознаваемы. «Семь лет я работал в московской газете, — объяснял потом писатель. — Мы обслуживали идеологическую машину, ее «самое сильное оружие» — печать... Я стремился понять сущность этого оружия, описать технологию сотворения великой лжи, дьявольскую кухню, тайны кремлевского двора, куда мне довелось заглядывать...»<sup>16</sup> И в самом деле, в романе мы оказываемся на кухне советской мифологии, узнаем где, кем, как и зачем делаются газетные мифы, потребляемые на следующее утро миллионами людей.

Действие романа «Ангелы на кончике иглы» разыгрывается в течение 67 дней, с 23 февраля по 30 апреля 1969 года. Это «67 дней московской духовной, журналистской, цековской, кагебешной, обывательской жизни, политической и интимной, внешней и подводной, даже с элементами психоанализа, — словом все, что удалось запечатлеть летописцу». Советские войска оказывали тогда «братскую помощь» Чехословакии, предвещая сумерки брежневщины.

«Сатиричен не роман, сатирична сама действительность», — охарактеризовал специфику этого произведения В. Свирский.<sup>17</sup> Преобладает здесь ирония и сарказм; герои и ситуации, в большинстве реальные, кажутся подчас карикатурными, гротескными. Хотя бы такой сюжет: brave следопыты из КГБ ищут диссидента, который, как им кажется, скрывает свое имя под французским псевдонимом Кюстин. Началась эпоха Самиздата, а известная в мире, но совсем неизвестная в СССР книга прославленного маркиза «Россия в 1839 году», с ее убийственной оценкой русского абсолютизма, до того совпадала с реалиями брежневского времени, что виделась блюстителям порядка антисоветчиной.

Романист Дружников здесь, несомненно, западник: подобно Кюстину, он видит истоки зла в самой России. Гротескны герои ро-

мана, легко идущие на предательство, гротескны правящие государством старики вроде «человека с густыми бровями» и оказывающего ему медицинские услуги «импотентолога» по имени Сизиф Антонович Сагайдак (само это имя чего стоит!), гротескны человеческие, но далекие от человечности отношения в стране, где существуют два типа совести: одна для партийного, а другая для домашнего пользования. Критик Ольга Максимова права, отмечая, что «именно факультативность морали и есть общая черта всех героев книги Дружникова» — она свойственна даже тем из них, которые, как журналист Ивлев, пытаются «сказать правду о стране с помощью перевода книги маркиза де Кюстина». <sup>18</sup>

«Ангелы на кончике иглы» — роман с увлекательной интригой, динамическим сюжетом и саркастическими портретами деморализованных партийных функционеров ошарашивал вдобавок смелой эротикой, неприемлемой для советских пуритан.

Сегодня, когда роману уже 20 лет, читатели, особенно молодые, могут воспринять его просто как крутой детектив, разыгрывающийся в коммунистическом прошлом, которое их не касается. Однако сам автор «Ангелов», изданных в 1989 году в США, а после августа 1991 года сразу же выпущенных в Москве, подчеркивает злободневность своего романа: «...читатель может оглянуться на себя вчерашнего и что-то почувствовать: возмущение, недоумение, гнев». <sup>19</sup>

На наш взгляд, дело не ограничивается катарсисом в результате воспоминаний о прошлом. Это роман-предупреждение, книга об опасностях манипулирования обществом и об угрозе равнодушия, во все времена разрушающего человеческие души. В «Балладе о вождях», стихотворении одного из героев романа, З.К. Морного (цикл его бунтарских стихов помещен в романе подобно стихам пастернаковского Юрия Живаго), читаем саркастические, гневные слова о том, что русские — пешки, которыми играют вожди-маньяки, они же — «проказа России». Нельзя допустить, чтобы когда-нибудь проказа эта опять стала реальностью.

Спустя тридцать лет, в 1997 году, Дружников закончил роман в рассказах «Виза в позавчера», хотя еще в начале семидесятых в печати появились первые отрывки. Получилось так, что этот роман, несколько раз переписанный автором, впервые публикуется полностью в данном собрании сочинений. В трагичную тему жизни советских эвакуированных — беженцев, выживающих на «задворках войны», — в этом произведении неожиданно вплетается тема второй эвакуации, второго бегства — эмиграции военного поколения из России. Автор, смотрящий на проблемы середины двадцатого века из кануна века двадцать первого, пытается свести, так

сказать, начала и концы, понять связь времен, что, конечно же, делает роман «Виза в позавчера» не столько историческим, сколько современным.

\* \* \*

Два следующие произведения Дружникова объединены общим заголовком «Узник России» и подзаголовком «По следам неизвестного Пушкина»: «Изгнанник самовольный» и «Досье беглеца». Они были впервые изданы в Америке (1992 и 1993), а затем выпущены под одной обложкой (Москва, «Изограф», 1997). Книги эти не являются, как могло бы показаться, бегством от современности в далекое литературное прошлое. Писатель и здесь остается верен самому себе — на этот раз, разгребая мифы, наросшие вокруг «солнца русской поэзии».

А.С.Пушкин, доказывает Дружников, уже давно превращен в монумент, перед которым все должны только преклоняться. Сразу после смерти великий поэт стал знаменем; свыше полутора столетий им охотно размахивали крайне различные представители направлений, общественные группы, лица. «В разные времена, а иногда и одновременно, его считали философским идеалистом, индивидуалистом, русским шеллингянцем, эпикурейцем и представителем натурфилософии, истинным христианином, воинствующим атеистом, масоном, оптимистом и пессимистом. В советский период его называли дворянским, помещичьим поэтом, потом он прошел чистку, стал поэтом–революционером, декабристом, просто материалистом, и даже, в соответствии с марксистской идеологией, историческим материалистом».<sup>20</sup> Как видим, не без юмора комментирует эти крайне противоречивые интерпретации автор.

В советское время Пушкин стал «точкой опоры пропаганды» для масс, а пушкиноведение поддерживало и разрабатывало мифы о нем. Поэтому, хотя может казаться, что все аспекты творчества и биографии поэта давно изучены, есть в знаниях о нем вопросительные знаки, белые пятна. Одно из них — судьба Пушкина, лишённого возможности выезда за границу, всю жизнь рвущегося из России на Запад. Как это похоже на судьбу поколения, к которому принадлежит Дружников! Он также, подобно Пушкину, был долгие годы отказником, с той, однако, разницей, что, в отличие от великого поэта, в конце концов вырвался на свободу.

«Узник России» исследует круг проблем, связанных с попытками Пушкина оказаться за границей. «Изгнанник самовольный» — такое название первой хроники придумал для Дружникова Пушкин. Исследование (по Дружникову — расследование) начинается с 1817 года, то есть с момента окончания Царскосельского лицея,

и заканчивается в 1824 году, когда поэт был выслан из Одессы в Михайловское. «Досье беглеца» — вторая хроника о «невыездном» Пушкине, — доводит события до 1829 года.

Не получая разрешений от царя на зарубежное путешествие, Пушкин строит планы бегства из ссылки за границу сначала в Кишиневе, потом в Одессе и Михайловском (его приятель Алексей Вульф готов увезти поэта под видом слуги). Затем поднадзорный поэт опять пытается уехать легально, подает царю прошение за прошением. Надеясь на заграничный военный поход, он просится в армию, но все время под разными предложениями получает отказы. Выезд Пушкина без разрешения на Кавказ в 1829 году, описанный им потом в «Путешествии в Арзрум», был, как считает автор, запланированной попыткой бегства из России через русско-турецкую границу.

«Держать и не пущать!» — это и был фундаментальный вклад российской державы в права человека», — шутит ядовито автор, все же добавляя, что «по сравнению с советским периодом, во времена Пушкина, если не считать самого поэта, в вопросах выезда был относительный либерализм».<sup>21</sup> Такие параллели между пушкинской эпохой и современностью проводятся Дружниковым постоянно, и всегда оказывается, что николаевское время было чуть ли не идиллией по сравнению с советским.

Обе хроники — «Изгнанник самовольный» и «Досье беглеца» основаны на доскональном изучении творчества поэта, его переписки, воспоминаний современников и мировой пушкинистики в целом. Писатель отмечает, что тему выезда Пушкина за границу затрагивали в своих статьях такие знатоки творчества поэта, как М.Цявловский и Н.Лернер. Однако никто не осмелился разработать ее глубоко; ни единой книги на эту тему не существовало, и Дружников здесь, несомненно, первопроходец.

Следует добавить, что мы имеем дело с довольно редким случаем, когда академическая монография читается как увлекательный приключенческий роман. Автор ввел в эту книгу, по словам В.Свирского, «целый пласт полунаучного материала: семейные предания, легенды, беллетристику».<sup>22</sup> Созданный им портрет Пушкина жив, многоформатен, лишен хрестоматийного глянца, далек от стереотипа, психологически достоверен. Это трагический, но и веселый, жизнерадостный гений, как все люди, не лишенный слабостей и пороков.

Дружников не без стеснительности цитирует циничные высказывания поэта о женщинах, говорит о его легкомысленном, капризном, непредсказуемом характере. Писатель наблюдает у своего героя также склонность (которую отмечали некоторые друзья

Пушкина): «поэтическое лизание того, что Владимир Даль называет в своем словаре местом, по которому у французов запрещено телесное наказание».<sup>23</sup> Выражается эта слабость в панегирических стихах, восхваляющих царя за его сомнительные подвиги вроде усмирения Польши и убаюкивающих монарха клятвами, что поэт любит его всем сердцем и душой. Однако, оставляя все это в стороне, Пушкин достоин восхищения потомков: ведь именно он совершил «рывок из русской литературы средневековья в литературу современную», хотя его изолировали от европейской культуры, с которой поэт был кровно связан.<sup>24</sup>

Как и в «Доносчике 001», изучив забытые и еще не введенные в исследовательский обиход документы, свидетельства мемуаристов и архивные материалы (в книгах присутствует богатый научный аппарат) Дружников ведет литературное следствие, сопоставляет факты, события, противоречивые мнения. И выдвигает увлекательные, иногда спорные гипотезы. Писатель не скрывает: в его хрониках о Пушкине есть место для воображения, домысла, то есть для того, что чуждо «чистой» филологии. Впрочем, домыслы, извлекаемые Дружниковым из источников литературных или документальных, всегда обоснованы и потому убедительны.

Вот, например, всем известный эпизод из жизни Пушкина: странствия с цыганским табором, описанные три года спустя в знаменитой поэме. По Дружникову, дело было не в любовной страсти и не тяге к экзотике бродячей жизни, хотя и то, и другое, возможно, имело место. Главный импульс состоял в том, что поэт хотел перебраться вместе с цыганами через русско-молдавскую границу. Помешала этому лишь беспокойная обстановка на территории, куда устремился табор, война греков с турками. Цыгане предпочли остаться на русской стороне границы, и планы Пушкина развелись.

Изучив весьма неприятный аспект биографии великого поэта — его контакты с Третьим отделением и особенно с шефом тайной полиции генералом Бенкендорфом, автор приходит к выводу, что Пушкину предлагали стать осведомителем. Хуже того, поэт раздумывал, не принять ли это манящее предложение, «перебирал любые возможные варианты, включая сотрудничество, чтобы ослабить ошейник».<sup>25</sup>

В январе 1828 года Пушкин написал для полиции характеристику на своего доброго знакомого Адама Мицкевича. Есть свидетельства о том, что генерал Бенкендорф предлагал Пушкину службу в канцелярии Третьего отделения, однако все доказывает, что поэт, согласившись было, быстро одумался и отказался от этой чести. «Спору нет, в России преуспевающий поэт должен в той или иной

степени быть функционером и выполнять предначертания властей». <sup>26</sup> И со спокойствием Дружников прибавляет очередную историко-литературную ересь: весьма правдоподобно, «что Гоголь, честолюбивый молодой человек, мечтавший о карьере и власти над людьми, с 1829 года тайно служил Третьему отделению». <sup>27</sup> Не менее страшные вещи читаем о Гоголе в вышедших позже «Русских мифах»: Николай Васильевич был, оказывается, болтун, врал и пресмыкался «с Пушкиным на дружеской ноге» в такой же степени, как Хлестаков.

Во многих пушкинских стихах, поэмах, переписке то и дело находит Дружников подтверждение, что поэт мечтал о дальних странствиях, жаждал краев чужих и обладал, как сам Пушкин выразился, «развитым органом полета». Знаменитая сцена из «Бориса Годунова» в корчме на литовской границе, когда Григорий Отрепьев обманывает преследующих его приставов, в сущности, не имеющая с действием пьесы прямой связи, написана, когда Пушкин изучал эти окрестности с целью бежать.

«Пушкину было тесно, душно в России... Солнце русской поэзии взошло на Востоке и хотело сесть на Западе. Но осуществиться этому было не суждено». <sup>28</sup> Так в завершение второй пушкинской хроники пишет автор. Прекрасно понимая трагедию поэта, он задумывается над тем, как сложилась бы дальнейшая судьба Пушкин, если бы его выпустили из России. Кем бы стал он: невозвращенцем или просто туристом? Вернулся бы в Россию или нет? Кем был бы по отношению к Западу, проживи он еще четверть века — Гоголем или Герценом? Разумеется, эти вопросы чисто риторические, никто не в состоянии на них ответить.

Пушкин, по словам Достоевского, унес с собой в гроб великую тайну и останется навсегда человеком неразгаданным. Впрочем, Дружников будет разгадывать его в третьей, последней, хронике, которая доведет читателя до смерти поэта: фрагменты ее уже опубликованы. <sup>29</sup> «Юрий Дружников пытается вернуть нас к реальности, к Пушкину — живому человеку, а академическое исследование превращает в хорошую современную документальную литературу», — заявляет Генрих Пфандл, профессор русской литературы университета Граца в Австрии. <sup>30</sup> «Представляю, какую ярость вызовет книга Дружникова у ревнителей традиционной пушкинистики», — пишет историк и публицист Михаил Хейфец. <sup>31</sup>

Многие другие легенды, касающиеся Пушкина и его окружения, привлекли внимание Дружникова, и им посвящены отдельные эссе. Преостроумно написана «Няня Пушкина в венчике из роз». Это богохульное словосочетание, пародирующее известную строку блоковской поэмы «Двенадцать», стало названием литера-



туроведческого очерка, посвященного Арине Родионовне, воспетой Пушкиным и пушкинистами няне, о которой русские школьники знают с ранних лет. По Дружникову, она не была ни музой поэта, ни мудрым знатоком фольклора, расширявшим эрудицию поэта в области народного творчества, но являлась неграмотной старухой, любившей выпивку и приводившей к своему барину, когда он того желал, деревенских красоток.

По-новому также поставлены в этих эссе другие темы, в том числе «Пушкин и декабристы», «Пушкин и царь Николай». В эссе «113-я любовь поэта» мы встречаемся с Натальей Николаевной Гончаровой и узнаем, как супруга великого поэта России, также возведенная в советское время в ранг святой, исполняет в книгах, ей посвященных, роль «первой леди русской литературы» и какой она была на самом деле.

Подобно Анне Ахматовой, Марине Цветаевой и польскому писателю Ярославу Ивашкевичу, Дружников видит в ней недалекую барыню, занятую развлечениями, слишком рано обремененную обязанностями хозяйки дома и матери, словом, женщину, которая и интеллектуально, и эмоционально не была поэту парой. Изобретательный Дружников пошел еще дальше и проверил правильность пушкинского выбора в американском брачном бюро. Согласно компьютерному прогнозу, такие люди, как Пушкин и Наталья, связавшись брачными узами, могли быть только несчастны, а вот с Дантесом у Натальи и у Пушкина с его предыдущей невестой Екатериной Ушаковой могли бы сложиться счастливые браки.

Дружниковский «Узник России» сродни «Прогулкам с Пушкиным» Андрея Синявского. Оба автора не стоят на коленях перед русским гением, присматриваются к нему без академических котурнов, иногда дерзко непочтительны. Не сомневаются в его гениальности, но не обходят молчанием того, что было в этом человеке обыденного, приземленного, мелочного, даже отталкивающего. Когда «Прогулки с Пушкиным» были изданы в 1975 году в Лондоне, многие эмигрантские авторитеты, в том числе Александр Солженицын, Роман Гуль, Юрий Иваск, Глеб Струве обвинили Синявского в попрании народной святыни, в ненависти к русской культуре. Публикация фрагментов «Прогулок с Пушкиным» в московском журнале «Октябрь» в начале девяностых годов вызвала аналогичную реакцию: обвинения в русофобии, даже утверждения, что Синявский такой же святотатец, как Сальман Рушди. «Узник России» Дружникова был встречен подобными же инвективами, писатель назван «пушкиноедом», «ненавистником России».<sup>32</sup>

Пушкиниана Дружникова читается с увлечением, захватывает. У автора несомненный дар рассказчика, удивительная способность

обязательно сделать читателя своим сторонником или даже противником, но не оставить равнодушным. Все это сочетается с качествами Дружникова — исследователя жизни и литературы: эрудицией, смелостью и автономностью мысли, логикой в аргументации. Показывая историю жизни и творчества поэта под новым углом зрения, автор в обеих хрониках делает акцент на триумфальном, неразрывном единстве биографии и творчества Пушкина, на противостоянии художника и деспотической власти.

Реальный Пушкин постоянно решает дилемму: родина или свобода, и свобода для него — это путь в другие страны. Такой Пушкин близок нашим современникам, похож на «пасынков России», подобных Дружникову и другим авторам его поколения. Задумываясь над судьбой поэта и ее восприятием незадолго до 200-летия со дня его рождения, Дружников все же полон пессимизма. Даже в эпоху крушения иллюзий и разоблачения вековечных мифов писатель утверждает с грустью: «Видимо, до реального Пушкина мы еще не доросли».<sup>33</sup>

\* \* \*

Наконец, еще одна область, в которой Юрий Дружников показал себя мастером, — публицистика. Он часто и охотно пишет статьи и очерки, выражающие взгляд на текущие события. Зорко присматривается к современности. Эссе «Я родился в очереди», опубликованное в американской газете в 1979 году тогда еще московским писателем, перепечатали двести газет мира. Произошло это потому, что обыденную житейскую ситуацию: необходимость всю жизнь стоять в очередях, прекрасно известную любому жителю соцстран, автор с мрачным юмором объявил метафорой советского бытия. Остроумие и парадоксальность свойственны очеркам этого цикла, полным неожиданных наблюдений, юмора, умения смеяться над самим собой, доброжелательности к людям.

В некоторых его очерках, статьях, фельетонах, появившихся в последние годы во многих газетах и журналах — от нью-йоркского «Нового русского слова» до московской «Литературной газеты» — усиливаются пародийные ноты. Цикл очерков «Я родился в очереди» был предварен в книге ироническим подзаголовком «Время без места» и эпиграфом из самого себя:

Было время, в котором  
Нам не было места...

Теперь у Дружникова, судя по выходящим книгам, есть и время, и место. Стилистически близкий традиционной, реалистичес-

кой манере письма, писатель не прочь посмеяться над постмодернистскими экспериментами («Совиньон», пародия на авангардную тему). В публицистике он не только рассчитывается с советским прошлым; он все внимательнее смотрит на то, что происходит в его новом мире, гражданином которого он стал, то есть в США, стране с давними демократическими традициями, но отнюдь не рае, как себе обычно представляют Америку жители Восточной Европы. Пишет он также о постсоветской России, которую все чаще навещает. Ведь именно там его широкий читатель, туда тянет и его героев, ну, хотя бы эмигранта Олега Немца из романа «Виза в позавчера» или женившегося на русской студентке наивного американского полицейского Патрика Уоррена из микроромана «Медовый месяц у прабабушки, или Приключения генацвале из Сакраменто».

Хорошо знакома и близка Дружникову сфера университетской американской жизни: академия, кампусы, молодежь, ее обычаи, мода, система преподавания, человеческие отношения. Оказывается, и в Америке можно встретить неприемлемые для трезво мыслящих людей абсурдные установки вроде правила «позитивного действия», до недавнего времени обязательного для университетов, предубеждения, противоречащие здравому смыслу, наконец, просто зло и ненависть. И это новые темы для русского писателя, живущего в Америке.

Дружников — наблюдатель и летописец современности, а также исторического — культурного и в такой же мере бескультурного — прошлого. Он упорно ищет потерянную правду. Его работы о Пушкине, Гоголе, Сталине, Куприне, Хлебникове, Трифонове и их окружении открывают перед нами страницы запретного до недавнего времени литературоведения, его проза помогает читателю увидеть и понять причины успехов и провалов знаменитых писателей, скрытые от нас аспекты жизни.

Драматизм творческих поисков Дружникова заключается в противоречии между его стремлением показывать человечность портретируемых героев с последовательными поисками ничем не прикрытой, фактической правды. Писатель не отказывает никому в праве на человеческие слабости и неправильный выбор, охраняет сферу личную, сугубо частную, проявляет забытую сегодня тактичность и деликатность. Демифологизируя историю и культуру, он избегает опасности дешевых, крикливых откровений, не пользуется модной риторикой, являющейся ответом и одновременно обвинением.

Поиски Дружникова созвучны с главной тенденцией постсоветской эпохи — конца двадцатого и начала двадцать первого века:

компрометацией идеологических мифов, созданных при тоталитаризме. Борению с этими мифами сопутствует обратное явление: на месте старых, выкорчеванных неправд прорастают новые. Стало быть, надолго хватит Дружникову тем и вдохновения.

Алиция Володзько,  
профессор Варшавского университета



# **МИКРОРОМАНЫ**

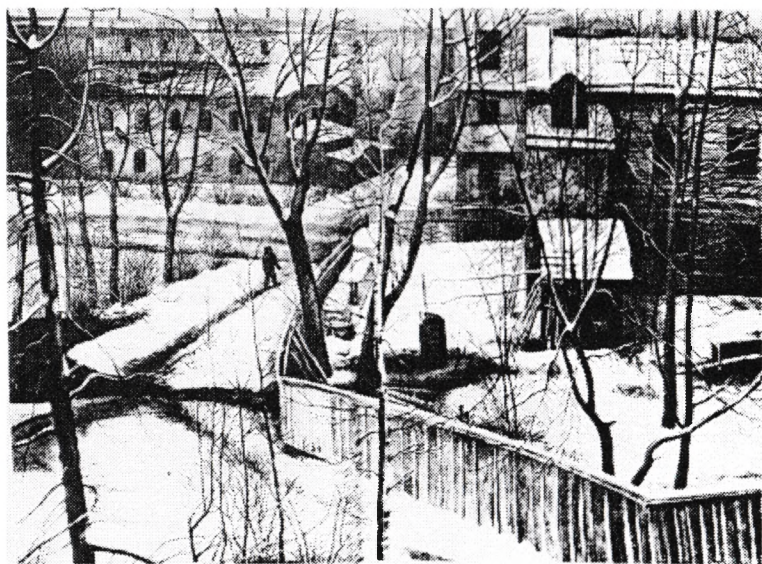


Рис. Т.Назаренко.

## СМЕРТЬ ЦАРЯ ФЕДОРА

### 1.

В театр Федор Петрович Коромыслов раньше всегда ходил пешком, а сегодня заколебался, не взять ли ему такси. Но решил старой традиции не изменять.

Главный режиссер Яфаров (говорят, с большими связями) позвонил часа три назад и, как ни в чем не бывало, стал спрашивать о настроении да о самочувствии. Коромыслов злился на Яфарова с тех пор, как тот, воздавая Федору Петровичу почести, одновременно заменял его в спектаклях, пока не вытеснил совсем. И раз звонил теперь, чего-то ему было нужно. Коромыслов уже заготовил отказ, когда Яфаров произнес:

– У нас замена сегодня. «Федора» даем. С тобой...

– То есть? Ведь Скаковский – молодой талант, твои слова!

– Мои... Но сейчас худсовет решил в твою пользу. Прости меня, Петрович, если что не так.

– А репетиция? – возразил Коромыслов, хотя про себя и без яфаровских извинений согласился. – Без прогона не потяну.

– Какая, к дьяволу, репетиция! Ты ж его раз триста играл.

– Больше. А все же надо бы.

– Это просто нереально!

– Ну, пеняй на себя, если...

– Никаких «если», – отпарировал Яфаров. – Все должно быть в полном ажуре!



Чувство своей незаменимости заставило Федора Петровича забыть обиду. Погорячились они тогда, молодежь, а сейчас осознали. Бог их простит. Театру я принадлежу, не им. Театр меня призвал.

Отшагав Большой Харитоньевский и кусок Садового кольца до метро «Красные ворота», которое он упрямо не называл «Лермонтовской» (что, впрочем, создавало неудобства для других), Федор Петрович скосил глаза на новый памятник молоденькому Лермонтову. Памятник едва было видно в копоти от ревуших грузовиков, двигавшихся густым потоком. Коромыслов ничего не имел против Лермонтова, но и тот, бронзовый, предназначенный выражать восторг от встречи с нашими достижениями во всех областях, стал противен.

С каждым годом это становилось все невыносимее, и дело не в брюзжании Федора Петровича: был тихий переулочек, а теперь не продохнешь. Мясницкие ворота стали Кировскими, Кировские – Тургеневской площадью, и нет зуду конца. Стоит раз переименовать, и все хлипчает, и уже не история, а газетные листы ценой в две копейки. Что осталось от Москвы, простоявшей века? От России что осталось?

Он ворчал по привычке, а в настроении была бодрость. Он любил Москву и не только говорил, но действительно считал, что не променяет ее ни на какой другой город мира (в других странах он, правда, не бывал). И было ясно, что закончит он свои дни здесь, где родился, хотя о конце старался не думать. Не потому, что так уж боялся, а просто это был скучный предмет для мыслей.

Выйдя из дому, он вспомнил, что в возбуждении не пообещал. Домработница Нюша, которая ходила за ним, как за малым дитем, без малого тридцать семь лет, оставила ему инструкцию, в какой кастрюле чего, и поехала проверить, не обокрали ли дачу. Нюша боготворила его; одно время они и спали вместе, когда зимы были холодные, плохо топили и вдвоем было теплей. Коромыслов в молодости долго любил женщину, которая состояла замужем за другим актером. Роман этот тянулся годами. Не раз она обещала бросить мужа, но так и не решилась. Из-за ожидания или собственной инерции по части детей и брака Федор Петрович остался бездетным холостяком, что не мешало ему время от времени, а по ситуа-

ции и весьма часто, удовлетворяться случайными закулисными соединениями.

Нюша была права: надо было самому разогреть обед и поесть дома. Нюша всегда оказывалась в практике права, может, именно потому Коромыслов на ней и не женился.

Не в силах забыть про голод, он стал думать, где бы пообедать. Забегаловки общепита с тухлым запахом отбросов и долго не мытой посуды попадались ему по дороге. Сама мысль заглянуть туда отворачивала от еды. Там и слова-то человеческого не услышать, не то что поесть. Он завспоминал старые рестораны, которые в молодости его исчезали заодно с переименованиями улиц, обычаев и всего остального. А те, что сохранились, не узнать.

За теми окнами, где сейчас рыгают командированные с Севера, тогда не просто лопали, но совершали гастрономический обряд. Не просто гурманствовали, но коротали досуг, дискутировали о судьбах России, работали. Что говорить! Станиславский с Немировичем в «Славянском базаре» познакомились. За столиком в «Эрмитаже» Власий Дорошевич фельетоны строчил, закусывая куриными потрошками. А Пров Садовский? Тот за чарочкой часами просиживал между спектаклями и репетициями.

Размышления кончились тем, что Коромыслов вошел в булочную, выбил в кассе и взял батон, отломил горбушку, выбросил остальную часть в урну и, матеря Нюшу, которая могла бы съездить на дачу в другой день, стал всухую жевать.

Осень, любимое время Федора Петровича, стояла ветреная и бессолнечная; с деревьев все посдувало, а снег не собирался лечь. Притупив голод и не ощущая холода, Коромыслов в приятной возбужденности легко двигался за кварталом квартал. Он чувствовал себя помолодевшим и совершенно вне времени. Его обгоняли дрожки, respectable кареты с гикающими кучерами, ландо, сани, покрытые медвежьей шкурой, грузовички с солдатами, «эмки» и «зисы», «волги» и «чайки», а он шагал себе в театр, подгоняемый уличным сквозняком. Тут, возле китайского магазина, встретил Есенина в цилиндре и полосатом шарфе, чисто выбритого и слегка пьяного, как теперь говорят. Возле того угла гаркнул «здравия желаю» Маяковский; этот робот всегда по самому краю тротуара шаги

отмерял. Вот здесь, на перекрестке, Марина Цветаева грозила Коромыслову пальцем из пролетки, – никак он теперь не вспомнит, за что. Уж не приревновала ли? Под конец этого долгого маршрута Коромыслов утомился. Все же надо было схватить такси.

Отворя дверь с надписью «Служебный вход», Федор Петрович по инерции поклонился вахтеру и уже занес ногу над ступенькой, когда сбоку из темноты услышал:

– Паспорт, пожалуйста!

Только теперь заметил Коромыслов, что вместо Максимыча, протиравшего стул здесь около полувека, сидит средних лет мужчина в сером костюме и при галстуке. А по бокам двери и на лестнице стоят хорошо одетые молодые люди.

– А вы-то, собственно, кто такие? – удивился Федор Петрович.

– Ваш паспорт, – спокойно и твердо повторил спрашивавший.

– Это же Коромыслов! – объяснил Максимыч, неизвестно откуда взявшийся, и странно хихикнул. – Здравия желаю, Федор Петрович. Как самочувствие?

– Ничего не понимаю, – ворчал Коромыслов, ощупывая карманы пиджака в поисках документа.

Наконец нашел, протянул, с недоумением ждал.

Мужчина в сером костюме долго переводил глаза с паспорта на самого Коромыслова, поставил отметку в каком-то списке и вернул документ.

– Все в порядке, проходите.

Молодые люди на лестнице отступили в тень. Коромыслов пожал плечами и стал подниматься по ступеням.

В коридорах, между уборными, ходили новые люди, похожие, по опытному взгляду, на статистов из современного спектакля. Впрочем, два раза старые актеры бросились к нему с объятьями. Костюмерша Анфиса зарыдала, упав ему на грудь, и он долго не мог ее успокоить.

– Сейчас я... Мигом все принесу... Разоблачайтесь пока, – причитала она, пятясь к двери и размазывая слезы по щекам тыльной стороной ладони. – Вы такой молодой, такой крепкий. Не женились еще? Надо, надо... А я мужа похоронила. Водка проклятая. Не то бы жил, как вы...

Переодевшись, он начал неторопливо гримироваться еще до получасового сигнала готовности к спектаклю. Делал он это спокойно и размеренно в движениях, будто перерыва не было вовсе. Приклеив бороду, прижал ее пальцами, и чтобы дать клею схватиться, ждал. Слыша голоса в коридоре, Коромыслов чувствовал, что температура за кулисами выше нормальной, и по эмоциям встречавших его отнес это к себе, – не из-за нескромности, а просто констатируя факт. Суета, однако, мешала ему сосредоточиться, начать другую, царскую жизнь.

На экране пошла рябь и возник занавес. Ведущий спектакля помреж Фалькевич поздоровался и предупредил коллектив об особой тщательности подготовки. Затем он прибавил:

– Вводится народный артист Коромыслов. Труппа вас сердечно приветствует, Федор Петрович. Как там у вас дела? Впрочем, Яфаров вот-вот к вам заглянет.

Яфаров вбежал раскрасневшийся, с одышкой. Прокатился лысоватым коlobком и сзади положил Коромыслову руки на плечи. Говорили, глядя друг на друга в зеркале. Яфаров оглядывал Федора Петровича с заботой и даже нежностью.

– Вот здесь, – он указал на левый край бороды, сам взял кисточку, подмазал и прижал к щеке.

– Ты чего за мной, как за бабой, ухаживаешь?

– Уж ты постарайся, Федор Петрович, не посрами!

– Да перед кем не посрамить-то? – воскликнул Коромыслов, и проскользнула вдруг мыслишка в подкорке. – Скажи, братец, Христа ради, уважь старика!

– Не мог я тебе по телефону этого сказать, – объяснил Яфаров, перейдя на полусшепот. – Меня предупредили, чтобы не разглашать. Сегодня Сам у нас в ложе.

– Это кто такой – Сам?

– Подумай, тогда и вопрос отпадет. Ну!.. То-то ж! Ведь Сам «Царя Федора» шесть раз уже смотрел. И всегда с тобой... Между нами, Петрович, я был против того, чтобы тебя заменять. Но Скаковский, сам знаешь, чей протеже. Министру культуры велели, он нам навязал, пришлось. А сегодня разве ж мыслимо рисковать? Вся надежда на тебя. Спасай, отец, театр!

Коромыслов поколебался, не спросить ли, чей же протеже Скаковский, но воздержался.

– Не бойсь, Яфаров, – мирно произнес он. – Я таких Самов знаешь сколько перевидал? Самы уходят, а театр все стоит, батенька ты мой! Подумаешь! Тоже мне птица, Сам...

– Тс-с, – Яфаров закатил глаза к потолку и приложил палец к губам. – Знаешь ведь, какое о нас сейчас мнение в некоторых кругах. Дескать, растеряли традиции, любой плембей играет королей... Я, допустим, решительно с этим не согласен, мы идем вперед. Не так быстро, как хотелось бы, но идем. Не можем мы, к сожалению, запретить думать о нас что кому взбредет. Но что будет, если наверх критика доползет?

– Суета! Искусство, братец, выше суеты.

– Это покуда ты не главный режиссер, – уныло пробурчал Яфаров. – Со вчерашнего дня театр лихорадит. Везде личная охрана: «Куда ведет эта лестница? Люк закройте на замок. А тот прожектор – в ложу не будет слепить? Этот выход перекроем, зрителям хватит других...» Правильно, конечно. Мало ли что?.. Побегу, взгляну с противоположной стороны в ложу. Если опаздывает, придется подъем занавеса задержать.

Все же тот факт, что Яфаров лебезил, был приятен. Старая гвардия не сдается, и мы пока что незаменимы. Сам тоже эту незаменимость должен увидеть на сцене, чтобы не забеспокоиться от опасной мысли. Вот почему они меня вызвали. Сам шесть раз смотрел и последние два раза всплакнул. Федору Петровичу после осветитель говорил, в каком точно месте. Плакать Сам стал оттого, что постарел, а все же это тоже льстит. И симпатия к нему проскользнула у Коромыслова, обычно всем недовольного. Теперь он на виду у Самого покажет своим гонителям, каков настоящий царь Федор.

## 2.

Тихо и размеренно пошел спектакль. Отключившись от брэнной жизни, царь прошествовал по коридору, поправляя перстни на пальцах, и стал медленно подниматься по винтовой лестнице. Голос помрежа Фалькевича «Коромыслов, ваш выход!» прозвучал в пустой уборной. Двое рослых молодых людей в штатском широченными плечами загоразивали железную дверь на сцену. Царь Федор сделал величественный

жест мизинцем, и они отпали к перилам, скороговоркой выдавив:

– Пжалста...

Зал встретил Коромыслова гудением узнавания, после чего пошел бурный аплодисмент, и царь Федор задержал вводную реплику. Несмотря на это, он постарался войти в действие незаметно, сдержанно, и только потом, разогреваясь в федоровских метаниях, сомнениях и страхах, набирал глубину. Труд и опыт долгих лет спрессовались, и алмаз заиграл теперь, заискрился, освободившись от оков брэнного актерского «я».

В какой-то момент это «я» напомнило: разгулялся ты слишком, снижаешь образ, переигрываешь для юмора, уходишь в народию; раз ты почувствовал это, вот-вот схватят Ирина, Клешнин, Шуйский. Подчинятся тебе, именитому, а там и до зрителя дойдет. Но Федор Петрович не мог остановиться. Он играл теперь себя, каким он был бы на месте царя, и это было как озарение, впрочем, возможно, неуместное. Уходя со сцены под продолжительные аплодисменты, он думал самоудовлетворенно, что царя, мечущегося и слабого, он подал сегодня, как никогда, и Самого не могло не пронять, если он не в полном маразме. Коромыслову хотелось, чтобы нынешний царь узнал на сцене себя.

Яфаров между тем принял царя Федора у кулисы в объятия и в ухо ласково прошептал:

– Сам дважды аплодировал, и жена тоже. Оба раза тебе. Я, конечно, заранее дал указание добавить пленку с хорошими аплодисментами, чтобы температуру в зале поднять. Но ты, Петрович, молодец. Спасибо, отец! Погорячились мы с твоим уходом. Теперь я за тебя в огонь и в воду. Даже против министра пойду. Проси, что хочешь, хоть полную ставку!..

Коромыслов все это слушал и молча принимал как должное.

Второй акт мчался для него на едином дыхании. Труппа потянулась за старым рубакой, голос которого метался между слабостью и силой, меж ненавистью и лаской. Коромыслов был уверен, что и зал, как всегда, поддастся его гипнозу.

Незаятый в очередной картине Федор Петрович едва успел самодовольно расслабиться на диване, чтобы отдышаться, как вбежал Яфаров.

– Беда-то, беда-то! Ох ты, Господи! – слова лились из него в беспорядке. – Ведь в середине еще акта я глядел, все было в ажуре. То есть выражения, конечно, не угадал, темно, занавешена ложа. А сейчас нету в ней никого, пустота!

– Может, по нужде прошел?

– А охрана? Охрану-то сняли!

– Без него охрана не уйдет. Уехал. Это бывает. Мало ли какие дела? Может, че-пе какое... Ну, войну кто объявил...

– Ох, Федор Петрович, оптимист ты! Или начхать тебе на все, коль уже на пенсии. А если не понравилось?

– Почему ж «не понравилось»? Скажем, переел чего, желудок схватило или почки... Он ведь постарше меня. Да просто спать захотел!

– Спать? У нас в театре?! Ну, знаешь! – Яфаров причитал, больше не слушая встречных доводов. – С кем посоветоваться? У кого узнать, почему не досидел? Министру культуры доброты утром уже донесут. Ведь аплодировал сперва... Плакали наши гастроли в ФРГ.

– Да брось ты! Одному царю не понравился другой, только и делов. Нешто мы непривыкшие? Россия, братец, видывала разных царей. Кто их знает, что у них на уме, какая вожжа под хвост попала... Плевать!

– Ежели ты такой храбрый, вот и позвони сынку-то Самого. Помнишь, ты с ним когда-то в санатории ЦК водочку кушал? Представь дело посолиднее, побренчи заслугами театра, объясни: так, мол, и так, как следует трактовать? Пусть спросит у папаша. Важно, мол, театру для творческого совершенствования. Да не крути носом! Не мне надо – народу. Вон Охлопков, когда его назначили замминистра культуры, сказал: «Мне легко, я на сцене царей играл». И тебе должно быть легко позвонить. Не откладывай. Попытай счастья, голуба!

Яфаров убежал мелкой трусцой. Видно, не такие уж у него большие связи наверху, раз трясется и даже позвонить боится.

Коромыслову, в отличие от Охлопкова, перевоплощение в цари давалось тяжелым напряжением сил, и его уверенность в себе колебаться не имела права. Сам ушел, не дождавшись того места, где плакал. Значит, не в нем, Коромыслов, дело, и он не может быть виноват. А в чем же эта неприятность, постигшая театр? Яфаров прав: попытка – не пытка. Чепуха

так чепуха, а если серьезно, узнать, что же именно. Сразу после спектакля и позвонить.

Федора Петровича потребовали на выход. Он встал и понес с собой на сцену внезапно свалившуюся ответственность и даже торжество: доказать Яфарову и его людям, что он, Коромыслов, спаситель театра, который они губят, использовать внезапно представившийся шанс. Давно он не волновался перед выходом на сцену. Это была работа. Но тут, ожесточившись на самого себя, он пребывал в напряжении, которое никак не мог подавить привычными усилиями тренированной актерской воли. Вялость разлилась по телу и не проходила.

Поставив декорации восьмой картины, рабочие разбежались за кулисы.

– Подол я вам подшила, Федор Петрович, – прошептала Анфиса, – не беспокойтесь.

Он не заметил, что она стояла позади него на коленях.

– Я пуговицу потерял, Анфиса, – сказал он ей, ткнув себя пальцем в грудь.

– У вас выход, – испугалась костюмерша. – Где же такую сейчас взять? Давайте я пока вам это место через край пришью, чтобы держалось, а после уж переделаю.

Кивнув, он смотрел на желтые и красные софиты, которые зажигались парами, подсвечивая своды царских хором. Анфиса склонила голову ему на грудь и зубами перекусила нитку.

– С Богом! – она оглянулась, не смотрит ли кто, и поспешно его перекрестила.

Вялость прошла, но не хватало воздуха. К горлу подступил комок страха. Страх просунул костлявые пальцы под ребра и больно сдавил сердце.

– Что-то света много, – сказал Коромыслов. – Спит!

– Не может того быть, Федор Петрович. Это уж, как всегда. Софиты двадцать лет не меняли.

Он отпустил кулису и прошел на сцену, усевшись в резное царское кресло. Его одежды, хотя и на марле, и мех не соболей – синтетика, мешали дышать.

– Занавес! – донеслась до него из репродуктора команда Фалькевича, и сразу загудел мотор.

Из зала хлынула волна воздуха с запахом человеческого пота и духов. Боль исчезла, а может, он забыл про нее. И



вдруг снова сжало. Царь Федор обтер пот с лица, как того требовала роль, и погрузился в государственные бумаги. Ирина положила ему на плечо руку: «Ты отдохнул бы, Федор...»

Давно привык Коромыслов: едва он начинал работать, в зале устанавливалась тишина, хотя он еще не бросил ни реплики. А произнося монологи, он умел полностью владеть залом. Мог смять его в комок или расшевелить одним жестом, одной интонацией. Но тут тишина в зале стояла особая. Никто не кашлянул, не задел о подлокотник биноклем, будто боль коромысловского сердца передалась всем, и все боялись дышать, чтобы у него не кольнуло под лопаткой.

Сидя на троне, он незаметно расслабил тело и чуть прищурил глаза. Так стало легче говорить. Но уже надо было встать, потому что вошел Клешнин «от хвораго от твоего слуги, от Годунова».

Коромысов, играя, никогда не думал, что должен сделать в данный момент. Все свершалось само собой. Режиссерские находки автоматизировались в нем, исходили от самого его существа, и все бы катилось дальше, если б не эта жгущая боль.

Он старался едва заметно повернуть лицо к залу, оттуда тек воздух, и ему легче было глотать его. Стало совсем худо, и он вспомнил о нитроглицерине. Нюша аккуратно клала ему трубочку во внутренний карман, на всякий случай специально пришитый к его нижней рубашке, и напоминала: если что, вынуть таблетку и пососать. Чтобы достать нитроглицерин, нужно расстегнуть тяжелое платье. Он ощупал пуговицы, а той, которую надо отстегнуть, не нашел. Одну полу к другой Анфиса пришила суровой ниткой. Федор Петрович попробовал оторвать пришитое, но не хватило сил. Черт дернул сказать Анфисе про пуговицу.

Между тем он продолжал играть.

### 3.

Коромыслову шел семидесятый год, не так уж много для человека его комплекции и здоровья.

– Я мужик, меня ничто не берет, – хвастался он и давал потрогать бицепс.

Сердце стало пошаливать последние года полтора. И почему-то сразу сильно.

Не ходил он к врачам, не жаловал их с детства. А весной наскоком устроили в театре профилактический осмотр всех поголовно. Не хотелось казаться упрямым стариком перед молодыми, и дал он себя щупать. Врачиха из спецполиклиники, помяв ему живот, чуть-чуть послушала сердце, похлопала по плечу и отошла пошептаться к коллеге. Коромыслов самодовольно усмехнулся. Но они вернулись вдвоем, слушали обе и морщились. Потом вторая врачиха взяла листок бумажки, написала номер своего кабинета и велела явиться назавтра к ней в поликлинику.

– Хоть вы царь, а сердце у вас, как у овечки. Манкировать не советую.

Он был абсолютно уверен, что это чепуха. Но электрокардиограммы, анализы крови, мочи и еще чего-то скоро выросли в толстенную историю болезни, которую он назвал таинственной комедией, сочиненной про его жизнь врачами. Текст врачи, как известно, в руки пациентам не дают, а играть эту комедию приходится.

Когда обследования в спецполиклинике кончились, профессор Бродер, который годился Федору Петровичу в сыновья, встал и поучительно положил ему руку на плечо.

– Я вас уважаю, не раз видел на сцене, знаю, что театру без вас будет плохо и вам без театра...

Бродер не договорил и посмотрел в глаза Коромыслову.

Не понял тогда Федор Петрович, в чем дело, или просто не хотел понять и рассказал Бродеру историю, которую ему поведал актер Абдулов. Тот лежал в одиночестве с приступом грудной жабы. Еле-еле дополз до телефона и звонит врачу. Врач отвечает, что болен. «Лучше приходите, – говорит ему Осип, – а то будете отвечать». Врач пришел и упал. Абдулов притащил его на постель и, слушая его указания, стал давать лекарства. Привел он врача в чувство, с сердцем у того полегчало, и врач ушел домой. Через несколько дней, когда Абдулов, отлежавшись, выздоровел, он опять позвонил врачу справиться о здоровье. Ему ответили: «Доктор умер...»

Бродер выслушал со снисходительной улыбкой.

– Запретить вам не могу, но заявляю, что частые стрессы вам противопоказаны категорически. Я бы на вашем месте

себя пощадил: на сцену раз в неделю, а больше – это риск. Не сокращайте себе жизнь. Катайтесь по санаториям, кроме юга, конечно. Гуляйте по скверу, уезжайте на дачу. За девушками можно... подглядывать. Иначе – за последствия не отвечаю.

Скрыл бы Коромыслов эту кутерьму от дирекции, да Бродер дорожку перебежал: увидел имя пациента на афише и рассказал Яфарову, с которым, как оказалось, был знаком семьями. Тот использовал представившийся козырь: в интересах сохранения здоровья Коромысова сократить его рабочий репертуар.

Безо всякой ложной скромности Федор Петрович полагал, что театр с его уходом терял свое величие и компенсировать утрату нечем. Яфаров считал иначе: прогресс искусства неостановим, и новое должно, согласно диалектике, побеждать старое. Практически Яфаров под этим подразумевал выведение на первые роли нужных людей, а заодно избавление от тех стариков, которые своим занудством и ссылками на классика препятствовали принятию новых пьес из Министерства культуры.

Трудность оставалась только с «Царем Федором». Отменить постановку, идущую с 1896 года, не разрешали, и теперь худсовет собрался, чтобы найти выход, то есть альтернативу Коромыслову. Ввели нового Федора – Скаковского. К седьмому прогону тот пообтесался, спектакль заковылял и вскоре появился на афишах без Коромысова, будто его и не было никогда. Доживающие до пенсии актеры утешали:

– Ну чего нам, Федя, нужно? Талант, деньги, слава, ордена, дача – все тебе дадено. Смири гордыню! Собирай теперь спичечные этикетки, как Качалов, или черепаху купи в зоомагазине на Кузнецком и гляди, как ползает. Да оглянись на свое прошлое существование: отдыхали мы когда-нибудь? Зациклился ты, Федя, уймись! И паровозу передых нужен.

Не возражал он, только рассматривал советчиков как дикинские экспонаты. В чем они хотят его убедить? Черепаха ему не нужна, и он не паровоз.

Был он гибридом простых и благородных кровей. Отец его, потомственный дворянин, две трети сознательной жизни провел в Италии, а в один из заездов в золотоглавую согрешил с молоденькой прислугой, зачав народного артиста СССР. До

революции Коромыслов выпячивал первую ветвь своих предков, после – вторую.

Желторотым мальчишкой бегал он в этот театр, деньги собирал по копейке, экономя на гимназических завтраках. В мировую войну Коромыслов остался без отца, а в революцию – без матери. Голодал, обивал черный ход театра, чтобы попасть в него хоть кем-нибудь, лишь бы очутиться за кулисами. Театральный буфетчик приспособил его гардеробщиком, поскольку за право иметь доход от буфета обязан был содержать гардероб бесплатно.

Повесив все пальто зрителей, Федор надрывал живот над ящиками с бутылками сидра и шампанского, таскал их на второй этаж, а раздав все пальто после спектакля, мыл и протирал бокалы. На репетициях он носил чай в уборные к артистам, и его любили за то, что не отказывал принести рюмашечку по-тихому и ловко пародировал актеров. В пародии он попался на глаза Мейерхольду, тот сказал о нем Немировичу. Как любил повторять Федор Петрович, Немирович согласовал вопрос с Данченко и заметил:

– Этого страшно запускать статистом. Уж больно внимание на себя притягивает.

Но – с одной репликой, в переднике и при метле, Немирович-Данченко его на сцену выпустил. С того момента, как вспоминал Коромыслов в ЦДРИ на своем чествовании по случаю шестидесятилетия, я стал солистом богемы. От богемы – то одно название, а остальное – пот. В поту и пошла далее его карьера, а то, что до, кроме и после, – было предисловием, примечаниями, комментариями, которые вполне можно выкинуть как несущественные.

Приняв его тело, театр потребовал душу.

С детства он был человеком набожным, но в церковь давно уже ходить остерегался, и Ньюша на всякий случай перевесила Богородицу к себе в комнату. Потом пошло в театре веяние, что героев Октября должны играть члены партии, и он повесил на себя этот ярлык, хотя не очень понимал, зачем он ему. Пьесы казались ему бесчувственными, он говорил, что играет не роль, а текст. И все же играл. В этом была даже увлекательность – вытягивать ничтожные характеры за счет своего божьего дара. Студенты из училища спрашивали:

– А передовую «Правды» сможете сыграть?

И он отвечал:

– Еще как!

Ему дали звание народного и от имени театра поручили выступить с благодарностью и хвалой Сталину, организатору и вдохновителю театрального искусства. Он оглаживал своим бархатным голосом гальку пустых и, в сущности, ничтожных слов, написанных специально по этому случаю, и произвел впечатление. На банкете его подвели к Сталину, и рука Федора Петровича была им лично пожата. После этого потекли одна за другой Сталинские премии. Однажды ему сказали, что всех, кто играет с ним в спектаклях, не сажают благодаря ему. Но это не была ни заслуга, ни вина Коромыслова – ему просто везло.

Уже после смерти Сталина реабилитированный Мордвинов, вернувшись из мест отдаленных, сказал Федору Петровичу, что у них там, в лагерном театре, такие были силы, а все же отсутствие Коромыслова ощущалось.

В том потоке сиюминутных пьес толстовский «Царь Федор» почему-то оставался, а в пьесе, следовательно, оставался Коромыслов.

– Тебя специально при рождении Федором обозвали, предвидели, – под выпивку гудели приятели. – Только чего рвешь себя на части? Втянулся, ну и играй себе спокойно. Ремесло ведь!

Он чувствовал, что сохраняет себя в этой роли от измельчания. «Царь Федор» был для него в потоке времени, смешанном с дерьмом, опорой, связью веж, знаком того, что еще не все затоптано вокруг и в душе его. Остальное пошло в распыл, а этот старый дуб зеленел.

В театр Коромыслов спешил, будто опаздывал, хотя являлся задолго. Обрато шел медленно и бесцельно. Он не знал, чего нет в магазинах, как живут люди, зачем производят детей. Собственный дом был для него ночлежкой, где он имел койку, окруженную дорогой мебелью, которая нужна была только Нюше, чтобы протирать пыль. Сплетни, подсиживания, призывы и указания сверху он воспринимал преходящим, суетой. Важно только то, что на сцене, тут – жизнь. А в остальной, действительной жизни все есть игра.

Оставшись без «Федора», единственной своей опоры, Коромыслов, однако, не приостановился, но углублялся в унижение и халтуру, боясь потерять все. Он согласился играть утренние спектакли для детей.

По воскресеньям зал набивали ребятей всех возрастов. Младшие дохрустывали вафли, принесенные из буфета, отношение к действию высказывали вслух и во время акта ходили по проходам.

– Федя, на кой тебе эти грошевые утренники?

– А для поддержания формы. У меня, братцы, отдача полнее с утра, когда я еще не устал.

Врал Федор Петрович. Скучно ему было дома, хоть вешайся, а в театре все трудней.

В новой пьесе о рабочем классе «Металлурги» Яфаров дал ему маленькую роль, полагая, что Коромыслов оскорбится. А тот взял. Конфликт вышел из другого. Яфаров вдвухвал воздух в мертвые легкие пьесы, искал оживления. Старый кадровый рабочий должен был, по замыслу Яфарова, выезжать на сцену на велосипеде.

– Я-то выеду, мне что, – согласился Федор Петрович. – Но зритель только и будет думать, свалюсь я в оркестровую яму или нет.

– Не учи меня! – огрызнулся Яфаров. – В Большом, вон, слона выводят на сцену, и то ничего.

– Так то ж Большой, для иностранцев показуха. А здесь кто же тебя научит? Металлурки? – он на ходу переделал слово. – На театре уцелели единицы, еще помнящие, что есть искусство. И эти единицы уходят. Вы наследники, а тайны нашего дела спешите выбросить на помойку. Ну и куда же вы будете двигаться?

– Голуба! – примирительно отреагировал Яфаров. – Театр меняется. Пойми, теперь другие масштабы режиссуры. Играет коллектив. Не я это придумал – эпоха. Звезды только дробят генеральный замысел. Ты, Федор Петрович, при всей нашей любви к тебе, человек предыдущего времени. Тебе этого уже не понять.

Коромыслов сдался. За последние месяцы он привык к мысли, что театру он обуза. Халтура, забвение старых заветов проще и потому удобнее. Организация дела вполне заменила талант.

Махнул рукой Федор Петрович и, сославшись на здоровье, ушел совсем. В «Металлургах» его без особого труда заменили.

Всю весну он гулял от Мясницких ворот до Никитских и обратно, хотя это было противно и глупо.

– Как здоровье, Федя? – встречал его кто-либо из стариков.

– «Всем ведомо, что я недолговечен; недаром тут, под ложечкой, болит», – играл он Федора Иоанновича, но тут же прибавлял. – Да ничего у меня не болит. Ну их всех! «Я царь или не царь? Царь иль не царь?» Общупали меня и клязузу сочинили, а я здоровше их всех вместе, как козел в марте.

Едва потеплело, они с Нюшей уехали на дачу. Он гулял в саду вдвоем с котом и с ним беседовал. Кот этот потрясал своей дружбой Федора Петровича, облегчал переустройство психики. Однажды вечером кот появился на террасе, мяукнув и всем своим видом зовя куда-то хозяина. Хозяин встал, побрел за ним. Кот бежал впереди, показывая дорогу, и привел его к двум кошкам, ожидавшим у калитки. Вот какая это была щедрая дружба: он привел двух кошек – одну себе, другую Федору Петровичу. В конце лета кота сбил мотоциклист, и Коромыслов с Нюшей похоронили его в саду под сливой.

В сентябре прослышалось, что в театральном музее Бахрушина есть стенд с фотографиями, рассказывающий о творческом пути народного артиста Коромыслова. Он поехал посмотреть. Молоденькая девушка-экскурсовод что-то бормотала группе беззаботных школьников, к которой он пристроился. Когда он после экскурсии назвал себя, девушка испугалась:

– А вы разве живы?

«Да я царь этого театра! – хотел крикнуть он. – Все вымерли. Я последний мамонт...»

Но, конечно, ничего не произнес вслух, понимая эту девушку, которая твердо знала, что экспонаты покоятся на стенах, а не приходят на экскурсию посмотреть на себя.

#### 4.

С искаженным от боли лицом Федор Петрович продолжал работать на сцене. Он вдруг отчетливо ощутил, что потерял

контакт с актерами, играет в неживом театре один. Вокруг по сцене ходят тени. Яфаров искорежил пьесу новыми вводами, сделал вырезки, и изуродованный текст не узнать. Он, Коромыслов, один играл в ней всерьез, но силы иссякли. Да Яфарова за сто верст нельзя к сцене подпускать. Он насильник Мельпомены, могильщик искусства. Коромыслову с ним не по пути, и зря он нынче согласился. Потрафил мелкому своему честолюбию, стал ширмой, прикрыл позор своей широкой спиной.

И мысль, простая, как глоток воды, сейчас, на сцене, вышла на поверхность сознания Федора Петровича: он один – театр. Только поэтому противился он уходу – они не понимали этого – сопротивлялся не для себя. Злобы к Яфарову Федор Петрович не имел. У того ведь трое детей, большая жена, две пожизненных любовницы, одна почка и квартира, только что полученная от министерства, которую надо оправдать, а затем получить казенную дачу. Театр заботил Коромыслова, вызывал тревогу, почти отчаяние. Театр умирал – Коромыслов спасал театр. Последнее усилие, чтобы поддержать умирающего. А может, следом за пьесой уже и театр умер? Я еще кое-как брожу по сцене, а я-то живой ли?

Действие между тем достигло покоев царицы в царском тереме. Впервые в жизни Коромыслов отделился от роли, играл ее автоматически, а мыслями, и заботами, и горестью своей был вне и не мог возвратиться. Сдавливало виски, он то и дело подносил руки к шее, пытаясь оттянуть воротник, вздохнуть поглубже, но вздохнуть не мог: каждый раз слева чувствовал укол. Он плохо видел вбежавшего Шаховского и никак не мог ухватить рукой протянутую ему челобитную. Еще немного, и кончится, кончится, все-таки кончится эта картина. В следующей меня нет, а после антракт. Там уже отдышусь.

Но картина никак не кончалась, и он не очень был уверен, действует ли он, произносит ли те слова, что надо, или ему только кажется. Яфаров и остальные, они победили, выбили его из колеи. Он потерял уверенность в единственной правильности интонации и жеста, которая была ему свойственна всю жизнь. Он поплыл. Они – мертвецы, но ведь и меня умертвили, и я плохо играю. Зритель кашляет все время. Это не от того, что эпидемия гриппа. Это я вял, скучен, работаю без огня. Сам пришел в театр в сентиментальном состоянии по-



плакать, но понял, что не заплачет, и ушел домой, чтобы напиться. Почему мне так плохо? Это от усталости, от бесполезности борьбы я... я... я...

Мысль закрутилась на одной букве, заякала и превратилась в серию искр, взлетевших в высоту сцены и одновременно погасших. Ногти впились в ладони. Он заметался, сидя на царском троне, сник и вдруг ясно понял, что играет смерть.

Такой роли ему раньше не поручали, да и никак не могли поручить, ибо играл он смерть свою собственную. Роль эта неожиданно потребовала от него такой силы, какой он не обладал. И душа его рванулась, пытаясь преодолеть самое себя.

Рука царская напряжением всех мускулов судорожно схватила государственную печать. Язык облизал горячие и сухие губы, и царь Федор с ненавистью бросил:

– «Тебя – мою Ирину – тебя постричь!»

– «Ведь этого не будет!» – бросилась перед ним на колени Ирина, наконец дождавшись реплики, с которой он так долго тянул.

– «Не будет! Нет! – поднялся во весь рост Федор Иоаннович, произнося фразы, которых мозг уже не понимал. – Не дам тебя в обиду! Пускай придут! Пусть с пушками придут! Пусть попытаются!»

Он сделал несколько хаотических, пьяных шагов навстречу князю Ивану Петровичу Шуйскому, взмахнул рукой, угрожая проклятьем, и захлебнулся. Боль заволокла сознание и свела тело. Князь Шуйский качнулся и стал падать на Коромыслова. Поняв, что тело не подчиняется больше ему, Федор Петрович попытался сделать шаг, чтобы уйти со сцены. Еще один шаг... Кулиса подплыла к нему синим облаком, и он повис на этом облаке, обняв его, как последнее живое существо, которому он мог отдать неизрасходованную ласку. Затрещали гнилые нитки, не выдержав веса тяжелого тела, потому что кулису Федор Петрович обнимал уже мертвый.

Костюмерша Анфиса, поняв, рванулась к нему, первый раз в жизни показавшись зрителю. В партере кто-то засмеялся. Анфиса не удержала тяжелого тела, и оно осело на пол.

Занавес быстро закрыли. Немногие зрители успели заметить и сообразить, что произошло, но неизвестная тревога пе-

редалась всему залу. Главного режиссера немедленно вызвали из кабинета.

– Наверх он позвонил? – спрашивал Яфаров, пробираясь сквозь плотное кольцо. – Узнал что-нибудь плохое?

Никто не мог ему ответить, только пропустили вперед. Медсестра уже сложила руки Федора Петровича на груди, медленно опустила ему веки, придерживав их пальцами, и стала разбивать шприц.

Яфаров опустился рядом с ней на колени и сжимал себе виски, будто сомневался в том, что видит.

– Федор Петрович, – глухо пробормотал он, поправляя мятого синтетического соболя на расшитом золотом царском одеянии, – прости меня, грешного, дорогой ты наш товарищ, прости нас всех. Во, несчастье-то какое... Вот ведь...

– Чего ж несчастье? Для нашего брата всегда почиталось за счастье на сцене умереть.

– Да ведь не в таком же ответственном спектакле! – Яфаров поднялся с колен. – А если бы...

Он не договорил, но все поняли. Яфаров подумал, что Сам, может, и вправду семи пядей во лбу: предчувствовал и потому отбыл раньше.

– Где скорая? Вызвали? – чтобы прийти в себя, режиссер принялся за распоряжения.

– Скорая прибудет вот-вот.

– Родным сообщили?

– Какая у него родня! Домработница... Чего ей сюда ехать, когда его в морг...

– Кто залу объявит? – спросил Фалькевич.

– Я, кто же еще? – с остервенением ответил Яфаров, отряхивая колени. Фалькевич подбежал к микрофону, скомандовал:

– Свет белый с двух сторон на занавес! Рампу в полнакала.

После краткого сосредоточения Яфаров отогнул занавес и вышел под свет. В зале установилась уважительная тишина. Медленно подбирая слова, Яфаров объявил, что ввиду внезапного заболевания актера, администрация театра просит извинения за спектакль, не доведенный до конца. Он не знал, можно ли без согласования с руководством сказать о смерти, и не назвал также имени актера.

Билетерши уже успели по своим каналам узнать, в чем дело, и сообщили тайну своим зрителям, которых они пропустили за наличные, скромную прибавку к мизерной зарплате, а те передали новость соседям. К моменту выхода главного режиссера на авансцену часть зала правду знала, другие догадывались, и зал гудел ульем. Но поскольку правда эта была неофициальной, к сокрытию ее главным режиссером все отнеслись с пониманием.

Некоторое время Яфаров постоял с разведенными в извиняющемся жесте руками, ожидая, пока зрители начнут подниматься. Зрители, однако, ждали, пока он уйдет со сцены и в зале дадут свет. Когда это произошло, зал постепенно зашуршал, люди начали вставать, и обычная гардеробная толкотня взяла всех в свою власть.

Выходя из театра, зрители в нерешительности останавливались. У театрального подъезда, запрудив улицу, образовалась толпа.

– Там есть смерть Шуйского, есть смерть Дмитрия, – рассуждал филологического вида юноша в кругу симпатичных подружек. – Черт его знает, может, Федор тоже должен был умереть? Поднимите руки, кто в школе историю проходил?

Театралы, тихонечко переговариваясь, пробирались поближе к служебному входу, ждали. Молодые люди подсаживали друг на сваленные штабелями декорации. Потом все зашевелились, задвигались, стали давить друг на друга. Из ворот выехала скорая помощь. Она притормозила, замигала фарами, тронулась, опять замигала.

– В реанимацию, – сказал голос в толпе.

– Поздно в реанимацию, умер...

– Почему – умер? – спросили одинаково с разных сторон.

– Если бы не умер, скорая сирену бы включила. А теперь ему спешить некуда.

– Не знаете, а говорите! Яфаров объявил, что заболел. Значит приступ. Сейчас таких поднимают.

– Поднимают да в гроб кладут.

Это уже оказался чужой гражданин, неизвестно почему проникший в толпу людей, причастных к театру. О ком идет речь, он не знал, но, дыша водочкой, свое мнение изложил:

– Ждите, подымут! У меня тетка два месяца лежала. Сказали, пускай гуляет. Она встала – и с копыт долой.

У случайного гражданина нашлись единомышленники.

– Сейчас, говорят, или инфаркт, или рак – только и выбирай.

– Врут всё! Помереть от чего хошь можно: и от гриппа, и от бутылки.

– Народ мудёр, все-то он знает, – пробурчал старичок в обтертом пальто.

– Ах, Наташа! Смерть царей в России – самое любимое зрелище, – тихо говорил, выбираясь из толпы и таща за руку свою полную подругу, седой интеллигентный человек без шапки. – Тут нашему народу и хлеба не надо. Посмотрели, разошлись и счастливы. Пойдем, Наташенька!

– Разговорились! Дайте скорой-то проехать. Все-таки артист!

– А что артист? Ему что царя, что Ивана-дурака играть. Профессия.

– Так-то оно так, а все же, видно, нервное дело играть царей, раз при исполнении сгорел.

– Не слушай их, Наташа! Пошли спать...

Скорая выбралась наконец на улицу и тихо, не включая sireны, покатила мимо театра по улице. Три с половиной столетия спустя по Москве вторично везли в последний путь царя Федора Иоанновича. Однако на этот раз царь был в гриме.

## РОЗОВЫЙ АБАЖУР С ТРЕЩИНОЙ

### 1.

С некоторых пор Никольский потерял вкус к книгам. Но сегодня читал с интересом. Интерес этот подогрела женщина.

Никольский приподнял очередную стопу томов, пытаясь по весу определить, одолеет ли он их за день. Книги торжественные, как старинная мебель. Ржавые кожаные переплеты отсвечивают остатками золотого тиснения. На некоторых томах латунные застёжки, дабы мысли из книг не улетели, а лежали сплюснутыми до востребования.

Кивнув библиотекарше, дежурной читального зала для научных работников, Никольский отнес стопу на стол, под старинную лампу с розовым абажуром, у которого был отбит край и поперек шла трещина. Вид у лампы был – как бы это поточнее сказать? – неуместный. Похоже, она переместилась сюда, в областную библиотеку, из чьего-то будуара, а раньше была свидетельницей совсем другого, сугубо интимного аспекта жизни.

Роза, библиотекарша лет чуть больше тридцати, бедновато одетая, со вниманием следила, как импозантный посетитель уселся поудобнее, помассировал чисто выбритые щеки и поправил галстук, каковой без того лежал безукоризненно между белоснежных хвостиков воротника. Тряхнув красивой се-

дой шевелюрой, читатель этот вытащил цветные заграничные ручки и пачку линованных карточек. Носовым платком он вытер пальцы, будто собирался заняться не чтением, а завтраком.

Сергей Сергеич Никольский чуть брезгливо листал замусоленные, пахнущие плесенью и мышиным пометом страницы. Доктор исторических наук, профессор, завкафедрой истории Коммунистической партии Академии общественных наук при ЦК КПСС, он прибыл сюда в командировку прочесть закрытую лекцию для партактива Гомельской области. Закрытым, как известно, считается то, что все знают, но о чем с трибуны можно говорить только вышестоящим. Уже один этот факт давал докладчику некую привилегию. Впрочем, он к этому привык. В уме же Никольский давно держал мысль осмотреть книжный фонд частично сохранившейся домашней библиотеки генерал-фельдмаршала графа Паскевича. Областная библиотека располагалась, между прочим, в бывшем графском дворце.

Привела ответственного гостя к Розе библиотечная директриса, которую сюда перебросили из отдела пропаганды обкома. Директриса была полная, но весьма маневренная: Никольский при своем относительно спортивном виде еле за ней поспевал. Она шепнула Розе, чтобы данному читателю (она подчеркнула слово «данному») давать все, что ни попросит, включая спецхран. Перед гостем директриса извинилась, что привела его в зал для научных работников, а не для академиков и профессоров:

– Помещения, соответствующего вашему рангу, извините, пока нету. Вот когда построят новое здание...

Битых два часа вчера ушло у Никольского на оформление: он заполнил несколько бланков, затем специальную анкету – что и для чего он будет читать. Анкету сверили с отношением из академии, ходатайствующим о допуске к данным книгам. Все это была чистейшая туфта. Отношение Никольскому отпечатала его секретарша, подписал он вместо заместителя директора, своего приятеля, сам и поставил липовый регистрационный номер.

Книги Никольский собрался листать не для темы, а просто так, для себя. И директрисе было наплевать, кто что читает.

Но таковы были правила, сложившиеся не вчера: задачей библиотек давно стало стеречь людей от чтения, чтобы они не прочитали чего-либо такого, чего им знать не положено, даже из глубокой истории. Никольского это нисколько не возмущало. Чтобы читать, надо понимать, зачем читать. Бездельники только портят книги. А что касается ограничений в чтении, то кто ищет, тот найдет. Не надо вопрос заострять. Он давно выработал принцип, который повторял про себя, а иногда и вслух:

– А мне все нравится!

И если его упрекали в конформизме, объяснял:

– Эка невидаль – всем возмущаться и все критиковать. Это же, как мода. Мода ведь то, что все спешат делать, не так ли? А я оригинал! Нет правды на земле, но правды нет и выше. И потом, братцы, оптимизм с дозой равнодушия – единственный способ убежать от инфаркта...

Никольский всегда верил в великую благодать того, что люди не читают старых книг. Если бы все в один прекрасный день уяснили, что то, о чем они думают, говорят, спорят – уже обдуманно, сказано и доказано, какая бы в обществе наступила апатия! А так – апатия только у избранных, у интеллектуалов. Забывчивость – вот спасательный круг человечества. Мы словно играем роли по давно написанным пьесам и бодро делаем вид, что открываем новое и идем вперед. Где уж всем! Всерьез ревизуют что-либо одиночки, но у них не жизнь, а каторга. Мы не из их числа.

Для самого Сергея Сергеича знания делились на две группы: для других и для себя. И распространение знаний, что были для других, являлось, между нами говоря, просто его службой. Да, книги, которые он пишет, фальшивы, и другими они быть не могут по определению. Так ведь и читатель это понимает, значит, он не обманывает читателя. Но то, что остается вне этого для себя, есть убажнение остатков духа, который пока еще, к счастью, не полностью деградировал, и жить можно.

Книги, что теперь лежали перед историком Никольским под розовым абажуром, были старыми, а значит, настоящими. В отличие от современной лжи, которая просто липа, ложь далекого прошлого как бы материализуется. Теряя контакт с

жизнью, она перестает быть ложью, становится данностью и не раздражает.

Последней к этим книгам – Никольскому уже всё рассказали – прикасалась глубокая старуха, наследница графа. Книги тогда были свалены в подвал краеведческого музея, размещенного во флигеле графского дворца. Каждый день, кроме церковных праздников, старуха, стуча о паркет клюкой, приходила в музей и, купив входной билет, осматривала остатки своей мебели. На билеты уходила вся ее пенсия. Одета графиня была неряшливо и, по слухам, почти ничего не ела несколько лет, только дышала и пила воду. А воздух и вода в Гомеле, хотя и не очень хорошие, но бесплатно.

Переместившись в библиотеку, графиня долго сидела не шевелясь, положив руки на книги и закрыв глаза. Казалось, дремлет или щупает у книг пульс. Потом она медленно листала книги. Когда попадались рисунки, бормотала что-то себе под нос, смотрела на свет страницы. Она оживала, разговаривая с нарисованными людьми. А уходила – лицо опять мертвело.

Розе хотелось поговорить с московским интеллигентным человеком, и она еще вчера рассказала Никольскому подробности про неофициальную достопримечательность города. Нечасто в областной библиотеке появлялись столичные гости такого масштаба. Роза зарумянилась, большие черные глаза ее заблестели и ожили. Шепот придал разговору таинственность. Никольский с грустью признался Розе, что у него со старухой есть нечто общее: он, как и она, после многих лет чтения только по делу теперь решил почитать для себя. Без практического выхода.

– Где же она, это роковая женщина? – спросил Никольский, пристально посмотрев на Розу.

– Книги музей передал нам, мы их – в спецхран, а допуск ей к книгам оформить было нельзя. Кто будет за нее ходатайствовать? Смешно?

– Смешно, – согласился Сергей Сергеич. – А ведь это ее собственные книги, не так ли?

Она печально кивнула, притворив ресницы. Потом подумала и прибавила:

– Директриса сказала, что книги народные.



– Ах, народные... – усмехнулся он. – Действительно, как это я сразу не сообразил?

Так у него с Розой возникло взаимопонимание. Это было еще до того, как они пошли смотреть книги. Роза повела его по железной винтовой лестнице в подвал, бывшее бомбоубежище. Свет был неяркий, но достаточный для того, чтобы видеть корешки. Книги стояли в беспорядке, все равно они почти никому не выдавались.

– Здесь сыро, – поежился он. – Вам не холодно?

– Я привыкла.

Они шли между железными полками, то и дело касаясь друг друга, и обоим это было приятно. Что-то в ней вдохновляет, отметил он, не без удовольствия глядя на ее округлости.

– Ну, девятнадцатый век смотреть не будем, – пробурчал он, – неожиданностей вроде бы не может быть. А восемнадцатый – вот этих толстячков – можно поднять.

Стопы набрались большие.

– Тут есть мальчик, – сказала она. – Он вам все сейчас принесет.

Безо всякого смущения она поднималась над его головой по винтовой лестнице, и зрелище это ему еще больше понравилось.

– Сейчас не надо приносить. Я хочу только заказать, а читать начну завтра, если позволите.

Он едва улыбнулся. Подумал, не пригласить ли ее поужинать, но решил, что пока преждевременно.

– К завтраму все для вас будет готово. Мы работаем с десяти до десяти.

– Запомню.

Помедлив, она прибавила:

– А я завтра с двух.

## 2.

Пришел он часа в четыре. На лекции для партактива было несколько вежливых вопросов – ровно столько, сколько положено, чтобы докладчик остался доволен собой и залом. После обеда с секретарем по пропаганде и заводделами в спецзале

обкомовской столовой Никольского отвезли в гостиницу. Он велел шоферу заехать за ним через час и славно подремал.

Роза к его появлению аккуратно сложила поднятые из подвала книги. Она уже сбегала в центральный каталог и легко нашла книги самого С.С.Никольского, в том числе изданную солидной монографией его докторскую диссертацию «Роль коммунистической партии в создании изобилия продуктов питания». Названия двух других его книг тоже были фундаментальными: «Борьба коммунистической партии за чистоту ленинского наследия» и «Коммунисты в авангарде борьбы против мелкобуржуазной идеологии». Заказывать эту трилогию Роза не стала. Интересно, однако, какие полезные идеи он собирается найти по такой своей специальности в восемнадцатом веке? Ах да, он же будет смотреть их без практической цели.

– Я прочитала все книги, которые вы написали, – сказала она, выдавая ему книги. – Интересно...

Врала она вежливо – без восторга и без иронии.

– Не будем об этом, – поморщился он. – У каждого свой крест.

– Вы хотите сказать...

– Я ничего не хочу сказать, – сухо вато прервал он. – А вот ваши книги действительно занимательные.

Он поднял тяжелую стопу фолиантов.

Роза подумала, не поведать ли ему, как под бомбежкой вывозили эти книги? Розе рассказывала мать, которая тоже здесь работала до самой своей кончины. Вон, на некоторых переплетах шрамы от осколков. Когда книги везли, на станциях половину растащили солдаты из встречных эшелонов на самокрутки. Слабые женщины не отстояли. А после того как привезли книги с Урала обратно, половину оставшейся половины съели крысы здесь, в подвале. Стоит ли это вспоминать? Пусть гость спокойно читает остатки и полагает, что это полная графская библиотека.

Никольский между тем не торопился углубляться в восемнадцатый век. Он снял очки, подышал на них, стал медленно протирать голубоватые стекла. Без очков все приняло неопределенные формы. Пустой читальный зал застлало туманом. Вот в таком тумане он и живет. А в очках другая его жизнь,

которую приходится соотносить с тем, что он видит. Слова и реальность все труднее увязывать между собой. Лучше не пытаться.

С юношеских лет Никольский почитал Библиотеку. Не эту, провинциальную, и даже не те, известные интеллигентному миру, а Библиотеку вообще. Большая часть его молодой жизни прошла в библиотеке. И он любил в ней сидеть, называл добровольной тюрьмой. Не обязательно читать, писать, рыться в каталогах. Просто сидеть, как старая графиня, смотреть на незнакомых людей, притулившихся по углам, поближе к настольным лампам, гадать, что привело их сюда. В то время библиотека была для него особым замкнутым миром, храмом, религией. Тогда он гордился, что он историк, что создает духовные ценности. Придумал даже сам себе целое философское обоснование: люди делятся на «материальщиков» и «духовников». Он, конечно, же из вторых.

Для потомков наши вещи не будут представлять особой значимости. И автомобиль, и ракета превратятся в прах. Сталь и бетон станут пылью от времени. Насколько надежна память компьютеров, пока не ясно. Но зыбкие строчки на бумаге, которую младенец способен изорвать в клочки, сохраняются долгие времена. В этом, пожалуй, есть и обидное. Большая часть людей создает сегодняшние вещи. Но лишь труд меньшей части остается в веках. Утешение, однако, в том, что не будь ценностей материальных, не родились бы духовные. Ибо и те, кто сочиняют, тоже хотят есть. Вот только какие строчки духовные, а какие нет? Настроимся считать – все. Для потомков будет важно и черное, и белое.

Выбиваясь наверх, Никольский работал в разных библиотеках и архивах. Студентом задыхался в подвалах, мерз в церквях, наскоро переоборудованных под хранилища документов. Видел, как чистят библиотеки, как уничтожают книги, как трудно становится узнать, что есть, прочесть, что было написано. Мог заниматься старой историей, но клюнул на удочку и пошел по идеологической части. Жалеть об этом глупо и, главное, бессмысленно.

В молодости его восхищало, что в библиотеке честные и лживые книги стоят рядом. В этом была особая гуманность – в праве лжеца лгать, в невозможности запретить ложь, в праве

потомков самостоятельно, без суфлеров разбираться в истинах, улыбаться нашей наивности или, что гораздо реже, поражаться дальновидности. Нет, что ни говори, Библиотека – хранилище времени, сейф для мыслей. Сейф для мыслей... Это, пожалуй, неплохо было им когда-то сказано. Он, Никольский, любил слова. Они-то и лишили его ориентации: в словах утонула истина, которую он давно уже не искал. Истина только мешала, вставала поперек дела, успехов, жизненных благ. Он перестал читать. Он пробегал, проглядывал, скользил.

Сергей Сергеич надел очки. Туман исчез. Напротив, по другую сторону стола, за этой же лампой, сидел черноволосый мальчик лет двенадцати в синей полинявшей ковбойке. Челка на лбу смешно топорщилась – теленок лизнул. И уши торчали, и нос был приподнят кверху, подпирая очки. Весь мальчишка был нескладным теленком.

Кажется, он сидел тут и вчера. Сергей Сергеич решил вечером от скуки сходить в кино. Крутили фильм из эпохи его молодости. А мальчишка остался. Сидел и читал. Читал он толстую книжку в безликом библиотечном коричневом переплете с коленкоровыми углами. Читал быстро. По губам и щекам было видно, как он переживает то, о чем читает. Иногда поднимал глаза, несколько мгновений сидел не шевелясь, словно наступал антракт. И читал следующее действие. А почему, собственно, подросток в читальном зале для научных работников? В этом же здании, с другого угла, детская библиотека, куда Никольский сперва заглянул по ошибке.

Мальчик поднял голову. Никольскому пришлось снять со стопы верхний том и углубиться в него. Хватит растекаться мыслью. Мы умеем заставить себя собраться, умеем работать. Правда, в последние годы это становится все трудней. Возраст? Чепуха! Нет шестидесяти. Не болеем, не лысеем. Сергей Сергеич стал читать толстое жизнеописание высших придворных чинов Российской империи.

Шла вялая весна, темнело позднее. Окна читального зала вплотную упирались в стену учреждения, в окна которого горели лампы. Сверху, в щель между домами, опустились густые сумерки.

– Я зажгу свет, если не возражаете, коллега, – галантно произнес Никольский.

Парнишка вздрогнул, оторвался от страницы, сообразил, что это обращаются к нему, и, покраснев, кивнул. Сергей Сергеич пощелкал выключателем.

– Так не зажжете, – стесняясь, сказал мальчик. – Еще в прошлом году закоротили.

Умело, двумя руками, он снял с лампы розовый стеклянный колпак. Под ним оказалась полногрудая бронзовая русалка с извивающимся хвостом, который постепенно превращался в подставку. Мальчик привычно взял русалку за талию одной рукой, а другой повернул лампу в патроне. Сергей Сергеич усмехнулся. Свет ударил в глаза. От лампы пахло горелым. Мальчик также аккуратно поставил колпак на место, и розовый круг очертил книги. Лишь сквозь трещину свет слепил глаза.

Никольский ходил к Розе и взял другую пачку книг. Библиотекарша между тем приготовила для него две карточки с надписями «Прочитано» и «Осталось».

– Вы великолепны сегодня, – вскользь бросил он ей.

Она не была избалована светскими комплиментами и смущенно улыбнулась, довольная, что он заметил. Она действительно приложила к этому немало усилий, и надо же, израсходованная энергия не пропала даром. Правда, директриса обратила на Розу внимание еще раньше и сухо заметила, что на Розином месте одевалась бы на работу строже: все-таки мы областное учреждение, а не театр и не... Директриса не договорила. Роза, конечно, промолчала.

На ней ничего особенного не было, только юбка узкая с разрезом сбоку и, конечно, не длинная, что давало возможность оценить ее ноги, как определенное достижение природы. Ну, два часа в очереди в парикмахерской, чтобы уложить волосы. Ну, еще помада на губах чуть ярче, чем обычно. Без лишней скромности Сергей Сергеич понял, что усилия приняты Розой для него. Раз так, это избавляет его от промежуточных трудностей. Хотя... он еще абсолютно ничего не надумал.

Никольский поработал пару часов и размагнитился. Цвет абажура стал его раздражать. Он поежился от сырости, то ли действительной, то ли кажущейся. Надо бы пойти поужинать. Где тут у них самый лучший ресторан, чтобы была глупая

музыка, оглушающая и безвкусная, танцы и прочее. Мальчик читал, не отрываясь. Сергей Сергеич прослышал, что в местной драме поставили что-то солёное. Не отправиться ли туда? Говорят, труппа здесь молодая, только что из столичного вуза. Значит, есть и симпатичные актрисочки. Или, может, согласиться на приглашение доцента из пединститута, который мечтает очутиться у меня в докторантуре? Обещано изысканное местное общество, и мне уготована роль кумира на три часа.

У мальчика брови сдвинулись. Они сдвигаются, когда он доходит до трудного места. Длинные ресницы то растерянно моргают, то успокаиваются: понял, пошел дальше. Ничего, кроме того, что излагается на книжных страницах, его не занимает. А я не двигаюсь. Сколько осталось? Полстопы тут, да две горы на столе у Розы. А Роза тоже скучает. Когда женщине скучно, виноват кто? Само собой, мужчина.

Сергей Сергеич помучился еще, листая страницы, которые его не смогли увлечь. Решил, что будет читать завтра, а на сегодня хватит. Не гнить же ему, в конце концов, как старухе, графской наследнице, за чтением. И в голове должна быть форточка. Он сгреб со стола исписанные клочки бумаги, обнял стопу книг и пошел к стойке. Роза с готовностью нагнулась и протянула руки помочь ему. Он невольно заглянул ей за вырез кофточки: там было мягко и очень заманчиво.

– Устали? – чуть порозовев, спросила она.

– Просто есть еще дела...

Маникюр на ее ногтях был свежий, тщательно наведенный. Духи неплохие, не грубые. Он мягко сжал ее руку, поцеловал. Она с удивлением подчинилась, но обернулась, не видел ли кто. Он двинулся к выходу, потом вернулся и наклонился к ее уху, заговорщически подмигнув.

– Простите. Что за мальчик сидит напротив меня?

– Помогает носить книги. Он вам мешает? Я его прогоню.

– Нет-нет, не мешает. Напротив, заражает своим энтузиазмом. Просто я хотел полюбопытствовать, чего он тут штуку?

– Он читает все подряд, – объяснила она. – Ну, может, больше географическое и историческое. И то, что вы сейчас читаете, все уже прочитал. Только директрисе не говорите: это

же спецхран. Он помогает сносить книги в хранилище и там выбирает.

– И часто он здесь?

– Всегда.

– Всегда?

– После школы... И сидит до закрытия.

Роза смотрела на Сергея Сергеича, чуть улыбаясь, готовая ответить на любые его вопросы с максимальной полнотой. Но он больше ничего не спросил. Выходя, он оглянулся: мальчик сидел под розовым абажуром, подперев щеку кулаком.

В театр Никольский не поленился заглянуть. Пьеса была из колхозной жизни. В первом акте смело разоблачали пьяницу-председателя. О том, как председатель будет во втором акте исправляться, Сергей Сергеич примерно догадывался. Молодые столичные актрисы, про которых ему сказали в обкоме, по-видимому, успели состариться на периферии. Гость еле досидел до антракта и даже подумал, не улететь ли сейчас же в Москву. Но там его никто особенно не ждал.

Семьи у Никольского в данный момент вроде бы не было. Третья жена ушла от него полгода назад, и нельзя сказать, чтобы его это огорчило. Дети от первых двух браков выросли, и общение с ними носило вежливый, но дистанционный характер. В Гомеле он специально заказал билет на послезавтра, чтобы отдалить себя от московской суеты. Так тому и быть.

Он прогулялся до набережной Сожи. Постояв молча, поглядел на ледоход. Но с реки дул сильный, мокрый ветер. Безопаснее двинуться спать, чтобы не просквозило.

### 3.

С утра его потянуло в библиотеку. Входя в читальный зал, он даже подумал про себя не без гордости, что он, Никольский, труженик. Умеет и любит работать от зари до зари, как в молодости. На деле он уже давно забыл, как пишут. Книги, которые издательства заказывали ему, известному партийному историку, он делил по главам между своими аспирантами, а те без смущения заимствовали материалы у других авторов. Это, кстати, гарантировало правильность изложенных мыслей.

Фолианты восемнадцатого века терпеливо ждали своего читателя, но в библиотеку Никольского потянуло не к фолиантам, а к Розе. Она была за стойкой с утра и обрадовалась ему, – он понял, обрадовалась. Он поговорил с ней немного, поделившись впечатлениями от вчерашнего спектакля. Она почувствовала, он рассказал к случаю анекдот, взял книги и ушел к розовой лампе с отбитым краем.

Книги были интересные, манера изложения непривычная для него, мыслящего готовыми блоками. Он зачитался. Жизнь, полная прозрачных интриг. Гравюры с умеренной вольностью в изображении игривых моментов. Монументальные физиономии сильных мира того. Неловкие объяснения политических авантур через постельные подробности. Сергей Сергеич попытался провести параллели между царским двором и нынешними администрациями, при которых он делал карьеру. Боже мой, тогда был детский сад! Лучше такого рода аллюзиям не предаваться.

Минутная стрелка старинных напольных часов, что стояли у стены, между огромными портретами Маркса и Энгельса, сделала несколько оборотов, когда Никольский оторвал взгляд от страниц. Он едва не рассмеялся. Мальчик в синей ковбойке сидел перед ним. Книжка заслоняла половину его лица. Когда он появился и бесшумно занял свое место, Сергей Сергеич не заметил.

– Молодой человек, – шепотом спросил Никольский. – Извините меня за любопытство. Что вы сейчас читаете, если, разумеется, не секрет?

Мальчик не сразу понял, о чем спрашивают, а поняв, протянул том. Это была книга конца прошлого века о походах Суворова с превосходными иллюстрациями. Никольскому она попадалась.

– Содержательная штука, – сказал он. – Для чего ты ее читаешь?

Мальчик не понял и пожал плечами.

– Ну, тему в школе проходите? Задано?

– Не-е...

– Зачем же?

– Не знаю.

– Может, просто интересно?



- Да, интересно.
- Что именно?
- А всё.
- Вообще?

Никольский почесал в недоумении кончик носа и произнес мальчику стихи, которые обычно читал женщинам:

– *Загадок вечности не разумеет* –  
*Ни ты, ни я.*  
*Прочесть писем неясных не умеем* –  
*Ни ты, ни я.*  
*Мы спорим перед некою завесой.*  
*Но час пробьет,*  
*Падет завеса, и не уцелеет* –  
*Ни ты, ни я.*

- Это вы написали? – спросил мальчик.
- Не совсем. Это Омар Хайям. Был такой восточный поэт... Но скажи мне, ради бога, зачем все-таки ты читаешь?
- Вы верите в Бога? – глаза у мальчика сощурились и заблестели.
- Ну, я сказал «ради бога» условно, что ли...
- А, условно...
- Блеск в глазах погас. Чего хочет от него этот солидный человек, похожий на телевизионного комментатора с экрана.
- Так зачем же? – настаивал Сергей Сергеевич.
- Просто я решил все книжки прочесть, вот...
- Все?! Я не ослышался?

Парнишка кивнул и стал читать дальше. Никольский тоже сделал вид, что читает, но мальчик сместил его мысли в сторону. Вы только подумайте: все книжки! Так ему и дадут прочесть все. Даже мне все не дают. А ему надо, видите ли, все. Наследный принц! Хочет обучиться сразу шестидесяти четырём искусствам. Как он научится приручать слонов? В теории? А складывать стихи – в этой провинциальной дыре? Сейчас нащупаем в нем слабую струну.

- А почему ты не играешь с ребятами? Ну, в хоккей, что ли...
- Неохота... Чо я там не видал?

Никольский не нашелся, как возразить, и рассердился. Сопливым Нестор двадцатого века. Какому-то несмышленьшу все интересно, а мне, деятелю великой истории, на все плевать? Мир идет в тартарары, а мальчик сидит с книгой. Все уничтожено, разрушено, сведено под корень до трын-травы. Целые библиотеки сожжены. Лучшие умы отравлены. Остатки догнивают, и само существование России под сомнением. Скоро от отечественной цивилизации ничего не останется. А мальчик в этой дыре читает.

Сергею Сергеичу вдруг пришло в голову открытие, которым нельзя ни с кем поделиться. Может, великая историческая миссия нас, коммунистов, в том и состоит, что мы превращаем культуру в макулатуру, произведения – в удобрения, блага цивилизации – в дерьмо? Цель нашего появления на земле – выжечь поле после собранного урожая. Ну, а потом? Вырастут на этой почве новые культурные растения или один бурьян? Может, и навоз нами заражён? Но ведь мальчик-то читает все подряд. Значит, в голове его что-то сохранится для потомков. Если, конечно, он не собьется с пути. Но он обязательно собьется. Обязательно! Деться некуда. Тупик.

Прочитанные книги Никольский понес к стойке, чтобы взять последнюю порцию.

– Хочу с вами попрощаться, – шепотом сказала Роза. – Я работаю до двух, а вы завтра уезжаете.

– Хм... А что, если...

– Если что?

– Что, если нам пообедать вместе?

Сказал небрежно, как бы невзначай, чтобы самому не обидеться, если она откажется.

– Сейчас или..?

Тут он взял быка за рога.

– Немедленно!

– Тогда выйдем из библиотеки отдельно, ладно? Ждите меня возле магазина «Дары природы», это рядом.

– Вы – прелесть, я сразу догадался, – сказал он.

– А вы – бесчестный соблазнитель. Сдавайте книги, я вам поставлю штамп на выход.

В витрине магазина «Дары природы», который он углядел сразу, стояло облезлое чучело оленя с хорошо сохранивши-

мися рогами. Над чучелом висел яркий плакат: могучий профиль Ленина с алым бантом на груди. Текст гласил: «Партия – ум, честь и совесть нашей эпохи». Сергей Сергеич прижался к витрине, чтобы его не толкали прохожие и смотрел в сторону библиотеки. Он поймал себя на том, что волнуется, как молодой. Даже подумал: а вдруг она передумает? Но она тут же появилась, торопливо стуча каблучками по неровному асфальту.

– Заставила вас ждать? Пришлось убрать книги...

– Мадам, где в этом городе можно по-человечески пожрать?

– Нигде, поверьте! Пригласила бы вас домой, но у меня коммуналка, и все соседи в ней злобные сплетники.

– Тогда пошли ко мне в гостиницу. Уж что-нибудь в ресторане «Интуриста» дадут, а? Он вынул из кармана пятерку, распорядительным жестом остановил первую попавшуюся «Волгу», открыл дверцу и протянул деньги водителю.

– Дружище, подбрось нас до отеля, здесь чуток.

– Вы с ума сошли, так швыряться деньгами, – прошептала она ему на ухо, когда они уселись на заднее сиденье.

Он приставил палец к ее губам. От нее пахло хорошей пудрой, он вдохнул этот запах глубоко, как наркоман, готовящийся перейти в другое измерение. Даже зажмурил глаза и мурлыкнул.

В ресторане было битком. Сергей Сергеич узнал у гардеробщика, где кабинет директора, и, чуть приобняв Розу за талию, попросил ее минуточку обождать. У директора были посетители. Пробравшись сквозь них, Никольский обогнул стол и тихо сказал на ухо директору, что он из ЦК КПСС. Это произвело некоторое впечатление. Тогда Сергей Сергеич попросил в виде исключения подать ему обед на две персоны в его обкомовский люкс номер триста один.

– Пришлите официанта посообразительней, – попросил Никольский. – Мы с ним найдем общий язык.

Он вернулся к Розе. Она красиво сидела в кресле, положив ногу на ногу.

– Пошли?

– Пошли, – немедленно согласилась она. – А куда?

– Ко мне. Пообедаем в номере.

– И вы полагаете, что это прилично для девушки из хорошей семьи?

– Вполне.

На третьем этаже он отпер дверь и элегантно жестом пригласил Розу войти.

– Батюшки, какой номер! – воскликнула она, обегая обкомовский люкс. – Сколько же здесь комнат? Гостиная, кабинет, спальня. А эту дверь можно открыть? Ах, ванная! И вся эта роскошь для вас одного?

Все еще стоя в дверях, он великодушно улыбался.

– Наши враги называют нас номенклатурой, – скромно сказал он, проходя в гостиную. – Мы себя тоже... Глупо избегать благ, которые положены, не так ли? А будете аскетствовать, все равно их растратят другие. Ну, вот и официант.

Они кратко обсудили что вкусней. Даму спрашивать было бессмысленно: она только кивала. Сергей Сергеич заказал по максимуму.

– И, конечно, бутылочку «Столичной» с морозцем, – он вынул две крупных купюры. – Сдачи не надо.

– Будете довольны, – сказал официант. – Я за приготовлением лично прослежу.

Через двадцать минут они с Розой уже обедали, сидя на диване перед маленьким журнальным столиком. Никольский специально распорядился поставить поднос с шашлыками сюда, чтобы сесть рядом.

– Выпей с нами, – демократично предложил он официанту.

Третьей рюмки не было, и официант, не упрямясь, налил себе четверть стакана.

– Мы с женой первый раз в вашем городе, – продолжал Никольский конструировать ситуацию, чтобы не затягивать дела. – Город, я бы сказал, хороший.

– Жить можно, – послушно согласился официант.

– Ну, за ваш город и за мир во всем мире! – Сергей Сергеич смотрел на Розу. – Давайте – до дна!

Она выпила легко, безо всякого ломания, и ему это понравилось. Официант пожелал приятного аппетита и исчез. Они выпили еще по рюмке, не закусывая. И тоже легко. Никольский встал и запер дверь.

– А вы большой умелец, – погрозила она ему пальцем и засмеялась.

– Если честно тебе признаться, Роза, я просто оболтус, – сказал он по-домашнему. – Прав мой приятель биолог Кузин, который сам себе сочинил эпитафию. Хочешь, прочитаю?

*Прохожий! Здесь покоюсь я.  
Ты слышал про такого?  
Я дар земного бытия  
Растратил бесплодно.  
Я был, к несчастью своему,  
Обласкан муз любовью  
И даже угодил в тюрьму  
За склонность к острословью.  
Курил табак, любил собак,  
Они меня тем паче.  
Прохожий! Ты живи не так,  
А как-нибудь иначе.*

– Иначе как? – задумчиво спросила она, когда они проглотили еще по рюмке и начали есть. – Если б кто объяснил...

– Иначе? – он вспомнил, что хотел рассказать ей давеча, в библиотеке, но забыл. – Старуха-графиня, о которой ты мне рассказывала, жила иначе. Кстати, я ее нашел.

– Нашли?!

– Сам бы не смог. На лекции ко мне полковник из органов с каким-то вопросом подошел. И я попросил его эту женщину разыскать. К сожалению, нашли не ее, а коммуналку, где она жила. Я туда съездил. Соседи похоронили старуху год назад. В ее комнате оказались старинные бумаги, письма, книги, фотографии и другое, как сказали соседи, разное барахло. Несколько сундуков, сто семьдесят шесть килограммов.

– Даже вес знаете?

– Соседи взвесили на пункте приема макулатуры. А еще, говорят, портретов маслом много было, свернутых в трубки, без подрамников. В бумажную макулатуру их не взяли, так они в помойку побросали. Опять смешно, да?..

– Еще как! – согласилась Роза. – А могила?

– Ты просто читаешь мои мысли. Поехал я на кладбище. Могила графини провалилась, крест упал. Дал денег могильщику, и он при мне вкопал крест.

Сергей Сергеич налил себе и ей еще водки, сам выпил безо всякого тоста и стал молча жевать. Роза тоже молчала, вдруг смутившись. Сказать ему, что она несколько лет ходила к старухе? Та ей давала кое-что почитать у себя дома. И снова прятала. А когда Роза пришла в очередной раз, графиню уже похоронили, а комнату заселили очередниками. Розе и в голову не пришло, что этот ответственный партийный человек потащится искать графиню.

– Судьба-копейка, – сказал он и еще выпил.

– Прохожий! Ты живи не так, а как-нибудь иначе, – повторила она задумчиво. – Хотела бы я жить иначе. Например, как старая графиня.

– А может, не надо?

– Может... Но получается, что я все время надеюсь на «не так» и чего-то жду. А когда есть возможность сделать «не так», не делаю.

– Никогда?

Роза захохотала немного искусственно.

– Почти... И опять жду.

– Вообще или конкретно? – он испытующе смотрел ей в глаза.

От ответа зависил его следующий шаг.

– Сейчас – конкретно.

Вдруг став серьезной, она резко выплеснула остаток водки на пол, встала и прошлась по комнате, чуть пошатываясь.

– Чего же ты ждешь? – осторожно спросил он.

Она вплотную подошла к нему, сидящему на диване с ножом и вилкой, резким движением сняла с него очки и разглядывала его сверху вниз.

– Странный у вас цвет глаз, – сказала она, закончив обследование. – Вернее, странно, что у ваших глаз нет цвета... Скорей, пожалуйста?

– Что – скорей? – не понял он.

– Оболтус! Скорей поцелуйте, пока я не передумала.

Никольский привык выполнять указания сверху и неуклюже поднялся с дивана.

Светлая щель между шторами на окне потемнела, когда Сергей Сергеич приподнял голову с подушки. Роза спала, свернувшись калачиком рядом. Нормальная женщина, благодарно подумал он: полная отдача души и тела, никаких кривляний или претензий. Столько раз слышал о преданности еврейских жен и никогда не испытал на себе. Сам русак из русаков, и все мои жены были чистыми русачками. Значит, муж у нее уехал в Америку. Она отказалась. Когда надумала, они уже развелись.

А что, если... Внезапно он положил ей руку на талию, притянул к себе и, чтобы разбудить, поцеловал. Она распрямилась и прижалась к нему, улыбаясь счастливой и беспечной улыбкой, как девочка, которую осчастливили поцелуем первый раз.

– Послушай, – сказал он. – Что если мы поженимся?

– Ты с ума сошел! – она тоже перешла на ты. – Ни за что!

– Нет, восприми меня серьезно. Серьезно! Женемся и укачиваем в Израиль, в Америку, в Австралию, к черту, к дьяволу, куда выпускают, лишь бы туда, где нет истории КПСС. Даже если ты еще любишь мужа, то вывези меня с собой к нему!

– Я его давно не люблю, но что ты там будешь делать, оболтус несчастный?

– Что угодно, только не то, что здесь. Например, стричь газоны. Буду косить траву! – громко выговорил он.

– Траву? – переспросила она, проснувшись.

– Какую траву? – не понял он.

– Вы только что сказали: «Буду косить траву...»

Весь предыдущий разговор состоялся у него в уме, и только «буду косить траву» вырвалось вслух.

– Я мечтал, – сказал он.

– О чём?

– Чепуха...

– Который же теперь час? – она вдруг испугалась.

– Половина десятого, детское время.

– Боже, в десять, к закрытию, я должна забежать в библиотеку.

– Зачем?

– Нужно. Отвернитесь, я оденусь.

– Не отвернусь. Я хочу посмотреть.

Собрав свои одежды, раскиданные по полу, она убежала в ванную. Он встал, тоже оделся. На диване лежала ее сумочка. Он оглянулся на дверь ванной, вынул из кармана конверт, опустил его в сумочку и защелкнул ее. Потом оделся и сел в кресло.

Она появилась в двери ванной, продолжая взбивать руками волосы. Деловито спросила:

– Посмотрите на меня. Все в порядке? А то я еще не в своем уме.

– Ты в абсолютном порядке. Пилотаж высшего класса.

– Правда? Спасибо. А вы как?

– Он достиг высшего счастья на земле: отсутствия всяких желаний. Это цитата, римский историк Тацит.

Желаний у него не было. Но и особого счастья он тоже не ощущал.

– Прощайте, профессор.

– Я тебя провожу.

– Ни за что! Здесь близко, десять минут. Я сама себя провожу.

Она тихо притворила за собой дверь.

Он постоял минуту, колеблясь, догнать ее или остаться, и махнул рукой. Слил из бутылки остаток водки в рюмку и опрокинул ее в рот. В пиджаке, при галстукe, в ботинках завалился в кровать и мертвецки провалился в сон.

#### 4.

Разбудил его почтительный стук в дверь. Никольский долго этого стука не слышал, потом соображал, что к чему, с трудом продрал глаза. За окном рассвело. Он встал, пошатываясь, поглядел на себя в зеркало, пятерней причесал шевелюру, погасил в коридоре свет, который горел всю ночь, и отпер дверь.

– Доброе утро, Сергей Сергеич!

Это был молодой инструктор из обкома с поручением проводить лектора ЦК в аэропорт.

– Я вас не разбудил? – бодро тараторил он. – Как спалось на нашей гомельской земле?



– Отлично, спасибо.

– Не буду вам мешать. Собирайтесь, жду внизу, в машине. Возьмите себе на заметочку, что времечко нас поджимает. Может, мне в обком позвонить, чтоб задержали рейс до вашего прибытия?

– Не надо, успеем.

Придется быстро спуститься. Если удастся, выпить кофе в аэропорту, а побриться и умыться в самолете. Он поднял с ковра лежавшую бутылку водки. Хотя бы глоток, чтоб не трещала голова. На дне не осталось ни капли. Сергей Сергеич стал бросать пожитки в открытый чемодан.

В черную «Волгу» с двумя нулями он сел молча. Быстро покатали в аэропорт. Инструктор оказался говорливым, видно, был натренирован сопровождать начальство.

– В обкоме очень высокого мнения о вашей лекции. Много вы сказали такого, о чем мы только догадывались. Ну, и реальные перспективы...

Никольский кивнул, рассеянно глядя в окно.

– Работать в новых условиях становится, конечно, трудней, – продолжал инструктор.

– Трудней, – кивнул Никольский.

– Но зато интересней, – сказал инструктор.

– Интересней, правильно, – подтвердил Никольский.

Инструктор поднес чемодан Сергея Сергеича к стойке для регистрации пассажиров. Рейс на Москву отправлялся вовремя. Они крепко пожали друг другу руки.

– Счастливого полета. Приезжайте к нам еще!

Зарегистрировав билет, Никольский хотел войти в дверь, за которой прозванивали и просвечивали багаж и тело.

– Вам без проверки, – сказала дежурная. – Во-он там, через комнату для депутатов Верховного Совета.

Это была еще одна, совсем незначительная привилегия. Тут Сергея Сергеича кто-то потянул за рукав.

– Здрас-сте! Вот, вам просили передать...

Перед ним стоял мальчик с чубом, зализанным теленком. Никольский сразу его узнал. Мальчик протягивал сверток – что-то, завернутое в газету. Сергей Сергеич пожал плечами.

– От кого?

– От мамы.

- А кто мама?
- В библиотеке работает.
- Роза?
- Ага...

Только теперь до него дошло.

– Что же это?

– Мама сказала, чтобы после поглядели, не сейчас. Ну, я пошел...

Никольский усмехнулся этой провинциальной сентиментальности: подарок на память.

– Ладно. Спасибо. Привет маме. Желаю тебе прочитать все книги на свете, как ты хочешь.

– Все книги не хочу. До свиданья.

Мальчик-то на нее похож, подумал он. Сразу мог бы догадаться.

Сверток оказался тяжелым. В самолете, едва усевшись в кресло, Сергей Сергеич развязал веревочку и развернул газетную обертку.

У него на коленях оказались книги – три книги, автором которых считался он сам, С.С.Никольский. Внутри обложек были наклейки с шифрами и штампы Гомельской областной библиотеки.

– Ненормальная баба, – растерявшись, пробормотал он почти вслух, ни к кому не обращаясь. – Зачем это мне? Нет, она точно ненормальная...

Тут на колени ему выпал из верхней книги служебный конверт с отпечатанным в углу текстом: «Гомельский обком КПСС». Конверт был разорван, и Сергей Сергеич его узнал. Никольский тут же вытащил из него две пятидесятирублевки, которые он сам вчера вечером сунул в этом конверте Розе в сумочку.

– Дура! Идиотка! Мудачка! Черт дернул связаться с такой кретинкой. Я же хотел как лучше. Как лучше хотел...

На внутренней стороне книжной обложки был приклеен читательский формуляр. Своих книг Никольский в библиотеке никогда не брал и теперь рассматривал этот формуляр, неожиданно ему попавшийся. Бланк был чист. Как же так? Неужели никто не заказал для прочтения? Ни один человек... Ведь готовится уже второе издание...

Он заглянул в две другие книги в пачке. Формуляры были выписаны аккуратно: «Номер читательского билета», «Дата». А дальше пустота. Ни один читатель за все эти годы не потребовал его книг. Даже не раскрыл их, – вон у всех края присохшие, как у новых, ни единой пометки, загнутой страницы – ничего. Возмутительно!

Резко поднявшись, он стал пробираться по проходу между усаживающимися пассажирами и сумками. По дороге он положил деньги в карман пиджака, а пустой конверт сунул в книгу. Возле туалета Никольский в крайнем раздражении остановился, готовый швырнуть все три книги в мусорный ящик. Ящика нигде не было.

– Девушка, – обратился он к стюардессе средних лет. – Куда здесь, черт побери, выбрасывают мусор?

Стюардесса посмотрела на него с удивлением, но поняла, что это не рядовой пассажир.

– Давайте ваш мусор, я сама отнесу.

Растерявшись, он спрятал книги за спину.

– Не стоит беспокоиться, – пробормотал он, – я просто так, к слову, спросил.

Никольский вернулся на свое место, повертел в руках книги и, не придумав куда их деть, принялся остервенело заталкивать их в портфель, который и без того был изрядно набит.

## КОНЕЦ КОМАНДИРОВКИ

### 1.

Лифт в гостинице, конечно же, ремонтировали, и Полудин потащился вверх по лестнице на своих двоих. Звук шагов отсутствовал: ступени покрывала мягкая дорожка, а ее – серое, в грязных следах полотнище, сберегающее от постояльцев невидимую красоту дорожки.

Полудин устал и теперь был весь в предвкушении кайфа.

Ну, потрепали друг другу нервы, как положено, и успокоились. Проект-то давно принят, акт подписан, хотя главный конструктор вяло бурчал, что еще неизвестно, потянет ли транспортер при высокой температуре. Мелкие претензии заказчика обещано удовлетворить под честное слово. Там будет видно, переделывать или нет. Обещание это на бумаге не зафиксировано. Как многие российские люди, Полудин не мог не схитрить, но и хитрить было лень. По этой же причине заказчики сделали вид, что поверили: им тоже все было до лампочки. Завтра придется отметить командировку и – домой.

Комбинировать Полудин умел не лучше и не хуже других. Секретарше, у которой отмечал командировку, он дарил конфетку, а потом просил поставить печать без даты, так как он не может достать билет и уедет через пару дней. Билет он достать всегда мог посредством личного обаяния и старался

уехать сразу. Если билетов не было, он приходил к поезду и давал в лапку проводнице.

Потом, дома, эти два дня Полудин валялся в постели и глядел телевизор, а вечером, до прихода жены, уходил с друзьями просадить червонец, назначенный у государства не без приложения личной энергии. Друзья эти были не с работы. Для тех он еще не вернулся и по телефону отвечал писклявым голосом: «Папы нету дома».

После отдыха, правда, приходилось съездить снова на вокзал к приходу того же поезда и для отчета купить у проводницы за рубль билет, забытый у нее частным пассажиром. Дату в командировочном удостоверении Полудин проставлял, как ему было надо. Впрочем, недавно замдиректора по кадрам и режиму Хануров завел привычку проверять присутствие подчиненных на местах и звонил на заводы. Кадровики сговорились, и командированных из Москвы стали более строго отмечать здесь, на «Химмаше», так что свобода опять ужалась.

Сегодня у Полудина она сократилась вот до этого вечера.

Протолкавшись через проходную «Химмаша» в шесть вечера, командированный проехал в набитом автобусе до городской кассы за билетом. Билет оказался, но не купейный, а мягкий. На него денег не хватило, и пришлось взять плацкартный, в общий вагон. Афиша областного драмтеатра обещала пьесу о ковании чего-то железного. Весь город был в призывах отдать все силы, но от этого только больше хотелось оставить хоть что-нибудь для себя.

И вот у него – свобода, а ее мало или вообще нету, и завтра совсем не будет, это уж точно. Завтра будет только слово «надо». А свобода – это когда не надо. Свобода бывает исключительно в конце командировки, потому что ты не тут и не там. Уже почти не тут, но еще совсем не там. В командировку посылают теперь не часто, экономят деньги. Ездит начальство, которому тоже хочется поставить штампик и глотнуть свободы. В общем, сегодня плевать на «Химмаш», отрасль, Москву и весь социалистический лагерь – Полудин будет гулять!

По дороге он обдумывал вопрос с рестораном. На пятерку, оставшуюся в кармане, туда не попрешь. Хорошо еще, за гостиницу берут вперед. Не доверяют и правильно делают. Но

просто бутылка – это тоже в конце концов неплохо. У других и на нее нету.

Полудин сравнительно быстро взял в продмаге водку, выброшенную к концу рабочей смены, и полбуханки черного. Все остальное давали по талонам, и стоять в очередях нужда отпала, что тоже было приятно. В киоске у гостиницы он купил спортивный журнал и местную газету. Вообще-то он принципиально не читал никакой прессы, чтобы не замусоривать голову, но тут сделал исключение. Газетенку он купил не для чтения, разумеется, а для надобности, не удовлетворяемой в отеле из-за дефицита рулончиков.

Запыхавшись, поднялся он на пятый этаж. Окно выходило на набережную Суры. Светящаяся реклама «Hotel Penza» на крыше корпуса, примыкающего углом, бросала через окно дрожащие оранжевые блики на цветастую штору. Отдельный бокс три на четыре метра был забронирован заводом специально для старшего инженера Полудина. Горничная прибралась в номере, даже грязные носки спрятала в шкаф.

Сняв шапку, он стряхнул с нее капли растаявшего снега и поглядел на часы. Без четверти восемь.

Кайф начинается.

## 2.

Тщательно заперев изнутри дверь, Полудин пустил в ванную воду и снял ботинки. Они протекали второй год. Он давно откладывал деньги, чтобы в комиссионке купить поношенные импортные, но то не мог найти свой размер, то деньги улетали. Когда становилось сухо, проблема решалась сама собой, а сейчас ботинки пришлось поставить вертикально к батарее, чтобы вода стекла из носков и они за ночь просохли.

Полудин торжественно разделся донага, побродил по комнате и постоял у окна. Достал бутылку и хлеб из портфеля, разместил рядом на стуле пачку сигарет и зажигалку, а возле них журнал. Стул придвинул к кровати, откинул одеяло, включил радио. Передавали местные известия – многословную болтовню об участниках соцсоревнований доярок, которые горели желанием увеличить число нулей возле каких-то цифр. Полу-

дин горел не меньше других и, как все, только публично. Наедине и добровольно – ни-ни, и радио он выдернул.

Когда ванна наполнилась, он, проверив, достаточно ли теплая вода, торжественно опустился в нее и стал лежать с закрытыми глазами, не думая ни о чем и думая обо всем. Чтобы не забывать о контрасте с суровой действительностью, он периодически вытаскивал из воды большой палец ноги и ощущал холод.

Поднялся он из ванны медленно, не моясь, мытье потребовало бы физического напряжения, выполнения слова «надо». Слегка обтерся полотенцем и, шастая мокрыми пятками по паркету, добрался до вешалки и надел зеленую полосатую пижаму. Жене его нравилось, что во французских фильмах мужчины появляются в пижамах, и ко дню Советской армии (легализованный мужской день для пьянства в рабочее время) она купила ему пижаму, за отсутствием французских – китайскую. Он не надевал ее ни разу, но спустя полгода жена не забыла, положила ему в чемодан.

В восемь двадцать он лег в постель, откупорил бутылку. Пробка укатилась в неизвестном направлении. Он налил полстакана мутноватой жидкости, подождал, предвкушая блаженство внутреннего согрева, и, выдохнув воздух, вылил полстакана в рот. Водка прошла внутрь и распространилась по организму, как всегда, неплохо. Переждав, Полудин закусил горбушкой черного хлеба.

Развернув на одеяле журнальчик, он стал читать страницы с конца, с юмора. Юмор был несмешной: велосипедист остановился перед финишем погадать на ромашке «любит – не любит». Полудин лениво прикрыл веки. Тепло растекалось, но не во все части тела, и можно было добавить еще полстакана, что и было им сделано по той же методике. Вообще-то Полудин не испытывал особого пристрастия к питью, но быть диссидентом в этой области не намеревался.

Полстакана плюс еще полстакана потянули к философии. Ромашка вернула память к прошедшему лету. Полудин идет по траве, валится и лежит, подмяв под себя ромашки. Лежит, будто умер. Зжж-зжж-зжж – звук проплыл над головой, мимо уха пронесся жук. Заняли его место, и жук не мог сообщить куда сесть.

Лежа на животе, Полудин долго разглядывал этого жука неизвестной национальности, пока тот карабкался по ромашечному стеблю. Жук целеустремленно добрался доверху, пролез, раздвинув белые лепестки, на желтый круг, пошевелил усами, расправил крылья и, оттолкнувшись задними лапами, взмыл вверх.

И снова луг заполнила тишина, уже успевшая утомить. Отпуск кончался. Захотелось вдруг гудков машин, колготни в трамвае, тайных выпивок в рабочее время – всего того бедлама, который надоедает, но без которого будто часть твоя оторвана.

Полудин стал смотреть в небо. Там висело облачко замысловатой формы. А глубина неба унижала человеческое достоинство. Почему всегда хочется того, от чего после бежишь? Человек несовершенен – вот в чем дело. Все это понимают, но никто не хочет совершенствоваться. Все уговаривают пойти на это других.

– На! Смотри!

Прибежал сын и показал жука. Сын оказался целеустремленной жука и его изловил. Ощущение отрешенности и свободы напрочь растаяло. Оно не может продолжаться долго. Заботы заедают, а уж им-то конца не бывает.

И все же, решил теперь Полудин, между заботами удастся выкроить нечто. Состояние, когда временно тебя оставляют в покое и ишачить не надо, когда ты никому ничего не должен, когда ты не обязан: хочешь делаешь, нет – нет. Неправильно называть это ленью. «Дольче фар ниенте», прекрасное ничего-неделание – по-итальянски, но это все же делание чего-то. Кайф – вот замечательное слово, которое, одни говорят, турецкое, другие считают – арабское, третьи – древнееврейское и означает «пир».

Нерусское, стало быть, слово «кайф», а очень даже неплохо прижилось у нас. Видимо, не случайно. Что-что, гулять мы умеем не хуже турецких султанов.

Вот и теперь, в Пензе, вся неделя была смурная. И эта история с подачей компонента: может, главный прав, что транспортер долго не выдержит. Сейчас можно об этом вспомнить, а можно и не вспоминать. Ну их всех в тартарары! Полудин кайфует или, как раньше говорили, кейфствует.



Как тогда на лугу, Полудин перевернулся в кровати на живот и потянулся. Водка активизировала ум. Он взбил подушку кулаком, глотнул для оптимизма из горлышка еще глоток, заев опять хлебом, перетянул журнал на подушку. Всю страницу занимала серия фотографий: раскладка по элементам прыжков с шестом. И статья тут же. Вот такая схема: фибергласовый шест фактически сам подает тело весом килограммов под семьдесят пять к пятиметровой высоте. Там тело находится долю секунды, но этого времени вполне достаточно для того, чтобы сделать человека чемпионом мира.

Вдруг остро захотелось разбежаться, опереться шестом, чтобы тот упруго подался, а после, распрямившись, поднял персонально его, Полудина, над землей. Студентом он немного занимался легкой атлетикой, пока лень не одолела. Сейчас и поговорить-то о спорте толком некогда, да и не с кем. А подпрыгнуть охота! Есть профессии прыгучие, которые толкают на вершину. И есть ползучие, в которых одни бугры и кочки. Идешь, спотыкаясь. Но можно уравнивать шанс – поставить транспортер для подачи спортсменов к планке одного за другим. Вот тут-то и зарыта собака.

Полудин замурлыкал и закурил, почувствовав, что выходит на большие социальные обобщения. У спорта и техники противоположные задачи. Спорт заставляет трудиться, техника старается избавить от труда. Хотя... есть, в данном случае, есть у них нечто общее. Ведь транспортер-то, который мы делали, вообще не нужен! Компонент можно доставлять раз в пять минут так, чтобы подающее устройство быстро сматывало удочки из зоны высокой температуры. К черту транспортер, который коллектив проектировал полтора года. В трезвом виде проектировали, не поддали для вдохновения, вот и не вышло соображения. Надо, как в прыжках с шестом: добрался до планки и катись вниз.

Дотянуться до портфеля – дело секунды. Полудин вытянул несколько листов чистой бумаги, карандаш и стал быстро набрасывать схему. Собственно говоря, все примитивно. Рядом с бункером, на той же высоте, туда-сюда ходит механическая рука: ухватила компонент в бункере и отошла, ухватила и отошла. Все гениально просто. Можно приехать в Москву, согласовать это в отделе, провести совещание у главного инже-

нера, одобрить в главке, и на полгода всему здоровому коллективу работы хватит. А так одному среднему инженеру вроде меня – два часа делов.

Он вскочил, вытащил из портфеля логарифмическую линейку, придвинул к кровати второй стул, отглотнул еще водки из горла, закашлялся (плохо прошла: сивухой, мерзавцы, народ травят) и убрал с глаз бутылку. Блестящая идея, чистая, без балды! Ай да Полудин, ай да сукин кот! Завтра покажу на заводе главному конструктору – тот опупеет.

Никто не отвлекал от дела, и сопутствовало состояние полной необязательности. Когда Полудин взглянул на часы, было пять минут первого. Тут раздался пронзительный звонок. Телефон звонил и умолкнуть не собирался.

### 3.

Никому из заводских он телефона не давал, да и сам его не знал. Жена не стала бы его разыскивать. Дежурная по этажу, вот это кто. Хочет, небось, выяснить, когда я освобожу номер. Полудин сбросил листки со схемами на пол, придавил логарифмической линейкой и, матюгнувшись, вскочил. Снял трубку и держал равновесие на пятках на холодном паркете.

– Добрый вечер! – сказал таинственный глухой женский голос. – Еще не спите?

– Кого вам?

– А вы разве не один?

На всякий случай Полудин оглядел комнату. Почесал одной волосатой ногой другую.

– Ну, один, и что?

– А чего вы делаете? – продолжала выяснять она.

– В общем, это... ничего. Кайф ловлю.

– Кого?

– Не кого, а чего.

– И поймали?

– Допустим...

– Тогда поговорите со мной. Мне скучно.

Сонливость исчезла, уступив место мальчишескому любопытству, которого Полудин не испытывал много лет. По-

просту забыл, что такое ощущение может быть. Его разыгрывали. Он понимал это и потому мог поддержать игру в том же духе.

Зацепив ногой, Полудин приволочил один мокрый ботинок, потом другой, сунул в них ноги, пожалев, что не захватил из дому тапочки. Это жена виновата, не могла напомнить. Он вытащил сигарету, закурил.

– Что вы курите?

– «Мальборо», – сказал он, скосив глаза на пачку «Примы».

– Не очень-то вы разговорчивый! – в трубке послышалась нота удивления. – Не хотите со мной поговорить?

– А вы откуда?

– Из Кишинева. Я вино привезла.

– Вино?!

– Что ж тут особенного? Ви-но. А вы кто?

– Так сказать, инженер.

– Откуда?

– Из Москвы.

– А у тебя жена есть?

– Жена? – он поколебался, заполнять ли по телефону эту графу анкеты, но охотно перешел на ты. – Допустим, есть. А у тебя?

– У меня ушел. Месяц прожили и месяц, как ушел. Не мужчина, тряпка. Подонок!

– Сколько тебе?

– Девятнадцать уже. Меня Ингой звать. А тебя?

– Виталий.

Надо было на всякий случай сказать любое другое имя, но уже слетело с языка.

– Виталий? Я думала...

– Что?

– Думала, что не Виталий. Виталий тебе не подходит.

– Как это – не подходит?

– Я видела.

Полудин посмотрел на часы: четверть первого. Ресторан внизу наверняка уже закрыт. Да и денег все равно нет. Как в объявлении на вокзале: «Граждане, едущие в командировку! Ресторан направо. Граждане, возвращающиеся! Кипяток нале-

во». Бородатый анекдот, но живучий. А ведь выпить необходимо. Всегда в таких случаях с бабой надо выпить. Сперва напиться, это всем известно. К счастью, есть почти полбутылки водки, хватит.

Она прервала паузу.

- Ты почему молчишь?
- Думаю.
- Не думай, приходи в шестьсот восьмой.
- И у тебя есть вино?
- Раздала.
- Кому?
- Подонкам, которые разгружали.
- У тебя все подонки?
- Ты – нет. Не придешь, если нет вина?
- Приду!

Трубка упала на аппарат.

Виталий стал стремительно одеваться, словно мог опоздать.

#### 4.

За тридцать пять лет жизни Полудину пришлось послушать немало историй о случайных романах и прочесть кое-чего, особенно в переводах иностранной литературы. Он и сам, когда начинался авторитетный мужской треп на эту тему, мог высказать мнение о женщинах и вспомнить несколько историй. Правда, чужих, которые он выдавал за свои.

Сам он для мгновенных любовных ситуаций приспособлен, видимо, не был и – стыдно признаться – не испытал их ни разу. Ходоком по бабам Полудин не родился, это уж точно.

Броских достоинств, которые сразу привлекают женщин, как мотыльков, Полудин не обнаруживал. В студенческие годы, когда мгновенно возникали и распадались пары, он в них не попадал. И не потому, что не хотел. Просто, чтобы заинтересовать своей персоной кого-нибудь, ему надо было долго ходить, доказывать, какой он хороший. Он начал нравиться, когда у него самого первое чувство прошло и возникли совсем другие отношения, почти родственные, и надо было жениться, что он сразу же и сделал.

*Тихоне свет Виталию  
Мы отдаем Наталию.  
Держи ее за талию,  
А после и так далее.*

Это пели у них на свадьбе.

Наталия оказалась размеренным существом. Она ему соответствовала, жила с ним спокойно, без ссор, сотрясавших семьи знакомых. Он любил вваливаться вечером домой, жевать кофе, чтобы не пахло водкой, вместе ужинать, возиться с сыном, раз в месяц выбираться вместе в кино и раз в год – в отпуск.

Инженер Полудин на вопрос, давно ли он женат, серьезно отвечал: «Всю жизнь».

Телефонный звонок на это и не посягал. Он манил мгновенной доступностью. Он приглашал узнать наконец всем известное, но почему-то для Полудина запретное. Как съездить за границу: ничего особенного, если испытал.

Из зеркала в дверце шкафа на него поглядело лицо, слишком деловое для такого случая, и он попытался улыбнуться. Но получилось нечто нагловатое, ему не свойственное. Обими ладонями он пригладил волосы и провел пальцем по щеке, поскольку настоящий мужчина должен быть не только слегка пьян, но и чисто выбрит.

Надо спешить. Бутылку он взял с собой.

Дверь номера, как на зло, заскрипела. Дежурная спала, положив голову на локоть. Она пошевелилась, глянула, куда он пошел, но ничего не сказала.

Он поднялся на этаж выше, слегка напряженный небольшой тигрик, готовый к прыжку. Нужно было взять с собой пижаму, чтобы переодеться. Все-таки пижама, как во французских фильмах, – это производит впечатление. Кстати, какие говорить слова? Нет в запасе ничего подходящего. Полудин вообще плохо умел говорить, когда необходимо, а без нужных слов может ничего не получиться.

У шестьсот восьмого он перевел дыхание. Потом решительно поднял палец, постучал и прижал ухо к двери. Донеслись шаги, и он отодвинулся, спрятав бутылку за спину. Кто-

то остановился за дверью совсем близко. Слышно было дыхание. Потом замок щелкнул, дверь приоткрылась.

На Полудина изумленно смотрела смуглая девчушка с большими черными глазами и черноволосая. У нее был длинный нос с толстой переносицей, это он запомнил твердо. Она показала ему слишком маленькой и толстой, явно некрасивой. Но после, вспоминая, он видел ее хотя и маленькой, но стройной, и некрасивость списал на застенчивость, которая вроде бы даже привлекала.

– Привет! – бодро сказал он, помня о том, что слова приближают цель. – Вот и мы...

– Вам кого? – глаза ее в полутьме расширились.

– Ты что, Инга?..

– Вы ошиблись. Здесь такой нету.

– Как нету? – такого поворота он не ожидал. – А это... ну, какой?.. Шестьсот восьмой?

– Шестьсот восьмой, а Инги нет.

Девушка глядела на него насмешливо, или, может, это ему лишь показалось.

– А вас как зовут?

– Не Инга.

– Извините... – только и произнес Полудин, с трудом ворочая языком.

Находчивостью он не отличался, это уж точно.

Дверь закрылась, хрустнул замок. Виталий постоял, повернулся и, машинально отхлебнув на ходу из бутылки глоток водки, растерянно побрел к себе, все еще не желая признать себя попавшимся на элементарный розыгрыш. Хорошо еще, что пижаму не взял с собой. Ничего не поделаешь. Злиться не на кого. Следующий раз не будь таким ослом. А сейчас забыть, забыть все.

Кайф продолжается!

## 5.

Полудин разделся, лег и, укрывшись с головой одеялом, начал было дремать, когда раздался звонок. Пришлось подняться и взять трубку.

– Ну, что? – обиженно спросил он.

– Ты на меня сердисься? – спросила она. – Очень? Я понимаю, что получилось глупо. Страшно стало, просто дух захватило.

– Чего же ты звонишь?

– Приходи...

– А ты опять?

– Нет, теперь приходи. Я уже почти не боюсь. Знаешь, как плохо одной?

– Если так, теперь уж ты иди!

Она помолчала немного. В трубке было слышно ее прерывистое дыхание.

– Я не могу долго быть смелой. Меня не хватает.

– Ну ладно! Хочешь, выйду тебя встречать?

– Выйди.

Короткие гудки.

Полудин, то ли сопя, то ли ворча, снова оделся и оглядел комнату. Кровать расхристана, но неизвестно, как лучше: застелить ее или оставить готовой? Он погасил свет. Нет, так совсем темно. Зажег торшер. Свет погасить успею, пусть лучше горит, чтобы эта трусиха опять не испугалась. Усевшись в кресло, он поглядел на часы: десять минут второго. Дома они с женой ложатся не позже пол-одиннадцатого, потому что без пяти семь щелкает будильник и надо вставать. А тут – кайф!

Для храбрости он отглотнул еще водки и пожевал корочку. Глядя через щель в полутемный коридор, он ждал.

Она вплыла вихляющей походкой, как сказал поэт, и, ожидая приглашения, оперлась плечом о дверной проем.

– Я пришла, – она сделала шаг вперед, к кровати, и расстегнула пуговицу на кофточке – то ли оттого, что жарко, то ли хотела снять ее. – Что это ты рисуешь?

Листки с его расчетами так и лежали на полу, придавленные линейкой. Он качнулся, чуть не упал, поднял бумажки, разложил на одеяле и кратко описал ей идею нового транспортера.

– Ты гений! – она расстегнула еще одну пуговицу.

Полудин не был уверен, что она что-либо поняла, но жена ему так никогда не говорила. Насколько мог, стремительно поднялся он с кресла, взял Ингу за руку и потянул к себе. Она приблизилась послушно, будто загипнотизированная. Он об-

хватил ее за плечи и прижал так, что захрустели кости. Защищаясь, она впиалась ногтями ему в спину.

– Сумасшедший! Гангстер! Супермен чертов! – задыхаясь, стонала она. – Ты дверь запер?

Как же он про дверь-то забыл? Полудин разжал руки и побежал к двери, по дороге больно ударившись локтем о шкаф. А вернулся – она прошмыгнула к кровати и погасила торшер. Прошелестела молния, упало на пол платье, стукнулись туфли. Он видел ее силуэт на фоне окна, слышал ее дыхание, чувствовал тепло и шел на это тепло осторожно, будто слепой.

Инга положила холодные ладони ему на уши. Оранжевые отсветы рекламы «Hotel Penza» дрожали у нее на волосах, придавая ей неземной вид. Казалось, она сама дрожит, – от любви к Полудину или оттого, что в номере прохладно. Он рванулся вперед, но она юркнула под одеяло. Остались одни глаза и черные волосы, разметавшиеся на подушке. Он стал стаскивать собственную одежду, впопыхах отрывая пуговицы и думая о том, что забыл Ингу сперва напоить. Ведь это принципиальная ошибка, так все говорят.

– Иди ко мне, глупыш! Иди же...

Впрочем, «глупыш» она не скажет. Позовет просто: «Иди ко мне».

Сняв часы, Полудин взглянул на них. Часы стояли, вчера утром он забыл их завести. Сколько прошло времени, пока, ожидая ее, он проиграл всю ситуацию в голове, установить невозможно. Она наверняка уже спустилась. Если спустилась...

Дверь в коридор все время была открыта. Если б Инга прошла мимо, он бы не мог не заметить. Швырнув в раковину окурок, он подошел к двери в нерешительности. Нелепое, взведенное состояние. Планер оторвался от земли, но не попал в воздушный поток, который должен поднять его. Надо сесть на землю, пока не швырнуло.

Полудин захлопнул дверь, пнул ногой отвалившийся кусочек штукатурки и стремительно вернулся. Он еще отглотнул из бутылки и сморщился от дряни, которую называют водкой. Наверно, уже третий час. Хотелось лечь в коридоре и заснуть. Собрав остатки сил, он, качаясь, добрал до кровати.

Стащить с себя брюки он не успел. Телефон зазвонил на всю гостиницу.



Он снял трубку и ждал. Она набрала его номер и хотела, чтобы он спросил. Они молчали, дыша друг на друга по проводу. Он скрипел зубами, стоя в одной брючине.

– Ты сердишься? – наконец спросила она. – Понимаешь, духу не хватило. Скажи мне что-нибудь. Все, что хочешь, только скажи!

Надо было обматерить ее, но раздражение уже прошло.

– Спать пора, – устало и равнодушно промямлил он.

– Пора, – послушно согласилась она. – Но не хочется.

– А чего же тебе хо... – он не договорил. – Откуда ты вообще меня знаешь?

– Я? Видела тебя в «Каса маре».

Конечно, в зале «Каса маре» она видела его, раз привезла молдавское вино! Он же там был и сам мог сообразить.

– Помнишь? Ты еще сказал: «Вот это вино!»

– Ну и что? Все говорят: «Вот это вино!»

– Конечно, все. Но тогда сказал ты. Думаешь, я дура, да?

– Почему я знаю.

– Я не дура, честное слово... Просто я пошла за тобой в гостиницу. То есть не за тобой, а к себе.

– Утро скоро. Зачем звонишь?

– Не знаю. Мне не с кем поговорить. Может, придешь?

– Ну, уж нет! Хватит, поговорили! Положи трубку.

– Не желаешь говорить? Может, ты тоже подонок? Клади сам.

– Я? Да я...

Он в сердцах бросил трубку. Хмель не прошел, но принял форму озлобления. Он мужик, в конце концов. Будто он сам не может решить, как поступить, идет на поводу у сопливой девчонки, которую и видел-то пять секунд через дверную щель. И вообще, у него свой взгляд на вещи. Да если бы он всерьез захотел, он бы своего добился. Просто лень было. Ишь ты, поговорить!..

Наверно, уже три. Спать. Немедленно.

Забиться, тихо и блаженно, на удобной кровати, одному – такой кайф еще лучше.

Раздевшись и стоя босиком, он поднимал уже одеяло, чтобы забраться под него, когда опять зазвонил телефон.

Полудин твердо решил не снимать трубки, но телефон звонил, звонил, звонил, звонил. Виталий прыгнул к телефону и

застонал от боли, с размаху наступив на укатившуюся водочную пробку. Стоя на одной ноге и держа другую в позе, которую йоги называют «Пальмой», он сорвал трубку с рычага и набрал первую попавшуюся цифру. Теперь он недосыгаем.

Остаток водки он допил, и его сразу вырвало. Красивый половик посреди комнаты выглядел теперь менее уютно.

Кайф успешно подходил к концу.

Полудин погасил торшер, вытянулся под одеялом, согрелся. Глаза побродили по теням на потолке. Ему захотелось вдруг позвонить жене. Поднять ее с постели заспанную, с двумя трубками бигудей сзади, закрученными так, чтобы было поудобней спать. Он скажет, что соскучился, и больше ничего. Она ответит раздраженно, что он сошел с ума, что она давно спит, но после, подумав, прибавит, чтобы он скорее приезжал.

Звонить на последние деньги он не стал: надо было оставить на еду. Сон окутывал сознание. Полудин похвалил себя за то, как правильно и решительно он поступил только что. Довольство собой и водка сделали тело невесомым, и старший инженер заснул сном праведника.

## 6.

Утром главный конструктор поморщился, слушая Полудина. Старая разработка была уже включена в план и утверждена, администрации завода была обещана премия от министерства. Да и самому Полудину, пока он излагал, идея с механической рукой уже не рисовалась такой великолепной находкой, как вчера.

– У нас не спорт, – буркнул главный, отодвигая наброски, едва заглянув в них. – Мы – химическое машиностроение.

– Все равно надо уметь прыгать! – запальчиво возразил Полудин. – А то всю жизнь не оторвешься от земли.

– Прыгать? – переспросил тот, с подозрением взглянув на командированного. – На Луне надо прыгать, там притяжение слабее. А тут бы на животе до кладбища доползти. Кстати, моя секретарша сказала, что из гостиницы звонили. Что ты им там с ковром натворил?

– С ковром?

– Ну, не с ковром, с половиком. Секретарша сказала, что ты уже отбыл. Они тебе на работу написали, не удивляйся...

И главный конструктор встал, давая понять, что время аудиенции исчерпано.

Половик в гостинице, из-за которого подняли шум, напомнил о нелепости всего остального. Командировка заканчивалась. Зачем они вызвали Полудина? Завод хотел застраховаться согласованиями и подписями, чтобы в случае просчета всю вину свалить в главке на проектировщиков. Проектировал не Полудин, а инженер Башьян, которая ушла в декрет. «Если она конструктор, так я тоже могу рожать», – сказал про нее Гурштейн из соседней группы. Расхлебывал Полудин, который видел их всех в гробу. Хорошо хоть вечер вчерашний удался на славу. В общем, если еще можно так культурно гульнуть, жизнь наша не так плоха, как клеветают наши враги.

Поставив ему в командировочное удостоверение отметку «Выбыл» и печать, секретарша сказала, что из Москвы звонил лично замдиректора Хануров и она ответила, что у Полудина все в порядке. Надо было подарить ей конфетку, но карман не звенел.

Откушав дешевого пойла в заводской столовке для ИТР, он, чтобы убить время, оставшееся до поезда, отправился бродить по городу без цели.

Тусклое солнце просушило мостовые, а ноги были мокрые. Ночью отопление отключили из-за режима экономии, и ботинки не высохли. Он глядел на местных женщин, и сегодня они ему нравились меньше, чем вчера. Вчера ему казалось, что все они готовы принадлежать ему одному, а сегодня выглядели загнанными, блеклыми и чужими.

Полудин обнаружил, что стоит перед «Каса маре». Так молдаване называют комнату, в которой принимают гостей. Дегустационный зал молдавских вин открылся в Пензе недавно (смелая акция обкома по пропаганде дружбы народов с учетом алкоголической их любознательности). Заводские завсегдатаи третьего дня приводили Полудина в подвал на опохмелку. Сделали они это за свой счет в надежде на ответное гостеприимство в Москве.

Смуглые девочки в национальных костюмах подавали на подносах каждому по несколько рюмок сразу. В них светились

марочные вина. Под питье доносилась из репродукторов лекция о советских винах, которые лучшие в мире. Потом давали попробовать. Букет, аромат, вкус... Но это были уже вина для внутреннего потребления за рубли и с лучшими в мире они имели лишь территориальную близость. Впрочем, командированный не огорчился: сам он отличал лишь белые от красных и сухие от крепленых, а предпочитал всем прочим сортам тот, которого на ту же сумму наливают больше.

Очереди в подвальчик в это время еще не было, так как вином торговать до двух запрещено, и трудящиеся дегустировали только соки, сильно разбавленные водой. Но и продавали бы – денег на вино у Полудина все равно не имелось, так что запрет в данный момент его лично не огорчил. Постояв перед «Каса маре», он побрел по улице дальше. Голова болела, желудок ныл, поташнивало, но в целом все было хорошо.

Ночной эпизод, когда он припоминал теперь детали, казался ему состоявшимся в его пользу. Будет о чем со вкусом рассказать узкому кругу курильщиков в конце коридора. Основную сцену Полудин тут же решил перенести на балкон своего номера, где они с хулиганкой Ингой делали это посреди ночи на виду всего города. По пьяной даже холода не чувствовали. Он ей рот рукой закрывал, чтобы она от кайфа не кричала. Остальные подробности, решил он, придут по ходу дела. Говорят, правда, что зам по кадрам и режиму уже велел установить в курилке микрофончик. Но, во-первых, за разговоры о бабах вроде пока не сажают, а во-вторых, небось, слух насчет микрофончика специально распустили, чтобы меньше курили и больше работали.

Полудин замедлил шаги. Он решил вернуться, спуститься в подвальчик «Каса маре» и гордо попрощаться. Инга ведь там, где ж ей еще быть? Пускай пожалеет, как много кайфа она потеряла. Решив это сделать, Полудин, как всегда, поступил обратным образом. Он бросил окурок на тротуар, растер его мокрой ногой, плюнул и зашагал к вокзалу.

Вместо «Каса маре» ему вдруг захотелось домой, на кухню. Жена, соскучившись, отпросится с работы, все быстро подаст, чтобы ему не пришлось тянуться ни за вилкой, ни за чашкой. Она свой парень. Сядет напротив, коротко сообщит с кем вчера подрался сын в детском саду и замолчит – вся внимание.

Он не торопясь поест, закурит и будет ей подробно втолковывать про успешное согласование проекта, которое он героически вынес на своих плечах, расхлебывая грехи всего отдела. Про свою колоссальную идею с механической рукой, до которой нынешнему уровню технического прогресса еще подниматься и расти. Не забудет он про гниду Ханурова, который буквально берет за горло. Про то, как его чествовали в дурацком «Каса маре» за их счет, как уложился в командировочные, не заняв ни рубля, и про то, что в Пензе со жратвой еще хуже, чем у нас, и куда это катится, непонятно.

Он расскажет ей все.

Всё?

Почти все.

## ПОСЛЕДНИЙ УРОК

### 1.

Директор школы Гуров не знал, как поступить.

Прямого указания сверху не поступило, сказали, мол, разберитесь сами, но так, чтобы до конца учебного года вопрос был решен правильно. Гуров уж и в райком ездил, дескать, намекните, как будет правильно? Там отвечали: вам же сказали – решите самостоятельно. Вот и действуйте. Ошибетесь – тогда и будем поправлять. Легко сказать! Если ошибешься, уже ничего не докажешь, и никто старых заслуг не вспомнит. Вот почему Гуров откладывал. Учебный год между тем спешил к концу, откладывать дальше некуда.

Месяц назад в школу нагрянули одна за другой три комиссии из разных инстанций. Перекопали до дна, а причину тщательно скрывали. Гуров грыжей чувствовал: что-то идеологическое. Но что именно, не мог выяснить, несмотря на все связи. Ничего страшного, видимо, не раскопали, иначе бы не перепоручали. Одномоментно раскрутили б дело на полную катушку и сделали оргвыводы. А тут почти утихло.

Дела в школе обстояли не хуже, чем в соседних, в чем-то даже и лучше. Учительскую перестало лихорадить, все вошло в свою колею. И вдруг...

– Ну, рады за тебя, – поздравил Гурова завотделом школ в райкоме, – что телега не подтвердилась.

– Телега? – его словно током ударило.

– Ты будто с луны свалился. Да анонимка, из-за которой весь сыр-бор. Учитель-то географии Комарик расхваливал на уроке фашистов и американский империализм.

– Что? – Гуров поперхнулся и закашлялся, не мог остановиться.

– Не заходишь... Возможно, оговорился. Учитель старый, уважаемый. А насчет того, что политики у него на уроках, будем говорить, недостаточно, факт, к сожалению, установленный. Дыма без огня не бывает. Там, где не все пронизано идеологией, остаются щели. Вот в щель и подуло. Кстати, сколько ему?

– Шестьдесят один.

– Шестьдесят один плюс беспартийный. Надо тебе этот вопрос подработать. Зря что ли комиссии трудились? Хотя, конечно, учитель известный на всю Москву, разговоры пойдут, дескать, не бережете кадры.

– Дак как же быть-то?

– Придумай.

По дороге домой Гуров, обиженно надувая губы, вспомнил, как Пал Палыч Комарик вылез недавно на педсовете с неуместным замечанием. Гуров ввел еженедельное тридцатиминутное чтение вслух газеты «Правда» для всей школы, а Комарику показалось, что для младших классов это, видите ли, рановато, и тяжело, мол, им стоять навтытяжку, без движения.

– От жизни отстаешь, Палыч! Они ведь будущие защитники родины, – пристыдил его тогда Гуров, не придав значения недовольству Комарика.

А оказалось, зря не придал.

Хотел Гуров посоветоваться с учителями, которым доверял, но боялся, что раньше времени слухи по школе поползут. Поэтому делиться ни с кем не стал, кроме завуча, да и то под большим секретом. Сказал ей только для того, чтобы попыталась отыскать автора анонимки (а то завтра на меня напишут!). Но она не смогла догадаться, кто, – многие учителя могли настрочить, а уж обиженных и злобных родителей так пруд пруди.

Мучился Гуров недолго: когда указание поступило, надо выполнять немедленно. И уж после думай, сколько влезет. Учи-

телей Гуров, конечно, собрал, дал указание предметникам уделять больше внимания линии партии и нашим успехам. А с Комариком он придумал прямо-таки гениальный ход, чтобы все были довольны.

– Пал Палыч, – он распахнул дверь учительской. – Тебе не трудно зайти ко мне?

И скорей вышел, вздохнув. Убирают-то не за старость, а за политику, – тут уж мораль ни при чем. Нечего распускать интеллигентские сопли. Черт дернул Комарика жалобу на себя спровоцировать. Учебное заведение все-таки – язык за зубами надо держать. С другой стороны, Гурова поставили в эту школу не так давно и скоро возьмут в министерство. Как бы учителя не приняли шаг нового директора за желание выслужиться или бюрократизм. И без того зовут за глаза полковником.

Гурова действительно бросили на укрепление фронта просвещения после отставки из армии, но он всегда старался избегать муштры и по возможности разрешал другим вести себя, так сказать, не по уставу. Да все имеет пределы. Что делать, если учитель не справляется с ответственной миссией? Устранить человека с почетом – это не Гуров изобрел. Так и на самом верху делать принято.

Тем временем Пал Палыч, отложив все дела, с готовностью захлестнул и прислонил к стенке потертый портфель с поломанным запором. Он прошелестел по коридору, откашлялся, предвидя разговор, открыл директорскую дверь и остановился посреди кабинета с непременным портретом того, кого надо. Старик помнил, что в этом старом, начала века, здании гимназии, в том же директорском кабинете, на той же стене одно время висел Хрущев, а до него – Сталин, до Сталина, говорили, Троцкий, а до Троцкого – Николай-последний. Портреты Сталина и Хрущева (куда их было девать?) и по сейчас стоят в пыли за шкафом. Гуров, небось, и не знает. Еще, глядишь, кое-кому понадобятся.

Директор поднялся и, задев животом угол стола, двинулся к учителю. В принципе все уже решив, он опять заколебался: что, если решение преждевременное? Но защищать старика нельзя. Если защищаешь – ты с ним заодно. И Гуров не смалодушничал, не отступил.



– Любезный Пал Палыч! – он взял старик за локоть. – Говорят, якобы анонимка тебя обидела. Пустяки. В чем там дело-то?

– Дело серьезное, не пустяки, – Пал Палыч вытащил из кармана малюсенькую щеточку и пригладил седые усики, делавшие его похожим на благородного иностранца. – Я этот пример лет тридцать привожу, когда проходим Голландию. Но до сих пор анонимок не поступало.

– Хоть что за пример?

– Немцы в войну из других стран вывозили ценности, специалистов. Из Голландии же везли в вагонах землю. Вот какие были умные фашисты.

– То есть как это – умные фашисты? – с тревогой спросил Гуров. – В каком-таком смысле?

– В таком, что земля голландская очень плодородна, на ней всё растет даже лучше, чем в американском штате Калифорния.

– Да при чем тут Калифорния?

– Мне уж Марина Яковлевна тоже говорила: «На кой вам Калифорния?! Сравнивали бы лучше с нашей Кубанью, что ли...» Хорошо, на будущий год сравню с Кубанью.

Еще не хватало: говорить ученикам, что почва в Голландии лучше, чем на Кубани! Совсем старик спятил. И черт дернул его болтать про всё это! А насчет умных фашистов – ни в какие ворота не лезет! Конечно, кто-то стукнул. Теперь заработала машина, и в результате – все ангелы, а Гуров – Змей Горыныч.

– Пал Палыч, – Гуров взял быка за рога, – я слышал, ты на пенсию собираешься. Нехорошо скрывать от нас, нехорошо. Все-таки мы – твоя вторая семья. У коллектива встречное предложение: не просто тебя проводить, а торжественно, пригласить общественность на последний урок. Организацию мероприятия мы возьмем на себя, на то мы и администрация...

Сказав, Гуров ощутил неловкость. Какая вторая семья, когда семьи у Комарика никогда не было. Еще подумает, что намекнул на давнишний флирт с завучем Мариной Яковлевной, о котором Гурову, едва он в школе появился, все уши прожужжали.

Пал Палыч не знал, что собрался на пенсию. Пожевал губами и произнес что-то вроде «м-м-м». Растерялся, но возражать администрации ему в жизни не довелось.

Возражал он после, про себя, когда шел домой. Слякотно было, как осенью, а ведь шло начало мая. Асфальт на тротуаре местами провалился, лужи, рыжие от глины, отражали заборы и прохожих. Сырость пробиралась внутрь, портфель тянул руку, хотя был почти пустым. Все, что могло понадобиться на уроках, лежало в голове. От кого же он слышал, полковник, что я собрался на пенсию? Может, из роно указание? Стало быть, пора меня, гнилого мерина, гнать.

## 2.

В середине мая потеплело. Пал Палыч открыл окно. Вечером дворовая ребятня разбрелась по домам, стало тихо. Он сидел за столом, покрытым желтой, в цветах, клеенкой. Это был и обеденный, и письменный стол: демаркационная линия проходила точно посередине.

На письменной стороне стоял глобус, похожий на дыню. Голубые океаны выгорели, стали желтыми пятнами. В войну, когда не осталось пособий, дети скатали из глины шар, облепили бумагой в несколько слоев, разрезали, нутро вынули, оболочку склеили и надели на проволоку. Хрустя и пошатываясь, земной шар завертелся.

На глобусе осталось множество ошибок: Африка налезала на Европу, Азия сплющилась, обе Америки перекосило. И глобус, и сам земной шар уйдут на пенсию за ненадобностью. Со временем, со временем, конечно, а пока... Может, пожаловаться кому? Да кто теперь на жалобы внимание обращает? И правы они: мало у меня идеологии, а география нынче никому не нужна, главное – знать указания, они вполне знания заменяют.

После того разговора, встретив в коридоре во время перемены полковника, он попросил только: не надо торжества. Тихо подам заявление, и все тут. Зачем будоражить школу, тратить время без того забеганных учителей на сугубо личное дело?

– Одобряю и ценю твою скромность, Пал Палыч, – сказал Гуров. – Но дело это вовсе даже не личное. Ты ведь старейший учитель в районе. К учителям, сам знаешь, отношение у общественности особое. И потом, не могу же я отказать людям, если они последний раз хотят посидеть у тебя на уроке. Да и в роно уже знают.

Стало быть, указание не из роно. Инициатива снизу, полковник сам решил.

Жизненный ритм Пал Палыча с того дня нарушился. По ночам старик ворочался, мысли теснились в голове, налезая одна на другую. Вот и опять, встав из-за стола, старик протопал по комнате к тумбочке. Вытащив пачку фотографий, развязал тесьму. Какой же это год? Где-то в конце войны. Учительница ботаники, Марина Яковлевна, красивая и белолицая, как Божья мать...

Жила она тогда в школе, вход сбоку, с пристройки. Отец ее был директором. Спустя год после войны Пал Палыча вызывали. Спрашивали, не искажает ли педагогической линии директор школы, отец Марины Яковлевны, который, как выяснили, недавно взял у знакомого книгу немецкого педагога на немецком языке. Директор никакой линии не искажал, но Комарик как человек честный и недавний фронтовик, прежде чем сказать, задумался, и получилось, что ответил он как-то нетвердо. Директора все равно забрали, и не потому, что не был тверд Пал Палыч. Но простить себе той медлительности он не мог и казнил себя, что не пошел просить за него, не написал.

Все это Комарик изложил Марине Яковлевне, считая, что скрывать нечестно. Она поняла его задумчивость как трусость и сказала все, что о нем думает, с горячностью, свойственной молодости. Позже она его, конечно, простила, но время ушло. За время это Пал Палыч женился на другой учительнице, у которой вскоре внезапно проявилась болезнь, сведшая ее через несколько лет в могилу. Марина Яковлевна тоже вышла замуж. Пал Палыч на других женщинах не останавливался, не получалось, и она, жалея его, с ним иногда спала. Он один растил дочь, а когда та вышла замуж и уехала от него, довольно быстро осунулся и стал жалок.

Оставив на столе фотографию, Пал Палыч покрутил глобус. Он признался себе, что было бы приятно, если бы кто-

нибудь из его бывших учеников появился завтра на уроке. Но он был не до конца откровенен с собой. Он подумал об учениках только для того, чтобы сосредоточиться на одном-единственном – Толике.

Пал Палыч снова присел и, подняв очки, поднес к глазам фотографию. Вот этот, третий справа, остриженный наголо, как требовали в то время в мужской школе. Сколько раз Комарик, между прочим, упоминал его на педсоветах и районных конференциях и делал это не корысти ради. Ему лично ничего не надо. Хочется только пользы делу.

По настоянию учителя географии портрет академика Анатолия Михайловича Дорофеенко, в черном костюме с лауреатскими знаками, поместили в раме, под стеклом, в коридоре старших классов. Там как раз освободился гвоздь, который до специального звонка из роно держал академика Лысенко. Дорофеенко висел скромно, в одном ряду с Дарвином, Ломоносовым, Менделеевым и Мичуриным, как и они, без всяких подписей, что особо подчеркивало его известность.

Учитель при случае укорял ребят академиком, который, де, учился по всем предметам блестяще. Толик был не столько способный, сколько деятельный по комсомольской линии. Учился средне, но везде проникал – тоже способность. Да и кто посмеет упрекнуть Пал Палыча в том, что он подкрашивал действительность? Возможно, в этом особом случае цель и в самом деле оправдывала средства.

Временами старику казалось, что Дорофеенко вообще не существует. Нет его. Муляж, наглядное пособие. Но легенда о знаменитом ученике то и дело подкреплялась документами. Дети приносили вырезки из газет: статьи с перечислением под фамилией всех титулов и званий, интервью о том, куда и как надо двигать географию в свете последних указаний, и чем советская география коренным образом отличается от буржуазной.

Дважды школьники писали академику коллективные письма от имени и по поручению. Учитель вместе с ними подписывал их. Ответы оба раза приходили не скоро, но приходили напечатанными на машинке за подписью его секретарши. Дорофеенко, говорилось там, желает всем больших успехов в учебе и труде. В одном из писем имелась даже приписка от

руки: «Особый привет географу Павлу Павловичу Комарику». Лучшие чтецы с выражением читали письмо во всех классах.

В общем, появившись Толик на последнем уроке, для авторитета школы и в районе, и в городе это было бы крайне полезно. Ну и полковник пожалеет, что отправил на пенсию учителя, ученики которого прославляют школу на всю страну.

Намотав на палец длинную цепь, Пал Палыч вытянул из кармана тяжелые серебряные часы фабрики Павла Буре. Это была его тайная фамильная гордость, единственная уцелевшая: память о предках, имевших под Москвой хиленькое имение, в революцию сожженное просто так, ради красного петуха. Продолжая глядеть на циферблат, старик пошел в коридор. Туда сходились еще три двери, составляя коммуналку с общим телефоном на стене и карандашом на веревочке.

### 3.

Анатолия Михалыча нередко будили из Москвы, а то, случалось, звонили из Парижа или Рима. Он поежился, нащупал у лампы кнопку, зажмурившись от яркого света, похлопал ладонью по журнальному столику, ища очки, и дотянулся до телефона.

– Дорофеенко Москва вызывает, – металлическим голосом сообщила телефонистка. – Москва на проводе.

– Давайте.

Дорофеенко устало зевнул. Из трубки донеслось мычание.

– Слушаю, хэллоу. Кто это?

– Толик... м-м-м... Толик...

Он опять зевнул.

Мало людей называли его, поседевшего, степенного человека, Толиком. И он без труда различал их. Но тут не смог.

– Толик, это Пал Палыч.

– Пал Степаныч? Здравствуй, батенька. Что же монографию задерживаешь? Рассержусь!

– Нет, Толик, это Пал Палыч, учитель географии из твоей... из вашей школы.

– Пал Палыч? Ну как же, как же, помню. Чем могу служить?

– Вы, м-м-м... извините меня, голубчик, что беспокою. Я помню, у вас поясное время.

- У вас тоже поясное время. И у всех поясное...
- Я хотел сказать, у вас поздно. Может, разбудил?
- Пустяк! А в чем дело?
- Что?
- Пустяк, говорю.

– Нет, не пустяк. Разница во времени три часа. Но у меня завтра последний урок... м-м-м... в моей жизни. Меня... Я на пенсию...

– Поздравляю с заслуженным отдыхом. Помню, как вы беспощадно тройки мне вкатывали. За дело, ничего не скажешь, за дело.

Несколько искусственно хохотнув, Дорофееенко поднялся, одной рукой накинул халат.

Ему ежедневно приходилось общаться со множеством людей, и по первым вежливым фразам он умел угадать, что человеку нужно. Это помогало сэкономить время. А тут, наверное со сна, не мог он усечь, зачем позвонил учитель.

- Все знают, Толя, что вы мой самый талантливый ученик.
- Полноте!

– Прости старика. Я читал в газете, что ты чуть не каждый день в Москве. А завтра? То есть у вас, в Новосибирске, сегодня?

– В Москву? Я там должен быть в четверг на президиуме, потом останусь гастроли французов поглядеть. Утром, стало быть, среда?

– Прилетай на день раньше, загляни в родную школу. Вроде как торжество.

- Торжество, говоришь?
- Может, с билетом сложно?
- Чепуха! Когда урок-то?

– В тринадцать десять по-московскому. В школе тебя очень любят, Толя.

– Точно обещать не могу, попробую. Кабы, батенька, заранее... Я ведь себе не принадлежу.

- Для всей школы твой приезд будет праздником!

– Ну, уговорил, Пал Палыч, уломал, будь по-твоему, – Дорофееенко и не заметил, как соскользнул на привычное административное «ты». – Пока!

– Закончили разговор? – спросила телефонистка. – Разъединяю.

Дорофеенко сбросил халат, лег на спину. Жена делала вид, что не просыпалась.

Он медленно снял очки и очутился в той проекции, о которой совершенно забыл. Старый московский переулок, школа, парадное с оторванной дверью, война... Небось, все поносили, а школа стоит. Да, утренним рейсом он вполне успеет. Встретят, как положено. Пионеры будут салют отдавать, подарят цветы, которые никогда не знаешь, куда сунуть, и все прочее. Сколько раз принимал он подобные почести в других местах, – везде одно и то же.

Пал Палыч казался немолодым, когда Дорофеенко еще учился. Сколько ему нынче? Почему я пошел в данную отрасль – благодаря ему или вопреки? Или он просто ни при чем? Вот выйду на пенсию – обдумаю этот вопрос в мемуарах. Последний урок... А ведь, с другой стороны, и у меня тоже это будет: последний труд, последнее выступление по телевидению, последний международный конгресс, последний путь... Как говорится, за себя написать ничего не успел: сперва писал за других, а теперь другие за меня.

Руки Дорофеенко лежали скрещенными на груди, и он снял их. Как сказал однажды Лев Толстой, не спрашивай, зачем жить, спрашивай, что мне делать. Неплохо бы уважить старика. Нужно всегда оставаться людьми, в любом ранге, да мешает суета. Мы – жертвы. Наука поглощает нас целиком. Завтра бюро обкома – обойдутся, как бы только Темякин не перебежал дорогу с поездкой в Испанию. Прием англичан – это перепоручу. Что еще важное?

– Полетишь, Толь? – рассеянно спросила жена, привыкшая к непрерывным его вояжам.

– Знаешь ведь...

Он не договорил и погасил лампу.

#### 4.

С утра Пал Палыч сходил в прачечную, взял накрахмаленную рубашку, которую не любил, потому что она натирала шею. Он заварил и выпил крепкого чаю, как всегда, с кусочком сыра без хлеба. Взял под мышку портфель, дошел до

двери и вернулся. Положил портфель на место, на табуретку возле стола, и отправился просто так.

В школе мирно текли уроки. Коридоры пустовали. Гулко отдавались шаги, да уборщица тетя Настя брякала ведром. Из-за дверей доносились знакомые голоса учителей.

– Пал Палыч, миленький, где же вы? – пропела завуч, выкатившись ему навстречу и артистически всплеснув руками.  
– Полковник волнуется, скорей к нему!

Какая Марина Яковлевна сегодня нарядная. Она счастлива, чего там, только прикидывается грустной. Муж – начальник цеха на заводе, почтовом ящике, троих детей нарожала – редкость по нашим временам, дело любит.

Комарик зашел в кабинет директора, пожевал губами и пробурчал:

– М-м-м... Приедет, весьма возможно, Дорофеенко.

– Ого! – удивился Гуров и встал. – Ай да Палыч! Как говорится, комментарии излишни.

Было от чего ахнуть Гурову: лауреат, член ЦК, президент какой-то международной ассоциации борьбы за мир, почетный член нескольких академий Европы нынче собственной персоной будет в школе. Старик врезал в яблочко. Конечно, академика надо встретить, как положено. Для коллектива огромный положительно воздействующий фактор!

Директор приложил кулак ко рту, посмотрел на учителя и вдруг пожалел, что плохо о нем думал.

– Обрадовал ты нас сообщением, Палыч, – сказал он. – Очень обрадовал. Иди, спокойно готовься к уроку, мы сами все организуем. Единственная просьба: не забывай про высокий идейный уровень. Не надо нам Голландии и уж тем более Калифорнии, сам понимаешь. Дави больше на наши достижения, на патриотизм... Да, попроси ко мне завуча.

Когда дверь за учителем закрылась, Гуров открыл сейф. В нем стояло несколько бутылок коньяку и коробка конфет для почетных гостей: событие придется, как положено, завершить в кабинете. Директор вытащил початую бутылку коньяку, плеснул в стакан небольшую дозу, проглотил, чмокнул, закусил шоколадной конфеткой, запер сейф и снял трубку. Он набрал номер, соединился со знакомым в «Вечерке» и сообщил суть дела.



– Оценил? Тогда быстрее присылай сотрудника, можно и фотокорреспондента.

Вбежала, запыхавшись, Марина Яковлевна.

– Куда вы все запропастились? – спросил директор. – Лозунг готов?

– Всё-всё нормальненько.

– Текст продумали?

– Очень сердечный, как вы велели. Написали: «Прощайте, дорогой учитель Павел Павлович!»

Гуров поморщился.

– Что-нибудь не так? – встревожилась Марина Яковлевна.

Директор потер пальцами, словно ощупывая лозунг.

– У-у-у, вас могут неправильно понять, не чувствуете? Срочно снимите с урока десятиклассников, пускай перепишут: не прощайте, а – до свидания. У нас же не похороны. И потом это... «дорогой учитель». Знаете, кто у нас учитель? А вы Пал Палыча так называете. За это опять нагоняй. Нет уж, с меня хватит. Значит так: «До свидания, Павел Павлович». Ну, можно еще восклицательный знак. И больше никакой самостоятельности! Выполняйте.

Кивнув, Марина Яковлевна побежала было обратно. Полковник прав, глупо написали. Как она сама не сообразила?

– Кстати, – окликнул директор, предварительно окатав глазами ее обтекаемый задик. – А что с цветами?

– Деньги собрали. Букет с рынка ребята уже притащили. Не очень эффектный, ну, уж какой добыли.

– Попрошу вас, – Гуров сделал паузу. – Букет для вручения разделить, сделать два.

– Два?!

– Два. Приедет академик Дорофеенко.

– Боже мой!

– Поменьше эмоций, побольше дела. Найдите старшую вожатую. Пусть подготовит пионеров для встречи, как положено. Отмените урок, но чтобы всех одеть – белый верх, темный низ и при красных галстуках. Горниста и знамени, я думаю, не надо, не тот случай. Вызовите секретаря комсомольской организации. Надо оповестить комсомольцев, чтобы у всех были на груди значки. Проследите лично.

Порозовев от волнения, Марина Яковлевна хотела что-то спросить, но Гуров жестом дал понять, что дальнейшие разговоры неуместны. Он проверил, закрыт ли сейф, запер кабинет и направился в учительскую.

Народу там набилось битком, и гул стоял ничуть не меньше, чем в коридорах на перемене. Учительницы начальных классов детей отпустили и явились как одна. Предметники, даже те, кто хотел увильнуть (и без того дел полно), или те, кто, вслух не высказываясь, отрицательно отнеслись к уроку (это панихида какая-то!), все же, боясь гнева полковника, заглянули в учительскую. Свои и гости гнездились кучками. Инструктор из райкома стоял особняком с выражением большой ответственности на молодежом, но заплывшем от недостатка двигательной активности лице.

Чужие шепотом спрашивали своих, где академик, а те пожимали плечами. Корреспондент из «Вечерки» рассказывал заведующему роно, как несколько лет назад в газете проскочила ошибка. Вместо слов «пионер космоса» в газете чуть не напечатали «старпер космоса» – наборщик пошутил.

– Небось, снизили бы вам оценку за дисциплину, – пошутил, в свою очередь, завроно.

– Редактора бы снизили, – мрачно сказал корреспондент. – Между прочим, почему у вашего учителя такая фамилия? Он что, с пятым пунктиком?

– Не, он по паспорту чистый, – быстро ответил завроно.

– Читателям его паспорт не виден. Мне-то все едино, но редактор закривляется.

Вновь вошедшие подходили к Пал Палычу, который старался держаться в стороне. Жали руку, хлопали по плечу, желали успеха в личной жизни. Он всем кивал и виновато улыбался, обалделый от почестей.

– Стулья в класс затащили? – крикнул кто-то.

– Отнесли, отнесли, – успокоила Марина Яковлевна.

– Еще отнесите, – распорядился Гуров, – возьмите из актового зала.

Гуров, сжимая в ладони связку ключей, стоял в дверях, одной ногой в учительской, другой в коридоре, чтобы быть в курсе всего происходящего.

Ровно в тринадцать десять уборщица тетя Настя в надетом поверх зеленого цветастого платья синем мужском пиджаке,

с медалью за победу над Японией, вытерла подолом руки и с неизвестно откуда взявшейся военной выправкой, печатая шаг, подошла к выключателю звонка.

– Подожди, – остановил ее директор, глядя в конец коридора. – Я скажу, когда начать.

– Дык время же!

– Время подождет.

Он наклонился к завучу:

– Пионеры у входа выставлены?

Марина Яковлевна испуганно развела руки:

– А как же! Все нормальненько...

– М-да-а...

– Класс на взводе, Пал Палыч тоже не железный, – тихо пропела она. – Может, отложим урок, то есть перенесем?

– Скажете тоже! – Гуров поморщился, оглядел учительскую и приглушил голос. – Тут люди из райкома, из роно, из других школ... Ладно! То, что Дорофеенко опаздывает, в целом еще лучше. Он войдет в сопровождении пионерского строя прямо во время урока. Улавливаете мою мысль? И это будет торжественный и эффектный воспитательный момент: встреча учителя и ученика на глазах детей и общественности. Возвращение блудного сына. Это я шучу, конечно, вы поняли? В общем, начнем! Вас я прошу остаться у входа и лично следить за встречей академика.

– Остаться? – Марина Яковлевна всплеснула руками, и глаза у нее поглупели. – А урок?

– Ну, не имеем мы права ставить личные желания выше долга. Настя, давай!

– Звони, тетя Настя, звони! Что ты по сторонам зеваешь? – приструнила ее Марина Яковлевна.

Директор повернулся ко всем.

– Даем звонок. Прошу, товарищи!.. Пал Палыч, дорогой, ты готов? Тогда вперед иди, вперед!..

– Почетный-то гость ваш где же? – спросил корреспондент.

– Не волнуйтесь, – успокоил Гуров. – Всему свое время.

Настя по привычке вытерла ладони о платье и подняла руку, будто давала команду «Огонь!» орудийному расчету. Щелкнул выключатель, но звонка не последовало.

– Опять заел, проклятый! Уж сколько раз просила отремонтировать, а толку–то что.

Она стала тормозить выключатель, стукнула кулаком по боку. Учительская заулыбалась.

– Не хочет школа спешить с твоим уроком, а, Палыч? – сказал завроно.

Комарик стоял весь белый, а тут вдруг покраснел, будто это он был виноват, что звонок не работает.

– Извините, – прошептал старик.

Наконец Настя хитро шлепнула ладонью по выключателю снизу вверх, и звонок вякнул, замолчал, а потом зазвонил как полоумный, оглушая всех.

Комарик в коричневом костюме, дурманящем нафталином, неуверенной походкой двинулся из учительской, неся в руках указку, – не как пику, как тросточку. Марина Яковлевна пожалала ему локоть и прошла с ним несколько шагов. Он рассеянно кивнул ей.

По только что вымытому Настей коридору, где рядом с Дарвином, Ломоносовым, Менделеевым и Мичуриным висело строгое и более значительное, чем все остальные, лицо академика Дорофеевко, в направлении к девятому «б» за учителем потянулась процессия. У двери старик остановился, пропуская общественность.

Класс, переутомившийся от ожидания, загрохал партами и вытянул шею навстречу входящим. Ученики с ехидцей смотрели, как гости, толкаясь, усаживаются. Завроно грузно втиснулся за парту рядом с корреспондентом. Принесенных стульев не хватило, и ученики сами начали вставать с последних парт и подсаживаться третьими вперед.

Когда Комарик вошел, в глаза ему бросилось красное полотно, на котором было написано белыми буквами: «До свидания, Павел Павлович!»

– Здравствуйте, – хрипло сказал он.

Засмеялись каламбуру, захлопали. Отличница Сарычева, в пионерском галстуке и с комсомольским значком на недетской груди, распирающей школьное платье, подняла руку и, не ожидая разрешения, спросила:

– Пал Палыч, а правда, что придет Дорофеевко?

Она хотела угодить, но Комарик пробурчал что-то невнятно, сел за стол и уткнулся в журнал. Сарычева повела плечами

и оглянулась на директора. Тот, отрицательно качнув головой, приложил палец ко рту.

В горле у Пал Палыча першило, от напряжения слезились глаза. Опасение сказать что-нибудь идеологически неверное сверлило сознание. Как назло, заболел зуб, который давно надо было удалить. Учитель все время поправлял очки, они мешали, больно давили на переносицу. Радуются, что ухожу, вдруг мелькнуло у него. И никак не мог отогнать эту мысль, хотя в нее не верил.

С трудом он отметил, кого нет, оглянувшись, на месте ли политическая карта мира. Хорошо, хоть она висела на месте. На «камчатке» все еще не расселись гости.

Комарик не знал, как должен проходить торжественный урок. Все эти дни думал, что скажет ученикам о себе и о жизни. Но уместно ли теперь, в присутствии официальных лиц, которым известно об анонимке, на уроке географии говорить о жизни вообще? Не прозвучит ли это опять аполитично? Он приступил, как обычно, к опросу. Двоечников опрашивать было неуместно, отличников как-то неловко: зачем ему явная показуха? Он стал вызывать средних. Средние отвечали средне, даже хуже, чем обычно, испуганные своей исторической миссией.

Оглядывая класс, учитель не мог себе простить, что сболтнул полковнику о Толике. Распустил нюни на старости лет. Приехал бы тот – хорошо, а нет – никто бы не узнал.

Гости шепотом переговаривались о всякой всячине, не имеющей к уроку отношения. Ребята оглядывались на дверь, ожидая явления академика. Сидя за партой с долговязым двоечником, Гуров следил за стрелкой часов и осторожно поглядывал то на завроно, то на инструктора райкома. Те были непроницаемы.

Поначалу Гуров ждал, что с минуты на минуту дверь откроется и академик Дорофеенко, побрякивая лауреатскими медалями, прошествует в класс в сопровождении эскорта пионеров. Это будет кульминационным моментом урока. Если Комарик не сообразит вызвать знаменитого ученика к доске, можно будет тактично подсказать. Выступление академика на школьном уроке географии – такое в «Вечерке» прозвучит неплохо. Но вот уже скоро полуурока. Дорофеенко не появил-

ся и не появится, иллюзии ни к чему. Небось, Комарик просто свистнул, рассчитывая на поддержку, чтобы на пенсию не уходить.

Пал Палыч подошел к карте и начал говорить, вода указкой. Он умел интересно рассказывать. Но сейчас директор, слушая его вполуха, наблюдал за классом. Не слушают. Думают о своем, зевают, записочки передают, хихикают. Для них это важное мероприятие на другой волне. Нет, старость понять и уважить можем только мы, взрослые. Не слишком ли жестоко поступает школа? Но ведь так устроен мир. Мне велели только нажать кнопку. Даже с точки зрения общечеловеческой морали, хотя она нам и не указ, иного выхода не дано. Молодежь подпирает и выталкивает стариков. Замена у меня на примете подходящая: географичка молодая, вроде неглупая, русская, партийная. А главное, симпатичная внешне. Есть на что глаз положить, и не только глаз.

Комарик вдруг замолк. Спазм сдавил горло. Слова запрыгали, заметались, заклокотали, бессильные сорваться с языка. Страх сказать не то давил на него всю жизнь, урезал его ум, обкорнал знания. Он чувствовал, что превратился в ничтожество, но что он мог поделаться, как мог иначе жить? Наступила неловкая тишина. Глотнул, начал фразу, снова глотнул. Гуров поднял бровь, подумал было: вот и забывать стал старик, склероз. Наконец, Пал Палыч совладал с собой, откашлялся, заговорил. Внутренние часы его сработали. Едва он произнес последнее слово, зазвенел звонок.

Отличница Сарычева вытянула из-под парты букет цветов в целлофане и, поправляя совсем короткое, детское, платье, поднесла учителю. Второй букет остался у нее под партой.

Класс задвигался, загалдел. Все смешалось: хозяйева, гости, толпящиеся у дверей ученики второй смены, прослышавшие о том, что приехал живой академик, который висит в коридоре.

– Пал Палыч – пал, – сострил завроно на ухо корреспонденту.

– Ну, как урок? Понравился? – на всякий случай спросил Гуров.

– Неплохо, – похвалил корреспондент и глянул на часы.

Он думал о том, что потратил два часа, а без академика не дадут на полосе больше десяти строк – копеечный гонорар. Хорошо еще, фотарь зря не таскался.

Инструктор райкома наклонился к заврону:

– Академик-то ваш, того, зажилел. Когда у нас на учете состоял, на цыпочках в райком бегал. Между нами говоря, лауреатские свои бляшки он получал знаете за что? За расшифровку фотографий со спутников-шпионов. Его в загранку одного не выпускают, опасно. А дачку себе не в Новосибирске, а под Москвой отгрохал – у нашего секретаря райкома и то победней...

Стоя в окружении долговязых детей, счастливых уже от того, что можно орать, старик беспокоился о Толике. Не мог же тот просто забыть. Обещал ведь, значит, что-то помешало. Скучно прошел урок, серо. Винават я сам, не оправдал того, чего от меня ждали. И Гуров будет ворчать: про идейный-то уровень я забыл. Надо было вставить что-нибудь актуальное.

– Пал Палыч, миленький! – вбежала в класс Марина Яковлевна. – Всё прошло замечательно!

Она обняла Комарика за шею и шепнула ему на ухо:

– Мне полковник, то есть директор, давал порученьице, но я весь урок мысленно была с вами.

Она посмотрела в бегающие, слезящиеся глаза старика, хотела его поцеловать, но в присутствии директора постеснялась.

– Знаете, почему Дорофеенко не успел? – найдясь, обратился Пал Палыч к директору. – Погода в Сибири нелетная. Я утром прогноз краем уха слышал. Думал, не коснется, а там пурга. Когда пурга, то...

Уборщица Настя, запыхавшись, вбежала в класс, мигом отыскала глазами Гурова, вынула из обтертого кармана пиджака бумагу, разгладила об живот и протянула директору.

– Не время сейчас, Настя, иди отсюда, – отмахнулся Гуров. – Видишь же!

– Дык, телеграмма-молния, – объяснила Настя. – Уж я бегла, бегла, думала, никак запозднею.

Гуров надорвал телеграмму, пробежал взглядом и крикнул:

– Товарищи! Не расходитесь! Телеграмма-молния! Молния!..

Все приостановились, затихли. Несколько учеников влезли ногами на парты. Кто-то хлопнул крышкой – на него цыкнули.

– Оглашаю, – театрально произнес Гуров. – «Приношу искренние извинения связи невозможностью прибыть торжество. Точка. Задержан важным государственным делом. Точка. Сердечно поздравляю коллектив учителей, запятая, учащихся, запятая, крепко жму руку, запятая, обнимаю Павла Павловича Комарика. Точка. Подпись: верный его ученик – академик Дорофеенко».

Заплодировали. Гуров протянул телеграмму Комарику, старик взял ее двумя руками, как хлеб-соль, и поклонился. Он смотрел в нее, но строчки прыгали, и прочесть ничего не удавалось.

– Радость-то! – громко воскликнула Марина Яковлевна. – Радость какая!

– Есть мнение, товарищи, – сказал директор, забирая телеграмму из рук Пал Палыча, – зачитать телеграмму во всех классах на торжественных линейках.

– Может, не надо? – тихо сказала завуч на ухо директору.

– То есть как?! – Гуров в недоумении посмотрел на нее.

Она опять наклонилась к его уху, прошептала:

– Я сама ее послала.

– Из Новосибирска?

– Дочка телеграфистки в моем классе. Я сбегала на почту, попросила, и все нормальненько...

– М-да! – Гуров почесал затылок и прищурил глаза.

В коридоре гости, учителя и ученики смешались в толпе. Директор проворно забежал вперед, расставил руки, процеживая учеников и собирая гостей. Когда гости приостановились, он объявил:

– Высоких гостей прошу ко мне в кабинет: краткое совещание по итогам урока. Учителя могу быть свободны...

Он повернулся и поспешил в кабинет откупоривать бутылки.

Второй букет, оказавшийся ненужным, длинноногие ученицы стали было растаскивать по цветочку. Но Марина Яковлевна, заметив это, забрала букет, сказав, что он пойдет в учительскую. В учительской она передумала и забрала букет домой.

Про Пал Палыча забыли. Он уходил из класса после всех. В дверях он оглянулся на красное полотнище над доской и



подумал: что, если попросить еще один последний урок? Такой, чтобы, кроме учеников, никого не было... Разрешит полковник или нет?

## ДЕНЬГИ КРУГЛЫЕ

### 1.

Разбудил Машу напряженный разговор за дверью.

– Я устала, устала! Тебе плевать: отвалил в парк и обо всем забыл. А у меня дети...

Это мама.

– Каждый раз одно и то же. Завтра зарплата, завтра! С луны ты что ль свалилась?

Это отец.

– Завтра? А дети? Им надо жрать сегодня!

– Делала бы аборт, как все, не стонала бы теперь.

– Сам же сказал: ладно, рожай.

– Мало ли что! У тебя головы нету? С одним-то вертелись на сковородке. Я что – из тумбочки бабки достаю? На кой всякое дерьмо покупаешь?

– Тарелки – не дерьмо, дефицит, все брали.

– Ладно, тарелки... А юбка зеленая откуда?

– Юбку мне Евдокия отдала, ношеную. От тебя такого подарка не дождешься. Почему одна я должна биться, как рыба об лед? Вон, у Фаины мужик дак мужик...

Это опять мама. Евдокия – одна соседка, проводница поезда «Москва – Берлин», Фаина – другая, у нее муж в «Утильсырье» талоны на «Графа Монте-Кристо» за макулатуру выдает.

– У Фаины мужик абсолютно ежедневно в дом чегой-то приносит. Е-же-днев-но.

– Он же ворюга!  
– А на деньгах, между прочим, этого не написано.  
– Скоро сядет!  
– Пока сядет, он знаешь сколько для семьи нагребет? А ты?  
– Фаина и сама будь здоров в колбасном отделе имеет, не тебе чета. Ты шоколадки за справки получаешь. Брала бы деньгами, раз ты у нас такой оперативный работник. Где то, что за прописку дают?

– Так ведь это не каждый день. И потом, начальник паспортного стола почти все себе забирает, знаешь ведь. Зато я талоны лишние на заказы приношу. Есть-то ты каждый день просишь!

Маша хотела выбежать и сказать, что ей ничего не надо. Только не ссорьтесь. Ведь это она, Маша, виновата, что родилась. Аборт – такая штука: Маша уже была, а потом раз – и нету. Мама ее пожалела. Но лучше промолчать. Ей ответят: «Не лезь! Не твое дело». Хотя почему не ее? Ведь это она да Санька – дети, из-за которых...

Каждый день, едва отец к ночи вернется, мать заводит разговор про деньги. Маша от крика просыпается. Раньше она думала, что деньги – это монеты, которые ей давали на мороженое. Однажды, в разгар ссоры, вынула из своей коробочки:

– Сейчас я вам дам денег.

Отец спросил:

– А бумажек у тебя нема?

Побежала в свой угол за диваном и принесла мелко нарезанные листочки из тетради, которыми она играла в магазин. На листках было написано: «10 рублей», «100 рублей».

– Во-во! – обрадовался отец. – И подари их матери. Пускай купит все, что ей во сне приснится.

Теперь-то Маша прекрасно знает, что такое деньги. Деньги – это то, что нигде не продают, а за что-нибудь дают. Но не всем. Кому больше, кому меньше. Некоторые умные люди знают, где они спрятаны, и сами берут, без спроса. Отец твердит, что ему лично деньги ни к чему, он и без них может упереться рогом и все достать из-под земли. Но не желает, устал. Устал и хочет хоть немного пожить честно, не думая о деньгах с утра до ночи. Мама же говорит, мол, честность и даром теперь никому не нужна. Поэтому папа все же деньги приносит. Он

отдает их матери. Мама берет – улыбается и целует отца. А не принесет – не целует.

Сегодня воскресенье. Отец уходит в смену то днем, то вечером, то ночью и даже в воскресенье. Дома он всегда спит или просто лежит на диване, не шевелится и смотрит в потолок. Иногда говорит:

– Вон там опять паутина. Чем же ты целый день занимаешься?

А мама паспортисткой в домоуправлении работает: то полдня утром, то полдня вечером. Они и видятся-то редко, а то бы еще больше ругались.

– Пап, давай телевизор посмотрим?

– За день я такого телевизора посмотрелся, что сыт по горло.

Маша берет книжку, садится к нему на живот и смотрит картинки. Отец дремлет, Маша движется: то вверх, то вниз. Сейчас он, значит, проснулся и, собираясь уходить, примирительно говорит матери:

– Да брось нервы себе трепать! Будто впервой... Выкрутишься!

– Избаловался на всем готовеньком, – ведет свою линию мать. – Хватит! Бери себе половину детей и поступай, как хочешь.

Одна половина детей – Санька, другая – Маша. Конечно, отец возьмет Машу. Санька – разгильдяй, папа с ним все время на взводе. Мама, хоть Санька уже почти с нее ростом, стеганет его отцовским ремнем, если что. Он поревет и бурчит:

– Все равно не буду!

Но слушается, за милую душу.

– Пошли, Машка! – решительно говорит отец. – Ты одета?

– Бант завяжешь?

– Может, тебе еще брильянты в уши? Из-за банта я к парнику опоздаю.

До Савеловского вокзала они приехали в набитом до отказа автобусе, а к парку долго перли пешком через сквер и через стройку. Маша еле поспевала, а когда дошли, обрадовалась: будем кататься! Она сразу узнала папину «Волгу». Серая, крыша красная и номер легкий: 23-43 ММТ. На крыле закрашенный след от длинной вмятины. Это когда папа в само-

свал врезался. Но абсолютно все говорили, что самосвал сам виноват.

Напарник дядя Тихон стоял небритый и рукавом от старой рубашки ладони вытирал. Тихон увидел отца с Машей, сдвинул назад фуражку, прищурился:

– Ха! Опять разводишься?

– На день взял.

– Тоже дело. Что разводишь, что не разводишь – один компот. Щас отбивала к тебе с ней прицепится...

– Уговорю! Куда ж мне ее девать? В коммиссионку пока детей не берут. Ну, как сцепление?

– Ведет сцепление! Ваша милость с бабой цапались, а я тут его подтягивал на яме полчаса. Надо новый диск, на складе говорят, будет после первого. Ха! Какого месяца первое – вот вопрос.

– Диск давно бьет.

– Бьет и все по карману!

– Машка, садись! – скомандовал отец.

Ловко открыв дверцу, она ухватила за руль, поерзала по сиденью и поместилась напротив счетчика, положив на коленки руки. Сияясь прочитать цифры, отбитые на счетчике, сморщила нос, на котором красовались три огромные веснушки и целый хоровод мелких. Счетчик показывал одни бублики.

– Ха! Между прочим, с утра у меня опять инструктаж был, – вспомнил Тихон. – Тот же юный пионер в кожаном пинжачке, при красном галстуке с искрой, колесишки со скрипом. Парторгу велел меня разыскать, а потом удалиться, чтобы мы, значит, наедине остались.

– Взял бы да и схиялял. На кой тебе время тратить?

– Зачем же начальство нервировать? И потом, он думает, он меня вербует, а может, эвон-то, я его... Пусть говорит, мы послушаем себе не во вред. Ботиночки-то скрипели, а сам расспрашивал, какие слухи насчет высшего руководства и лично насчет самого главного товарища в природе клиентов фигурируют. Ха! Кто их знает, какие слухи? Всякие, верно? Велел внимательно слушать и запоминать. Ну, сообщать, конешное дело, лично ему. Вот, телефончик продиктовал дополнительный, если чего важное, а он в отсутствии. Обещал содействие в случае чего.

– Чего именно?

– Он намекнул, но не уточнил. При okazji в разговорах с пассажирами велел разъяснить, что денежной реформы, дескать, в текущий момент вышестоящие органы не планируют. Это враждебные слухи. Мол, правительство целиком в заботе об трудящихся, понял? А то, говорит, неуместная паника отражается на производительности труда. Надо народ успокоить, чтоб не хмурился. Ха!

– Пускай сами успокаивают.

– Пушай-то пушай. Но он опять же намекал: дескать, выборочно ставят в машины подслушки. Я, конечно, удивления не изображал, но для порядка спрашиваю:

«А в моей-то тачке установлено?»

«Это, – говорит, – мне неизвестно, не я этим занимаюсь. Тебе лично мы, конечно, доверяем, ты наш человек. Только, мол, на случай, если иностранцев везешь. Расширение, мол, с иностранцами производится...»

– Ну и хрен с ними! Наше дело баранка да счетчик.

– Ха! Мое дело тебе передать.

Отец плюхнулся за руль, больно задев Машу локтем. Мотор долго не хотел заводиться, чихал и наконец взревел. Отец высунулся по пояс из окошка.

– Ведет, сволочь!

– Ведет не ведет, план отдай. Нахлобучив фуражку, отец отъехал, вдруг притормозил, дал задний ход, опять поравнялся с Тихоном.

– У тебя в заглашнике не завалилось? Начинаю без копыя.

– Ха! Я тебе что – Госбанк? Сам учишь печатать.

– Завтра посчитаемся.

– Раздеваешь меня! – Тихон порылся в карманах, достал две скомканые двадцатипятирублевки. – С тебя процент на портвейн! И за это по дороге заедь к Клавке, пять банок мне на ночь возьми.

– Какие пять банок, пап? – спросила Маша, когда Тихон уплыл назад.

– Не твое дело!

Вокруг кишел автомобильный муравейник. Со всех сторон ползли, пятились машины. Вот-вот столкнутся, но под боком у отца в этой неразберихе не страшно.

– Что за клиент без счетчика? – строго спросил из окошка отбивала, механически пробив время выезда, но придерживав путевку.

– Дочка, Андреич, – объяснил отец. – Сейчас по дороге домой завезу.

– Учти, что не положено.

– Учту, учту, за мной, сам знаешь, не пропадет...

Отбивала подышал на штамп, прижал его к путевке и надавил кнопку. Ворота загромыхали и раздвинулись. Отец вырुлил на улицу.

– Как же домой, пап? Мама ведь велела, чтоб мы целый день не появлялись...

– Помалкивай, сам знаю!

## 2.

День стоял не солнечный, но и не пасмурный. Ветер вяло закручивал пыль в воронки, медленно гнал вдоль тротуаров мусор вперемежку с листьями. Грузовики застилали улицы сизым дымом. Дым растекался и таял, оставляя запах горелой каши. Проехали потихоньку пустырь и несколько кварталов. Отец лениво глазел по сторонам, изредка чертыхался. Сцепление, наверно, вело не туда. Возле гостиницы на тротуаре стоял чемодан с привязанной к нему авоськой. Рядом нервно бежал мужчина в сером плаще. В одной руке он держал коробку, другой размахивал, пытаясь остановить какой-нибудь транспорт. Отец притормозил, перегнулся, навалившись на Машу, к окошкѹ.

– Куда?

– На Курский. Если можно, поскорей.

– Всем надо скорей. Но если будет пойда, можно.

– Пойда? Что-то я не слышал...

– Это по-восточному, как бы сказать, смазка.

– Ах, смазка! Так бы и сразу. Смазка будет.

Пассажир открыл переднюю дверцу.

– О, да тут занято...

И расположился на заднем сиденье, обхватив рукой вещи.

– Дочка, – объяснил отец. – Мать нас с ней из дому выгнала. Но мы и сами проживем, верно, Маш?

– Не совсем ведь выгнала, пап!

– Дурочка, я ж шучу.

Застеснявшись, Маша кивнула и стала разглядывать прохожих на тротуарах.

– У меня тоже дочка в Муроме. Вот куклу ей везу. Посмотреть не хочешь?

На сиденье легла коробка. Маша вопросительно взглянула на отца.

– Посмотри, чего ж, руки не отсохнут.

Маша вежливо сняла крышку. Кукла была ослепительная: синие глаза, черные ресницы, желтые волосы. Платье – модное. Даже бусы и часы на руке. Закрыв коробку, девочка сказала равнодушно:

– У меня полно кукол, да, пап? Целых двенадцать штук...

– Ну, такой у тебя, положим, нету, – возразил пассажир. – Я сам торговый работник, весь поступающий товар знаю. Это новинка, импорт из Венгрии. Нету ведь?

– Такой нету, – призналась Маша.

– Скажи отцу, пускай приобретет. Сейчас как раз завоз.

– Приобретешь, – засмеялся отец, – а мать ворчать будет...

– Разве ж таксисты мало гребут?

– А торговые работники мало?

– Вроде и немало, – неопределенно протянул клиент. – И зарплата текёт, и навар. Но рублю-то цена копейка, сам знаешь.

– Мама говорила, в рубле сто копеек.

– Много она понимает, твоя мама, – проворчал отец.

– По-моему, бабы не виноваты, – сказал пассажир.

– Кто ж тогда виноват?

– Деньги ненаглядные! Они ведь скользят да вертятся. Тут возьмешь, там отдай. Круглые, что твой руль.

– Пап, почему деньги круглые?

Маша смотрела, как выталкивают одна другую цифры на счетчике. Пассажир глянул на счетчик, потом на девочку, сощурился:

– Круглые? Потому как гуляют по кругу. Вон, вишь, вертятся? Ты даже глаз оторвать не можешь – гипноз! Отец отдает твоей матери, мать продавцу в магазин, продавец в такси садится – опять отцу, отец опять матери.



– А мама мне на мороженое?

– И на мороженое. Детям тоже радость положена.

Отец долго молчал.

– Впрямь круглые, – вдруг согласился он. – Ты их крутишь, они тебя. И все норовят вкруг горла, вкруг горла... Только, по-моему, все ж деньги не полную цену имеют.

Пассажир заинтересованно наклонился к отцу.

– Что же, по-твоему, имеет полную цену?

– Не знаю. Люди-то должны быть людьми. Али теперь уж нет?

– Ну, люди! – клиент расхохотался. – Чего они стоят? Практика показывает: и копейки человеку за так нельзя дать. Дашь – возьмет и тебя же в дерьмо обмакнет. Жизни цену определяешь, только когда заболеешь, и в карман врачу клади. На людей, брат, надейся, а сам простофилей не будь. Ищи, где плохо лежит! Деньги на деревьях не растут.

– А если б росли? – скосил глаза отец.

– Если б росли, я бы Мичуриным стал. Выводил бы гибриды – полсотенные с сотенными скрещивал. – Пассажир засмеялся, удовлетворенный родившейся мыслью. – Вот какая агрономия, верно, дочка? Учат вас в школе разной ерунде, а как деньги делать – предмета такого нету. Еще называется аттестат зрелости. Вот она, зрелость-то!

Он постучал по карману. Маша хотела защитить школу, но промолчала. Скоро месяц, как она во второй класс ходит. И будет всегда в школу ходить, потому что дома еще скучнее. Санька же в шестом классе. Он про деньги давно все знает. В магазин сам ходит и к отцу в день получки едет, чтобы скорей деньги матери привезти. А то отец еще когда дома появится. Они с Тихоном с получки должны в шашлычную зайти. Они уважают шашлычную.

Отец, резко повернув, остановился у стеклянного подъезда Курского. Пассажир стал шарить в карманах.

– Сколько там, дочка, натархтело?

Маша быстро прочитала:

– Ноль два семь восемь.

Человек протянул бумажку – пять рублей.

– Не мало?

– Ладно! – сказал отец.

– Пятьсот копеек, – сказала Маша и стала загибать пальцы, беззвучно шевеля губами. – Сдачи я сейчас посчитаю.

– Да не считай, – заторопился пассажир. – Вот только куколку у тебя заберу. Ну, прощай, доченька!

Он вылез, вытащил чемодан с авоськой, коробку и смешался с толпой.

– Хороший дядя...

– Все хорошие, пока...

– Пока что?

– Да так... Поехали на стоянку, пока нас тут не прижучили.

На стоянке – толкотня, чемоданы, детский плач, мешки, лица всех наций, дым, ящики, базар, ругань. Наверное, только что пришел поезд. Отец хлопнул дверцей, обошел машину.

– Чья очередь?

Машин нос расплющился о стекло. Она изо всех сил колодила в окно.

– Чего тебе?

– Пап-пап! Посади вон того Гитлера с птичкой.

Отец подмигнул и, пока трое с большими чемоданами ссорились, кому садиться первому, привел за рукав и посадил худого старика в синем выцветшем костюме. У него были смешные квадратные усики, и этим он напоминал Гитлера. Гитлер держал в руке клетку. В клетке сидела на жердочке голубая птица.

– Так я, собственно говоря, молодой человек, вне, так сказать, очереди.

– Знаю! Дочке ты понравился... Куда?

– Собственно говоря, на Птичий рынок.

– На Птичий, так на Птичий...

– Поставьте клетку сюда, – Маше захотелось поиграть с птичкой. – Пожалста! Я ее крепко буду держать.

Она обняла клетку и просунула внутрь палец. Палец был тоненький, и голубая птица клюнула его, приняв, видно, за червяка. Но не больно.

– Это какая птица?

– Попугайчик, милоч, волнистый.

– Он поет?

– Разговаривает, если не волнуется. Только о чем, неведомо...

Ехали долго, у светофоров были пробки, а где светофоров не было, пробки были еще длиннее. Никто не хотел пропустить других, и движение совсем стопорилось. Отец вывернул влево, обошел несколько машин и тут же услышал посвист гаишника. Тот не обращал внимания на пробку, но выискивал, кого бы остановить.

– Нарушаем? Попрошу документики.

Гаишнику, Маша знала, всегда оставляют, если ни за что, то десятку. Но не просто дают, а так, чтобы он не обиделся. Иначе придется ждать, пока он сочинит бумагу в парк, а за ее ликвидацию надо будет давать уже не десять, а двадцать пять. Папа умеет с ними разговаривать, всегда хватает десяти. Но тут разговор пошел долгий. Из-за того, что такси остановлено посреди дороги, машин скопилось еще больше.

Старик все время бормотал что-то, кивал и гладил рукой щеточку усов. Девочка пыталась поговорить с попугайчиком. Тот поворачивал набок голову, прислушивался. А то начинал метаться, испугавшись визга тормозов. Иногда Маша оборачивалась, и тогда старик подмигивал ей или тихонько свистел:

– Чифырть-чифырть-чику! Чичу-чифырть!..

Наконец все уладилось.

– Десять? – спросила Маша со знанием дела.

– А как же! – отозвался отец. – Чтоб он ими подавился!

– Извини, сынок, – проговорил старик. – Это я такой невезучий. При мне всегда что-нибудь да не так.

– Ладно уж, сочтемся...

Когда подъехали к Птичьему рынку, Маша погладила клетку и попыталась посвистеть, как старик. Но не получилось. Она обняла отца за шею и зашептала ему в ухо.

– Ты что – дурочка? Мать же нас уьет...

Но тут же, отстранив дочку, спросил старика:

– Продавать, что ли?

– Собственно говоря, однако, да.

– Почему?

– Тут главное, – старик засмутился, – в какие руки, так сказать, отдавать. Если в чистые, тогда совсем задешево и с клеткой. У старухи астма, птицу в дому держать нельзя.

– Тоже правильно! Пятерки хватит?

– Хватит, конечно, хватит! – растерялся старик, вертя в руках деньги. – Только... Вот ведь какая мелодия: мне теперь рынок-то ни к чему. Меня старуха дома ожидает.

– Зачем дело стало? Обрато на вокзал свезем, Маш?

Она кивнула.

– Накладно мне выйдет.

– Да так отвезу! Я уже эту сумму из попугая вычел.

– Счастливый ты человек, – сказал старик. – Знаешь практику жизни.

– Уж счастливый, дальше некуда!

– Сам-то из каких?

– Я-то? Гегемошка, кто ж еще?

– Как-как?

– Ну, гегемон. Пролетарий то есть.

– Рабочий класс? Это хорошо. А я вот из кулаков. Так сказать, классовый враг. За это просидел молодость, пришлось...

– Не повезло!

До самого вокзала старик держал пятерку в руках. А как приехали – заморгал, засуетился, вытащил кошелек, спрятал туда деньги и все что-то причитал. Потом полез в карман и вытащил пакетик проса.

– Вот, милок! Чуть корм отдать не позабыл...

– А попугай теперь насовсем мой? – спросила Маша.

– Твой, твой! – успокоил ее отец. – И Санькин, конечно, тоже...

– Замечательный Гитлер, добрый.

– Откуда ты Гитлера взяла?

– Из телевизора. Только этот лучше. У него, наверно, денег мало...

Отец ее не дослушал, вылез таскать мешки. В такси расселся восточный человек в кепке с огромным козырьком, загорелый и в себе уверенный. Багажник и заднее сиденье они с отцом набили мешками грецких орехов и теперь ехали на Черемушкинский рынок.

– Между прочим, как у вас тут теперь с культурным обслуживанием? – первым делом осведомился пассажир.

– В каком смысле? – оценивающе посмотрел на него отец.

– Блондинки, между прочим, на вечер в наличии не имеется?

– Блондинки по червончику штука, – не отрываясь от дороги, сразу сказал отец.

– А брюнетки? – встряла Маша.

– Брюнетки не надо, – отрезал пассажир. – Мы сами брюнеты.

Когда выгрузились на рынке, он напомнил:

– Давай блондинку, только без обмана.

– Вот, – отец достал записную книжку, дал ему карандаш и продиктовал номер. – Скажешь, от Семен Семеныча. По телефону лишнего не болтай, ясно? С ней отдельно рассчитаешься.

– Она Азербайджан уважает?

– Она всех уважает, кто платит.

Восточный человек расплатился за такси и за номер блондинки. Отец с Машей уехали.

– Зачем ему блондинка, пап?

– В кино сходить.

– А аборт?

– Что – аборт?

– Аборт она будет делать?

Девочка сидела в обнимку с клеткой. Попугай забился в угол, дремал. Они все ездили и ездили. Везли туристов с рюкзаками, инвалида на костылях, за ним семью: мать, отца и двух близнецов. Оба близнеца одинаковыми голосами выли на всю улицу. Высадив их, отец закурил, проехал немного и остановился возле винного магазина. У входа стояла толпа, ожидая конца обеденного перерыва. Такси зарулило во двор.

– Ты к Клавке?

– С чего ты взяла?

– Дядя Тихон сказал.

– Чем болтать, погуляй-ка вокруг машины, погляди, чтоб во двор никого не занесло. Я быстро. Отец исчез в двери, загроможденной по бокам пустыми коробками. Потом показался снова.

– Никто здесь не шастал?

– Никто!

Он вытащил из-за двери и, прижимая к животу, принес коробку. На ней было написано: «Брутто. Нетто».

– Брутто и Нетто – братья, пап?

– Да помолчи ты!

Он поставил коробку возле багажника и ударом кулака открыл замок.

– Ой, сколько огнетушителей! – воскликнула Маша. – Пять штук!

– Держи-ка! – он дал ей в руки один и стал отвинчивать другой.

Сняв крышку, он опустил внутрь бутылку водки и снова завинтил.

– Секрет, – он первый раз за весь день рассмеялся.

– Какой же секрет? – рассудительно сказала Маша. – Пять банок дядя Тихон ночью реализует. Только зачем ему деньги? Ведь у него жены нет, ты сам говорил.

– Зато бабы есть, – сурово сказал отец. – Это еще дороже.

– Почему дороже?

– Потому что их много, а он один, поняла?

– Поняла.

Потом они стояли на стоянке, и отец выкурил полпачки сигарет. Маша стала кашлять от дыма, и ей захотелось есть. Но отец ведь работает, попросишь – рассердится. Лучше потерпеть. И она стала кормить попугая. В машину никто не садился.

– Загораешь? – к папе подошел шофер из соседнего такси.

– Дай-ка курнуть... Все норовят пешком пройти или в крайнем случае на трамвае, а деньги в чулок.

– Зачем в чулок? – спросила Маша.

– Из чулка они не вываливаются, если не дырявый...

Шофер прикурил и отошел.

– Ну-ка, подвинь свою клетку, – пробурчал отец. – К лешему их всех, поехали!

### 3.

У шашлычной на Ленинградском проспекте теснилась очередь. Отец пробрался сквозь толпу, волоча за собой дочь, и пнул дверь. Гардеробщик, фуражка золотом, как папу увидел, сразу засов скинул.

– Лида в смене?

– Тама, куды она деетсяя!

Маша цепко держала отца за карман куртки. В зале пахло дымом, шум стоял, как в бане. Если по ушам хлопнуть, получается музыка.

– Стой тут, с места ни-ни!

Отец исчез. Когда он вернулся, им сразу показали на столик в углу, возле раздачи. Ничего не спрашивая, официантка Лида принесла два шашлыка и бросила на стол пачку сигарет. У нее, как у снегурочки, на черных волосах трепетал кружевной кокошник. Лида устало присела на край стула.

– Чо не заходишь?

– Работы по завязки.

– У, ее вечно по завязки, работы-то. И вся черная. Так и жизнь пролетит, как ворона. А радости не видать...

– Дак к тебе же Тихон зачастил!

– Ну и чо? Я ему полста в месяц плачу за то, что он меня сюда возит.

– А я, значит, дармовой?

– Венгерский офицер с женщин денег не берет. Может, мне с тобой интересней.

Вынув из кармана зеркальце и помаду, Лида взглянула на себя, обвела помадой губы. Приведа себя в порядок, придиричливо, но без ревности, оглядела Машу.

– Разрежь мне, – попросила девочка отца.

Он разрезал ей мясо мелкими кусками, отломил край булки.

– Чо дома – уже и не кормят? Нынче-то воскресенье...

– Полаялись.

– Заехал бы вечером. Я сегодня в восемь освобожуся, Тихон занят...

– Девать, вишь, некуда, – он глазами показал на Машу.

– Ну и дурак!..

– А мальчонка-то как?

– Ишь, вспомнил! Всё папку ждет, а папка – троеженец чертов!

– Почему «трое...»?

– А потому! Чего скрывал, мне всё Римка рассказала...

– Насчет чего такого она тебе могла насплетничать? – отец опустил голову.

– А насчет того, на кого ее дочь похожа и где у тебя ночные смены. Да ладно, я не прокурор, гуляй себе дальше...

Лиду звали клиенты, и она, вздохнув, поднялась.

– Деньги-то возьми, – бросил ей вслед отец.

– Ты же в деньги не веруешь, – усмехнулась она. – Все не заработаешь, а мало мне не надо.

– Тут без денег кормят? – спросила Маша.

– Без денег нигде не кормят. Недотепа ты у меня. Вот Сашка, тот все понимает. Как-нибудь враз рассчитаюсь, соображаешь?

– Конечно, соображаю.

– Вот-вот...

Он вынул четвертак.

– На-ка, спрячь в карман для матери, чтобы она не ныла.

А то еще растратим!

Дочь спрятала бумажку в карман, дожевала соленый огурец и отодвинула железную тарелку. Отец взял с ее тарелки оставшийся холодный кусок, жир да жилы, прожевал, закурил, надел фуражку и пошел. Маша собачкой побежала за ним.

На этот раз они везли двух болтливых рыбаков с амуницией. Те тоже спросили про Машу. И опять пришлось объяснять. Предложили отцу заплатить свежей рыбой.

– Протухнет она у меня до конца смены. Не то бы взял.

Маша и не заметила, как уселся бритый парень в пиджачке, явно купленном только что. Даже ярлык не оторван.

– Чего стоишь, ля? Езжай, ля, быстрее!

– Скажи куда – поедем...

– Крути баранку, ля, отсед-а-а-а! – заорал парень, как зарезанный. – Потом, ля, скажу!

Он елозил по сидению, то и дело озирался, а когда проехали с полквартила, запел, верней, загнусавил что-то, но тут же и оборвал. Вдруг перегнулся к отцу и показал пистолет.

– Сгоняем на одно дельце, ля? – он поиграл пистолетиком на ладони. – Подождешь полчасочка в одном месте, ля, за углом. Тебе пятьсот тугриков, и вали. Дело чистое, не мокрое, верное. И пять кусков за голенищем, ля.

Бритый убрал пистолетик в карман, открутил окно и харкнул. Попав в соседнюю машину, захохотал.



– Я бы с удовольствием, – осторожно сказал отец, – да вот, вишь, дочку надо срочно везти к врачу, заболела.

Маша хотела возразить, но решила на всякий случай промолчать.

– Ну и дурила, ля! – сказал бритый без особой обиды. – Встань, ля, вон там. Другого, ля, возьму. Дай цыгару и вали отседа, покуда, ля, не пришил!

Бритый закурил, пустил клуб дыма Маше в лицо, так что она закашлялась, вылез и хлопнул дверцей с такой силой, будто выстрелил.

Отец закусил губу и отъехал бледный и хмурый.

– Анекдот, да, пап?..

Маша все еще кашляла. Ей хотелось сказать отцу что-нибудь приятное. Он грустный все время. Сцепление у него куда-то ведет, вот в чем беда.

– Мне в шашлычной понравилось, – прошептала она ему на ухо.

Он немного отошел, кивнул, подмигнул:

– Ну и хорошо.

– И тетя там красивая, да?.. А к маме скоро?

Отец зыркнул на Машу и стать смотреть по сторонам.

– Ладно! – решительно сказал он. – Поехали за рублем, а то день пустой.

Подкатили они к стоянке возле универмага «Москва». Пассажиров было полно, и ни одного такси.

– В Домодедово, в аэропорт! Только в аэропорт везу, – стал кричать отец, приоткрыв дверцу.

– Вот и ладненько, что только. Как раз подходит!

Человек в мятом черном костюме и черном галстуке сразу согласился. За всю дорогу не произнес ни единого слова, а возле аэровокзала расплатился по счетчику. Мелочь вынуть не поленился, копейки отсчитал.

– И это все? – тихо спросил отец.

– Чего ж еще?

– Добавить надо за вредность производства... А то, смотри, обратно отвезу.

Пассажир испытующе посмотрел на него и вынул из кармана удостоверение ОБХСС. По виду было ясно, что птица невысокого полета, на побегушках, но отец скис.

– Ну, так что? – пассажир продолжал смотреть внимательно, любуясь произведенным эффектом. – Давай к нам прокачимся, актик составим: вымогательство да еще с угрозами. И родственников возишь на служебном транспорте. Тут, в Домодедове, недалеко.

– Да какие же угрозы? – хмуро произнес отец. – Я пошутил.

– За такие шутки, знаешь...

– Мы что, не свои люди?

– Видно, не свои, раз глаз не наметан у кого брать.

– Ну, ошибся, сосчитаемся! У тебя когда день рождения?

– Не все ли равно?

– Может, скоро? У меня для тебя подарок есть.

– Другой разговор. Только это будет взятка. Да еще при свидетелях, – обэхеэсник покосился на Машу, захлопнул удостоверение и спрятал в карман. – Что за подарок? Я тороплюсь.

Пришлось подняться с сиденья, пойти к багажнику и вытащить пару бутылок водки.

– Держи, не разбей! «Столичная». Себе купил.

– На ночь что ль запаса? – спросил клиент, ввертывая бутылки во внутренние карманы пиджака. Ладно уж, на этот раз езжай. Я сегодня добрый.

Отец проводил его глазами и уселся за руль.

– Скучаешь? – он завел мотор, и рукой, пахнувшей маслом, похлопал дочь по щеке. – Заплатил по счетчику, и на том спасибо, верно, Маш?

Она кивнула.

Возле аэровокзала он съехал на стоянку, пробрался поглубже между машин, опустил щиток с надписью «Обед». Маша тихо сидела, держась за клетку, и следила глазами за отцом. Он толкался у выхода из аэровокзала, наметанным глазом отбирая подходящих клиентов. Привел одного и, усадив в машину, велел ожидать. Потом привел второго. Оба ждали молча, озираясь по сторонам. И Маша молчала. Вдруг она увидела в окошко, что отца бьют.

Били его прямо возле выхода, у стеклянных дверей. Их трое, а он один. Маша закричала и бросилась на помощь. Клубок крутится – не поймешь, кто где. Бежать далеко, машины сплошным потоком поперек. Плача, она ухитрилась схватить

отца за рукав. Но тут же ее сбили с ног, даже не заметив, как она откатилась к стене. Хорошо, что откатилась, а то бы убили и тоже не заметили.

– Прекратите, кому говорят!

– А ну, разойдитесь!

Клубок стали растаскивать двое милиционеров, по лени вмешиваться не собиравшихся, но построжавших, когда ребенка сбили на виду публики. Драка иссякла. Отругиваясь и грозясь посчитаться, отец пробрался между чужими руками и ногами, получил еще удар в спину, но уже увидел дочку, стал на колени и поднял ее на руки.

– Ты цела?

– Цела, цела, – повторяла Маша, рыдая. – А ты? Ты?

Он принес ее в машину, усадил, и сам сел. Глянул на себя в зеркало, оторвал кусок газеты и молча стирал кровь с подбитой губы. Под глазом назревал подтек.

На заднем сиденье, плотно прижатые двумя большими чемоданами, покорно ждали клиенты.

– Ну, что там? – спросил пассажир с «дипломатом» в руке.

– Суки! – цедил отец. – Хотят, чтобы делился. С вас, значит, с каждого, по двадцать пять, а им отдай двадцать пять с рейса ни за что. Не то, говорят, шины будем резать. И легавые с ними заодно. Пусть застрелятся, не дам! Как жить, а?

– Надо платить, – рассудительно высказался пассажир с «дипломатом». – Платить, а то порежут. И зубы протезные дороже своих. Такое дело: плати или убьют. Хотя, для конкретного случая все одно: дал бы им двадцать пять, а за это спокойно взял бы третьего пассажира. А так не дали. Правильно я рассуждаю?

Другой клиент, средних лет деревенский мужик, тихо сопел, забившись в угол, и на всякий случай в дебаты не вступал.

– Машка, ты в порядке? – отец немного успокоился и повернул ключ зажигания.

– В порядке, – неуверенно прошептала она, все еще всхлипывая и разглядывая содранные колени.

– Тогда поехали. Матери не говори, что драка была.

Отец опять закурил и вышвырнул в окно пустую пачку. Маша проводила ее глазами. Пачка взмыла вверх, затрепетала в воздухе и шлепнулась на асфальт. В этот момент встречный

грузовик поднял ее в воздух. Взлетев, пачка опять упала, заковыляла и тут же распласталась, придавленная другим колесом.

Замелькали желтые, облезлые деревья по обоим сторонам шоссе. Пошел дождь, зашлепал по стеклу один дворник. Другой оказался поломанным. Отец матюгнулся, а потом, поглядев на Машу, в более вежливой форме стал клеймить позором напарника Тихона, который выжимает из машины бабки, ни о чем не заботясь.

– Небось, и сцепления не сделал, потому что на слесарях сэконобил, – ворчал он. – Или ждет, чтобы я его у барыг купил.

Пока они развезли двух пассажиров по Москве, на Таганку да на Зорге, совсем стемнело. Зато дождь прошел, только воздух остался сырым и зябким. Маша стала кашлять, мерзнуть, съежилась и положила ладошки между коленок. Отец включил печку. Снизу подул теплый воздух, стало уютно, почти как дома. Девочка заморгала часто-часто и стала смотреть на счетчик, чтобы не заснуть. Цифры прыгали, прыгали, прыгали. Люди выбирались из машины, влезали новые, мокрые. От них летели брызги, и Маша морщилась. Она сидела, вцепившись руками в сиденье, и смотрела вперед, на грязный асфальт, который убегал под машину.

– Все! – крикнул вдруг отец, да так громко, что Маша вздрогнула.

– Ну, довези, дяденька, чего тебе стоит!..

– И за сотню не поеду. В парк, девочки, еду, в парк! Время вышло. Видите, ребенок совсем спит?..

Одна из девочек наклонилась, просунулась в окошко и сипловато спросила:

– А порошочка нету?

– Нету, нету, – бросил он, отцепляя ее руку от дверцы и трогаясь. – Этим не балуюсь. Других спроси!

– Зубного порошочка, пап?

– Конечно, зубного! Видала их рожи? То-то!

Маша опять задремала, а открыла глаза на въезде в парк.

#### 4.

Тут было темно, и стоял длинный хвост машин. Отбивала Андреич, протягивая из окошечка руку, брал у каждого путе-

ку, опускал под стол, а затем вытаскивал и грохал штемпелем. Отец тоже достал свою путевку и, как все, сунул в нее деньги, чтобы ему не отметили опоздания, подумав, добавил за вопрос о Маше и сложил путевку вчетверо.

Въехали на мойку, и отец опять вынул рубль и сунул в халат старухе-мойщице, которая включала щетки и тряпкой протирала заднее сиденье.

– У тебе здесь чисто, блевоты нема! – сказала мойщица, но рубль взяла.

Они опять протискивались в лабиринте машин с зелеными огнями. Возле забора отец остановился и стал раскладывать деньги из разных карманов на сиденье, бурча себе под нос:

– Это в кассу, это слесарям, это бригадиру, это начальнику колонны...

– А бабушке? – спросила Маша.

Не отвечая, он прикидывал, сколько в той трети, которая пойдет от начальника колонны пополам директору таксопарка и секретарю партбюро. Директор треть своей шестой части отдаст начальнику районного ГАИ, а секретарь партбюро – секретарю райкома. А уж кому далее и какие доли, нас не касается. Там свое не прозевают.

– Погоди-ка! – он пересчитал кассу. – Не сходится же...

Вздыхнул, закрыл глаза и, положив голову на руль, полегал.

– Маш! – крикнул он. – Денег-то в выручке не хватает. Старика бесплатно везли, а еще?.. Видно, в драке у меня из куртки выдернули. Четвертачок дай-ка обратно!

Она порылась в кармане платья, извлекла бумажку.

– Так... А червончик на, Маш, спрячь...

Вылезал он из машины медленно, долго растирал затекшую спину.

– Пап, а дяденька, который велел Тихону звонить, хороший?

– Чего?!

– Ну, дяденька, который со скрипом...

Посмотрел он на нее, устало вздохнул и не стал отвечать. Только хлопнул дверцей со злом и исчез между машин. Когда отец вернулся, Тихон уже сидел на сиденье, на его месте, рядом с Машей.

– Ну и дочка у тебя, юмористка. Сколько, спрашиваю, взяли за день? Дак она мне червонец показывает. Ха!

– День плохой, правда.

– Хитришь, поди. У Клавки приобрел, что надо? Я за твое здоровье нагребу.

– До свидания! – вежливо сказала Маша, вылезая на холод.

– Ха! Прощай, цыпленочек!

Взяв дочь на руки, он понес ее, как маленькую. Хорошо, что дождь перестал. Она обняла отца и уткнулась ему в шею носом. Шея пахла шашлыком, бензином и еще чем-то сладким. Автобуса они ждали долго. К себе в Бескудниково, которое отец называл Паскудниковым, дотащились не меньше чем за час. А вышли из автобуса – у Маши застыли ноги, и спать расхотелось.

– Пробегишься немного, согрейся, – во дворе отец спустил ее на землю и побренчал в кармане мелочью. – Я за углом сигарет куплю, если открыто.

Во дворе еще повизгивали железные качели. Две девочки в темноте раскачивались, кто выше. Маша подошла к ним.

– Я на такси целый день каталась. Думаете, нет? Она порылась в кармане.

– У меня десять рублей есть. Настоящие. Давайте в шашлычную играть...

Когда отец вернулся во двор, Маши уже не было. Он поднялся по лестнице, открыл своим ключом дверь и громко сказал:

– Вот мы и дома!

– Это еще что? – жена обнаружила в его руках клетку.

– Попугайчик волнистый.

– Волнистый? А говоришь, я барахольщица.

– Это не барахло. Машка просила...

– Ты и рад стараться! Да где она-то?

– Разве ее нету?

Он бросил клетку на пол и, оставив дверь открытой, побегал вниз.

– Где шляешься?

Радостная, она поднималась ему навстречу, облизывая языком бумажку от мороженого.

– Наследили-то в квартире! – всплеснула руками мать и побежала в уборную за тряпкой.

Отец швырнул фуражку в угол, под зеркало, и пятерней пригладил слежавшиеся волосы.

– Матери деньги – забыла?

Маша тут же вытащила мелочь.

– И больше ничего? Ну, куда дела?..

– Девочкам я мороженое тоже купила. Им очень хотелось.

– А сдачи?

– Сдачи дядя взял.

– Какой еще дядя?

– Большой такой, небритый.

– Та-аак! Мужик-то уже, конечно, далеко. Но она-то! Крашенная такая, с фиолетовыми волосами? И молчала, крыса! Пошли, я ей хвост оторву.

– Она уже заперла, пап. Нам и то не хотела продать.

– Ладно, завтра я ей выдам! Матери только не говори!

Вошла мать и начала вытирать пол у них под ногами.

– О чем шепчетесь?

– Да вот, деньжат тебе привезли, чтобы утром перебиться.

Завтра в парке аванс...

– Наконец-то сообразил, – удовлетворенно сказала мать.

– Можешь ведь заработать, когда хочешь. Все люди как люди, а ты?

Пошарив в кармане и подмигнув Машке, отец, как фокусник, вынул пару мятых червонцев. Потом, подумав, добавил к ним из другого кармана пятерку. Мать обтерла ладонь о халат, разгладила банкноты и подняла на отца глаза.

– И за это ты пахал целый день? – она хотела прибавить еще что-то, обидное, но сдержалась. – Что это у тебя под глазом?

– Подрался.

– Уж не в Домодедове ли опять? Не ездил ты туда! Глаз чуть не выбили.

Он промолчал. Мать спрятала деньги в карман, смахнула с отцовского лба капли дождя.

– Зарплату сам завтра принесешь. Саньку посылать не буду.

В дверь позвонили. Вошла соседка Евдокия, проводница поезда «Москва – Берлин». Евдокия привозила острый дефицит, а мать ей помогала сбывать: ездила по городу, сдавая ее вещи в комиссионки.

– Урожай собрала? – спросила Евдокия. – Давай!

– Сегодня ж воскресенье! – удивился отец.

– Конец месяца, – пояснила она. – Комки для плана открыты.

Мать принесла сумочку и вслух отсчитала двести двадцать пять рублей. Полста Евдокия шикарным жестом вернула матери обратно, за труды.

– Зайди потом, – довольная Евдокия упрятала деньги в лифчик. – У меня кой-что еще есть в наличии. Только не сегодня: хахаль у меня неожиданно сыскался. Сегодня причалит.

Нагло вато подмигнув Маше, она исчезла.

– Сколько ты у нее заначила? – спросил отец, когда дверь за Евдокией закрылась.

– Она ж квитанции проверить может. Но я одно ее платье узбекам на рынке спустила. Шестьдесят себе.

– Вот! И все жалуешься...

– А что ж – на тебя рассчитывать?

– У Евдокии хахаль новый, – сказала Маша. – Участковый, младший лейтенант. У него жена была да сплыла.

– Все-то знаешь! – проворчала мать.

– Евдокия же сама во дворе хвалилась. А мы с папкой, знаешь, где были? В шашлычной! Там соленый огурец дают, шикарный. Санька дома?

– Дома, дома. Где ж ему еще быть...

– Он попугая видел?

Клетку Санька вынес на кухню и поставил на стол. Попугай спал, поджав под себя одну ногу и зажмурившись. Санька опустил на колени перед табуреткой и наклеивал в альбом марки, ловко смазывая их языком.

– Видала? – он показал на только что вынутые из конверта. – Сегодня приобрел. Бабушка мне за четверку по физике денег дала. И у меня свои еще были...

Маша тоже опустилась на колени. Вот так марки! Большие, яркие, и на них звери. Таких даже в зоопарке не увидишь. Санька собирал марки со зверями, и Маша со зверями.



– Иностранные?

– А как же! Вот эти одинаковые, – ткнул пальцем Санька.

– Хотел в классе продать, но никто не раскошелился. Если хошь, бери.

Она сразу сгребла три марки.

– Ты мне за шесть штук была должна, – оставшиеся марки Санька засунул в конверт. – Теперь, значит, за девять.

– А где ж я возьму?

– Где? Накопи денег и отдашь. У матери возьмешь на мороженое, так ты сливочное не покупай. Купи молочное, и останется. Поняла?

– Ясно! Берешь на сливочное, покупаешь молочное, и останется. А попугай у нас будет на кухне жить, да?

Все-таки глаза слипаются. Отец уже лежит на диване, тоже вот-вот заснет. Маша молча подходит к матери и просовывает ладошку в ее ладонь. Мать все понимает. Она ведет дочь сначала в ванную, подмывает ее, потом волочит в комнату. Раздевает, набрасывает на худенькое тельце ночную рубашку с розовыми цветами. Ставит рядом с буфетом раскладушку, укладывает Машу, укрывает одеялом, многозначительно взглянув на отца.

– Измучил ты ее вконец, – шепчет мать, на этот раз совсем не сердито.

До Маши сквозь сон едва долетают эти слова. Папа все-таки очень хороший: целый день катал ее на машине. Только на животе вечером не покатались. И официантка Лида хорошая: такой замечательный соленый огурец ели. Мама тоже хорошая. И попугай в клетке отличный. И Санька просто замечательный. Марки купил себе и три штуки мне продал. А деньги такие круглые-круглые. Берешь на сливочное, покупаешь молочное, и оста...

## ТРИДЦАТОЕ ФЕВРАЛЯ

*Совершенно недействительно то, что  
случается с нами в действительности.*

*Оскар Уайльд.*

### 1.

В винном отделе, отгороженном стеной из ящиков с пустыми бутылками, дабы алкаши не омрачали взора более сознательной и реже пьющей части населения, как всегда в конце рабочего дня, ползла змея из человеческих тел до самой двери.

– Крайний?

– Так точно!

Кравчук поморщился, но занял пост за аккуратным старичком, бережно прижимавшим к груди четыре пустых четвертинки. Змея волновалась: водка была на исходе, а дело двигалось медленно, или казалось, что медленно, потому что состояние у Кравчука весь день было озорное.

В отличие от большинства удачников, Альберт Кравчук мог праздновать день рождения только раз в четыре года, когда на календаре появлялось двадцать девятое февраля. В такой год он родился тридцать шесть лет назад, и с тех пор, стало быть, ждал дни рождения в четыре раза дольше, чем прочие граждане.

Утром на работе он, естественно, никому не заикнулся о событии. Но расчетчица Камиля, которую все, упростиw ee

татарское имя, звали просто Миля, по неосознанному чувству заглянула в табличку, прилепленную у нее в столе на дне ящика. И точно: в графе «Наименование товара» значился Кравчук А.К., в графе «Сорт» – экономист, в графе «Срок поставки» – 29 февраля.

– Если спросят, я по месткомовским делам, – сказала она.

Как Камиля действовала, всем известно. Она вынула из сумочки кошелек и в качестве уполномоченной месткома по вопросу дней рождения и похорон побежала по комнатам отдела расчета оптимального резерва запчастей. Не только резерва, но и самих запчастей не было, тем не менее премии начальство отдела получало исправно и даже держало переходящий вымпел победителей соцсоревнования в управлении, составляющем важную часть главка, входящего в министерство.

Премии премиями, а собирать деньги уполномоченной было непросто. Склерцов, если сказать, что собираешь по рублю, сам вынет трояк. Шубин, зам его, будет долго скрести по карманам и попросит зайти позже. Думает, Камиля забудет, но не на такую напал.

– Вам каждый год, а ему раз в четыре, – прямо ляпнет она. – Так что не жмитесь!

Шубин – трус, спросит, сколько дал Склерцов, немедленно вспомнит, что где-то у него, кажется, залежалось, полезет в сейф и вытащит два рубля. Рядовая масса внесет по полтиннику. Куренцову, которую недавно муж бросил, Миля незаметно обойдет: у нее двое детей. За командированных займет в кассе взаимопомощи, а в следующий раз они отдадут вдвое больше – за старое.

Перед обедом Камиля сказала Альберту, что у нее сегодня разгрузочный день, очередь в буфет ей не занимать.

– Ты вроде бы в порядке, – оглядел ее Кравчук, будто не понял хитрости.

Камиля поправила юбку.

– Мне двадцать три. С половиной. А мать расплнела в двадцать пять.

Вернулась Миля через час, молча положив перед Кравчуком сверток.

Теперь, пока змея поглощала алкоголь, Алик открыл портфель. В нем лежал этот сверток с тремя галстуками. Галстуки

широкие, как еще недавно было модно, и к каждому платок. Этих галстуков Кравчуку хватит до гроба, тем более, что он их не носит. Они душат. Надевал он галстук три раза в жизни: защищая диплом, в ЗАГС и на похороны отца.

С иронической улыбкой Камиля наблюдала примерку, которой она потребовала сразу после вручения подарка от имени и по поручению.

– Экономически ты нецелесообразно родился, – сказала она. – Даришь вчетверо больше, чем получаешь.

– Чего же мне – день зачатия отмечать?

– Детей находят в капусте, – объяснила она, хлопнув ресницами, которые подкрашивала перед Кравчуком два раза в день. – Слушай, правда, что у тебя жена еврейка?

– А что?

– Ничего! Я уверена, что из-за этого они тебя и не повышают.

– Много ты понимаешь! Вон, у Молотова была жена еврейка...

– Так он же исправился: взял ее и посадил.

– У Косыгина тоже...

– Это точно не известно. Послушай, ты бы в партию вступил, перекрыл.

– Да я храплю сильно. На собрании не высижу.

– Ужас! Как можно любить храпящего мужчину? Кстати, с тебя причитается.

Нужно было, как положено, сгонять за бутылками и тортом. Все придут со своими стаканами, запрут дверь и вернут с лихвой расходы на подарки. Но у Алика денег только на одну бутылку сухого. Он пропустил намек Мили мимо ушей и коллективную поддачу за его счет просто зажал.

До прилавка осталось всего ничего. Старичок выставил четыре пустых четвертинки и забрал одну полную. Он повертел пальцем головку, проверяя ее неприкосновенность, и сунул пузырек в карман. Продавщица стучала монетой по прилавку, торопя змею.

– «Гурджаани!» – выпалил Кравчук, став змеиной головой.

– Еще чего?

– Больше ничего.

– Еще, говорю, чего? Где я тебе возьму «Гурджаани»?

– Нету? А ведь было...

Кравчук видел в руках у выходящих – несли.

– Было да сплыло! Думай быстрее!

– Тогда это... «Алжирское», – Алик указал на ряд бутылок с одинаковыми красными этикетками.

Бутылка легла в портфель на галстуки. Кравчук выдрался из магазина и затопал к метро, но на углу остановился у объявлений. Обмен их комнаты в коммуналке на однокомнатную обсуждался давно. Хотя фантастических денег для неофициальной уплаты разницы не предвиделось, Евгения настойчиво искала варианты, и Алик посматривал на щиты.

Ему больше нравилось читать объявления, которые его не касались. Он их запоминал и цитировал. Камиля смеялась:

– Боже, сколько у нас идиотов!

Евгения сердилась:

– Делать тебе нечего!

Она была практичной, а это в женщине большое достоинство и огромный недостаток.

Он проглядывал объявления, иногда читал.

«Ребенку требуется няня, говорящая на английском и французском. Жилищные условия имеются. Адрес: Тбилиси, проспект Руставели...»

Языков Кравчук не знает и няней к аристократу в Тбилиси не потащится.

«Киностудии «Мосфильм» требуются монокли, веера, трости, табакерки, фальшивые драгоценности девятнадцатого века».

Фальшивых драгоценностей у Кравчука тоже не было.

«Утеряны золотые часы «Заря» с браслетом – память о погибшем муже. Нашедшего прошу звонить для получения благодарности».

Часов Кравчук в последнее время не находил, а нашел бы – продал, чтобы раздать долги.

«Студия клоунады при Московском государственном цирке объявляет набор. Прием до первого марта».

Альберт хмыкнул, что-то теплое вспыхнуло в сознании. Он переложил портфель с тяжелой, как бомба, бутылкой «Алжирского» в другую руку, еще побродил глазами вдоль щита. Все меняющиеся почему-то предлагали худшее и хоте-

ли получить лучшее, а ему надо было, чтобы хотели наоборот. Попадись сейчас подходящее, Евгения воскликнет:

– Ох! Самый лучший подарок к твоему дню рождения!

Зря квартиры не разыгрывают в спортлото. Хотя и глупо играть с государством в азартные игры (мы все-таки экономисты и соображаем кое-что), но ради ничтожного шанса обзавестись отдельной квартирой Алик билетика бы покупал. Не соображает государство, как бабки делать, а могло бы...

Он уже стоял сжатым в метро и ехал на свою Преображенку. Надо было бы выйти на Дзержинской, заскочить в «Детский мир» и купить подарок Зойке, но он протолкается битый час и все равно ничего не купит: это не игрушки, а утиль.

Голод торопил домой. Но на пересадке у эскалатора был затор, как всегда в часы пик. Алик еще лет двадцать назад читал, что скоро в Москве будут монорельсовые дороги и воздушные такси. Он проглотил слюни.

## 2.

Ключ заело в скважине замка, который давно надо было заменить. Евгения выбежала в коридор.

– Режь хлеб, все готово!

Держа вымазанные руки на весу, она чмокнула его в щеку. Значит, помнит. И соседей дома нет. Их часто нет, блаженство. В коридор выкатилась коlobком Зойка.

– Заяц, не подходи, я холодный. Новости в школе?

Зойка прыгала вокруг на одной ноге.

– Одна новость отличная и одна посредственная.

– За что посредственная?

– За устный счет. Нас по очереди директор проверял. Мама говорит, я замедленная, как ты!

– Я? В семье два экономиста, а дочь не умеет считать.

Алик протянул ей бутылку.

– Тяжелая, не урони.

По случаю отсутствия соседей они выпили и ели картошку на кухне. Картошку они ели всегда, только способ приготовления менялся. Потом Евгения отнесла Зойку спать. Альберт хотел налить еще.

– Ты меня споил. Я – в стельку! В прошлое рождение, – глаза у нее ехидно засветились, – тебе было тридцать два. А сейчас? Неужели тридцать шесть? Смотри, сколько стало седых волосков! Мне надоело их у тебя выдерживать.

Упрекая Альберта в постарении, Евгения утешала себя. Хотя Плехановский они кончили в один год, ее день рождения был осенью, ближайšie полгода она могла считать себя моложе. С возрастом у нее становилось больше иронии. Она совершенствовалась в поиске черт старения у других, отвлекая внимание от себя.

– Тридцать шесть, – продолжала она. – Следующий раз будет сорок. А через раз сорок четыре. Все чего-то добиваются, а мы?

Этим «мы» она деликатно смягчала укор. Но направление его было ясным.

– С чего ты взяла, что все?

– В газетах пишут.

– Верь больше!

Он решил, что лучшего времени ее обрадовать не будет.

– Кстати, завтра я кладу Склерцову заявление об уходе.

Евгения смотрела на него с недоверием.

– Шутка?

– Seriously.

– Хаимов?! Неужели Хаимов не трепался тогда? Значит, сдержал обещание и берет? У него командировки заграничные... Что я говорила! Хаимов – деловой парниша. Чувство долга у него есть.

– Чувство долгов.

– Не смейся!

– Он же за тобой увивался.

– Чепуха! Ничего не было. Был только ты.

– Жалеешь?

– Перестань! Хаимов пойдет еще выше, пока не узнают, что его папа был Хаймович.

– Откуда ты знаешь?

– Привязался! Да он это всем евреям рассказывал.

– Что-то я не слышал...

– Русский, вот и не слышал. Ну, сто восемьдесят они точно отвалят, а может, и двести. Пылесос купим... Вы подумайте! То-то смотрю, ты такой возбужденный...

– Нет, я не к Хаимову.  
– Не к Хаимову?! – глаза ее расширились.  
– Мам! – крикнула Зойка из комнаты.  
– Зой, спи немедленно! Я занята. Альберт, не терзай душу, куда?

– В студию клоунады.  
– Что, теперь они будут заниматься нашей экономикой?  
– Наша экономика и без них рухнет. Я учиться. На клоуна.

Она обошла вокруг стола, руку приставила к уху, отдавая честь, стукнула пятками.

– Я с тобой как верная подруга!

– Туда женщин не берут.

– Ты что, серьезно?

– Серьезно. Не берут.

– Я не о том: ты – серьезно? Там что, стипендия больше твоей нынешней зарплаты?

– Не спрашивал.

– Ах, не спрашивал! А тут платят сто пятьдесят. И с национальностью у тебя все в порядке. Дадут старшего...

– Потом-то зарплата – будь здоров, Жень! И гастроли за границей... Достань сигареты в портфеле! Понимаешь, я еще в детстве мечтал. Шанс раз в жизни рискнуть. Так ведь и умрем в трясине...

– Рискнуть? – донесся ее голос из коридора.

– А это что?

Она вернулась с галстуками, разметавшимися у нее по рукам.

– Что?! – повторила она с отчаянием, тряхнув галстуками.

– Твой реквизит, или как там называется?! Это же наши! Хоть бы на польские разорились. Безвкусица такая, что держать противно!

Евгения швырнула галстуки на стул. В глазах ее стояли слезы.

– Ну, чего ты? – растерялся он. – Чего?

– Ты забыл, как стал ходить по вечерам играть в хоккей? Сколько денег вылетело на амуницию? А что говорил? Что чувствуешь силы войти в сборную. Полтора года я с Зойкой на руках помогала в нее войти. А результат?

– Ты же знаешь, у меня реакция – будь здоров. Для вратаря – незаменимое качество.



– Да тебя на матчи дальше трибуны не пустили!  
– Еще немного и пустили бы. Планы у меня изменились...  
– Изменились! На балетную студию в этом дурацком Дворце культуры. «У меня все данные! Отсюда уходят в профессионалы». Не ты два года твердил?

– Я же не виноват, что бездарности в искусство пробиваются легче. Они нахальнее, им нечего терять. Зато знают, что приобретут.

– Ты у нас талант!

– Они сами говорили, что у меня гибкость.

– С твоим ростом? Тоже мне Лиепа!

– Слушай, Евгения, клоунада, я понял, абсолютно серьезно. Ну, не подыхать же мне за полторы сотни в этой шараге с подонком Шубиным? Гори они синим пламенем, запчасти, которых все равно нету, одна лиепа.

– А мне опять жить одной и на тебя не рассчитывать? После еще что-нибудь и снова абсолютно серьезно? Это называется мужчина, кормилец семьи... Оглянись! Вон Софа – у нее муж диссертацию хоть защитил.

– Вымучил – за девять лет.

– Ликуты, тоже наш институт. Какой у них прогресс – не нам чета.

– У них же дядя в Госплане, знаешь ведь.

Она встала посреди кухни и, задрвав халат на бедре, показала рваные колготки.

– Тебе плевать, что мужчины о твоей жене думают.

– Им туда заглядывать не надо.

– А это и так видно. Между прочим, эти колготки мне Софа отдала, свои, старые...

– Евгения, я хочу в искусство. Там обеспечат. Надо только терпение.

– Иди куда хочешь!

– Не веришь?

– С меня хватит! Устала жить с ничтожеством.

– Я ничтожество?! Да вокруг погляди. Я хоть не пью...

– А ты пей. Пей, пой, играй, танцуй... Мы с Зоей переезжаем к маме.

Она поставила стул к антресолям, решительно сняла пустой чемодан и унесла в комнату. Потом вернулась, швырнула

ему старое ватное одеяло, и дверь их комнаты захлопнулась за ней на английский замок.

А Камила жила бы с этим ничтожеством и была бы счастлива.

Кравчук рассеянно бродил по кухне. День рождения будет неполным, если не попить чаю. Он заварил покрепче, высыпав остатки заварки, взял с подоконника соседский транзистор и, пользуясь отсутствием хозяев, стал крутить. Кроме треска глушилок, которые все знакомые называли чека-джазом, ничего слышно не было. Забывали все, что можно, даже, кажется, свою собственную дребедень.

Авось соседи не появятся сегодня, и кухня в его распоряжении. Альберт достал с тех же антресолей раскладушку и раздвинул ее между газовой плитой и кухонным столом. Положив на нее рваное одеяло, он, не раздеваясь, забрался под него. Зачем простыни, когда без них проще? Это была его последняя в тот вечер значительная мысль.

### 3.

Окно кухни выходило на восток. Бок никелированного чайника ослепил, и Альберт открыл глаза. Солнце заливало всю кухню. Вчера была зима, а сегодня появилась уверенность, что дальше всегда будет весна.

Никто его не разбудил. Соседи – золото, цены им нет, не приехали. Евгения с Зойкой ушли. Даже если бы уже построили монорельсовую дорогу, на службу Алик все равно опоздал. Он сладко потянулся на скрипучей раскладушке, жмурясь от солнца. Потом поднялся, вынул из холодильника яйцо, ударил по нему ножом и вылил в рот сырым. Положил на язык кусок сахара и стал сосать из чайника холодную вчерашнюю заварку.

Позавтракав таким образом, он остановил первую попавшуюся казенную легковую машину, которая довезла его до работы («Как же ты можешь? Ведь это почти кило яблок для ребенка!» – говорит Евгения). А он опять смог.

– Ой, как же теперь?! – испугалась Камила. – Заходил Шубин, я сказала, что ты у смежников и будешь после обеда. Учи, он мог позвонить туда, проверить.

– Я плевал на Шубина вместе с его занудством, Милька! – слегка приподнявшись на носках, произнес Кравчук. – Я видел в гробу Склерцова в белых тапочках. Поддай-ка мне чистый лист.

Она поднесла ему на ладонях чистый лист бумаги, а когда он хотел взять, спрятала за спину.

– Сперва скажи зачем, тогда получишь.

Невольно он обнял ее, и губы соприкоснулись. Камила очень любила такие игры.

– Заявление напишу, – сказал он. – Увольняюсь.

В мгновение она стала серьезной и старалась понять, не шутка ли это.

– Увольняешься? Совсем?! Вот это да!.. Тебе всегда везет. А мне – никогда. Я расплачиваюсь за татаро-монгольское иго.

Присев на край стула, он нарисовал размашистым почерком слово «Заявление» и приписал: «Прошу по собственному желанию». Алик со вкусом вывел «собственному» и широко расписался, прочертив элегантный зигзаг, состоящий в основном из двух больших букв – А и К.

В глазах Камилы светилась нежность, страх разлуки и еще нечто, наверное, преклонение перед смелостью Кравчука. Он подмигнул и вышел вразвалочку.

Возле склерцовской секретарши Кравчук потряс листком, дав ей понять, что дело важное. В кабинете возле Склерцова склонились двое из исследовательского сектора. Улыбаясь, Кравчук постучал по локтю коллеги, чтобы тот заткнулся и отодвинулся. Альберт молча и с достоинством протянул руку начальнику. Тот удивился, но привстал и руку пожал.

– Ну, что, Склерцов? – развязно спросил Альберт. – Все жуешь те же нормативы? Вот так темп! Смелей! Давно пора утвердить!

Склерцов удивленно поднял брови.

– Ты это что, Кравчук?

– Чего трусить? В газетах пишут: руководитель должен быть смелым. А ты?

– Шутишь, что ли? По-моему, неуместно. Время-то какое рискованное, сам понимаешь!

Альберт не ответил, положил листок.

– Подпиши, меня время поджимает.

Начальник нехотя скосил глаза, а прочитав, вскочил и нервно заходил по кабинету, натываясь то на телевизор, то на столик с телефонами.

– То есть как? Нет, товарищи, вы только подумайте, какая неприятность у нас в коллективе: Кравчук собирается уйти...

– Не собирается, а уже уходит, – уточнил Альберт.

Склерцов оглядел двоих из исследовательского сектора, словно впервые увидел.

– Идите, я позже вас вызову.

Он подошел к столику с телефонами.

– Василий Иванович, сколько у нас получает Кравчук?

Кравчук вдруг подумал, что бухгалтеров и начальников отделов кадров всегда зовут Василиями Ивановичами. Внуки они все Чапаева, что ли?

– Не помню точно, – замялся Василий Иванович, – сейчас взгляну.

– Что ты за кадровик, если не помнишь?

– Вот, пожалуйста, Кравчук. Сто пятьдесят.

– А вакантное что есть? Ну, из придержки...

– Понял. Э... если по сусекам поскрести, найдем должностенку рублей э... на сто шестьдесят.

– Больше. Спусти очки со лба-то!

– Да они у меня и так уже на носу. Вот. Сто восемьдесят.

Но это...

– Сам знаю, что это. Готовь приказ на Кравчука. И собирайся в министерство, попросим утвердить. Коньяк захвати в сейфе, который тебе из Еревана поднесли.

– Будет сде...

Склерцов отключил его и соединился с секретаршей.

– Элеонора, где шофер?

– Пошел в буфет чайку попить.

– Сбегай, я еду в министерство. Возьми в кадрах приказ на Кравчука, перепечатай и на подпись.

– Зря вся суета, – заметил Кравчук, с улыбкой наблюдая за действиями Склерцова.

– Нет, не зря, Альберт Константинович. Если по большому счету, мы перед тобой виноваты. Я лично самокритично признаю. Сколько лет ты у нас?

– Одиннадцать.

– Точно, одиннадцать. Я пришел – ты уже год работал. Анкета у тебя в порядке, человек ты непьющий, в отрасли нашей разбираешься, а вот упустили рост из виду. Ты уж извини.

– Да чего там! – Альберт брыкнул ногой. – Только я все равно ухожу. Меняю профиль.

– Профиль? – заскучал Склерцов. – В каком же разрезе, если не секрет?

– Не секрет, но в стадии решения, – многозначительно произнес Альберт, подняв глаза к потолку.

– Улавливаю, – Склерцов посмотрел туда же. – Так если что, ты нас, Альберт Константинович, не забывай. Мы ведь жили душа в душу...

Камиля не работала, ждала его.

– Алик, куда? Я ведь умею быть немей рыбы, знаешь.

– Учиться...

– В аспирантуру?

– Вроде... В студию клоунады.

– Цирк?! Не, а серьезно?

– Разве я тебя когда обманывал?

– Еще обманешь. Кобели все одинаковые. Значит, не хочешь довериться. А я думала...

– Клянусь, в цирк! Кло-у-ном...

Раскосые глаза Камили округлились и застыли.

– Значит, гениальность. Способности в любом возрасте просыпаются. Я на это уже двадцать три года надеюсь. С половиной.

– Считаешь, правильно?

– Еще бы! Чего тут тратить жизнь, рассчитывая запчасти, которых все равно нету и не будет. Там искусство... С Никулиным будешь пить пиво.

– Почему – пиво?

– Потому что я люблю пиво.

– Мне пора, – сказал Альберт.

– А я?

Миля подошла к нему вплотную, так, что он почувствовал готовность, исходящую от нее.

– Знаешь, – поспешно зашептала она, оглядываясь на дверь, – ты был прав. Ведь это даже удобно, что ты женат. Это я,

дура, в обед боюсь: вдруг кто начнет ломиться. А сейчас... Хочешь, поцелую?

– В другой раз, – галантно ответил женщине джентльмен Кравчук.

Эту часть жизни он уже прожил. В другой части будет что-нибудь более эффективное.

Камила вытерла слезы и вытащила кошелек. Перед ней стояла важная общественная задача: обойти отдел и собрать деньги на подарок по случаю ухода экономиста А.К.Кравчука.

Тем временем Альберт выскочил на улицу, остановил такси, сел на заднее сиденье и велел шоферу гнать к старому цирку на Цветном. Вынул из кармана сверток и разложил на сиденьи галстуки. Выбрал из них самый яркий, обмотал вокруг шеи, завязал двумя узлами. Галстучные узлы он завязывать не умел, но так будет смешнее.

С цирковой афиши на него смотрел красноносый весельчак в больших ботинках: «Весь вечер на манеже Альберто Кравчук». Это Алик в уме заменил имя на Альберто. Звучало заманчиво.

Его сразу пропустили, просили пройти к директору цирка. Альберт открыл дверь и снял старую ушанку из полысевшего кролика.

– Здравствуйте! – громко изрек Кравчук, будто он вышел на арену.

Не подымая головы, пожилой человек, сидевший в старинном кресле за огромным столом, протянул палец вперед.

– К сожалению, – сказал он и ткнул пальцем в стену.

На стене висело объявление о приеме в студию клоунады, точно такое, какое Альберт прочитал накануне на щите. Объявление было перечеркнуто крест-накрест синим фломастером и внизу размашисто написано: «Прием окончен».

– Простите, – Альберт помял шапку. – Может, вам требуются экономисты?

Директор цирка склонил голову набок.

– Кто-кто?

– Я говорю, экономисты не нужны?

– Хм... Смешно!

– Я серьезно.

– Это еще смешней. Чем вы занимаетесь?

– Запчастями.

– И можете их достать?

– А вам нужны?

– Мне? – старик оглядел себя. – У меня почти всё функционирует. А что вы умеете? Жонглировать? Баланс на канате? Фокусы работаете?

– Все это могу, но в экономической области...

– Хи-хи... Так я и думал.

Директор встал, оглядел Альберта и вдруг закричал:

– Поднимите портфель! Пройдитесь! Блестяще! Типичный выход экономиста.

– Мне обещали старшего, – сказал Кравчук.

– Еще лучше: выход старшего экономиста.

Альберт шел к зеркалу и увеличивался в размерах. Он непринужденно улыбался. Черная оправа на бледном лице. Волосы, уложенные в пробор. Взгляд в светлое будущее.

– Bravo, bravo! – захопал в ладоши старик. – Шапку наденьте.

– Да она старая. Из кошки, наверно...

– Вижу, что не пыжик! Значит, старший экономист, да? Хи-хи!

– Чего смешного? – рассердился Альберт. – Без экономики, между прочим, жрать было бы нечего.

– А с экономикой, ха-ха?

Директор весь затрясся в смехе и снял телефонную трубку.

– Эй, там, беру еще одного. Новый тип, представляете: выходит шталмейстер: «На манеже старший экономист...» Как вас величать?

– Альберто.

– Вы что – итальянец?

– Русский я...

– Тогда лучше Альберт, ладно? А полностью?

– Кравчук Альберт Константинович.

– Во! Слышали? Ага... Выходит Альберт Константинович и шутит в экономическом плане. Кого посадят? Всех? Я что – первый день в цирке? Подберем что-нибудь понейтральнее. Фамилию записал? – Старик ласково положил трубку. – Такие дела, дорогой. Завтра на занятия. Танцы, шманцы, девоч-

ки в трико. Единственная просьба – поменьше слушать чепуху, которую вам будут преподавать. Сохраните себя для манежа таким, какой вы есть. Быть клоуном дано не всякому. Это, возможно, самая почетная должность на земле. Привет семье!

Пройдясь по бульвару, Кравчук остановился у автомата и позвонил Евгении.

- Приезжай быстрее! Я у памятника Пушкину.
- Неужели взяли? С ума сойти. Как же мне отпроситься?
- Соври. И не забудь занять двадцатку!

К Пушкинской он двинулся пешком. Евгения уже высматривала его близорукими глазами, но очки не надевала. Она по-деловому обняла его, взяла под руку, и они пересекли площадь к ресторану ВТО. Швейцар открыл дверь и поклонился.

– Звонили, звонили из цирка, – сказал он. – Столик заказан. Прошу!

Обед был, как в лучших домах Лондона. Филиппов с Кадочниковым кирали наискосок.

– Надо привыкнуть, что у меня муж – известный артист, – сказала Евгения, когда они в такси мчали домой. – Куплю веник выметать поклонниц. Хоть бы на афишах тебя изображали менее красивым, чем ты есть.

– Я распоряжусь, – кивнул Альберт.

Когда они входили в комнату, теща надевала сапоги. Она приволокла Зою с продленки, уложила спать и теперь собиралась уйти.

– Наконец-то приперлись! – воскликнула она. – Ребенок сам по себе, родителям дела нет.

– Заяц! – разбудила ее Евгения. – Потрясающая новость: наш папка клоун!

Зойка вскочила с постели в ночной рубашке до пяток и бросилась Альберту на шею.

– Живой? И на работу не надо, каждый день в цирк будешь ходить? Мне с тобой можно? Вместо продленки? Там буду уроки делать.

– По воскресеньям, ладно?

– Можно я Аню и Лизу позову?

– Все с ума спятили, – сказал теща. – Все! Хоть бы мне сдохнуть скорей и этого безобразия не видеть. Завтра приеду, как всегда.



Они легли. Евгения шепотом, боясь разбудить спящую рядом Зойку, мечтала о том, как изменится их жизнь. Все осуществилось, ну просто все, если не считать монорельсовой дороги. Да черт с ней! В кооператив вотремся: две изолированных комнаты, кухня и никаких соседей! Машину купим. Обняв его обеими руками, прижавшись всем телом и засопев, она вдруг почувствовала, что любит его, как раньше, и, отлюбив, облегченно заснула, усталая от счастья. К этому моменту Кравчук и сам уже храпел. Так закончилось у Кравчука тридцатое февраля.

#### 4.

Утром первого марта он проснулся от того, что у него замерзли ноги. Одеяло сползло с узкой раскладушки на пол. Хотя окно кухни действительно смотрело на восток, никакого солнца не было. Таяло, а небо было затянуто беспросветными облаками. Но и в ясный день солнце на кухню не попало бы: его загораживала двенадцатиэтажная коробка, которую крикливая бригада строителей уже не первый год подводила под крышу.

Кравчук согрел чайник. Вообще он выпил бы холодного чаю, чтобы не возиться. Но Евгения говорила, что холодный чай утром пить вредно. Он накрошил в сковородку хлеба и вылил яйцо. Ты не тенор, говорила Евгения, яйца можешь жарить, не ленись.

На работу он ехал в метро. Воняло носками, и давили бесцеремонно, но зато метро было самым красивым в мире. На службу Кравчук почти не опоздал. Он бегом взобрался по лестнице, чтобы не ждать лифта, кивнул людям из соседнего сектора, курившим в коридоре, и сел за стол, сделав вид, что уже давно пришел. Он отодвигал папки с материалами, ждавшими расчетов, когда вбежала раскрасневшаяся Камиля.

– Ой, господи, чуть не опоздала! Шубин попался, ужас, какой злой.

Она причесалась, подвела ресницы и, выдвинув ящик стола, стала читать.

– Камиля, почему никогда не работаешь? Из-за тебя запчастей не хватает.

– И хорошо! – она кокетливо сощурилась.

– Их и не должно хватать, иначе мы зачем? Так что не мешай, я дочитаю «Королеву Марго». А тебе Шубин велел зайти с отчетом к Склерцову.

– Слушай, мне бы надо смотаться часа на полтора.

– Сходи к начальству, а после смоешься.

Разыскав в ящике стола папку, Кравчук отправился в кабинет Склерцова.

В коридоре, возле стенгазеты, которую писали, но не читали, и щита с приказами о наказаниях, которые никого не огорчали, двое курили, делая вид, что изучают прошлогодний план обязательных занятий сети партийного просвещения.

– Все суетишься? – остановил Альберта коллега. – Горишь на работе... Между прочим, вопрос на засыпку: как в России всегда называлось учреждение? Присутствием. Гениально: все присутствуют, никто не работает. А ты? Вид такой деловой. Расти хочешь что ли?

К начальнику секретарша не пустила, велела ждать. Кравчук теребил в руках папку, украдкой поглядывая на часы. Наконец раздался звонок, разрешающий войти.

Склерцов что-то писал и, не поднимая головы, знаком указал на стул. Он кончил писать, перечитал, переговорил по телефону, глядя сквозь Кравчука, потом закурил.

– Ты, Кравчук? – сказал он, смотря в окно на крышу соседнего дома. – Вроде не первый год у нас, не мальчик.

– А чего случилось?

– И премию тебе давали. Почему медлишь? Может, не справляешься?

– Почему – не справляюсь?

– Так какого же лешего ты не подобьешь бабки? Из-за тебя не сообщаем главку объяснение причин перерасхода сальников и прогноз увеличения их выпуска.

– Реальных причин?

– Что за детский вопрос! К черту реальные! Надо, чтобы цифры сошлись, и все. Мне шкуру спускают, а ему хоть бы хны! Альберт... как тебя по батюшке?

– Константиныч.

– Так скажи ты мне, Константиныч, мать твою за ногу! В чем дело?

Кравчук молчал. Он мог бы сказать, что поставщики дают сальники девяностопроцентного брака, что потребители запрашивают втрое больше, чем надо, и это утекает налево. Но Склерцов и сам все знает. Не Кравчук в этом виноват.

– Ладно! – смилостивился Склерцов. – Сегодня должно быть готово. Иначе приму административные меры, так и знай.

– Я могу идти? – исполнительно промямлил Альберт, чувствуя облегчение, и уже двинулся к двери.

– Иди! Хотя стой-ка! Неси сюда всю документацию, садись вон за тот стол и не вставай, пока не будет готово.

Вот влип-то! Кравчук тихо выполз из кабинета. Раз в жизни представилась возможность взять судьбу за рога, так тут Склерцову приспичило.

– Чего он хочет? – спросила Камиля, подняв раскосые глаза от Дюма, лежащего в приоткрытом ящике стола. – Ты бы ему сказал, что вчера был день рождения. Имеет же право советский человек, чтобы ему хоть раз в год настроение не портили? Верней, раз в четыре. Алик, а чего тебе жена подарила?

– Отстань!

– Чавой-то сегодня ты такой нервный с утра? С женой посорился?

У Камили нюх на эти дела. Евгения ничего не подарила. У них уже несколько лет договоренность ничего друг другу не дарить. Толкового подарка все равно не достать, и денег никогда нет. Но объяснять это Миле долго, да она по своим двадцати трем незамужним годам и не поймет.

С папками, как с подносом, Кравчук пнул ногой дверь и с мрачным лицом отправился в кабинет начальника. Сел в углу за просторный стол для заседаний и, обхватив голову ладонями, попытался сосредоточиться. Он старался не слушать разговоров и звонков, не обращать внимания на входивших. Успеть бы только подать документы в студию клоунады. Сегодня ведь последний день. Там, небось, сто человек на место, а то и больше. Но – вдруг! И тогда на цирковую премьеру он широким жестом пригласит Склерцова, на которого сейчас смотреть противно, вместе с его секретаршей. А лучше Камиля соберет деньги и организует культпоход на Кравчука. Все пойдет, особенно если в рабочее время.

Альберт потряс головой, чтобы отрешиться от посторонних мыслей. Дел в таблицах, в сущности, немного: данные по расходу сальников усреднить и вывести по принятым формулам липовый прогноз, который сейчас ждут от Склерцова, а потом никто в министерстве не вспомнит.

Склерцов уехал на совещание (после совещаний от него пахло спиртным, сытным обедом и дорогими духами), и в кабинете стало тихо. Даже болтовня секретарши за двумя дверями прекратилась. Альберт вышел в туалет, а вернувшись и открыв дверь склерцовского кабинета, увидел, что за столом Склерцова сидит со значительным видом Шубин и роется у него в столе.

– Гуляешь? – Шубин старался скрыть смущение. – Закругляйся быстрее.

– Ладно...

Шубин вышел. Альберт, бурча про себя ругательства, уселся доделывать работу. За окном стемнело, когда Кравчук, не зажигая света, тихо положил на середину склерцовского стола этот чертов отчет, дважды подчеркнув цифры, которые требуются министерству. Он схватил в охапку папки.

– Разделался? – спросила Камила. – А я книжку кончила, нечего читать.

Альберт швырнул папки себе на стол и стал надевать пальто. После такой напряженной работы за весь отдел пусть кто-нибудь упрекнет его, что он срывается раньше. Возле Мили он задержался.

– Поцелуй меня. В губы.

– За что?

– За день рождения.

– У! Он был вчера.

– Ну, тогда для удачи...

– Нет уж! Мужиков баловать – только портить. Вон Перитонитова из отдела комплектации правильно делает: не вымыл муж посуду – и ее не получит...

– Тоже мне, Руссо.

– Ну сам подумай: какой мне смысл тебя сейчас целовать? Да еще в губы. Это неперспективно. Порядочная девушка должна целовать того, кто хотя бы обещает...

– Чего?

– Жениться или в крайнем случае время проводить. А ты – ни то ни се.

Она помахала ему пальцами, выдвинула ящик, из которого вытащила вязание, и принялась за дело.

Альберт старался незаметно прошмыгнуть по коридору, и ему это удалось. До цирка он добрался троллейбусом. У циркового подъезда было темно и пусто. Альберт двинулся вокруг искать служебный вход. Возле Центрального рынка толпился народ, в основном восточный. В цирке пахло лошадиным навозом.

– Пропуск! – строго прохрипел вахтер.

– Мне... Где тут в студию клоунады принимают?

– В отделе кадров. Но все равно пропуск!

На заказывание пропуска ушло полчаса. Под лампочкой висела доска объявлений с ободранными краями. Кравчук пробежал глазами извещение о занятиях сети политпросвещения для работников манежа, приказы о перемещениях в должности, договор о соцсоревновании, в котором артисты брали повышенные соцобязательства делать то, что они и так делали.

«Пятилетний план подготовки новых номеров», – читал далее Альберт.

«Актера такого-то за выход на манеж в нетрезвом виде лишить того-то и объявить ему то-то».

«За курение в ненадлежащем месте согласно рапорту пожарной охраны такому-то сделать то-то».

Список задолжников членских взносов в местном завершал композицию.

Кравчук сморщился, как от зубной боли. Вдохновение увяло, отделилось от его неумного тела и унеслось в неизвестном направлении, как душа от покойника. Уйти. Сразу, не ступая на вытертую поколениями циркачей дорожку. Опять малодушие! Вся жизнь идет оно за Кравчуком, как тень, но, в отличие от тени, то и дело норовит загородить дорогу, оттолкнуть, затоптать, приравнять его, человека с дарованиями, к средней массе.

Поднимаясь по лестнице, Альберт чувствовал одышку. Может, он постарел? Нет, главное не дрейфить. В темном коридоре он остановился и, чтобы успокоиться, стал считать: вдох-выдох. Собрав остаток воли, Кравчук приоткрыл дверь с надписью «Отдел кадров» и, сняв шапку, заглянул.

За старомодным столом, между двух сейфов, сидел пожилой лысый человек в очках и читал газету «Советский спорт».

– Извините, я по объявлению насчет клоунады... не опоздал?

Инспектор отдела кадров отложил газету, снял очки и осмотрел Альберта.

– Анкету заполнял?

– Нет еще.

– А кто тебя, собственно, рекомендовал?

– Сам я...

– Где в нашей системе работал?

– Видите ли...

– Если «видите ли», то нечего и анкету заполнять, бумага – дефицит. Образование?

– Экономист.

– Высшее, значит. Возраст?

– Тридцать пять, – сказал Альберт.

Он не соврал, вырвалось на год меньше.

– Ууу!.. Чего ж тебя учить три года? Чтобы проводить на пенсию?

– Ну, тогда извините.

Кравчук кивнул как-то нелепо, молча попятился из двери. Черт его дернул заходить, ведь решил же смыться еще в коридоре.

Тут опять запахло конюшной. Сморщенная женщина задела его мокрой тряпкой, намотанной на палку, и назидательно проговорила вслед:

– Смотреть вперед надо, когда идешь.

На улице фонари едва пробивались сквозь сырую темноту. Альберт двигался, как рыба в аквариуме, не понимая зачем и куда.

– Эх, мать свою поберег бы!

Нечто твердое уперлось ему в бок, и стало очень больно. Тормоза у самосвала взвизгнули, засипели. Шофер соскочил с подножки, оставив дверцу открытой. Он вытащил Кравчука из-под колеса, ощупал его. Обнаружив, что тот цел, только зад и рукав пальто в грязи, шофер поднес кулачище к носу Альберта.

– Давил бы таких, как тараканов.

Шофер еще выматерился, вскарабкался на подножку, остервенело захлопнул дверцу и газанул, обдав Кравчука брызгами мокрого снега и гарью из огромной выхлопной трубы.

Приходя в себя, Альберт постоял на краю тротуара, облокотясь о фонарный столб. Отдышался немного, ощущая легкими озноб от сырого воздуха. Хороший человек этот шоферюга, ласковый. Мог бы сплющить – Кравчук и пикнуть бы не успел, не то что сказать последнее слово. С клоунадой не вышло, зато живой. Хорошо, что не наоборот.

Остальной путь Альберт проделывал, сосредоточенно смотря налево, направо и даже вперед.

Он долго вставлял ключ в прорезь замка. Евгения приходит раньше, слышит эту возню и сама бежит открывать: «Режь хлеб, все готово!..»

Никто ему не открыл. В коридоре было темно, у соседей тихо. Не раздеваясь, следя по полу своими туристическими ботинками на рифленой подошве, в которую забился снег, Альберт прошел в комнату и зажег свет. На диване валялись Евгеньины кофточки, которые она давно не носила, на полу мятые газеты. На столе гора невымытой, засохшей посуды.

Он сгреб со стола в ладонь хлебные крошки, отправил их в рот и обнаружил записку, прижатую пустой сахарницей. Запотевшие очки, протертые пальцами, приблизились к листку:

«Я ушла. Больше откладывать не могу. Зою забрала мама. Посуду мой сам!»

Не снимая ботинок, он прилег на диванчик, закрыл глаза.

Вообще-то следовало ожидать, что это рано или поздно произойдет. Давно шло к этому. Теперь он будет жить один и следить мокрыми рифлеными подошвами, где хочет. Посуду он вообще выкинет, в кухню из комнаты будет ходить по канату. Завтра приведет после работы Камилю. Потом любовницы станут приходить вечером, и он будет проверять, умеют ли они что-нибудь делать на канате. На канате этого еще никто не пробовал. Можно сказать, открытие в сексологии.

Сколько он пролежал в темноте, неизвестно. В дверь звонили. Открыл не он, а соседка, не известно откуда объявившаяся после долгого отсутствия.

– Ты оглох? Возьми сумку, еле донесла. И чемодан возьми.

Евгения сняла вязаную шапочку и отряхнула ее от снега. У нее были ключи, но она хотела, чтобы Альберт ей открыл.

– В химчистке очередь жуткая. А все равно самообслуживание дешевле. Целый чемодан перечистила. Посуду вы-

мыл? Так и знала!.. Неужели жрать не хочешь? Что у тебя с пальто? Надо было вчера упасть, сегодня бы заодно вычистила...

Кравчук понес на кухню грязную посуду. Думал: спросит Евгения про студию клоунады или нет? Она болтала без умолку про Зойку, которую мать забрала к себе на ночь, про свою сослуживицу Татьяну, которой упорно не везет: никак не может забеременеть. И Валентине не везет – опять беременна. Потом пошли рассказы про новые объявления об обменах, но для нас ничего подходящего: все варианты с доплатой между строк. Евгения спросила даже насчет перерасхода сальников. А про клоунаду – ни-ни.

И все-таки Кравчук пришел к выводу, что она его любит. Он вспомнил недавно прочитанную статью. Социолог утверждал, что самые прочные семьи те, что находятся на грани развода. Так что, ссорясь, Евгения инстинктивно укрепляла их брак.

– Жень, – сказал он, – знаешь, о чем я думал?

– Знаю. Чтобы скорей поджарились купаты.

– Это само собой... Ты Бронштейна помнишь? Ну, из вычислительного. Он сейчас зачистил на ипподром.

– Верхом учится? Принцесса Анна покоя не дает? Так она замужем.

– Он сам женат, не в этом дело!

– А в чем? – Евгения смотрела на него с опаской, словно ожидала подлянки.

– Езда – мура, Жень! Он же программист, знаешь, какой сильный! Так он сейчас статистику начал собирать по скачкам, а в статистике он ни бум-бум. Зовет меня присоединиться.

– Зачем? – глаза ее похолодели, сощурились, и в них промелькнуло нечто, доказывающее, что подозрение подтверждается.

– Как это – зачем! Представляешь? Лошади в мыле, жокеи орут, тысячи людей психуют, ставки растут, тотализатор распирает от денег, а у нас все заранее в кармане. Мы-то составили программу и рассчитали на кампутере, какая лошадь выиграет.

Он сказал «кампутер», как стало модно говорить. Она продолжала смотреть на него в упор.

– Ты, случаем, в Испанию не хочешь?



– Зачем мне в Испанию? – удивился он.

– Не догадываешься? Попытать счастья в корриде. А еще можно в Америку. Там коню привязывают одно место, и он скачет от боли, как безумный, и кто дольше усидит, получает большие деньги. Это в Техасе, я недавно читала.

– Брось, Жень, я же серьезно!

– А кампютер-то где?

– Кампютер у нас на работе паутиной зарос. Можно вечером оставаться и работать. Валюта за него государством все-таки плачена, чего ему ржаветь? Вечерами по-тихому срабатываем. Завтра сорвемся с работы пораньше, и на ипподром...

Он подождал, что она ответит. Но Евгения молчала, склонившись над сковородкой с дымящейся картошкой, которая начала подгорать.

– Это серьезно, Жень, – сказал Альберт и, чувствуя, что она его не хочет понять, прибавил. – Теперь – серьезно!

Вошла соседка, прислонилась к дверному косяку.

– Кухню скоро освободите? – спросила она. – А то никак посуду не вымою из-за вас.

Без злобы сказала, даже улыбнулась. Но диалог сам собой увял.

Евгения смотрела на мужа растерянно, словно колебалась: закричать или тихо заплакать? Но поскольку и то, и другое было бесполезно, она сосредоточенно нащупала на плите ручку, резким движением выключила под сковородкой газ и принялась перемешивать пригоревшую картошку.

## ЛИШНИЙ ПЕРСОНАЖ В ВОДЕВИЛЕ

### 1.

– Астаррожна, дввери закррываюцца! Слледушшая станция – «Биларрусская».

В московском метро объявляется так торжественно, будто двери эти в светлое будущее. Металл в голосе – чтобы никто не засомневался. Где их учили площадной дикции? Как с мавзолея вещают. А может, просто характер у меня испортился, и я стал ворчуном?

Ворчун возвращался со спектакля, на котором был теперь зрителем, и с этим смирился. Покой нам только снится, говаривал он раньше. Теперь покой стал явью, а сон – беспокойством.

Многоцветная толпа вдавилась в полупустой вагон на «Маяковской» и притиснула Ипполита Акимыча к тем, кто оказались шустрей и успели сесть. Чтобы не налечь на сидевших, пришлось ухватиться обеими руками за перекладину. При небольшом его росте и давлении с трех сторон это было нелегко. В метро люди замечают друг друга, когда свободно. Если же в вагоне битком, то каждый сам по себе, будто один. Такой уж парадокс. Тем не менее пристальный взгляд на себе Ипполит Акимыч ощутил. Не повернешься, чтобы хоть взглянуть. Руки напряжены, не отпустить.

Пошевелив кожей на лбу, попытался оторвать прилипшую шляпу. И это не удалось. Сдвинул ее пальцем, повертел шейю, чем тут же вызвал ворчание соседа, которому ни за что ни про что задел ухо локтем. Наконец удалось в пределах возможного обернуться. У дверей, в двух шагах от себя, Ипполит Акимыч углядел молодого человека в больших очках, лицо которого показалось знакомым.

Тот кивнул головой, вроде как поклонился. Зашевелил губами, произнося слова, кои в грохоте тоннеля не расслышишь. И когда губы, задрожав, приоткрылись, сразу вспомнилось имя: Радик. Конечно, Радик. Только у него так вздрагивали углы губ: что-то типично актерское.

Механически кивнув в ответ, Ипполит Акимыч тут же пожалел, что это сделал. Вот кого не хотелось бы встретить.

Поезд тормозил на «Белорусской», и надо было протискиваться к дверям. Может, сделать вид, что не вспомнил? Или, на худой конец, отвернуться? Оставался шанс проскользнуть, избежав встречи. Но Радик уже рванулся вперед, нырнул и, когда двери раздвинулись, вывалился на платформу. Толпа вынесла бы их вместе, даже если поджать ноги. Радик оказался впереди, и, едва людской поток вытек на платформу, они столкнулись лицом к лицу. Деваться некуда. Пожав руки, постояли, глядя друг на друга. Радик, худой и длинный, на голову выше.

– Помните меня?

– Ты ведь жил у Речного вокзала...

– Я с вами сошел. Вы все там же, на Малой Грузинской? Я из театра. Вы тоже?

– Угадал! А почему один?

– Так... Люблю один, – жестко отрезал Радик.

– Ну, коли встретились, сядем?

Нашли свободную скамью в стороне, чтобы люди, бегущие к эскалаторам, их не задевали. Душный ветер и человеческий поток, текущий мимо, создавали тот особый напряженный уют, которого не ощутишь, пожалуй, нигде, кроме как в московском метро. Радик тоже был смущен, и от этого неприязни к нему поубавилось.

– Опять весна, – произнес нечто ничтожное Ипполит Акимыч, чтобы не молчать.

– В метро всегда весна, – Радик усмехнулся, вытянул ноги и поглядел на грязные ботинки. – Когда-нибудь, говорят, будет только хорошая погода. А плохой не будет. Страшно всю жизнь провести в метро.

– А вне метро не страшно? – спросил Ипполит Акимыч.

Они посмотрели друг на друга, и установилось какое-то взаимопонимание. Радик стал скептиком, как я. Отчего ж у меня на него обида? Что он мне сделал плохого? В чем виноват?

Профессиональная память Ипполита Акимыча хранила в себе роли, даты, имена. К старости он стал воскрешать и прокручивать в уме целые эпизоды из прошлой жизни, заново их переживая. Вот и тут память услужливо предложила готовую кассету о том, что произошло между ним и этим юношей, к которому он отнесся, как к сыну. Впрочем, уже не юноша – мужчина.

Было это... Пойдите-ка... Два года назад. Точнее, два с половиной.

## 2.

Дворники не успевали сметать листья. На дверь Листопаду, соседу Ипполита Акимыча, скульптору, кто-то тогда повесил дорожный знак для трамваев: «Осторожно, Листопад!»

Вполне рядовой (чего уж там!) и немолодой актер неожиданно ушел из театра на Малой Бронной. Ушел вторично. В первый раз – с этой же сцены, когда разгоняли Госет, Государственный еврейский театр, после убийства Михоэлса. Отсюда Ипполита Акимыча увезли в воронке и судили как пособника космополитам. Во второй раз он сам устал и ушел в никуда, как отрубил. Судьба будто поджидала: через два месяца он потерял жену.

Вера, супруга его, служила в театральной бухгалтерии, ездила в банк за получкой актерам и сама ее выдавала. Возвращалась она ночью с премьеры, и на улице стало плохо. Сколько времени прошло потом, пока ее скорая подобрала, трудно сказать, только уже было поздно. Выдержала Вера лагерь, после которого на поселении они с Ипполитом сошлись. А по сию

сторону колючей проволоки, когда и квартиру кооперативную отстроили, и мебелишкой обзавелись, отошла из жизни в небытие.

Пробыли они на Крайнем Севере сравнительно с другими недолго и, можно считать, выжили удачно. Запас молодого здоровья помог. На общих работах он провел не более шести лет, а по вечерам на сцене веселил мордастое лагерное руководство.

Театр у них в Воркутинских лагерях, согласно воле начальства, был лучше вольных театров, в которых хороших актеров к тому времени пересажали. Ставили там на одной сцене драму, оперетту, даже оперу – на все зекów хватало. И рецензии в лагерной многотиражке на постановки печатали (само собой, без указания имен заключенных). Одна газетка у Ипполита Акимыча чудом уцелела: «С подъемом спел свою прощальную арию Владимир Ленский. Что касается Евгения Онегина, ему еще предстоит поработать над собой, побороться за досрочное освобождение».

Из-за своего курносого лица, некрупности и мягкости фигуры Ипполит Акимыч играл в советских пьесах отрицательных героев, которые, однако, успешно перековываются. Был он также рабочим сцены. Вера мыла полы, шила в костюмерной. То, что они нашли друг друга на Севере, помогло им дотянуть до амнистии, но детьми они не обзавелись. Когда можно было рожать, рожать было нельзя. Потом дважды у Веры были выкидыши, пошли болезни. Врачи сказали, что поздно. Из-за отсутствия детей театр они любили вдвойне.

Похоронив жену, справил Ипполит Акимыч нелепые поминки, повыл у себя в берлоге, пошел в церковь – не помогло. Что-то, видно, отбили в сознании, назад не повернешь. Москва по чужим бедам не плачет. Стал куковать бобылем. Все вокруг поплыло сикось-накось. Но сдаваться он от одиночества не хотел. Попытался вернуться в труппу, чтобы не сиротствовать у себя на кухне. Оказалось, свято место пусто не бывает. Его роли уже тарабанил парень из Ярославского драмтеатра, ухитрившийся, как сказывали, за неделю фиктивно жениться, прописаться в Москве и развестись.

Чтобы убавить ощущение одиночества, Ипполит Акимыч перестал запираť дверь. Даже забил молотком шуруп внутрь

замка, чтобы случайно не защелкнулся. Засну, как Вера, и в квартиру никто не проникнет. Будут считать меня живым, а я давно того-с. Сосед, скульптор Листопад, старался его убедить, что жить в Москве без замка накладно. Ипполит Акимыч возражал:

– Вору замки не помеха. Разве зеки в лагере запираются? Денег у меня нет. Кроме классиков, ничего дома не держу. Зачем домушникам классики?

После того как в подъезде убили бутылкой по голове переводчика Костю Богатырева, все знакомые переполошились. Стали по два, по три дополнительных замка врезать.

– Убили Костю не случайно, это факт, – рассуждал Ипполит Акимыч. – Виден почерк наших доблестных органов. Что до воров, то драматург Александр Флаг у нас в кооперативе семь специальных замков имел. Когда на дачу съехал, дверь у него отжали с другой стороны и с петель сняли. А замочки целехоньки. Захочет судьба распорядиться, она это сделает.

Малочисленные друзья стали входить и раздеваться сами. Услышав голоса, он спешил им навстречу. Если просили, подыгрывал знакомым актерам, когда те учили роли. Но это случалось нечасто.

Не зная, чем себя занять, он угрохал последние сбережения, оставшиеся после похорон, и купил подержанный бильярд. Бильярдный стол оказался большой – не для однокомнатной квартиры, даже если на нем есть и спать. Диван для спанья в углу все же остался. Но бить с боков по шарам можно было только коротким огрызком кия, который Ипполит Акимыч сам отпил, чтобы не ударять в стену. Думал, приятели соблазнятся бильярдом и станут чаще навещать. Раз зашел Листопад – для вежливости. Остальное время бильярдист играл сам с собой.

Жить на что-то надо было, не голодным же гонять шары в лузы. Из Москвы в периферийный театр, где, может, и возьмут, уезжать глупо. Взялся вести драмстудию во дворце культуры, неподалеку от дома. На хлеб без масла, чтобы мизер приработать к пенсии. Набрал старшеклассников, начали читку водевиля прошлого века. Вот тогда и явился к нему хромой юноша в свитере домашней вязки, черном с красными полосками. Одно стекло в очках треснуло, мешало смотреть. Углы

губ нервно подрагивали. То и дело поправляя очки, новенький сразу потребовал для себя главную роль.

– Так просить у актеров не принято, – мягко сказал Ипполит Акимыч. – А вообще, хорошо, что пришел. Нам как раз нужен такой типаж.

Сказал, чтобы не возникло никаких подозрений. Но тем самым взвалил на себя ношу. У каждого есть изъяны, и они препятствуют кем-то быть. Скажем, не стану я солистом балета со своим ростом. Не могу петь иначе, как дома, когда один. И мало ли чего еще не могу. Нет, разумеется, декрета: хромого не допускать на сцену. Но существует негласный запрет.

Все это так. Но отказать человеку в любительской студии, если хромает, нельзя. Почувствовал Ипполит Акимыч интеллигентным своим нутром что ли: не возьмешь – будет травма души. Коли мальчик хочет приобщиться к святому огню, как взвалить на себя ответственность – отлучить?

Вечером, играя в бильярд, Ипполит Акимыч вслух советовался с покойницей Верой, как привык это делать всю жизнь. Ему казалось, она отвечала. А он ей возражал или соглашался, прерываясь только, чтобы загнать в лузу шар или выпить чаю. Поделился с ней сомнением о кандидате на роль французского графа. Она заинтересовалась, стала расспрашивать.

– Скажи, какая настырность у парня! Может, Поля, способности?

– Знаешь, – мысленно высказал он ей свое мнение, – у него губы подрагивают. Нервная организация тонкая, актерская. А товарищи его школьные говорят, он математик. Может, талант?

– Бывают таланты двухполюсные.

– На практике это невозможно, – возражал он. – В актерах ему все равно хода не дадут. Нельзя быть однорукому гимнастом, глухому – Рихтером. Зачем обманывать? Вдруг он всерьез увлечется, бросит математику...

Уговаривала его покойная Вера мягко, словно взвешивая правоту мужа. Она даже нашла подтверждение своей мысли:

– Кстати, в театре у Мольера был хромой артист. Помнишь, Булгаков писал?

– О, господи, у Мольера! – возразил он. – Булгаков мог и присочинить. Да Осип Наумыч Абдулов хромал, большой ар-

тист. Но Станиславский не потерпел его у себя в театре и сказал: хромой артист обязан быть ге-ни-аль-ным. Если актер гениален, он может убедить мир, что все здоровые люди должны хромать. Кто не хромает, тот инвалид! Кстати, после Осипа в его ролях другие артисты хромали, полагая, что иначе нельзя. Но прежде докажи, что ты гениален. Приди такой в театральное училище – комиссия будет гримасы корчить. Помнишь, как Зяму Гердта не хотели брать после фронта, одноногого? Взяли – в кукольный театр, за ширмой стоять.

– Есть вещи, Поля, которые человек сам должен в себе переступить. Осознать и отказаться. Это особенно касается недостатков физических. Вроде женской красоты...

– Разве ж это недостаток? – спросил он Веру, которую красивой нельзя было назвать, но и дурнушкой тоже.

– А то! Женщина берет за красоту награды, которых она как человек и не заслуживает вовсе. Присваивает себе незаконное право иметь лучших мужчин, которых другие достойны. И богаче жить. Но это растлевает. Умная женщина, пройдя через испытание красотой, очищается. А глупая становится шлюхой.

– Что ж мне с хромым-то делать? – перебил он ее.

– Возьми его, Поля, – сказал голос жены. – Не велик риск.

Странно, что ни он сам, ни даже ясновидящая жена, не оставившая его без советов и после смерти, не предвидели, что Радик, того не ведая, втянет Ипполита Акимыча в водоворот.

Для хромого пришлось переделывать в водевиле все так ловко придуманные мизансцены, чтобы Радик меньше ходил по сцене, сидел или стоял, когда раздвигался занавес. Это был режиссерский эксперимент с заранее заданным условием: одно действующее лицо привязано к стулу. Все приходилось делать незаметно.

Ипполит Акимыч боялся резким словом или слишком жестким требованием обидеть юношу. Он понимал, что иногда приносит ему в жертву остальных, но шел на это. Чуткость у труппы обострилась. Радик все воспринимал нервно, даже мелкие замечания. Краснел, дулся и повторял сцену еще хуже. Его никак не удавалось отучить от излишней патетики.



Вечерами режиссер вслух обсуждал с отсутствующей Верой репетиции. Актерские способности у Радика не подтвердились. Конечно, Завадский был прав, говоря: актер – это человек, который говорит чужие слова не своим голосом. Но ведь и для этого нужен дар. Почему неспособный человек так фанатично рвался играть? Даже Вера ответить не могла.

### 3.

Народ в метро к ночи убывал. Поезда шли реже. Ипполит Акимыч все еще недружелюбно смотрел на сидевшего рядом с ним молодого человека, осознавая тем не менее, что сердится на него несправедливо. Как твердят французы, *cherchez la femme*. Ищите женщину. Ищите и обрящете.

– Как живешь, Радик?

– Знаете, кто такой зануда? – вопросом на вопрос ответил тот. – Человек, которого спрашивают, как живешь, и он начинает объяснять... Кончаю третий курс мехмата.

– Постой-ка! Ты ж должен быть на втором?

– Я перескочил... Зря я тогда студию бросил.

– Без сцены скучаешь? – изумился Ипполит Акимыч. – Но не театр ведь тебя ко мне привел!

Уши у Радика порозовели. Он опустил голову и стал внимательно разглядывать под ногами затоптанный конфетный фантик.

Перед Ипполитом Акимычем возникла юная леди с алмазными голубыми глазами и кукольными ресницами. Жизнерадостная, легкая, пропорциональная. Бог дал грацию, походку, от которой у прохожих дух перехватывать должно. Неотразимая. При этом уверенная в себе, упрямая, вздорная, с адским характером, да что там – стерва. И, по теории покойной Веры, вздорная, и вредная именно оттого, что красива. Можно сказать, безнаказанно хороша. К тому же отец ее был крупным начальником во Внешторге и постоянно шарил по заграничным сусекам. Сослуживцы баловали его и, конечно же, его дочь подарками. Одевали ее родители на зависть всем. Вот уж в кобылицу корм. В старинном водевиле, который они ставили, Мальвина играла крепостную девку. У французского арис-

тократа с ней случается в России непредусмотренный его инту-  
ристовским планом роман. Мальвина себе цену знала. На за-  
мечания не реагировала, все делала по-своему. Красота увере-  
на, что ей спишут все.

Радик старался играть смешно и поэтому выглядел напы-  
щенно и фальшиво. Она вела себя серьезно – и потому вы-  
глядела смешно. Но каждый шаг с ними давался трудно.

– Хватай ее решительней! Ты – француз, аристократ, а она  
крепостная девка. Не спрашивать же у нее, что с ней делать.  
Смотри!

Обняв Мальвину за талию, Ипполит Акимыч переворачи-  
вал ее себе на колено так, что юбка у нее задиралась до пояса,  
и показывал Радику, как требуется ее целовать.

– Чтобы звук от поцелуя был слышен в последнем ряду,  
понятно? А ты, доченька, не сопротивляйся, наоборот: твой  
долг его обслужить. Он же и-но-стра-нец! Импровизируйте  
на ходу. Вы актеры. Плавайте на сцене легко, как рыбы в  
аквариуме. Считайте, что водевиль – ваша собственная био-  
графия... Поехали!

Труппа пританцовывала, надвигаясь на авансцену, и хором  
пела:

*Куда это годится –  
Гулять одной девице?  
Что ждет ее потом?  
Суп с котом!*

Куплет этот комиссия, принимавшая спектакль, велела вы-  
бросить.

– Потом, – пояснил секретарь парткома, – нас всех ждет  
не суп с котом, а коммунизм.

Импровизации и намеки, которые они сообща придумали,  
тоже все выбросили. Дворец культуры принадлежал огромно-  
му военному заводу Министерства авиационной промышлен-  
ности. Там у них допуск к шуткам не давали.

Когда Радик с Мальвиной не были заняты на сцене, Радик  
садился подле нее в пустом зале. Если они прорабатывали  
диалог вдвоем, Радик путался. А память у него вообще-то  
завидная: раз прочитав, запоминал целые сцены и подсказы-

вал реплики другим. Ребята над ними потешались. Тогда Ипполит Акимыч сказал, так чтобы Радик и Мальвина не слышали:

– Только недостаточно умные над этим смеются. Лучше тихо завидовать. И помогать им дружить.

– Мальчик с девочкой дружил, мальчик с девочкой не жил, – прокомментировал кто-то.

Ипполит Акимыч поморщился. Старше их на целую эпоху, пройдя воркутинские университеты, он старался быть им учителем жизни, а не одного актерства. Ближе к генералке стало ясно, что Радик роль не потянул. Зря столько сил ухлопано. Однако на премьере Ипполит Акимыч сам удивился, и знакомые профессионалы, которые забежали одним глазом взглянуть, тоже отметили во французском аристократе нечто.

Радик не хромал, это само собой, поскольку он по сцене не ходил, и в этом больше было заслуги режиссера. Разыгравшись, француз стал уверенней в себе, энергичней, даже веселей. Сцену с поцелуем сыграл по первому классу. Моя заслуга, с гордостью отмечал Ипполит Акимыч. Окупается внимание и добро. Да и роль переливается в человека настолько, что тот становится даже талантливей. Смотрите-ка, ожил, приобщился к священному алтарю.

Переоценил он тогда и театр, и себя. Роль тут была ни при чем. Радика окрылила, сделала героем красивая бабочка Мальвина, сделала мимоходом, окропив пылью со своего крыла, не заметив этого и еще больше портясь от осознания такой своей инстинктивной способности. Небогатая душой, она помахала крылышками, захваченная общим вихрем веселой премьеры: яркими красками грима, таинственным запахом кулис, легкой музыкой и аплодисментами. Радик летел за ней по настоящему, вдыхая источаемые ею таинственные флюиды. Впрочем, скорей, то были хорошие парижские духи. Его чувство казалось ему вечным. А бабочка жила один день.

После закрытия занавеса Радик, чрезвычайно возбужденный, подбежал к Ипполиту Акимычу, волоча ногу сильнее, чем обычно:

– Не заметили, что я хромал!

– Ну, а заметили бы? Зрителю-то важно, какой души ты актер. Тело, мальчик, бутафория. Играешь ты вкусно!

Похвалил преждевременно. Пороху у Радика хватило на один салют.

– Выходит, и ушел ты тоже из-за Мальвины? – констатировал теперь Ипполит Акимыч безо всякого удивления, прикрыв глаза, чтобы они отдохнули от мерцающего света люстр над платформой.

Радик поднял пальцем переносицу очков, уголки губ вздрогнули.

– Ей стало скучно в студии. Она сказала, что у вас детский сад, помните?

Еще б не помнить! Даже больше, чем Радик предполагал. На репетиции, когда разбирали ошибки премьеры, Мальвина вдруг пнула ногой стул и заявила, что больше играть не будет.

– В чем дело?

– Я вам тет-а-тет скажу.

Он изящно взял ее под локоток и отвел в фойе.

– Что с тобой?

– Вы же умный человек, сами должны понимать...

Она умела говорить вежливо и при этом оскорбительно. Он не считал себя глупым, но не понял.

– А все ж?

– Допустим, мне не нравится роль крепостной, над которой зал потешается.

– Хочешь играть графиню? Но она же пожилая...

– При чем тут графиня? Не хочу на сцене целоваться. И все!

– Это ж театр. Сценические поцелуи – профессия.

– С ним – не хочу.

– Но он не Радик – француз! Такое у нас с тобой ремесло...

Повея плечом, она не удостоила объяснениями. Вздохнув, он покорно согласился. Раз так, действительно лучше бросить. Посреди репетиции Мальвина ушла. Не дано ему было предвидеть, что за этим последует.

С уходом Мальвины Радик помрачнел. Из-за незначительного замечания слез со сцены в зал. Еле закончили без них: Ипполит Акимыч сам бросал Мальвинины, а потом и его реплики. Погасили софиты, а Радик сидел в зале. Надев плащ и шляпу, режиссер подошел, положил ему руку на плечо. Плечо вздрагивало: Радик рыдал.

– Я попробую с ней поговорить, – не зная, как помочь, тихо сказал Ипполит Акимыч.

Женская часть труппы чувствовала его мягкость и обычно липла к нему с доверительными разговорами. Вечером он отыскал в списке студийцев телефон Мальвины. Дома ее не было, просил передать, чтобы забежала в студию. Через пару дней Мальвина явилась к концу репетиции, разодетая, будто шла на дипломатический раут. Села в темном зале и смотрела. Радик, заметив ее, ушел. Когда режиссер освободился, подошла.

– Бабушка сказала, вы звонили. Ну?

– Что если, – предложил он, – прогуляемся до метро?

Галантно подал ей меховую жакетку, накинул плащ сам, и они вышли на улицу. Сыпался мягкий снег, последний в ту весну.

– Мадемуазель! – начал он издали. – Человеческие отношения сложны.

– Вы в этом уверены? – прыснула она.

– Уверен, деточка. Не умеем мы ценить то, что на дороге не валяется и в комиссионке не купишь.

– Чего не купишь?

– Например, симпатию, искреннее чувство.

– Вы о себе или... – она элегантно повела пальчиком в воздухе, – или от имени Радика?

– Радика, – он одновременно испугался и поразился женской пронизательности.

– Ну и мужчины пошли! – Мальвина вдруг перестала кокетничать. – Он же... В общем, мне неудобно... Он – ничего, и я ему нравлюсь. Само собой. Но ведь он не-кра-си-вый...

– Как так – некрасивый?

– Ну, хромой...

– А Байрон? – возразил он. – Байрон тоже был хром. Ты читала Байрона?

– Слышала, – уклончиво ответила она. – Я больше уважаю Асадова.

– И твой пример против тебя. Асадов-то слеп. А Пушкин? Знаешь, Пушкин был совсем маленького роста, но как его обожали женщины!

– Сравнили: Пушкин и этот! Да, мне стыдно с ним гулять. И потом, мать у него в нашей школе простая училка.

– И что?

– Социальное неравенство – вот что. Я его даже домой не могу привести. Что родители скажут?

Радика было жаль. Для этой прозрачной бабочки он готов был променять математику на театр, театр – на что угодно...

– Прости, что я затеял этот разговор, – тихо сказал Ипполит Акимыч. – Ни к чему!

– Это уж точно.

– Может, все же вернешься в студию?

– Дудки!

– Куда после школы, деточка? – он переменял тему.

– Я-то не пропаду! – она подмигнула ему.

Замена для крепостной девушки оказалась плохой. Радик пришел еще на одну репетицию и тоже исчез, не сказав «до свиданья». Ничего в нем, выходит, не было актерского, кроме подрагивающих губ. Пришлось отменять спектакль, на который дворец культуры уже распространил пригласительные билеты. Студия развалилась. Директор дворца, в прошлом известная стахановка и профсоюзная лидерша, списанная по старости, заявила Ипполиту Акимычу, что он негодный организатор.

Но не тогда и не из-за того между ним и Радиком черная кошка пробежала. Это произошло чуть позже.

#### 4.

Перед сном Ипполит Акимыч обсудил с покойной Верой уход Радика. Тень жены сказала:

– Видишь, я, как всегда, оказалась права, Поля: бесполезно было этого человека брать. Хорошо хоть, что он сам понял и не пришлось ему объяснять. Это было бы неприятно.

Он не стал ей напоминать, что раньше Вера говорила противоположное.

– Нет, – упрямо сказал он вдруг вслух сам себе, резким ударом коротенького кия загнав шар в лузу. – Надо было! Из человеческих соображений. И аз воздам.

Вера, будь она жива, пожала бы плечами и промолчала. Она всегда так делала. Несколькими днями позже он бы и сам эдак уже не сказал. А тогда, потеряв последний копеечный

заработок, негодный организатор утешался тем, что он не такой уж плохой педагог. Ну, не привилась любовь к святому искусству. Зато прав, наверно, Экзюпери: важно само по себе человеческое общение. Сцена научила их чувствам, облагородила души. Это не пропадет.

Он лег спать, почитал немного, опустил книгу на тумбочку, погасил свет, начал медленно уходить в сон. И тут почувствовал, что он в комнате не один. Может, кошка с соседнего балкона перебралась да в форточку прыгнула? Он ее иногда колбасной кожуркой прикармливал. Ан нет, одежда шуршала возле двери.

– Кто тут? – с недоумением спросил он.

Этот кто-то хмыкнул, но не отвечал. Пришлось зажечь свет и сразу зажмуриться. Не от лампы, от зрелища: женщина юная и вполне обнаженная стояла в двух шагах от его дивана, в позе статуи из какого-нибудь Лувра, в котором Ипполит Акимыч сроду не бывал. Уперев пальчик в зеленое бильярдное поле, она сложила губы трубочкой, словно готовясь к поцелую. Вот так кошка!

– Ма... Мальвина? – прошептал он испуганно. – Как вы сюда попали?

– Через дверь, – она удивленно пожала плечом, груди у нее качнулись и снова замерли.

– А чего же вы хотите?

– Вас.

– В каком же смысле, позвольте спросить?

– В прямом.

– Да ты что, деточка. Одевайся сейчас же! И ступай домой.

Она сделала шаг вперед, и теперь ее колени были совсем рядом с его лицом. Она наклонилась, улыбаясь озорно и самоуверенно. Сильные духи смешались с водкой, – не поймешь, чем пахло сильнее.

– Уйду, но только после...

– Чего?

– А того! Или я вам не нравлюсь как женщина?

– Несовершеннолетняя! – возмутился он. – Меня опять посадят – этого добиваешься? Ты ж ребенок!

– Сами вы ребенок, – она ласково склонилась над ним. – А мне почти семнадцать. Если будете сопротивляться, я закричу, тогда вам же хуже.

В чувстве юмора ей отказать было нельзя. Но ему было не до юмора.

– Нехорошо без любви, – защищался он. – Как это без...

– А я вас очень люблю, – усмехнулась она прямо-таки по-матерински и коснулась соском его губ. – Вот так. Много разговариваете и без толку.

Мальвина по-хозяйски откинула край одеяла.

– Боже ж мой! – прохрипел он, стыдливо прикрывая свое срамное место.

– Хватай ее решительней! Ты – француз, аристократ, а она – крепостная девка. Не спрашивать же у нее, что с ней делать. Смотри!

Скопировав его интонацию, она набросилась на него, не как ребенок, а как хищная львица на загнанного оленя. Он стонал, а она посмеивалась, и тень ее, спроецированная лампой, стоящей возле дивана, качалась на потолке.

– Странное у тебя имя, – чуть позже она опять превратилась в бабочку, сложила крылья и поцеловала Ипполита Акимыча в щеку. – Никак не сократишь.

– Жена меня Полей звала.

– Так ведь Поля – женское, – она захохотала.

– И что?

– Ничего! Мне домой пора, а то родители станут орать. У тебя хоть на такси найдется?

Мальвина похватила свою одежду, разбросанную по всему бильярдному полю, и исчезла на кухне. Вернувшись одетой, закурила сигарету и, выпустив дымовую завесу, спросила:

– Ну как? Понравилось? Да, чтоб не забыть. Я в Щукинское театральное училище поступаю, мне рекомендация нужна.

– От меня?

– Не, вы никому не известный, – в одежде она опять перешла на «вы». – От какого-нибудь знаменитого, который может взять за горло председателя приемной комиссии. Вы с ними со всеми вась-вась. Найдите подходящего, ладушки?

И она растворилась за дверью так же молниеносно, как появилась.

По инерции Ипполит Акимыч хотел было тут же посоветоваться с покойницей Верой насчет происшедшего. Но сообразил, что это несколько бестактно, хотя она его наверняка бы



не только простила, но и поощрила. Засыпая, он думал, что в постели Мальвина гораздо талантливее, чем на сцене. Что ж? И гетерам, и гейшам тоже необходим профессионализм, включая гетеру-советикус. Этот талант иногда совпадает с профессией актрисы и помогает продвигаться. Жаль, что лучшие роли таких актрис зрителю чаще всего не видны. Странные водевили разыгрывает, однако, жизнь. Разве что без куплетов. Такое не сочинишь.

Хмыкая, размышлял Ипполит Акимыч на эту тему все последние дни, разглядывая Мальвину на трех премьерных фотографиях, которые он вывесил над кухонным столом. Друзья его позабыли, да и вряд ли бы он с ними поделился.

Он заваривал крепкий зеленый чай, настраивался на «Голос Америки» и по привычке отвлекался новостями. Но если честно сказать, он все время ждал, что Мальвина вот-вот звякнет и спросит насчет своего поручения. Он уже разыскал Попова, и тот по старой дружбе обещал звякнуть и попросить кого надо. А Мальвина не звонила.

Конечно, она пустая, но, в сущности, добрая, щедрая. Я поступил нехорошо, безвольно. Дак не мог же я отказать и ее обидеть! Она ребенок, но – женщина. Можно оскорбить на всю жизнь. Она меня действительно в тот момент любила. И ее поступок, если разобраться, – это забота обо мне, желание напомнить мне, что я еще не развалина. Предпочла меня наивному мальчику, и это тоже ей плюс. По мужчине судят об уровне женщины. Я ее недооценивал. Ведь человек, способный на заботу о другом, – личность. Вера насчет красоты была не совсем права.

Он не заметил, что постепенно стал думать о Мальвине более серьезно. Нормальной юности у него не было, жизнь прошла наперекосяк. Но вдруг сейчас получится что-то наверстать? Может, это мне награда за прошлые лишения, за обделение радостью?

Взяв у приятеля взаймы две сотни, он купил в ювелирном магазине колечко с симпатичным камушком. Кольцо лежало, дарить его было некому. Он забеспокоился: не звонит, не случилось ли чего? Поколебавшись и выждав еще несколько дней, он решил и вечером, когда от одиночества скреблось на сердце, набрал ее номер. К телефону подошла бабушка.

– Нету ее! – раздраженно ответила она. – Почему я знаю, когда будет. Все спрашивают, она не говорит.

Не в тот вечер, но после нескольких попыток он Мальвину застал. Начав говорить, сразу засмутился.

– Приветик! – легко ответила она ему, как сверстнику, жуя что-то и облизываясь. – Нормальненько... У-у, сегодня я занята. Завтра? Завтра позвали в Дом актера. Не-а... Нет... Как-нибудь... Откуда мне знать, когда. Когда-нибудь увидимся, ладушки?

– Приходи, – с трудом попросил он. – Когда сможешь. Дверь открыта.

– Это я знаю. Пока!

Звонок, как и следовало ожидать, ничего не изменил. Про народного артиста, которого он просил за нее похлопотать, даже не спросила. Может, сама уже нашла протезе? Свободного места в ней нет, это очевидно. Он сыграл роль подкидного дурака и уволен. Но тут же придумалось и спасительное утешение. Ради баловства, случайно оказавшись рядом, она вполне может открыть дверь, чтобы похвастать тем, чем Бог ее наградил.

В бильярд играть Ипполит Акимыч расхотел. Не находил покоя, слоняясь по комнате и кухне. Глядел на фотографии – и Мальвина казалась ему совершенством. Гадал только о том, придет она сегодня или нет. Поскольку сегодня она не пришла, то, может, заглянет завтра? Ясно, что она ему не только не пара, – вообще не то существо, на котором можно себя сосредоточить. Но сколько ни осуждал он себя, его только больше к ней тянуло. Семя нереализованной, загубленной в вечной мерзлоте молодости неожиданно пробудилось в новой почве и искало выхода. Возраст перечеркнулся, время затуманилось. Пенсионер-подросток (так он себя теперь именовал) потерял путеводную нить, за которую цеплялся, бредя по жизненному лабиринту.

Кошмары стали его одолевать. Он метался от покойницы Веры, которая постоянно оставалась с ним, к живой, но также отсутствовавшей Мальвине и обратно.

Дабы успокоиться и убедить себя, что нынешняя жизнь не так уж плоха, он возвращался мыслями в лагерь. Туда, где у него украла жизнь.

Но вот парадокс. Тяжко было голодному по утрам месить грязь в худых мокрых ботинках, подвязанных веревками, под ругань озверевших охранников и лай откормленных собак. Но по вечерам дрова шипели и разгорались в печи, ирреальная жизнь происходила на теплой сцене, спасительная радость творчества заглушала унижения и тоску. Говорят, не настоящее искусство существовало в лагере, игра в театр. А где оно, настоящее? Там страх заставлял хорошо играть. Там, несмотря на все ужасы бесчеловечного бытия, в каморке за занавеской он, расконвоированный, был счастлив с Верой. Там у него была надежда. Тут жизнь лишилась стремлений, он превратился в затворного, никому не интересного облезлого кота, которому раз в кои веки досталось полакомиться чужой симпатичной кошкой.

Напряжением остатков воли Мальвина изымалась им из сознания целиком и категорически. Но бабочка влетала по ночам в незапертую дверь, меняя образы, и делала с ним, что ей заблагорассудится, как опытная женщина с мальчиком. Он кряхтел, метался, вскакивал, пил корвалол. Он перестал спать. Начал по ночам играть в бильярд, да вскоре пришлось прекратить. Соседи явились с жалобой, что их будят удары.

Он понимал, что Мальвина не придет, но запретить себе ее ждать не было воли. Оставался один выход, чтобы избавиться от видений и незащитности: оградить себя колючей проволокой и поставить охрану. Ипполит Акимыч решил приобрести новый замок. Купив его, договорился в домоуправлении с плотником, что завтра тот придет и врежет. Цена стандартная: стакан бормотухи до и стакан после плюс еще на две бутылки. Ипполит Акимыч сходил за угол, отстоял с районными алкашами в очереди и купил водки.

Все повторяется на свете, но иногда декорации обновляются.

Поздно вечером не читалось, и он, отшвырнув газету, погасил свет. Начал медленно и сосредоточенно считать про себя, чтобы заснуть, когда ухо уловило, что дверь шаркнула. Сердце у него заколотилось. Он догадался, а может, уловил запах или едва слышный смех. Затаил дыхание, предвкушая нечаянную радость.

– Не спите? – спросила она, хохотнув.

– Пришла? Наконец-то, умница...

– Хотела звякнуть из автомата, но вы же все равно дома.

– Конечно, я дома!

Он не спешил зажигать свет, уверенный, что все будет сразу, как в прошлый раз.

– Где тут выключатель?

– Хочешь есть, пить?

– Не, я из кабака. А вообще, можно. Заготовлено?

– А как же! Сыр, вино... Есть и водка, если хочешь...

В темноте он надел халат, завязал пояс. Глядя в ее сторону, чтобы увидеть захватывающее зрелище, которого так долго ждал, он включил свет. Мальвина была в кожаной куртке, джинсах и сапогах – эдакая мотоциклистка из рекламного импортного журнала.

– Секундочку, – вспомнив, загадочно произнес он.

Торжественно извлек из серванта колечко в коробочке и протянул ей.

– Мне? – она удивленно выгнула губы. – Ну, вы даете! За что?

– За обаяние молодости, – с пафосом произнес он.

Хихикнув, она, не открывая, спрятала коробок в карман.

– Вы уж извините, что я вас разбудила, – вежливые формулы звучали странно в ее устах, она их никогда не употребляла. – Пардон!

– Что ты! Я так рад. Знал... То есть, хочу сказать, ждал, что придешь. Скучал.

– Я тоже, – она захохотала.

– Правда?

Он подошел к ней, положил руки на плечи.

– У меня к вам просьба, – взгляд ее скользнул по бильярдному полю. – В общем...

– Говори! Для тебя – всё...

– Всё не надо. Вы не можете смыться на час-полтора?..

– Как это – смыться?

– Не пугайтесь! Мне с человеком побыть надо. Ну, поговорить! Ясно?

– Да, конечно...

Краска бросилась ему в лицо, и в глазах появились слезы от волнения. Она не обратила на это внимания.

– Вот, и ладушки.

Он растерялся. Рассердился больше сам на себя за бесхарактерность, чем на нее. Она – бесстыдна. Сразу бы найтись, сказать: «Нет, конечно! Категорически нет!»

Но она уже выскочила в коридор, открыла дверь.

– Входи. Он сейчас отвалит.

Услышав о себе в третьем лице и еще не вняв до конца сути происходящего, Ипполит Акимыч обреченно сел на диван и ждал. В дверях, подталкиваемый в спину Мальвиной, показался Радик. Мальвина хихикнула.

– Вы что, будто незнакомы?

– Как же, встречались, – сказал Радик.

– Понимаете, звонит мне и звонит, – она захохотала. – Просто преследует. Надо же выяснить отношения. Какой самый лучший способ, чтоб мужчину отвадить? Ну? Правильно! Сыграть с ним в бильярд.

– Простите, – выговорил, наконец, Радик, глядя в пол. – Я не знал, к кому мы...

– Ничего страшного, понимаю, – засуетился Ипполит Акимыч. – Это жизнь, не водевиль. Вам надо сыграть в бильярд, а все бильярдные закрыты... Посидите на кухне, я сейчас...

Кряхтя, он надевал на себя все, что попадало под руку. Натянул свитер. Потом, задумавшись на секунду, понял, что гулять ему предстоит долго, и взял плащ, шляпу, зонт. Часы на серванте показывали второй час ночи.

– Я ушел, – крикнул он из коридора.

Мальвина появилась на пороге кухни.

– Как это все-таки запирается? – она кивнула на дверь.

– Никак, – сказал Ипполит Акимыч. – Замок поломан. А зачем?

– Ну, мало ли... – она надула губы. – Вы бы починили замок, что ли.

– Конечно, само собой, – согласился он. – Ты, деточка, права. Уже купил новый. Завтра плотник врежет.

– А сигарет у вас нету?

Сигарет у него не водилось.

Часа через три, когда небо уже посветлело и звезды растаяли, Ипполит Акимыч, всласть нагулявшись по всем близлежащим улицам, решил вернуться. Дверь была приоткрыта, квартира пуста, бутылка вина тоже, а водки осталось много.

Он налил себе полстакана, выпил залпом и долго сидел на кухне, тупо глядя на входную дверь.

Больше он своей Мельпомены не видел.

## 5.

В метро стало совсем безлюдно. Часть люстр погасили. Ипполит Акимыч тяжело поднялся со скамьи. Он еще таил обиду и вместе с тем чувствовал вину перед Радиком. Странно, что этой вины раньше не было. Соединившись, оба эти чувства теперь уничтожили друг друга. Ничего не осталось, пустота. Треугольник без ревности. Задержав руку поднявшегося за ним со скамьи Радика в своей, Ипполит Акимович поколебался: спросить или не спрашивать? Посмотрел Радика в глаза.

– Как поживает... Мальвина?

Радик отвел взгляд.

– Сперва один киношник обещал протолкнуть ее в театральное училище. Она поступала, но не прошла. Потом отец в спешке пристроил ее в «Интурист».

Выходит, народный артист Попов не помог: не смог или обманул.

– А почему – в спешке-то?

– Чтобы по больничному получать. Она сразу ушла в декрет.

– Стало быть, замуж вышла?

– Не, так родила. Девочку.

И треугольника не осталось. Один острый угол.

– От кого? – чуть слышно выдавил Ипполит Акимыч.

– Сказала, как дева Мария, непорочно. Я ей звонил – все отвечала, что занята. Раз спросил: когда освободишься? Она ответила: «Никогда».

– А зовут как девочку-то?

– Полина. Я думал, вы слышали...

– Нет, – отрывисто сказал Ипполит Акимыч, и у него заколотилось сердце. – О Мальвине слышать не довелось.

Они разжали руки. Радик резко повернулся и побежал. Он не прихрамывал.

– Постой! – крикнул Ипполит Акимыч, еще раз изумившись. – А нога?

– Нога? – обернулся тот. – Мне операцию сделали. В Таллинне нашли хирурга – ногу удлинил. Теперь вам со мной не пришлось бы мучиться.

Радик на прощанье кивнул и шагнул в дверь остановившегося поезда.

– Астаррожна, дввери закррывающца! Слледушшая станция – «Диннамма».

– Полина, – пробормотал Ипполит Акимыч сам себе. – Значит, Поля...

Механически приподняв шляпу, он растерянно поглядел Радику вслед и побрел к выходу. Рука сама опустилась в карман и нащупала кусочек веревочки. Квартиру Ипполит Акимыч теперь всегда запирает и больше всего на свете боялся потерять ключ.

## МОЙ ПЕРВЫЙ ЧИТАТЕЛЬ

### 1.

Позвонила незнакомая женщина, судя по голосу, пожилая. По имени себя не назвала, сказала, что ее муж велел со мной встретиться. Я осторожно поинтересовался, а кто, собственно, ее муж. Она ответила, что скажет потом. Пригласил ее к себе, но она отказалась: лучше на улице. На другой день мы увиделись на площади Революции, возле лестницы, ведущей к ГУМу.

Была она с меня ростом, а я не маленький. Возраст неведом, лицо без краски. Из породы худощавых старух, для которых время остановилось. Под маленькими бесцветными глазами мешки: может, что с почками.

– Давайте отойдем в сторонку, чтобы не толкали, – предложил я.

– Нет, тут лучше, – твердо возразила она. – В толпе нас не так видно.

Глаза у нее бегали, и я подумал было, что у нее, может, не совсем в норме психика. Но она словно прочитала мою мысль.

– Не бойтесь, я в здравом уме. Очень даже в здравом.

– Не сомневаюсь, – я старался ее успокоить. – А в чем все-таки дело?

– Муж велел передать вам вот это, – оглянувшись, не следят ли за ней, она протянула сверток. – Конечно, лучше бы



это уничтожить от греха подальше. Но он так пожелал. Боюсь я не выполнить последней его воли.

Приняв сверток, я тоже инстинктивно оглянулся.

– Да кто ваш муж-то? И сам он где?

– Умер. Неделю назад.

– Извините... А я знал его?

– Он говорил, вы вместе работали.

– Не сказал, где?

– Как же – в газете. Он был у вас цензором, то есть, я хотела сказать, уполномоченным Главлита.

– Цезарь Матвейч? Боже ты мой! Замечательный был, добрейший человек, – безо всяких колебаний кривил я душой. – Все его любили.

Наверно, в голосе моем было недостаточно искренности.

– Он был абсолютно честный и порядочный, – резко сказала она. – Так получилось, что он попал в эту организацию. Не его вина.

– Конечно, – согласился я. – В общем-то мы все занимались одним делом. А что в свертке?

– Не знаю, – ответила она. – То есть что это я несу? Знаю, разумеется: это его, ну, как бы сказать, записки.

– Воспоминания?

– Не совсем. Сперва это был его личный производственный дневник. Но после... После он говорил, что все стало смотреться иначе и что эти записки его реабилитируют перед... Она смутилась, умолкла.

– Реабilitируют? – переспросил я.

– В общем, чтобы внуки о нем плохо не думали. Поэтому приказал, чтобы вы делали с записками все, что захотите. Я была против, у нас ведь дети, у них все благополучно. Мало ли что? Но дети тоже решили, как он... Что вы все вертите сверток в руках? Спрячьте в портфель!

Я послушно спрятал. Нам все-таки пришлось отойти в сторону, потому что нас толкали. У музея Ленина мы постояли еще несколько минут. Она спокойно, сказал бы даже, отстраненно (что делало ей честь) поведала о том, как закончил свои дни ее муж.

– Он хорошо умер, быстро...

Я никогда до этого не слышал, чтобы так говорили о близком человеке: «Хорошо умер».

– Как это «хорошо»? – спросил я.

– Тихо. Не мучился, как другие. Сердце – и все. Всем бы так... А вы когда это... туда?

– Уехал бы сегодня, да не выпускают.

– Выпустят! – убежденно сказала она.

– Могу я вам позвонить, когда прочитаю?

– Разве у вас имеется наш телефон? – опять встревожилась она.

– Нету, но...

– Ну, – заспешила она, – это ни к чему. Я вам все отдала. Желаю, чтобы у вас все получилось, как задумали!

Резко повернувшись, она ушла.

## 2.

Держась за поручень в вагоне метро, я прикрыл глаза, и передо мной возник Цезарь Матвеич Цукерман. Или Цензор Матвеич, как звала его вся редакция. Еще он был Цензор Цезарь, сокращенно Це-Це. Был также эвфемизм «Заведующий тем, чего нельзя». Некоторые звали его просто Цука. А главный фельетонист Аванесян в узком кругу величал его «наш советский Сахаров».

Цукерман был грузным, неторопливым, непременно учтивым человеком. Напоминал он главбуха. Всегда ходил в черных рукавниках поверх коричневого пиджака. В волосатых руках держал термос, из которого наливал чай по глотку. Еще помню его раздражающую привычку то и дело подтягивать галстук под свой двойной подбородок, будто он сейчас выйдет на трибуну или готовится войти в кабинет к высокому начальству.

– Это он хочет сам себя удушить за содеянное, – ворчал Аванесян, которому доставалось от цензора чаще других.

Честили его при каждом удобном случае, за глаза, конечно. Обвиняли в том, в чем лично он был виновен ничуть не больше всех нас и многих прочих. Лицом к лицу, однако, весь штат, включая главного редактора и замов (нештатным со-

трудникам с ним разговаривать не полагалось), держал с ним дистанцию. Или цензор держался с нами особняком.

Нельзя сказать, что его боялись, – он был исполнитель низшего звена. Ничего разрешить он по статусу своему не мог. Но он мог воспрепятствовать. Как от врача-онколога, от него в любой момент можно было ждать неприятности.

С ним редко спорили, ибо шанс доказать что-либо был равен нулю. За ним стояла могучая и таинственная организация, которая называлась Комитет по охране гостайн в печати. Ведомство это знало все, чего нельзя, даже, вероятно, знало то, что можно, и это абсолютное, неизвестно как добытое и кем узаконенное ведение, эта невидимая всесильная власть над умами пишущих и читающих, вызывали к представителю данного ведомства почтение. Может, трепет. Может, страх. А скорей всего, то, и другое, и третье, вместе взятое.

Все происходящее в мире на языке Цезаря Матвеича называлось сведениями. Сведения он делил на устные и письменные. Устные он любил, включая анекдоты. Громко и заразительно смеялся, прямо-таки трясясь от смеха и вытирая слезы, что доставляло рассказчику несомненное удовольствие, побуждая вспомнить что-нибудь еще более соленькое. И – панически боялся всего, что написано или набрано.

Если возникала опасность, о которой вы не подозревали, рот его суровел, глаза холодели, становились зорче. Он шумно и долго втягивал воздух через ноздри, будто стремился запастись им аж до светлого будущего. Конечно, оно было не за горами, но все же лучше запастись. Казалось, сейчас он достанет специальный инструмент, какой-нибудь инфракрасный бинокль, чтобы разглядеть насквозь не только текст, но и вас. Он действительно вытаскивал большую лупу и, если какая-нибудь буква в самых ответственных словах вроде «Ленин», «Брежнев» или «Политбюро» отпечаталась не полностью, долго вертел набор под увеличительным стеклом, разглядывая его так и эдак, проникая в тайный смысл неясного знака.

– В каждой букве заложена опасность контрреволюции, – говорил он на совещании и, видя улыбки присутствующих, добавлял. – Каждая буква – это бомба. Это я вам говорю со всей ответственностью, я, ваш советчик и друг.

– Но как же нормально работать в такой взрывоопасной обстановке? – спрашивал кто-нибудь. – Мы же не саперы.

– Недоумевать не надо, – назидательно отвечал он. – Я скромный страж интересов государства. Поскольку у вас с государством не может быть конфликта, я защищаю от беды и вас.

В путевом очерке спецкора Шумского цензор Цезарь велел вычеркнуть, что от Москвы до Ленинграда по шоссе 707 км.

– Чтобы американские шпионы заблудились, – прокомментировал друзьям Шумский.

Секретной была длина экватора земного шара.

– Это же стратегические данные, – объяснял цензор.

Если возразить, что эта цифра есть в учебнике для четвертого класса, он бы ответил: «Значит, там она согласована». Или: «Вчера это можно было разглашать, а сегодня уже нельзя».

По поводу каждой цифры, факта, имени, события, каждого названия Цезарь Матвейч требовал одного: визы соответствующего компетентного ведомства. А когда ему пытались терпеливо объяснить, что по меньшей мере в отдельных случаях это абсурдно, Цезарь Матвейч с улыбкой отвечал:

– До – я верю вам. Но после – с работы снимут меня.

Ему говорили:

– Чего вы трясетесь?

Он в ответ:

– Лучше трястись в теплом кабинете, чем от холода на улице.

Его стыдили:

– Ну вы и трус!

– По-вашему – трус, – спокойно возражал он. – А по мнению моего руководства, я бдю.

«Бдю» в редакции стало нарицательным. Его афоризмы разносили по отделам.

Однажды он произвел на свет мысль, которая, по-моему, имела основополагающее философское значение для земной цивилизации. А может, и для вселенной тоже.

– С точки зрения цензуры, – высказался он, – идеальная газета – это бумага без текста.

– Может, хоть картинки? – осторожно спросил я.

– Картинки – это уже криминал.

Обмануть цензора, подвести под монастырь считалось в редакции подвигом. Рисковали отчаянно: подделывали разрешающие подписи, клялись, что разрешение уже есть, только нет свободной «разгонки» – дежурной машины, чтобы съездить за полученной визой. Уговаривали его подписать, чтобы не срывать выпуск газеты: через пять минут принесем. Вычеркнутое им переставляли в другое место той же статьи в перефразированном виде в расчете на то, что он не будет читать второй раз.

Я тоже так делал, но, может, реже других: я сам боялся очутиться на улице.

Когда ему влепляли очередной выговор за недобдение, эта радостная весть мгновенно облетала редакционные кабинеты. Наиболее нахальные звонили ему и поздравляли, изменив голос, конечно. Он злился, грозил карами руководства за оскорбление чести и достоинства органа, которому он принадлежит, и бросал трубку. Но обиды быстро забывал и, надо отдать ему должное, мстительным не был. А мог бы быть.

Для всякой профессии надобны природные данные, облегчающие работу. Чего у него не было в помине, так это чувства меры в бдении. Поэтому он никогда не расслаблялся и подвох видел во всем. Однажды, когда я дежурил по отделу, он позвонил в десятом часу вечера по внутреннему телефону:

– Вот тут в статеечке по вашей части я читаю о том, что завтра мы встретим на улице лошадь-робота и не отличим от настоящей. Оч-чень интересно. Кто ж такую лошадь проектирует?

– Да это фантастика.

– Понимаю. А где автор взял идею?

– Где взял? Из головы...

– Отлично! А в головку ему идейка эта откуда попала?

– О, мамочка! Из воздуха.

– Вот! – он уличил меня в чем-то нехорошем. – Точно!

Значит, автор мог об этой идейке услышать.

– Допустим, мог. Какое это имеет значение?

– Это имеет такое значение, – торжественно проговорил Цезарь Матвейч, – что лошадь где-нибудь проектируют, а он слышал.

– Ну, слышал. И что?

– То, что нужна визочка НИИ, который такую лошадь раз-ра-ба-ты-ва-ет.

Черт дернул меня ляпнуть: «из воздуха». Дело пахло керосином. Статья вылетала из полосы перед самым ее подписанием. Надо было это предвидеть.

– Вспомнил! – бодро воскликнул я. – Автор говорил, что он сам это придумал. Абсолютно точно, сам. Он еще уточнил, что ночью его озарило, встал и записал.

– Он что, лунатик? Не пудрите мне мозги, дорогуша. Мы же с вами материалисты. Из ничего ничего не получается. Я вам гарантирую, что он как минимум где-то подхватил. А если это еще не запатентовано и заграница, извините за выражение, сопрет?

Он употребил другое слово, более грубое, которое я воспроизвести не решаюсь.

– Допустим, подхватил, – отступал я. – Что тут страшного?

– Как что?! А если он подхватил идейку от людей, работающих в почтовом ящике? Если это изобретение стратегического характера? Допустим, какая-нибудь новая технология для конницы Буденного. Знаете, какой сие пунктик? Подрыв обороноспособности страны. Разглашение сведений, представляющих собой военную и государственную тайну. Во!.. Чувствуете, чем это для нас с вами пахнет?

– Какая же вам требуется виза? – сдаваясь, спросил я. – Министерства обороны?

– Так... Это, голуба, деловой разговор. Сейчас запросим руководство. Не вешайте трубочку, ждите.

Из трубки доносилось жужжание диска городского телефона.

– Варвара Николавна? Цукерман беспокоит. Передо мной статья, разглашающая сведения о том, что завтра выведут на улицу искусственную лошадь. Так-так... Сейчас узнаю.

Теперь Цезарь Матвеич говорил в мою трубку:

– Какая тут у вас лошадь? Электронная?

– Черт ее знает! Наверно, электронная, какая ж еще?

– Электронная, Варвара Николавна... Ага... Уловил... Я и сам точно так полагал.

– Ну что? – нервничал я.

– То, дорогуша моя, что нужна визочка Министерства электронной промышленности, что они эту лошадь не разрабатывают.

– Где же я возьму такую визу в десять вечера?

– И не надо сегодня! Зачем спешить, паниковать, нервничать? Гипертония этого не обожает. В суете можно посмотреть еще что-нибудь важное. Сегодня мы эту лошадь спокойно снимем. Ну ее, к лешему, вашу лошадь!

– А завтра, с визой министерства, можно поставить в номер?

Все же у меня были кое-какие связи с неглупыми людьми в министерствах, которые могли помочь. Без таких связей они бы согласовывали визы годами.

– Завтра что? – насторожился цензор.

– То! – злился я. – Может, это делают в Министерстве приборостроения и средств автоматизации?

– Во, молодой человек! И меня это беспокоит. Знаете что, голуба, для подстраховки добывайте визочки обоих министерств. Тогда я снова позвоню руководству, и они укажут, куда еще обращаться.

На мое несчастье, газета печатала фантастику, и этим занимался мой отдел. Если в очередном рассказе на Землю летели представители иной цивилизации, вечером звонил внутренний телефон, и хриловатый голос Цукермана вежливо интересовался:

– Роднуля моя, а в Генштабе в курсе, что к нам летят из созвездия Андромеды?

– Не только в курсе, Цезарь Матвейч, но и ничего не имеют против этого.

– Вот и добро! Значит, никаких трудностей у вас не будет. Давайте-ка мне визочку военной цензуры с улицы Кропоткина.

Но была обширная категория сведений, по которым ни виз, ни согласований не требовалось. Цезарь Матвейч начинал хрипло мурлыкать себе под нос какую-то невнятную мелодию и под нее уходил в соседнюю комнату.

– Так я и думал! – он появлялся в дверях и поднимал указательный палец вверх. – Все в порядке. Не надо визы, не надо согласовывать. Это, голуба, просто нельзя упоминать в открытой печати, и все. Вам же легче, меньше хлопот.

И правда, за годы работы опыт «чего нельзя» накапливался. К цензору ходили все реже.

– Жизнь не мила, когда надо идти к Его Величеству Кастратору, – жаловался Аванесян.

Возвращался он счастливый:

– Эта тема тоже обрезана. Я, ребята, становлюсь евнухом.

Фантастика захирела. Наука вымерла. Мысли зачахли. В газете становилось все меньше даже невинных новостей. Ведь на публикацию их каждый раз требовались визочки. При этом никто подчас не знал, в каком учреждении их взять. Вскоре появилось инструктивное письмо, требующее представлять одобрения соответствующих ведомств в цензуру за несколько дней до предполагаемого опубликования – для регистрации в специальном журнале и уведомления центрального руководства.

Цезарь Матвеич с термосом в руках гулял по коридору удовлетворенный:

– Чем больше визочек, тем меньше нервочек.

В отпуск он не ходил. Когда его с приступом гипертонии неожиданно положили в больницу, в редакции появилась симпатичная девушка лет двадцати пяти, коротко стриженная, строго одетая, но со славной мордашкой. Ее прислали с Китайского поезда от Варвары Николавны на временную замену.

– Литснегурочка из Гавлита, – сказал Аванесян, ухитрившись заодно слегка смешать с дерьмом слово «Главлит». – Будто мы не могли воспитать цензора в нашем собственном коллективе.

Аванесян всегда, к месту и не к месту, вспоминал, что он незаконный потомок Пушкина. Что его прапрабабушка согрешила, когда поэт бродил на Кавказе. Это нельзя было ни доказать, ни опровергнуть. Он носил такие же бакенбарды, и звали его, между прочим, тоже Александр Сергеевич. Словом, Аванесян отправился на разведку, прихватив с собой давно опубликованный и, как он сам считал, неотразимо смешной фельетон. В рукописи, конечно. Дальнейшее мне известно только со слов нашего фельетониста. Я ему, конечно, верю, но за абсолютную правду не ручаюсь.

– Люда, – сказал он с порога.

– Лучше Людмила Павловна, – поправила она. – Слушаю вас.



– Цензор Матвейч, то есть Цезарь, всегда считал, что нужно предварительное знакомство, – Аванесян разглядывал ее самым бесцеремонным образом. – Вы как? В таком же разрезе или, может, с вами заранее не надо? Может, сразу, а?

– Сразу ни в коем случае, – она слегка зарумянилась, не цензорским, но женским инстинктом улавливая двусмысленность.

– Вот и ладушки! Тогда взгляните зорким оком.

Она стала читать, а он отошел к окну, чтобы стол, за которым она сидела, не мешал ее осматривать. Время от времени она поправляла юбку, а он время от времени поглядывал во двор, где работяги разгружали грузовик с бумагой.

– Ну как? – спросил он, когда ее глаза добежали до последней строчки. – Нравится?

Казалось, Людмила Павловна была немного смущена.

– У нас в университете был спецкурс по фельетону, и лектор говорил, что сейчас фельетон очень актуальный жанр, но проходят они со скрипом. Это правда?

– Так вы журфак кончили? Коллеги, значит! Кому из нас последний день лица торжествовать придется одному? Ответ ясен: вам, Людмила Павловна, потому что вы молоды и прекрасно выглядите.

– Спасибо, – произнесла она. – Кстати, где там у вас в фельетоне происходит употребление алкогольных напитков в рабочее время? В вычислительном центре... Каком? Академии наук? А среди пьющих есть члены партии?

– При чем тут? – удивился Аванесян, почувствовав недоброе.

– При том, что газету читает рядовой подписчик. Зачем ему думать, что члены партии на работе пьют? Сейчас я позволю Варваре Николавне насчет вашего фельетона.

– Не надо, а?! – театрално взмолился Аванесян. – Она точно зарубит. Представляете, как будет неудобно, если наша советская цензура негативно отнесется к праправнуку Пушкина?

– Вы разве?..

Аванесян скромно опустил голову, дав ей возможность осознать данный факт.

– Сама-то я что могу сделать? – искренне удивилась Людмила Павловна.

– Вы можете все, если захотите! – так же искренне парировал он.

Она еще немножко подумала, но все же позвонила. Варвара Николавна спросила, о чем фельетон, помолчала немного и сказала:

– Постойте-ка, они этот фельетон уже раз печатали! Да они просто проверяют вашу бдительность!

– И тут я понял, – заметил Аванесян в застолье с приятелями, – что голыми руками ее не сломать.

Сексуальная атака фельетониста стала заботой всей редакции. В это вкладывали определенные надежды – не на крупное, упаси Бог, а хотя бы на мелкие поблажки, на отсутствие придинок. Аванесяну давали советы, подарили новый импортный галстук, предлагали ключи от пустой тетиной квартиры.

– Мне, конечно, удалось, – рассказывал вскоре Аванесян, – и при наличии моего опыта без особых предварительных трудов. Как женщина, должен признать, она весьма мягкая и понятливая. Можете мне поверить, хотя, конечно, каждый может убедиться сам. Но как цензор она – бронепоезд. Никаких уступок даже мне, несмотря на большое и чистое чувство. И родство с Пушкиным не помогает! Гвозди бы делать из этих блядей!

Вскоре, отлежавшись в больнице, снова пришел бдеть Цезарь Матвеич. А Людмилу Павловну перебросили в другой печатный орган, и она исчезла, не оставив Аванесяну телефона.

В дни, когда все газеты печатали длинные речи вождя, в редакции работали только телетайпы ТАССа и корректорская. Сотрудники от безделья слонялись по коридорам, скидывались на троих. Я столкнулся с Цукерманом возле буфета. В руках у него был черный хлеб.

– Зайдем ко мне, – неожиданно предложил он. – Чайком угощу. Крепким. Настоящим индийским из заказа. Не то что в этом паршивом общепите.

Отперев английский замок, он пропустил меня вперед в комнату с дощечкой «Уполномоченный Главлита. Вход воспрещен». Бывал я здесь не раз. У окна стоял стол – пустой, но при этом грязный. Все пространство четырех стен от пола до потолка закрывали полки, занятые толстыми папками, которые, по-моему, никто никогда не открывал.

– Сейчас схожу по ягодки, – весело сказал Цезарь Матвейич.

– Это как? – не понял я.

– Тут у нас цветочки, а ягодки там. По правилам я должен вас выставить в коридор ждать. Ну, да ладно!

Он стал перебирать ключи, открыл один замок, потом другой и скрылся в соседней комнате. Дверь ее была вся в пятнах от мастики, которой ее опечатывали перед уходом. Ягодками Цезарь Матвейич называл секретные циркуляры, приказы, инструкции, списки, которые там хранились. Появился он, торжественно внося пачку чаю. При этом не забыл ногой проверить, заперлась ли дверь.

– Индийский! – гордо сказал он, втыкая в розетку кипятильник. – Страна у них, конечно, отсталая, а чай – как у людей. Сейчас заварим по-божески.

– Мы же атеисты, – не удержался я.

Он посмотрел на меня внимательно, будто проверяя свои подозрения.

– Слушай, – вдруг соскочив на «ты», с каким-то остервенением буркнул он и взял со стула оттиск со свежей речью и пока еще неотчетливым портретом генерального секретаря. – О чем этот болтун думает, а? О чем они все думают? В стране нищета, люди живут хуже скотов, все идет в тартарары, а он о торжестве передовой идеологии...

Я втянул голову в плечи, не зная, как реагировать. На всякий случай покосился на телефоны. Цезарь Матвеевич с ненавистью швырнул на стул газетную полосу.

– Ведь это же... Это же все... – он, видимо, на ходу сменил слово. – Ведь это... не так!

Не слышал я, чтобы в обычное ругательство было вложено столько мыслительной энергии. На всякий случай, я не поддержал разговора. Цукерман, разрядившись, раздумал углубляться. Молча насыпал в кипяток заварки. Мы попили чаю, говоря о незначительных вещах. Недопитый чай он слил в термос. Я тихо отчалил.

Положение мое в редакции было непрочным, а стало тревожным. Однажды заведующий международным отделом Спицын, которого все не без оснований держали за стукача неопределенного ранга, дохнул на меня запахом виски. Виски это

регулярно перепадало ему на пресс-конференциях в иностранных посольствах.

– Насчет тебя к начальству приходили, интересовались.

– Кто?

– Из организации, которая интересуется. Между прочим, Це-Це тоже интересовались. Смешно, да? Запомни: я тебе ничего не говорил. Но за то, что я тебе ничего не говорил, с тебя бутылка.

Вскоре я ушел из редакции по собственному желанию, решившись просто писать прозу. С тех пор мы с Цезарем Матвейчем не перекрещивались. Прозу мою кромсали и запрещали в других редакциях и издательствах иные уполномоченные того же Главлита.

### 3.

Предавшись воспоминаниям, я чуть не проехал свою станцию. Добежав по дождичку от метро до дому, я переоделся в сухое и, пока грелся чайник, развернул сверток.

В трубку была скручена толстая ученическая тетрадь. Обложка ее, вымазанная типографской краской, в пятнах от чая и масла, свидетельствовала, что тетрадь служила долго. Была она в линейку. По линейкам струился крупный, почти без помарок почерк. Название сочинения гласило: «Дневник бывшего цензора».

Сочинению Цезаря Матвейча Цукермана предшествовали два эпиграфа:

«Цензор – строгий блюститель стыдливости и скромности». (Марк Цицерон).

«Согласен на сто процентов. А если что не так, то виноват не цензор». (Цезарь Цукерман).

Я заварил чаю, поставил кружку на пол к дивану, наколот кускового сахара и, отогреваясь от весенней московской промозглости, стал, попивая чаёк, осваивать доставшийся мне «Дневник».

Цензор – первый читатель абсолютно всего на свете, и именно поэтому на нем лежит большая ответственность перед всем прогрессивным человечеством, писал в предисловии Це-

зять Матвеич. К сожалению, отсутствие в университетах факультетов, готовящих цензоров, а также цензуроведения как самостоятельной науки приводит к тому, что разумно обоснованные ограничения заменяются произволом и вкусовщиной. В результате наша отрасль отстает от требований времени, и в ней работает немало дилетантов.

Данная работа представляет собой первую в истории мировой печати попытку дать начинающим цензорам возможность познакомиться с ошибками, допущенными их старшими товарищами. И сделать это не по слухам и сплетням, а путем прямой передачи опыта от их более опытных, уже набивших шишки коллег.

Здесь собраны ошибки, своевременно обнаруженные мною лично, промахи, за которые я пострадал, а также ошибки моих коллег, уполномоченных Главлита в различных органах советской печати, радио и телевидения.

Со слов моих наставников, которых уже нет в живых, я записывал для потомков также промахи цензоров прошлых лет. Молодые цензоры смогут учиться на выговорах, полученных старшими товарищами, и таким образом избегать неприятностей, поджидающих их буквально в каждой букве нашей советской массовой информации. Ибо, как сказал большой друг цензуры А.С.Пушкин, наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни.

Далее в тетради, страница за страницей, следовали собранные покойным Цукерманом мысли и факты. Из обилия их, которое показалось мне утомительным, я привожу наиболее поучительные на тот случай, если читатель, по завещанию Цезаря Матвеича, почувствует особое призвание и задумает избрать в жизни почетное ремесло уполномоченного Главлита. Ведь с цензурой во многих странах дела из рук вон плохи. Властям просто не на кого положиться. В каждой букве заложена опасность контрреволюции.

Итак, вот о чем я прочитал в дневнике.

Слово «цензор» латинского происхождения. Цензура существует две тысячи четыреста лет, а своего расцвета достигла у нас. Полномочия цензора в Древнем Риме были гораздо шире, престиж выше, материальное положение гораздо лучше. В Риме цензоров торжественно избирали из почетных граждан

сроком на пять лет. Даже в царской России цензору было, как пишет Даль, «доверено от правительства цензировать сочинения, одобрять или запрещать». А мне доверено бдительно следить от Варвары Николаовны. Думал об этом, стоя в очереди в буфете, когда шофер директора издательства нес шефу ящик с продуктами из распределителя.

Слово «нецензурный» означает «непристойный, неприличный». Значит, все бесцензурное аморально и неэтично. Это должно вдохновлять уполномоченных Главлита на борьбу за самоцензуру мыслей советских писателей, дабы они не рассчитывали, что их всегда и вовремя поправят.

Важная мысль: мелкая глазная ошибка может превратиться в ошибку политическую. Сегодня в заголовке «Редакционная точка зрения» чуть не пропустили букву «д». Своевременно сигнализировал.

Поступила инструкция, запрещающая публиковать что-либо отрицательное об охране природы. Можно только о том, как хорошо ее охраняют у нас. Причина в том, что президент Никсон обратился к Конгрессу с призывом: деньги, оставшиеся от программы «Аполлон», истратить на охрану природы. Он сказал: «Америка должна показать пример русским, как мы заботимся о будущем». У нас денег от космической программы пока не осталось, но в газетах должно быть видно, как много делается.

Только что поймал в подписной полосе: «пролетарский унтернационализм». Не злоумышленник ли работает наборщиком? Ограничился предупреждением по телефону по поводу замены буквы «у» на «и» без уведомления Варвары Николаовны.

Какой ужас! В докладе Леонида Ильича по радио сам слышал: «Мы горды тем, что на нашем знамени золотом написаны пять букв – СССР». Трижды перечитал доклад в полосе. ТАСС своевременно исправил пять на четыре.

Рассказала на оперативке Варвара Николаовна. Руководству Главлита позвонили из ЦК и спросили, почему так странно написано в «Правде»: «На строительство не завозят бетон, сварочные аппараты и нижнее белье». Стали проверять. Оказалось, в тексте было «сварочные аппараты и консоли». Машинистка решила, что это ошибка и напечатала «кальсоны». А корректоры решили, что слово «кальсоны» неэстетично и за-

менили на «нижнее белье». Масштаба наказания не знаю, но при чем здесь цензура?

Московский кинотеатр «Знамя» переименован в «Иллюзион», что может вызвать усмешку читателя. Лучше старое название не сообщать, а сообщить так: один из кинотеатров теперь называется «Иллюзион».

Заголовок «Девственность выступлений газеты» без напоминаний с моей стороны корректорская исправила на «Действенность».

В коридоре Обллита встретил коллегу Щ. Он ездил с комиссией в Курск разбираться. Там строится новое здание цирка. Курская газета информацию о ходе строительства закончила фразой: «Завершим цирк к столетию Ленина!» Товарищи не подумали, в результате пострадал цензор.

Трагические устные воспоминания ветерана Главлита пенсионера К-ва. Вместо «Ленинград», рассказал он мне шепотом, было опубликовано «Ленинград». В слове «Сталин» букву «т» заменили на «р». Этот же впоследствии реабилитированный цензор вспомнил, как на Колыме встретил товарища по несчастью. В статье о Средней Азии тот пропустил, что в городе Сталинабаде установлен памятник Сталину, а Сталин еще был жив. Товарищ тоже еще был жив, но до послесталинской амнистии не дотянул.

Потребовал снять фразу в статье про зоопарки в США: «Раньше звери жили в клетках, а теперь живут в вольерах». Этих намеков на права животных нам не надо.

Тяжело с кадрами квалифицированных цензоров на периферии. На летучке в управлении Варвара Николаевна аж покраснела. В районной газете была напечатана заметка о плохой работе станции искусственного осеменения животных. В конце написано: «Сидят колхозники на станции и ждут, пока появится сперма».

Читатели прислали в ЦК партии другую районную газету, которую переправили в Главлит. Там статья о грубой продавщице продмага, которая прячет дефицитные продукты. Если покупатель ей не нравится, продавать отказывается. Статья называется: «Иванова не дает».

Че-пе! Снова обнаружил корректорскую ошибку в подписной полосе. «Советская космическая техника» – в слове «кос-

мическая» пропущена первая буква «с». Провел в корректорской совещание совместно с руководством газеты на тему о бдительности. Сообщил Варваре Николаевне о приказе главного редактора: завкорректорской – строгий выговор, остальным корректорам – обычные.

На центральном телевидении и радио указание лично тов. Лапина не выпускать на экран людей с бородами, а также без галстуков. Всех заставлять бриться и иметь в студиях дежурные галстуки. Интересно, как они будут выполнять этот приказ на радио? Возможно, однако, что то же правило введут у нас для газетных иллюстраций. Взять на заметку, проконсультироваться заранее как насчет бород, так и насчет галстуков.

Уволен литсотрудник отдела пропаганды В. Он провел интервью с секретарем партийной организации института. Оказалось, что это был не секретарь, а какой-то неизвестный, назвавшийся шутки ради секретарем. Мне поставлено на вид за то, что не потребовал визы. Но давайте мыслить шире: будет ли указание требовать паспорт перед интервью?

Состоялся специальный инструктаж по неконтролируемым ассоциациям. Давались примеры подтекстов. Сложность в том, что для их обнаружения приходится по несколько раз читать одно и то же, но при этом бдительность ослабевает. Пришел к выводу, что некоторые источники, уже известные, цитировать теперь нельзя. А по радио сейчас передают арию из оперы «Демон». Шаляпин, как ни странно, поет: «Проклятый мир!» Возможно, их уполномоченный Главлита просто не был на инструктаже.

В связи с неконтролируемыми ассоциациями в сводке Центрального института прогнозов я запретил строку: «С Запада надвигается потепление». Сообщил их руководству о двусмысленности информации. Руководство не поняло. Сообщил Варваре Николаевне. Она похвалила меня и сказала, что это необходимо включить в следующее циркулярное письмо. Лучше бы денежную премию.

Я опять недобдел и получил выговор из-за халатности дежурного по отделу иллюстраций. Изображение маршала Гречко при пересъемке тассовской фотографии на цинк оказалось зеркально перевернутым: ордена на правой стороне груди. Обнаружили, когда утром позвонили из Министерства обороны.



Из интервью с директором института стоматологии: «Каждая страна вносит свой большой вклад в развитие стоматологии. США идут впереди нас в лечении зубов, мы – впереди в теории изготовления протезов». Политически здесь все правильно, но субъективно я страдаю от того, что у нас теория так далеко ушла вперед.

Внимание! Сокращения в тексте таят опасность. Написано в статье: «Благодаря проведенным мероприятиям, КГБ-2 обслуживает в месяц на 1200 человек больше». Выяснил, что КГБ-2 – это Криворожская городская баня №2...

#### 4.

На этом дневник обрывался.

Не окончил своего труда, завещанного от Бога, Цезарь Цукерман. Не сделал никаких обобщений, а кое-что приукрасил, например, древнеримскую цензуру, которую на самом деле римляне после отменили. Не пришел Цензор Цезарь ни к каким выводам ни на бумаге, ни в жизни. Впрочем, может, и пришел? Ведь распорядился отдать тетрадку. Почему именно мне?

Общались мы мало даже во времена совместной работы. Но и тогда общение носило, как бы это сказать полюбозней, специфический характер.

Он трудился на совесть и при этом, оказывается (вот уж кто бы мог такое о нем подумать?), потихоньку все записывал. Газета часто печатала мои рассказы, куски из выходящих книг, рецензии на них, и он был их первых читателем, самым внимательным. От него, конечно же, не ускользали мои неконтролируемые ассоциации, – ведать не ведаю, как он на них реагировал. Если кое-что проскальзывало, то почему? Не заметил? А может, теперь думаю я, сделал вид, что не заметил?

Потом мой первый читатель первым узнал из секретного циркуляра, что моя фамилия больше не должна появляться в печати. Это тянулось годами. Я не встречался с ним в жизни даже случайно. А он бдил, чтобы я не встретился с ним в литературе.

Давайте взглянем на деяния этого ответственного, я бы даже сказал официального, читателя шире. Вдруг то, что делал Цензор Цезарь, было благом?

Печататься могли только те, кто соглашался приспособиться. Как многие другие, я пытался это делать. Он не допускал в свет подлинных художников, настоящую литературу и тем способствовал сохранению всего достойного в неизуродованном виде. Что, если он давал нам шанс не становиться приспособленцами, остаться чистыми, не лезть в мышеловку? Препятствуя публикации значительных независимых мыслей, цензор заставлял языкастых уходить в намек, в междустрочье, в заоблачные ассоциации и тем совершенствовал культуру письменного общения. Все запрещая, цензура накапливала недовольство, оппозицию, создавала ореол таинственности над диссидентством. Запрет создавал духовный дефицит. Результаты оказывались обратными желаемым. Цензура способствовала прогрессу!

Понимал ли это Цезарь Матвеевич? Чего желал он сам? Вот вопросы, на которые никогда не получить ответа. В нем, видимо, что-то происходило. Для краткости я давеча опустил окончание разговора с женой Цезаря Матвеевича. Но теперь понимаю, что конец этот необходим.

Она резко ушла от меня тогда на площади Революции. Вдруг оглянулась и возвратилась.

– Извините, – сказала она, задыхаясь. – Боюсь я. Может, они следят за такими, как вы.

– Вряд ли. За всеми не уследишь.

– Вы в этом уверены? Я в молодости сама работала в НКВД, правда, простой машинисткой. И уже тогда они старались следить за всеми. Знаете, Цезарь Матвеевич вас часто вспоминал последнее время. Все интересовался разными вопросами.

– Какими вопросами? – спросил я, делая вид, что не понимаю.

Мне хотелось, чтобы она сама объяснила. Пожав плечами, она печально усмехнулась.

– Ну, вы ведь уже одной ногой там...

– Но другой-то здесь, на веревке. Он, что же, тоже захотел туда?

– Нет! – испуганно отрезала она. И уже спокойнее прибавила. – Да кто бы нас выпустил с его секретностью? Он ведь

как начинал? Отправлял заявления в высшие инстанции, что в Москве следует открыть еще один почтовый ящик: научно-исследовательский институт цензуры. После стал жалобы писать руководству, что уполномоченным Главлита не платят премий за перевыполнение плана. А кончил...

Она опять оглянулась, хотя вроде бы никто близко не стоял, и совсем перешла на шепот.

– Он стал решать вопрос, кто был хуже – Гитлер или Сталин.

– И решил?

– Ой, страшно сказать! Говорил, что Сталин хуже, представляете? Когда читал газеты, будучи уже на пенсии, он мне твердил, что на Главлит надо бросить атомную бомбу.

– Как же Цезарь Матвейч со своим пятым пунктом вообще попал в Главлит?

– Он сам удивлялся. Воевал всю войну, кончил майором. Потом занимался снабжением в армии, пока его при Хрущеве не выперли в отставку. В Главлите у него работал однополчанин, которого туда бросили на укрепление из органов. Представляете, крупный чекист и совершенно не антисемит!

– Не может быть, – подначил я.

– Честное слово! – обиделась она. – Он Цезарю сказал: «У тебя офицерское звание, два ранения, партбилет, куча орденов – попробуем всем этим перекрыть твой генетический дефект».

Я вспомнил канун Дня Победы, на который Цезарь Матвейч явился, увешанный орденами и медалями. Редакционная молодежь тогда над всей этой атрибутикой уже потешалась. Говорили, что ордена на толкучке по пятерке штука покупают.

– Я же сам воевал, – оправдывался он. – Сам! Не дядя!

Кто-то в буфете, не заметив, что Цезарь Матвейч стоял сзади, изрек, что у цензора ордена за обрезание литературы и искусства. Он ведь и в самом деле спустил четверть века после войны еще сражался. Как выразился Аванесян, «под командованием Варвары Николавны».

– Стало быть, генетический дефект успешно перекрыли?

– Перекрыть-то перекрыли... Но потом дети подросли... У нас сын и дочь, оба на меня записаны, русские. Дети стали стыдиться его профессии. Муж собрался на пенсию уйти. И вот...

В глазах у нее остановилось по слезе.

– Его торжественно, с почетом похоронили, – с чувством заявил я.

– Откуда вы знаете?

– Слышал.

Ничего я, разумеется, не слышал, просто хотелось что-то утешительное сказать.

– Хоронить его мы хотели сами. Но приехал представитель редакции, ну, завпохоронами что ли, и заявил, что Цезарю Матвейчу положена по рангу и как фронтовику гражданская панихида по месту работы. А муж мне оставил письменное завещание, там написано: похороните меня на любом кладбище, но только под музыку гимна Израиля.

– Израиля? – поперхнулся я.

– В том-то и дело! Об этом я товарищу из редакции шепотом сообщила. Он хмыкнул, как вы сейчас, но обещал доложить руководству. Знаете, действительно раскошелились, заказали оркестр.

– И сыграли гимн Израиля?!

– Сыграли гимн Советского Союза. Для газеты некролог подготовили. Мне велели приехать проверить, все ли перечислены ордена. Сильно написали: «Безжалостная смерть вырвала из наших рядов верного бойца славной большевистской печати»... И дальше так же хорошо.

– Как же, я читал! – подтвердил я.

На лице ее возникло подобие улыбки и тут же погасло.

– Некролог о своем сотруднике цензура не пропустила.

Я поцеловал руку вдове моего самого придирчивого читателя, и женщина тихо ушла.

## МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ У ПРАБАБУШКИ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕНАЦВАЛЕ ИЗ САКРАМЕНТО

### 1.

О свадьбе объявили на всю Калифорнию и далеко за ее пределы. Съехалось шестьсот гостей, большей частью полицейских, что нисколько не удивило местных любителей широкомасштабных празднеств. Через прежнего шерифа был приглашен бывший губернатор, он же президент Рейган с Нэнси. Они, правда, не смогли прибыть, но прислали поздравление молодоженам. Гостей приветствовал фанерный Рейган в натуральную величину. Он стоял на травке с бокалом пенистого шампанского в руке.

А я там был, мед-пиво пил, поскольку замуж вышла моя студентка. Но рассказ сей не о самой свадьбе – тут читателя ничем не удивишь: почти все через нее проходили, а некоторые любят повторять этот ритуал многократно. Почему бы и нет, если жизнь коротка и хочется вместить в себя как можно больше сильных ощущений? Вот о сильных ощущениях после свадьбы, о сладостях медового месяца и пойдет речь.

Как известно, в Америке нынче никто особо не рвется вступать в брак, кроме гостей, а в России – кроме тех, кто норовит в гости. Причем в такие гости, чтобы стать хозяевами. У нас в университете, как во многих других, действуют обменные про-

граммы. Группа американцев едет на полгода в Москву, а потом студенты оттуда являются к нам. Как вы догадываетесь, мы хорошо платим российскому университету за каждого нашего студента: за общежитие, питание, учебу и культурную программу. Кроме того, студенты везут с собой денежки давать за то, чтобы текла горячая вода из душа, замок в комнате заперся, выкупить обратно украденный фотоаппарат или просто чтобы открыли дверь после одиннадцати вечера.

Ну, а когда к нам приезжают российские студенты, кто платит? Угадали, опять мы. У них средств нет. А поскольку экономическая ситуация в Калифорнии и, следовательно, в университете тяжелая, приходится поджиматься. Последний раз мы послали двадцать студентов, приняли, вы уж нас извините, только двух – Марину и Любу. На большее финансов не хватило.

Теперь насчет обратно. Пока не было случая, чтобы американский студент там остался. Но однажды парнишка из Калифорнии задержался. Перед самым отъездом российские его приятели организовали прощальную тусовку. Загудел американец с аборигенами и от нехватки специального тренинга в области потребления водки по дороге в общежитие упал и очутился в вырезвители. А потом еще месяц лежал в больнице с отравлением всех органов.

Обычно же бывает наоборот. Поехали в Москву двадцать студентов, вернулись двадцать три, или, точнее, двадцать три с половиной. Трое обвенчались: юноша и две девушки, а одна даже успела основательно в Москве забеременеть и вскоре тут родила. А ее юный русский муж перебрался в другой штат и, как водится, с концами. Вообще-то, многие из них скоро разведятся, поскольку американцы, как и некоторые другие нации, – не роскошь, а средство передвижения. И дети тут не в счет.

Но не обязательно так цинично. Бывают позитивные романтические исключения. Даже иногда вечная любовь. Ну, не вечная (от этого слова веет могильным холодом), а назовем ее прагматичней, продленная.

Когда студенты из России приезжают в Америку, то назад, вы уже догадались, уезжает лишь какой-то процент. Или, как произошло с двумя упомянутыми моими студентками из Москвы, обратно уехал ноль процентов. Веснушчатая умница Ма-

рина вышла замуж за пожилого американца, профессора японского языка, теннисиста и вегетарианца. Марина сразу попросила всех звать ее Мэри.

Едва профессор женился, выяснилось, что у Мэри на родине осталось двое детей, и она за ними слетала домой. Ее без труда впустили в Америку, что доказывает: для истинной любви преград нет. Потом к профессору, для ревизии счастья дочери, прибыла в гости моложавая теща, которая, как выяснилось, до распада СССР работала освобожденным партгором треста «Мосресторан», а после распада, по ее выражению, потеряла веру в коммунизм и хорошо заплатила тем, кто отбирал наиболее талантливых студентов для поездки в Америку.

Тут теща профессора вскоре заявила, что империализм как последняя стадия капитализма – ничуть не хуже коммунизма как последней стадии социализма, и лучше синица в руки, чем журавль в небе. Она решила остаться насовсем и искать здесь работу по специальности. Поскольку у нас в столице Калифорнии Сакраменто треста «Сакресторан» не оказалось, теща сказала, что согласна на должность секретаря партийной организации в любой ресторан. Зять ее спросил:

– Какой партии?

Она решительно ответила:

– А любой. Какой поручат. Лишь бы должность была освобожденная.

Впрочем, освобожденная должность у нее уже есть: теща.

– Мама, – просила ее Марина-Мэри, – когда заходишь в дом, скажи моему мужу «хай».

После этого, когда профессор появлялся с работы, теща говорила дочери:

– Мэри, скажи ему «хай».

– Откуда у вашей Мэри такой славный английский? – спросил я.

– С малолетства ее учила, – загордилась теща. – Предчувствовала, что понадобится. Не для алкоголика, ее первого мужа (я его, подлюгу, еще заставлю сюда нам алименты платить!), а на случай конца коммунизма.

И тогда я понял, почему профессор женился: чтобы разбогатеть на алиментах из Москвы от предыдущего мужа своей жены, само-собой в рублях.

С профессором контакт слегка прервался, так как он вскоре получил постоянную позицию в другом университете и уехал с молодой женой, двумя ее испуганными дочками и молодящейся освобожденной тещей. Теща настойчиво хотела жить с ними, и тогда профессор пошел на чрезвычайный шаг. Он сказал теще, что в Америке ночью приходит полиция для проверки, не живут ли родители вместе со взрослыми детьми, что запрещено. Теща посмотрела на него в упор, подумала немного и ответила:

– Намек поняла.

И профессор снял ей неподалеку отдельную квартиру.

Коллега мне рассказал, что теща уже отпечатала себе визитную карточку, где написано: «Такая-то. Освобожденный секретарь. Теща профессора такого-то». Слышал также, что сейчас к профессору собирается мать тещи из города Тобольска. А у той пол-Сибири близких родственников, которые внезапно заинтересовались уровнем жизни в Америке.

Оставив в покое тещу, замечу между прочим, что иногда дети от прошлых браков для новых брачных контрактов с иностранцами абсолютно необходимы. Не так давно актриса Большого драматического театра вышла замуж за американского драматурга, который побывал в Петербурге туристом и влюбился наповал. Все было хорошо, кроме языка. Она совсем не говорила по-английски, а он – ни слова по-русски. Ее семилетний сын от первого брака, который ходил в элитарный детский сад с иностранным языком, стал их переводчиком и сделал своей маме предложение, которое она приняла. Потом перевел, что мама согласна. Теперь они в Америке, и сын продолжает исправно работать переводчиком между мамой и новым папой с утра до ночи. Ну, а ночью они справляются без перевода. Но это я, извините, несколько отвлекся.

Вторую студентку из Петербурга, Любу, взял в жены полицейский Патрик Уоррен из соседнего города Сакраменто, да не простой полицейский, а патрульный, тот, который летает на вертолете над хайвеем. Где российской гражданке познакомиться с полицейским? Ответ ясен: не упустите шанса, когда вас штрафуют. Люба только-только получила водительские права и взяла у подруги машину покататься. Когда Патрик остановил Любу за превышение скорости, оказалось, она не знала,



где у машины спидометр. Он выписал ей «тикет», а вскоре нашел ее телефон в полицейском компьютере и позвонил. Люба испугалась.

– Я очень за вас беспокоюсь, – объяснил ей Патрик. – Вы уже великолепно ездите быстро, и теперь вам осталось научиться ездить медленно.

И тут Бог надоумил Любу произнести наиважнейшую в ее жизни фразу.

– Кто же меня научит? – кокетливо спросила она.

Ясно, что ответил полицейский Уоррен. Урок медленной езды продолжался далеко за полночь и закончился в спальне у Патрика. Утром он совершенно обалдел от поданного ему в кровать ароматного кофе по-турецки, который Люба приготовила, пока он спал. После завтрака закоренелому холостяку Уоррену ничего не оставалось, кроме как сделать своей гостье предложение. Таким образом, штраф, который он Любе выписал, пришлось уплатить ему самому.

Люба, должен сказать, девушка чуть простоватая, но симпатичная и вовсе не глупая. Глазки черные, щечки пухлые, и сама она, видимо, расположена к полноте; пышечка, по замечанию эксперта в этой области месье де Мопассана. И детей у нее на родине не оказалось.

Словом, в церковь вошла Люба Сиделкина, а через полчаса вышла миссис Уоррен. Поток гостей на свадьбу напоминал демонстрацию. Грузовичок, полный стеклянных сосудов для приема букетов, скоро опустел, а цветы все несли. Квартал был окружен патрульными машинами и мотоциклами. Несколько гостей приехали на боевых конях. По бокам у собравшихся свисали револьверные кобуры, дубинки и наручники. Гости за столами, сооруженными на поляне, прямо на траве, пили и переговаривались, держа в одной руке бокал, а в другой уюки-токи. Шериф разрешил даже салют из винтовок в честь такого события, а его друг мэр города дал приказ о фейерверке. Грянул духовой оркестр городских пожарных, и мне показалось, что от ударов тарелок, сверкающих в прожекторах, сейчас начнется внеочередное землетрясение.

Если не считать гостей из университета, невеста была самым образованным человеком в этой толпе: она почти кончила МГУ да еще прихватила полгода в университете Калифор-

нийском. Встретился мне на свадьбе и профессор японского языка с женой Мариной-Мэри, прибывшей поздравить подружку. Они прилетели на несколько часов, оставив детей с тещей. Профессор, между прочим, сообщил, что в теннис больше не играет, некогда, и перестал быть вегетарианцем: теща решила, что это вредно.

– Я так рада за Любу, – шепнула мне Мэри. – Ведь с ее плохим английским мало было шансов выйти замуж.

В разгар свадьбы над столами пронесся ветер. Это зависла грохочущая стрекоза, то есть полицейский вертолет, и строгий голос с неба произнес:

– Именем закона все арестованы! – голос вдруг закашлялся и, решив, что это чересчур, уточнил. – Арестованы только те, кто не любит моего друга Патрика Уоррена и Лубу Сыдэлкин.

И поскольку никого не арестовали, всеобщая любовь была разлита на поляне возле дома полицейского Уоррена. С вертолета поплыли вниз сотни белых гвоздик на маленьких парашютиках. На земле их вставляли в пустые бутылки от шампанского. О свадьбе передавало радио, телевидение, и знали все. Говорят, без полицейского вертолета и патрульных машин, запаркованных вокруг свадебного мероприятия, скорости на хайвее возросли до смертельного предела.

В конце этой супертусовки, где-то за полночь, когда мы с женой уже собрались тихонечко смыться, подкатился жизнерадостный молодой муж Патрик. Он долго тряс мне руку своей огромной, как ковш экскаватора, пятерней, благодаря за посещение и произнося разные другие вежливые дежурные слова. А под конец поделился радостью. Люба ему сказала (он, конечно, произносил Луба), что у нее прабабушка – грузинка, которая живет в Сухуми.

– Там же пляж лучше, чем в Лос-Анджелесе, и горы красивее, чем в Италии. – Одним словом, сказка! Я очень люблю шишки-баб. Там это называется кишлак...

– Шашлык, – подсказал я.

Он посмотрел на меня с восхищением.

– Звучит, как музыка! А главное, – продолжал Уоррен, – я собираю курительные трубки. Их у меня триста семьдесят две.

– И все курите?

– Я вообще не курю! Просто это мое хобби. У прабабушки Лубы в Сухуми, хотите верьте, хотите нет, есть трубка, которую курил сам Сталин. Может, я ее куплю или выменяю, как вы думаете? Я возьму с собой трубку, которую курил вождь индейского племени у нас в Калифорнии.

Короче говоря, они с Любой решили провести медовый месяц у прабабушки и путешествовать по Абхазии. Люба, правда, пыталась его отговорить, но глава семьи твердо стоял на своем.

– Итак, мы едем в Абхазию!

– Там ведь гражданская война, – осторожно заметил я.

Усмехнувшись, он поиграл мускулами.

– Читал об этом в «Нью-Йорк таймс». Между прочим, я окончил полицейскую академию. Но поскольку в Абхазии, возможно, есть своя специфика, я не буду там брать напрокат самолет.

Услыхав это, я понял, что моя миссия как консультанта полностью исчерпана.

Патрик и в самом деле бычок экстра-класса. Темный костюм жениха на нем, казалось, вот-вот лопнет по швам. Галстука с оранжевыми цветами едва хватило, чтобы обвить его дубовую шею. Потомок золотоискателей в нашей долине, он так и пышет здоровьем. Медицина развивается не для него, страховка ему ни к чему, – преступников надо страховать, защищая от таких полицейских. Кто-то из гостей за столом рассказал через уоки-токи, что в прошлом году жених один управился с пятью уголовниками, из которых двое – бывшие боксеры. Уоррен с вертолета, через прибор ночного видения, заметил возню у придорожного мексиканского ресторана. Воры прибрали к рукам дневную выручку. Полицейский вертолет приземлился на ресторанной автомобильной парковке. До прибытия подкрепления Патрику пришлось их слегка помять: к судье всех пятерых доставили из госпиталя.

На следующий день, закрутившись с делами, я забыл про Патрика и Любу. Шли экзамены, студенты нервничали, их напряг передавался мне. На прием стояла и сидела в коридоре очередь нуждавшихся в консультации или спешивших продемонстрировать свой глубокий интерес к русской литературе девятнадцатого века. Некоторые мудрецы ухитрились разо-

быть справку о своей умственной замедленности, чтобы писать экзаменационную работу вместо двух часов четыре.

Потом наступили каникулы, и я засел за недописанный роман.

## 2.

Прошел, наверное, месяц, когда у меня раздался звонок. Я даже не сразу сообразил, кто это. Патрик Уоррен вернулся из свадебного путешествия.

– Ну, как там озеро Рица, Пицунда, обезьяний питомник, гора Ахун?.. – я попытался вспомнить еще что-нибудь, но мой запас исчерпался.

– Замечательно! Много впечатлений, – сказал он. – Можно мне к вам подъехать?

Я думал, на крышу факультета иностранных литератур сядет полицейский вертолет, но этого не произошло. Уоррен просто пришел и сел напротив меня. Он был такой огромный, что в кабинете сразу стало тесно. Глаз, и часть щеки Патрика были темно-синими. Я не стал спрашивать: Уоррен сам обстоятельно рассказывал.

Собирались они тщательно, везли чемоданы подарков. Люба гостила в Сухуми у прабабушки Манико позапрошлым летом. Двухэтажный дом, который построил покойный муж Манико, служивший садовником на даче товарища Кагановича, стоял на самом берегу моря, окруженный виноградником. Там (у прабабушки, а не только у Кагановича) море очень близко от кровати: проснулся и – бултых. Кстати, трубка, которая так взволновала Патрика, была подарена Сталиным Кагановичу. Когда у Кагановича отобрали дачу, садовник, муж Манико, трубку нашел и взял себе.

Летом дом и сарайчики вокруг заселяли курортники – восемнадцать семей. Сама прабабушка жила там, где было потише: на краю сада, в сарайчике, стеля себе на полу. Ноги ее внутри не умещались и, как старуха говорила, спали на воздухе. Там же в сарайчике она держала в ямке большую старую кастрюлю, в которой хранила деньги. Продав фрукты или получив с жильца плату, Манико раздвигала в полу сарайчика

две доски и засовывала под крышку кастрюли рубли, украинские карбованцы, грузинские купоны, казахские тенгю, сомы, латы, зайчики и другие свободно конвертируемые валюты. Сбербанкам Манико никогда не доверяла. Она понимала слово «деньги», проблемы же инфляции – это были глупости, которые ее не волновали.

В саду росли персики и виноград, измельчавшие от старости, но сладкие. Прабабушка Манико раньше возила фрукты на рынок, а со старостью ставила лоток на кругу, возле конечной остановки четвертого автобуса. Шоферы выгребали деньги из кассы, снова прилепляли пломбу и покупали у Манико фрукты. С другой стороны дома, за садом, проходило шоссе, за ним железная дорога, а дальше горы, пологие части которых были покрыты виноградниками, пока Горбачев не ввел сухой закон. Местное начальство его выполнило, виноградники вырубив подчистую. Теперь, когда дует ветер, оттуда на поселок и пляжи летят тучи пыли.

Про это Люба рассказывала своему жениху, когда он приезжал на своем «Форде» со службы и садился обедать. Патрику все нравилось. Он говорил, что очень любит экзотику. Он то и дело смеялся и не мог дождаться отъезда в медовое путешествие.

Дозвониться в Сухуми оказалось невозможно, письмо послали, но ответа не пришло, и молодожены решили поднести прабабушке сюрприз. В крайнем случае Манико выселит ради них из одной комнаты жильцов. Так думала Люба и учила мужа:

– Скажи: «Здравствуйте, мы из Америки». А уж я сама добавлю: «Познакомься, Манико, это мой муж Патрик. Он совершенно не говорит ни по-русски, ни по-грузински, ни по-абхазски». Ты скажи: «При-вет!» Прабабушка, конечно, ответит: «Ну, наконец-то! Явились, не запылились». Она всегда это говорит, и ласка так и светится в ее глазах. Тут ты изумишь ее русской фразой: «Очень приятно». А дальше все пойдет само собой...

Глядя на карту, Патрик предлагал лететь через Стамбул или Тегеран, но агентство путешествий предложило им билеты до Сухуми с пересадкой на «Аэрофлот» в Москве. Там они могли навестить Любину тетю, сестру матери.

Бабушка Любы, дочка Манико, давно умерла, а дедушки вообще почему-то не было. Родители у Любы погибли пять лет назад, когда отец купил «Жигули» и по дороге на Кавказ врезался в бензовоз. Или бензовоз врезался в них, – сумма погибших от перестановки участников не меняется. Тетя с мужем оба преподавали в МГУ. Они и помогли Любе попасть на практику в Америку и были очень рады теперь, что их приемная дочь попрактиковалась не вхолостую. Простые русские слова иногда ошеломляют меня своим ясновидением.

Перед отъездом Патрик искал в Сакраменто подходящую майку, и продавец убедил его, что моднее всего будет носить двуглавого орла с надписью по-русски:

*Была тогда счастливой Русь,  
И две копейки стоил гусь.*

Значение текста Патрик не очень понимал, хотя Люба ему перевела, но орел ему нравился. В Москве Патрик пришел в восторг от вечно живого Ленина в гробу. Он хотел также зайти в Макдональдс, но Люба была не в силах стоять в еще более длинной очереди.

Самолет на Сухуми долго не вылетал, а когда долетел, долго не приземлялся «по метеоусловиям». Патрик был очень доволен, что их в полете не кормили.

– Русские лучше нас следят за диетой, – объяснил он жене, – мне это так нравится!

Прилетели ночью, когда ветер разогнал тучи. На летном поле после грозы пахло полынью, а звезды светили так же ярко, как в Калифорнии. Любу никто не встречал. Наверное, прабабушка Манико не успела получить телеграмму, которую они дали из Москвы. Такси тоже не было, но шофер мусорной машины аэропорта, узнав, что это американцы, согласился их подвезти. Люба провела переговоры о сумме. Шофер попросил пятьсот долларов, но согласился за три, потребовав эти три доллара вперед.

Луна прислонилась к краю горы, тихо освещая поселок и заменив уличные фонари, которые не горели. Люба разыскала круг, где делал конечную остановку четвертый автобус, а возле него дом прабабушки Манико. Они выгрузили из мусоровоза чемоданы с подарками.

Люба проводила здесь с малолетства все летние каникулы и знала не только каждое дерево и каждый кустик, но все трещины в асфальте и каждый выпавший сучок в высоком покосившемся заборе. Через этот забор они перелезали вдвоем с Гиви, соседом, сыном продавца из ювелирного магазина, когда Манико не пускала Любу вечером погулять. С этим соседом у Любы кое-что было, и не вечером, а днем, когда ювелирный магазин на набережной работал, а дома, кроме Гиви, никого не было. Но сейчас она не хотела это вспоминать. Она шла вдоль забора, за ней Патрик нес два огромных чемодана.

Вот кривая калитка. Люба на ощупь просунула руку в щель, отодвинула засов и подумала, что сейчас залает Тимур. Он всегда лаял при шорохе, полагая, что охальники норовят сорвать персики, свисающие через забор.

Заскрипели петли, а Тимур не залаял. Вдоль тропинки висели веревки, но на них не сушились трусы и купальники многочисленных обитателей. Сарайчики, обычно заполненные дикими курортниками, как пчелиные ульи, были мертвы. Если не считать птицы, потревоженной в гнезде, стояла мертвая тишина.

– Ой, смотри! – прошептала Люба.

Дом зиял черными провалами выбитых окон. Луна освещала черепицу, часть которой была проломлена.

– Может, они построили новый дом, а этот разрушают, – предположил Патрик.

Люба, не ответив, заспешила к сарайчику, в котором летом спала Манико. Дверь сарайчика была открыта, изнутри доносился запах примуса и сырости. Потревоженные мухи жужжанием вылетели в дверь.

– Погром какой-то... Просто ума не приложу, что случилось и что нам делать, – в глазах у Любы появились слезы. – Два часа ночи, соседи спят, спросить некого...

– Постой-ка...

Патрик опустил на дорожку чемоданы, вынул из кармана фонарик и, освещивая себе под ноги, пошел в дом. Через несколько минут он вернулся.

– Похоже, это взрыв. Там внутри разрушенная мебель, детские игрушки на полу. Может, звякнуть в полицию?

– В милицию, – поправила Люба. – Телефон был на кухне, но летом Манико его выключала, чтобы жильцы не звонили. Сейчас я погляжу.

Патрик освещал ей дорогу, и они вошли в дверной проем. Дверь лежала тут же рядом, в траве. Небо с луной было видно сквозь крышу. Слева газовая плита, за ней кухонный столик. Рядом с ним была тумбочка, на которой стоял телефон. Люба взяла у Патрика фонарик. Телефон оказался на месте. Она сняла трубку и услышала гудок – телефон работал.

Она набрала 02, долго никто не брал трубку, потом кто-то, откашлявшись, произнес что-то по-абхазски. Люба объяснила по-русски, что она приехала к прабабушке в гости, а прабабушкиного дома нет. То есть он есть, но разрушен. И как узнать, где прабабушка и что вообще теперь...

– Слушай, дарагая, – хриплый голос перешел на русский. – Ты что, одна такая? У всех тут дома разрушены. У всех нэту прабабушки. Что это вообще такое? Звонишь посреди ночи, дежурным спать не даешь, понимаешь! Арэстует тебя, эсли еще будешь звонить!

В трубке раздались короткие гудки.

Люба прижалась к Патрику.

– Может, разбудить соседей? С этой стороны жил ювелир, с той – дедушка Резо, сын Манико...

– Знаешь что, – решил Патрик, – до утра недолго, какие-то четыре-пять часов. Я привык ночью не спать, мне это легко. В конце концов, впереди у нас целый медовый месяц. Сейчас я положу чемоданы плашмя, постелю мою куртку, ты ляжешь. А я посижу, посмотрю на луну. Луна здесь сказочно красивая.

Утром в доме, где жил Резо, сын прабабушки Манико, то есть, так сказать, двоюродный дедушка Любы, послышались голоса. Сонная Люба, вскочив и на ходу проверяя прическу, побежала туда. Боже мой, что там началось! Ее сразу узнали, запричитали. Вокруг нее крутились дети и женщины, большинство из них она не знала. Побежали за Патриком, который ничего не понимал, привели его, принесли их чемоданы.

– Здрасвуйте, мы из Америка, – сказал всем Патрик. – Ошшен приятно.



– Где же Манико? – спросила Люба.

– Сейчас приведем твою прабабку, – отозвался дедушка Резо. – Никуда она не делась.

Он был горбатый, беззубый, седой и давно не бритый.

– Так она здесь? Слава Богу!

Резо ушел в сарай и медленно вывел седую лохматую старуху в белой ночной рубашке до полу. Она шла, опираясь на костыль.

– Манико! – крикнула Люба и бросилась к ней на шею.

– Кто это? – спросила Манико.

Лицо ее перекосила судорога.

– Это же Люба, – сказал Резо.

– Какая Люба?

– Твоя Люба, правнучка.

– Не помню.

– Манико после взрыва память отшибло, – объяснил Резо, обращаясь почему-то к Патрику, – она немножко не в себе. Да тут все не в себе. Видите, что делается? Ты пока садись, генацвале, в ногах правды нет.

Патрик улыбался, но не понимал и поэтому не реагировал.

– Он что – глухой? – спросил Резо.

– Нет, он американец.

Патрик уселся на скамейку, за большой стол под деревом.

– Он настоящий американец? – поинтересовалась черноглазая девочка с двумя тоненькими косичками.

Она подошла к Уоррену и потрогала его за колено. Патрик погладил девочку по голове.

– Настоящий, настоящий, – ответила за него Люба. – А где Тимур?

– Собаку танк раздавил, – ответила девочка. – Совсем недавно.

– Что Ти-мууур!.. – протянул Резо. – Соседа-ювелира со всей семьей убили. Золото у него искали. А мы вот живы пока...

– И Гиви убили? – вырвалось у Любы.

– Гиви первым убили, он отца от них закрыл...

Любе стало страшно, она прижалась к Манико.

– Кто это? – спросила опять прабабушка.

– Говорят тебе, это Люба! – рассердился Резо.

Люба поцеловала Манико, вздохнула и решила раздать подарки, которые они привезли. Открыв чемодан, она увидела, что он наполовину пуст. То же случилось со вторым чемоданом. В обоих чемоданах лежало по паре крупных камней для веса. Патрик потрогал замки.

– Видишь, поломаны? Кто-то в аэропорту, в Москве или Сухуми, отобрал часть вещей себе.

– Это теперь часто бывает, – сказал дедушка Резо. – Хорошо еще, не всё взяли. Кастрюлю с деньгами у Манико из рук вырвали, хорошо, что руки целы...

Всем подарков не хватило, начались слезы. Две девочки подрались, одна сказала:

– Лучше бы вы ничего не привозили, тогда было бы всем одинаково.

Люба не стала это переводить Патрику. А тот, увидев, что калитка покосилась и вот-вот рухнет, поднял с земли топор и, подперев плечом столб, стал соображать, как его закрепить. Резо молча принес ему пару досок и гвозди.

Потом сели за стол завтракать. Резо долго извинялся, что у них ничего, кроме брынзы, хлеба да персиков с дерева, нет.

– Война тут идет, – сказал он. – Брат на брата... К маме в дом снаряд попал. Хорошо, что днем, все были кто где, двоих только ранило, их в больницу увезли, и вот маму... Ее немного контузило.

– К врачу ходили? – спросила Люба, пытаясь обнять Манико, но та отстранилась от Любы, как от чужой.

– Доктор обещал, может, Манико оживет, – продолжал Резо. – Она еще хорошо отделалась... Абхазские ополченцы выгоняли грузин из своих домов на улицу. Свои хуже фашистов, звери какие-то. Бог разум у них отнял. Собственных родственников готовы убивать за правое дело. Кто их знает, чье правое? Кто грузин, кто абхазец, кто русский, кто осетин, кто половинка, кто четвертушка? Вон, я и еще два моих брата женаты на абхазках. Наши дети кто? Понимаешь, генацвале?

Люба переводила, Патрик кивал.

– А вы отдыхать приехали? О-хо-хо! Какой-такой здесь теперь отдых? Дом разрушен, есть нечего. Канализацию прорвало, все идет на пляжи. Конечно, мы вам очень рады. Но я

вам так скажу: лучше от греха подальше уезжайте из Сухуми куда-нибудь еще.

– Как ее зовут? – спросила прабабушка Манико и потрянула кипой давно нечесанных седых волос.

– Люба она, Люба! – рассердился дедушка Резо и повторил. – Уезжайте, пока здесь опять не началось...

– Куда же? – растерянно спросила Люба.

– Думаю, – сказал Резо, – лучше ехать в сторону Сочи, поближе к России. Там меньше убивают.

– Спроси у них, Луба, – поинтересовался Патрик, – где здесь ближайший пункт проката автомобилей? Это для нас сейчас самое удобное...

Услышав перевод, Резо грустно улыбнулся.

– Тогда, может, кто-нибудь продаст подержанную машину? – не унимался Уоррен.

– Люба, объясни ему, как это все сложно, – терпеливо сказал Резо, поколебался и предложил. – Знаете что? В сарае стоит «Москвич» Отара, моего сына. Он в Тбилиси и вряд ли сюда сейчас приедет. Его здесь врагом объявили. Машина все равно без пользы стоит, бензина нет. А еще говорили, что будут для армии машины забирать... Езжай на ней, сынок. Если только завести ее сможешь. Американцу они, может, бензина дадут?

– А как мы ее вам отдадим? – спросил Патрик. – Сюда вернемся?

– Ни в коем случае! Отар мой женат на русской, мать ее живет в Дагомысе под Сочи, Люба ее знает. Вот у нее в саду машину и поставишь, когда будете уезжать. Ты поняла, Люба?

Молодые посоветовались. Патрик засмеялся и долго тряс дедушке Резо руку.

«Москвич» стоял в сарае. Нельзя сказать, что он был новый, но голубой его цвет еще можно было угадать в отдельных местах. Патрик видел такие автомобили на выставках старых машин, они стоили дорого.

– Так и быть, – решил Резо. – Полканистры у меня есть припрятанной. Ты ее вернешь полной, идет? Если ГАИ спросит доверенность на машину, дашь им немножко долларов – это даже лучше, чем доверенность, понял? Еще вот вам два

одеяла на случай, если гостиницу не найдете. В машине тоже можно неплохо спать, особенно с молодой женой, так?

– Спасибо, вы очень добры к нам, – вежливо сказал Патрик, и Люба перевела. – Я этого никогда не забуду. Приезжайте к нам в Калифорнию, я тоже дам вам свой «Форд», и поедете путешествовать на озеро Тахо.

– Дети! – крикнул Резо. – Хлеб по карточкам, они его нигде не купят. Принесите им из подвала буханку хлеба и банку абрикосового варенья...

– Можно хотя бы разок взглянуть на море? – осторожно спросил Патрик.

Поняв, чего хочет американец, Резо взял его за локоть, повел за кусты к обрыву. Патрик остановился и замер, разинув рот. Там открывалась голубая даль, чистая и тихая. Где-то на самом горизонте шел кораблик, дымя из трубы. Под обрывом шелестел о камни прибой.

– Посмотреть-то можно, – стоя позади, Резо качал головой. – Вот море. Но купаться ни в коем случае нельзя: вода отравлена канализацией.

Они вернулись в сад.

– Луба, – сказал Патрик, – у меня есть важный вопрос к Манико. Можно увидеть трубку, которую курил господин Сталин?

Прабабушка молча пожала плечами. Ответил за нее дедушка Резо:

– Как же, знаю хорошо эту трубку. Мама ее очень бережет как память об отце. Я, когда молодой был, ее курил потихоньку от матери. И друзьям давал покурить, потому что всем было интересно. Говорили даже, что она волшебная.

– Где же она?!

– Мама увидела, что я ее курил, и куда-то спрятала. Но куда именно, память у нее теперь начисто отшибло. Я уже искал... Может, она придет в себя и вспомнит... Извини, генацвале!

На прощанье слегка приунывший Патрик вынул видеокамеру и стал снимать всё подряд: море, заросший, неухоженный сад, разрушенный дом Манико, замечательный автомобиль «Москвич», который еще не знал, что ему предстоит медовое путешествие, и всех своих новых родственников, выстроившихся

с вдруг окаменевшими лицами в длинную шеренгу вдоль забора.

Самым сложным для Патрика оказалось влезть в машину. Дверь была маловата. Он занял полтора передних сиденья, и Любе осталась только половинка. Ноги нельзя было распрямить, но ехать было можно. Мотор не хотел заводиться; Патрик, посмеявшись, открыл капот, повозился полчаса со свечами и карбюратором, и «Москвич» ожил.

Все стояли и махали им вслед. Прабабушка Манико плакала, хотя так и не узнала Любу. Они выехали на круг четвертого автобуса. Наконец-то медовый месяц начался. Этот месяц теперь, когда Патрик мне про него рассказывал, походил на кино, хотя то была просто жизнь.

### 3.

Люба показывала дорогу. «Москвич» скрипел и тарахтел, но бодро катил по разбитой асфальтовой дороге между пустынными пляжами и горами. Проехали пригороды, где стояли дачи известных не только в Сухуми людей: Берии, Сталина, Кагановича, Микояна. В центре города в изумлении смотрел Уоррен на разрушенные здания, танки на улицах и толпы людей возле магазинов.

– Все так интересно! – то и дело восклицал Патрик. – Похоже, мы с тобой тут единственные туристы.

Остановили их на выезде из Сухуми. Дорога была перекрыта двумя грузовиками и милицейской машиной.

– Патруль! – крикнул усатый лейтенант и стал выяснять. – Оружие? Патроны? Гранаты?

– Это твои коллеги, – объяснила Люба. – Полиция.

Им велели открыть багажник.

– Что в чемоданах?

Чемоданы были почти пустые: всё, что не украли, уже было роздано.

– А это что? Бензин из города вывозить запрещено.

Милиционер вытащил канистру с бензином, отдал другому, тот быстро унес ее куда-то в кусты.

– Как же так? – вежливо поинтересовался Патрик.

Ответа он не получил.

– Проезжайте быстрее, не создавайте очередь, не то еще и оштрафуем.

Дорога опять вилась над морем, открывая замечательные виды.

– Знаешь что, – предложил Патрик. – Раз здесь война, Резо прав: нам надо перебраться в Россию, там отдыхать. Судя по карте, это еще миль сто. Смотри, какая красота: я обожаю горы.

Они долго петляли по извилистой горной дороге. В поселках стояли бронетранспортеры, кое-где стреляли. Прохожие на улицах, если их спрашивали, смотрели испуганно. Мелькали магазины, рестораны с окнами, заколоченными досками, мертвые рынки. В одном доме, неподалеку от шоссе, им продали две пустые бутылки, чтобы набрать воды из родника.

Солнце перевалило зенит, когда они, свернув с дороги, оставили машину возле заброшенного сада, спустились с пригорка и расположились перекусить под развесистой дикой яблоней. Вокруг ни души. Хлеб с вареньем, которые дал им с собой Резо, и родниковая вода были замечательно вкусные. Патрик расслабился, прилег на сухую траву. Люба положила ему голову на грудь, и оба они после сидячей ночи провалились в сон.

Проснулся Патрик от шума с дороги. Сразу три тяжелых черных лимузина с темными стеклами, шурша шинами, медленно выкатились из-за горы и остановились. Уоррен переводил глаза с одной машины на другую, но некоторое время в них не было никаких признаков жизни. Потом из первого и третьего лимузинов высыпали две стайки молодых телохранителей в черных костюмах и галстуках и, осматривая окрестность, растянулись полукругом. Передняя дверца во второй машине открылась. Лысоватый генерал с золотыми погонами вылез на обочину, огляделся и, согнувшись угодливо, стал открывать заднюю дверцу.

Оттуда долго никто не показывался. Затем до блеска начищенный черный сапог опустился на землю. Некоторое время спустя рядом с ним встал другой сапог. Оба сапога пошевелились, разминая ноги, спрятанные внутри них. Из темноты донеслось кряхтение, мужской голос выругался с грузинским акцентом и спросил:

– Людишек вокруг нэт?

– Никак нет, – отчеканил генерал, – всё обследовано.

Опираясь на дверцу и поддерживаемый генералом, на свет выбрался старик с изъеденным оспой лицом и усами, западавшими в рот. Он был в белом поношенном френче с расстегнутым стоячим воротничком, двумя карманами на груди и белой фуражке. Старик посмотрел, прищурившись, на солнце и сказал:

– Как печёт, мать его туды-сюды!

Кряхтя и пошатываясь, старик обошел автомобиль сзади и, пристроившись возле колеса, стал справлять нужду. Патрик смущенно скосил глаза на Любу, но она сладко спала. Старик закончил важную миссию и облегченно вздохнул. Застегивая ширинку плохо гнущимися пальцами, он подошел к краю дороги и сдвинул фуражку на затылок. Посмотрел на горы, вынул из кармана кисет с табаком, трубку и стал ее набивать, трамбуя табак большим пальцем.

Охрана раздвинулась широким кругом, внимательно следя за окрестностями. Генерал уже держал наготове зажигалку. Старик сунул трубку в рот и зачмокал, разжигая ее. Тут Патрика вдруг осенило, кто перед ним. Он вскочил, поняв, как ему повезло в жизни. Ведь второго такого шанса не будет. И он крикнул:

– Господин Сталин!

Едва Уоррен пошевелился, охрана бросилась к нему, навалилась, скрутила. Патрик, конечно, мог их в два счета раскидать, а он торопливо просунул голову между двух молодцов, насевших ему на плечи, и представился.

– Видишь? Это так называемая личная охрана, – сказал старик генералу, яростно плюнул и растоптал плевок сапогом.

– За что жэ народ вам платыт зарплату?

– Виноват, товарищ Сталин!

– Давайте меняться, господин Сталин, – крикнул поспешно Патрик. – Я вам отдам трубку вождя индейского племени, а вы мне вашу трубку.

– Мнэ, вождю всего прагрессивного челоувэчества, ты прэдлагаешь трубку лидера какого-то мэлкого плэмени?

– Да ведь эта трубка, согласно легенде, дает не только власть, но и бессмертие!

– Все это чэпуха! Мы, марксысты – атэысты. Но раз тэбе так хочется иметь трубку, каторую курил лычно товарищ Сталын, на, вазьми. Отпустите его. Генерал, подай ему мою трубку.

Старик, кряхтя, полез на заднее сиденье лимузина.

Охрана бросила Патрика на землю и мгновенно погрузилась в машины.

– Насчет тэх молодых людэй на травке... – сказал старик генералу. – Он ведь амэриканец... Я эще нэмножко подумал и рэшил: нужно ли агентуре Соединенных Штатов знать, что товарищ Сталын сейчас находится на даче в Абхазии?

– Может, дать команду пройтись по ним из «калашникова»?

– Зачэм пройтись? Пусть гости спокойно отдыхают. А когда отдохнут, пусть товарищ Бэрия с ними бэспристрастно разберется. Я думаю, им нэ надо возвращаться в логово империализма. Пусть такой фызычески крэпкий амэриканец поработает на социализм. А трубка вэрнется к ее настоящему хозяину. Поехали!

Заверещал мотор. Патрик держал в руках трубку, которая еще дымила. Теперь он проснулся второй раз, уже по-настоящему. Открыв глаза, Уоррен увидел, что в руке у него сухой сучок от дерева, подобранный на земле. Шум с дороги и дым действительно имели место. Их «Москвич» проворно разворачивался и катил, набитый людьми с обритыми головами.

Патрик проворно вскочил и в три прыжка оказался на асфальте, но машины след простыл. Ни одной попутки на дороге, шоссе будто вымерло. Бежать вслед глупо. Рука мгновенно опустилась в карман: ключи от машины исчезли.

– Трубка, Луба! – застонал Патрик.

– Какая трубка?

– Трубка вождя индейцев, каторую я хотел поменять на трубку вождя Сталина. Она уехала...

С трубкой уехала их одежда, видеокамера Патрика, одеяла, – все осталось в багажнике «Москвича». Зато бумажник в заднем кармане сохранился, поскольку Патрик на нем лежал.

Как мог убедиться читатель, я стараюсь передать то, что Патрик мне рассказывал, слово в слово, без всякой отсебятины. Если Уоррен для красного словца немного приврал насчет встречи с товарищем Сталиным, я за это никакой ответствен-



ности не несу. Недавно читал в каком-то очень серьезном журнале, что даже длинные сны протекают в нашем сознании мгновенно, и трубка вождя могла присниться Уоррену, когда воры уже завели мотор его «Москвича». Жене про этот странный сон Патрик решил ничего не рассказывать.

Люба рыдала и, всхлипывая, говорила, что она не хочет так отдыхать. Патрик ее утешал: отдых ведь только начинается. А Люба считала, что он уже кончился. Под деревом на траве оставались банка с абрикосовым вареньем, которую облепили пчелы, и полбуханки серого хлеба.

На тропинке, ведущей с горы в яблоневый сад, появился белобородый старичок с сумой через плечо, похожий на нищего. Он остановился и попросил кусок хлеба. Люба отломала ему половину оставшегося. Он стал жадно есть. Узнав, что произошло, старичок сказал:

– Так это же уголовники, которых из тюрьмы выпустили. Вот они и делают, что хотят.

– А вы где живете? – спросила Люба.

– Теперь нигде. Я грек, а греков абхазцы тоже выселили, как и грузин, и армян.

– Куда же вы теперь идете?

– Все отсюда бегут. Иду я в Батуми, чтобы там перебежать в Турцию. Может, в Турции лучше, а здесь очень плохо.

– Далеко здесь до аэропорта? – глядя на заплаканную жену, вдруг спросил Патрик, и Люба перевела.

– Аэропорта? Вы сейчас недалеко от Гагры. Единственный аэропорт тут возле Адлера. Это будет уже за границей, то есть в России. Автобусы теперь не ходят. На попутки не сажают, боятся. Остается вам идти пешком. Дня за полтора-два дойдете.

Патрик с Любой двинулись в путь, прихватив банку с остатками варенья, две пустых бутылки и кусок хлеба. Иногда, слыша сзади гул приближающейся машины, Патрик голосовал, но никто не останавливался.

К вечеру дошли до поселка Гантиади. Патрик все время пересчитывал километры в мили и получалось, что до аэропорта осталось миль двадцать или двадцать пять. Люба растерла обе ноги и идти не могла. Патрик вызвался нести ее, но пышечка Люба знала свой вес и на ручки не пошла.

В сумерках началась стрельба. Где-то ухали пушки. Сзади послышался грохот, рядом с ними остановился бронетранспортер. С него что-то крикнули по-грузински.

– Кто это может быть? – размышлял Патрик. – Абхазцы, грузины, русские?.. По крайней мере, это не воры. Не украли же они танк...

– Это грузины, – сказала Люба.

Любе и Патрику светили фонариками в лица с разных сторон.

– Чего они хотят? – спросил Патрик у Любы, когда два десятка солдат в маскировочной форме прыгнули с машины, окружили их, стали о чем-то спорить по-грузински.

– Вам что, молодые люди? – спросила Люба. – Вы кто такие?

Один из них перешел на русский, сказал:

– Проверка документов, дэвушка. Грузинский национальный формирований. Паспорт, паспорт!

Формирование это оживилось и загалдело, поняв, что перед ними иностранец.

– Луба, – возмутился Патрик, – скажи им, чтобы они немедленно нас пропустили.

Люба перевела.

– Скажи ему, чтобы не дэргался, а то арэстует, – немедленно отреагировал другой солдат. – Пусть дает доллары, доллары! Бэз доллары проход нэт.

. Патрика трудно было испугать. Он смущенно смотрел на Любу, не зная, что предпринимают в таких случаях в этой странной Абхазии.

– Дай им десять долларов, – велела Люба.

Они осветили купюру.

– Дэсят? У тэбя там еще есть, а у нас нэт. Нэ дэсят, сто давай.

Патрик дал им еще несколько бумажек, и они вернули ему паспорт.

– Эй, генацвале, а дэвушка не дашь нам напрокат?

Этот вопрос Люба не стала ему переводить.

Солдаты стали хохотать, хлопали Патрика по плечу, но потом кто-то рявкнул из бронетранспортера, они облепили машину и, размахивая автоматами, с криками укатили.

Надо было искать пристанища. Уоррены решили идти вперед, пока что-нибудь не найдут. Навстречу им, и обгоняя их, шли в одиночку и стайками такие же бездомные люди. Многие из них не знали, куда и зачем бредут. На ночлег их нигде не пускали. Так прошагали они по обочине шоссе, спотыкаясь и присаживаясь на землю отдохнуть, до рассвета, без препятствий прошли спящий в зелени городок Леселидзе, где им сказали, что до российской границы недалеко. Патрик и Люба воспрянули духом, даже смеялись, глядя друг на друга: комары так покусали обоих, что распухшие лица трудно было узнать.

На другой день они почти добрались до границы Абхазии с Россией и шли то ли перелеском, то ли старым парком, когда вдруг с гоготом и улюлюканьем их окружила стая шпаны.

– Дядь, дай закурить! – кричали малолетки.

– Он не курит, – сказала Люба.

Саранча эта, явно бежавшая из мест заключения, галдела, клянчила деньги, колобродила, обезумев от свободы, наркотиков и безнаказанности. Они толкались, бросались под ноги, через них приходилось переступать. Одного Патрик поднял за шиворот и задницу, чтобы убрать с дороги, а щенок этот каблучком ударил Патрика в глаз. От боли Патрик аж присел.

Исчезла эта свора в лесу так же внезапно, как появилась.

– Мой бумажник! – спохватился Патрик. – Паспорта, билеты, деньги...

У Любы вырвали сумку с остатками абрикосового варенья. Щека и бровь у Патрика распухли и стали кроваво-синими. Глаз затек, но слава Богу, был цел.

Мост через реку Псоу перегораживали бронетранспортеры. С одной стороны моста абхазские, с другой русские части. Их долго допрашивали сначала одни, потом другие, но тут уже говорил один Патрик. И хотя никто не понимал ни слова, его речи действовали гипнотически. В конце концов им даже дали напиток воды и объяснили, как двигаться к аэропорту Адлера.

Они шли все медленнее, все чаще садились и отдыхали. Полуодетые и голодные, когда уже опять темнело, теряя последние остатки сил, они добрались до аэропорта. На площади перед аэровокзалом женщина закрывала тяжелым замком дверь палатки с кривой надписью «Пельмени». Люба бросилась к ней.

– Женщина, миленькая, дайте нам что-нибудь поесть, мы два дня не ели.

– Не видите, закрыто.

– Мы из Америки, вот он – американец, голодный.

– А доллары у него есть?

– Нету, – смутилась Люба и вдруг (откуда мудрость берется у русской женщины?) вспомнила. – Я вам лифчик подарю, американский. Новый, только надела.

Она спустила шлейки сарафана, чтобы буфетчица могла убедиться в качестве лифчика. Патрик, не понимая ни разговора, ни жестов двух женщин, смущенно отвел глаза от жены, делавшей стриптиз за пельмени. Люба сняла лифчик и протянула пельменщице. Та без особого энтузиазма повертела лифчик в руках, деловито спрятала в сумку, сняла с двери замок и скрылась внутри. Вскоре она вышла, неся перед собой две тарелки, полные пельменей, и кусок хлеба.

Люба и Патрик пристроились на столе, врытом в землю возле двери. Пельмени были холодные, жир застыл, но это не имело никакого значения. Они быстро все умяли.

– На завтрак у меня еще есть американские трусики, – весело сказала Люба. – А вот что потом?..

– Потом... У меня тоже есть трусы, – скромно сказал Патрик.

Аэровокзал Любу с Патриком цветами не встречал. В зал ожидания пускали только по билетам. Оттуда несло, как из конюшни. Люди спали на мешках и бродили, наступая на спящих. В кассы толпились огромные очереди. Да и что просить в кассе? Дежурные, к которым они обратились, вообще не хотели разговаривать. Патрик своим могучим, как ледокол, торсом пробил полынью через толпу к двери с надписью «Начальник смены». Люба попыталась объяснить, что они из Америки и им надо срочно улететь в Москву.

– Всем надо срочно, – прервал ее пожилой начальник, мельком взглянув на заплывший синий глаз Патрика. – Но когда получится, не знаю. Рейсы почти все отменяются: керосина нет. Паспорта!

– У нас их украли в Абхазии.

– Билеты?

– Тоже.

– Тогда ничего не могу сделать, идите в милицию. Следующий!

В милиции началось все сначала, но потом вышел какой-то старший чин и пригласил к себе в кабинет.

– Трудный случай... Ну, ладно, раз вы американские туристы, сделаем исключение. Попытаемся помочь... Но вам придется заплатить. Хорошо заплатить и только валютой.

– Нас ведь ограбили. Понимаете, ограбили!

Люба заплакала.

– Тогда это ваши трудности. Просите у родственников деньги, а так – ничем помочь не сможем.

Под крышей места для них не было. Они отправились спать на поляну возле загороженного летного поля, постелив половичок и прислонив голову к столбу с колючей проволокой. Свет не без добрых людей: половичок им принесла сердобольная уборщица, стащив его в комнате для депутатов на втором этаже аэровокзала. Сделала она это потому, что ее любимый внук удрал в Америку.

С утра они опять, голодные и неприкаянные, слонялись по аэровокзалу и округе. Подкармливала их пожилая уборщица за то, что Патрик пообещал найти ее внука в Америке и помочь. Женщина даже принесла Любе из дома теплую кофточку.

Между тем не было никакого выхода, и никто их не собирался выручить. На третий день небритый Патрик, кое-как умывшийся в грязном туалете, усадив Любу в освободившееся кресло, бродил в зале ожидания, когда вдруг услышал хорошее лондонское произношение. Быстрым шагом в сторону депутатской комнаты двигался седой человек в элегантном костюме, говоря через переводчика со спутником в генеральской форме. Их окружала свита.

– Минуточку, сэр! Остановитесь, прошу.

Патрик рванулся вперед, но был оттеснен дюжими охранниками. Он молниеносно оценил расстановку сил и мог бы, конечно, положить их всех четверых за полминуты, но это не входило в его задачу. Последняя надежда ускользала.

– Сэр, я американец. Могу я поговорить с вами? – крикнул Патрик, шагая следом за ними.

На него не обращали никакого внимания.

– Эй, это очень важно! Неотложно! Да погодите же, черт вас побори вместе со всей вашей бандой!

Иностранец наконец приостановился, обернулся, и улыбка едва обозначилась на его усталом лице. Он оказался чиновником из Английского посольства в Москве. Патрик кратко объяснил ему, в чем дело. Дипломат двинул рукой, чтобы американца пропустили. Охранники ничего не понимали, однако раступились. Патрик кратко описал свои мытарства.

– Боже ты мой! – воскликнул дипломат. – Впрочем, это здесь случается все чаще. Напишите мне ваши имена, адрес и телефон. Вечером я буду в Москве и утром позвоню американскому консулу.

– Но нету здесь у нас ни телефона, ни адреса. Адлер, аэродромное поле, вот и все. Спим на улице.

– Им лучше адресовать на начальника аэровокзала, – посоветовал генерал. Он снял фуражку и вытер мокрую лысину. – Я ему поясню.

– Вам, наверное, нужны деньги, – вдруг сообразив, предложил дипломат. – Сколько вам дать и каких? Фунтов, долларов, рублей?

– Если не трудно, дайте три-четыре сотни баксов и ваше имя, – сказал Патрик. – Я вам верну, как только смогу позвонить в Бэнк оф Америка. Благослови вас Господь!

За доллары через каких-нибудь полтора часа их пустили в аэропортовскую гостиницу. Наконец-то медовый месяц шел на лад. Но поселили их отдельно: Любу в женский номер на шесть коек, а Патрика в мужской на четверых. Женский и мужской душ и туалеты были в конце коридора, прогуливаясь по которому меж других постояльцев, молодые могли предаваться семейному счастью.

На следующий день они выяснили, что авиакомпания «Дельта» восстановила их билеты из Москвы домой. Однако ушло еще три дня, пока «Аэрофлот» продал им новые билеты до Москвы, ибо, сказали им, старые мог использовать тот, кто их украл, что, конечно же, полная чушь.

В связи с такой диспропорцией у читателя может сложиться мнение, что автор стал работать в жанре американского соцреализма, коль скоро у него то и дело получается, что там все плохо, а у нас, в Америке, все славненько. Так вот, когда

они прилетели в Москву и явились в Американское консульство, Патрику немедленно выдали новый паспорт. А Любе, у которой давно просроченная студенческая виза, объявили, что ей придется остаться на несколько месяцев, пока американские компетентные органы разрешат ей въезд к мужу-американцу. Ведь у нее даже российского паспорта нету.

Патрик почувствовал, что за медовым месяцем последует многомесячный пост. Ненависть к американской бюрократии, которую он защищает не щадя здоровья, вспыхнула в сердце полицейского Уоррена. Тут автору хорошо бы повернуть сюжет так: в этот момент неизвестно откуда является умелый чекист-вербовщик, и, кто знает, может, Патрик Уоррен переметнулся бы к коммунистам или еще каким-нибудь «истам». Но сочинять, как уже убедился читатель, не в моих правилах. Просто из консульства Патрик в гневе позвонил в Сакраменто своему шерифу, тот – губернатору Калифорнии, губернатор – в Вашингтон, а из Вашингтона гнев вернулся в Москву в виде вежливой просьбы сделать исключение из правила. От посла к консулу с приказом выдать въездную визу жене инспектора Уоррена явился молодой симпатичный служащий баскетбольного роста и вдруг, увидев в приемной Патрика, бросился его обнимать.

– Генацвале! – прошептал он. – Зачем ты городил весь этот огород, если мы с тобой учились в Сакраменто в одном классе и играли в баскет за одну команду?! Сразу надо было прямо ко мне, и мы бы это дело обтяпали в пять минут!

Конечно, «генацвале» я для красного словца вставил, он прошептал «buddy». И Патрик не ведал, что его кореш служит в посольстве. Я только хочу подчеркнуть негативные стороны американской реальности. В отдельных нетипичных случаях американцы оказываются такими же блатными ребятами, как россияне.

#### 4.

– Диета там была очень хорошая, – вспоминал теперь Патрик, сидя в кресле у меня в кабинете. – Мы почти ничего не ели. В итоге я пришел к выводу, что я никогда в жизни так

увлекательно и насыщенно не отдыхал. Море впечатлений. Наш медовый месяц Луба и я запомним на всю жизнь.

– Еще бы! – согласился я.

– После поездки у меня забот прибавилось. Деньги на новую машину двоюродному дедушке Резо я уже послал с одним знакомым. В Лондон для дипломата чек отправил. По служебным каналам нашел тут, в Америке, внука уборщицы из Адлерского аэропорта, буду посылать ему ежемесячно небольшое пособие и пытаюсь помочь мальчику найти работу.

– О'кей, Патрик, – сказал я, проглотив желание поморализовать на эту тему. – Ведь не только для того, чтобы рассказать мне эту историю, вы приехали в университет. Как я могу вам помочь?

– Слушай, генацвале, – бодро заявил он и, не дав мне секунды, чтобы улыбнуться, тут же перешел на нормальный английский. – Хочу взять курсы русского, грузинского и абхазского языков. Только вечером, после работы.

– Но у нас нет грузинского и абхазского...

Он замялся.

– Тогда только русский. Говорят, он все еще универсальный на всех их территориях.

– Пожалуй. Но вам надо поговорить с директором русской программы профессором Галлантом. У него как раз сейчас приемные часы. А зачем вам грузинский и абхазский?

– Как зачем? – гордо произнес он. – У меня там корни! Знаете, какой смысл в слове «Абхазия»? Это значит в переводе «Страна Души»!

Разговор этот состоялся прошлым летом. Зимой нас с женой пригласили в Сан-Франциско на концерт московских артистов. Мы опаздывали, машин на хайвее было немного, я давил на газ, внимательно глядя по сторонам и особенно назад, чтобы не прозевать патруль. Стрелка спидометра зашкаливала за 90 миль. Уже оставалось недалеко, когда я услышал вежливый голос с неба:

– Водитель темно-красной «Тойоты», остановитесь на обочине. Прошу вас, сэр, пожалуйста! Только не под мостом, а чуть дальше, на открытом месте, сэр...

Вокруг нас темно-красных машин не имелось, и деваться было некуда. Пришлось съехать на обочину и тормозить. Чер-



ный с белым опереньем вертолет сел на высохшую травку поблизости. Прошло еще несколько минут, пока его лопасти перестали вращаться.

– Хорошо бы дежурил Патрик Уоррен, – сказал я жене. – Наш человек! Но это почти невероятно: патрульных на этой дороге уйма.

И тут Патрик Уоррен собственной огромной персоной предстал перед моим окошком, загородив весь белый свет.

– Сожалею, сэр: я не знал, что это вы, и уже ввел номер вашей «Тойоты» в компьютер. Здесь лимит скорости 65 миль. Вы шли девяносто, это, – он пошевелил губами, что-то подсчитывая, – по-русски будет 140 километров в час, но я вам напишу семьдесят пять миль. Все-таки немного дешевле. Казна у нас в Калифорнии пустая, и штрафы на дорогах превысили 250 баксов.

– Но это же грабеж среди бела дня!

– Я сам возмущаюсь, сэр. А что делать? Все мы кормим этих прожорливых бюрократов. По новому закону о превышении скорости стало труднее апеллировать к судье, чертовщина какая-то. Но прошу вас, не гоните. Сегодня на этом участке уже было три аварии, одна со смертельным исходом.

Он вручил мне «тикет».

– Из-за вас, Патрик, – зло сказал я, – мы опоздали на концерт.

Уоррен это понял по-своему.

– Извините, что не могу подкинуть вас в Сан-Франциско: на ту сторону залива мне летать нельзя, там не наша епархия.

Уоррен крепко пожал мне руку ковшом своего экскаватора. В заднее окно я увидел, как вертолет распушил сухую траву и взмыл над хайвеем.

Осенью, зимой и весной я, бывало, встречал Патрика на кампусе. Он выделялся в толпе студентов своим могучим сложением да еще полицейской формой. Видимо, не успевал до занятий заехать домой и переодеться.

– Здравсвуйте! – всегда выкрикивал он и добавлял менее уверенно. – Я уже хорошо говорит русского языка.

Однажды он вбежал ко мне в кабинет сияющий:

– Поздравляю! Луба родил малчик.

Само собой, он хотел сказать «поздравьте меня».

– Молодцы, не теряете времени зря.

– Знаете, где мы его заделали? Луба с доктором точно подсчитали: в Адлере, на аэродромном поле, когда мы не могли улететь. На поле так пахло полынью, что я не мог удержаться. Правда, там еще пахло керосином от самолетов и изрядно несло из соседнего туалета, но я решил не обращать внимания. Произошло это на полovice из депутатской комнаты. Подумать только, какие люди ходили по этому коврику! Может быть, Сталин и Берия. И Каганович. И Горбачев. И этот тиран Микоян!

– Главный тиран был Сталин, – усмехнулся я. – А Микоян мелкий: он был наркомом пищевой промышленности, делал «хат догс».

– Да, конечно, – согласился Патрик. – Все они делали «хат догс». Тепер за два копейка гус там купить нет.

В его понимании российской исторической специфики явно наметился прогресс, я это оценил.

Вернувшись в разгар лета из Европы, я нашел факс от полицейского Патрика Уоррена. Текст начинался словами: «Доводим до сведения всех родных, друзей и знакомых...» Далее факс торжественно сообщал, что Люба опять беременна и ждет второго ребенка. Я позвонил, чтобы поздравить.

– Вы смотрите русские новости? – спросил он. – Там у них продолжаются беспорядки. Грузины с абхазцами воюют. Молдаване ссорятся между собой. Армяне с азербайджанцами конфликтуют. Таджики с афганцами дерутся... В Чечне кошмар. Это надо пре-кра-тить!

– Надо, – охотно согласился я. – Но как?

– Разве я вам не говорил? Собираюсь опять туда.

– С Любой?

– Боюсь, на этот раз нет. Она ведь ждет ребенка.

– Что же вы будете там делать?

– Как что?! – воскликнул Уоррен. – Во-первых, через тью в Москве Луба узнала, что прабабушка Манико пришла в себя после контузии. Надеюсь, она вспомнит, куда она спрятала трубку Сталина. Во-вторых, я помню в лицо всех, кто нас грабил. Я их найду. В-третьих, у меня есть колоссальная идея: я решил их всех по-ми-рить.

– Да ну?!

– Хватит им дурака валять! Я бы сделал это в прошлый раз, но оказался не готов. Ведь я был их гостем. Поэтому, когда на меня нападали, не мог адекватно реагировать и совершенно не использовал свои значительные физические возможности. И потом, я был без формы, не имел с собой оружия, дубинки, наручников и уоки-токи. Теперь все будет иначе, генацвале!

От этого грузинского слова, произнесенного с калифорнийским акцентом, смех так разбирает меня, что я напрочь лишаюсь дара речи, поэтому остается подвести предварительные итоги.

Уоррены не только растят грузинско-абхазско-русско-американского мальчика, но, как вы слышали, Люба уже опять беременна, о чем поставлена в известность факсами вся Калифорния, особо – президент Рейган с Нэнси и, заказным письмом с уведомлением о вручении, прабабушка Манико.

Но ни Рейгану с Нэнси, ни Манико, ни грузинам, ни абхазцам, ни армянам, ни азербайджанцам, ни молдаванам, ни таджикам, ни чеченцам, ни МИДу России, ни ЦРУ, ни ООН еще ничего неизвестно о другом. Ухом не ведет российское учреждение, с любовью называемое в народе Федеральным Агентством Контрразведки, – аббревиатуру, уж извините, при дамах не могу произнести; чекисты, однако, смекнули и быстренько сменили вывеску.

Итак, никто еще не знает, что генацвале Патрик Уоррен сегодня утром вылетел в полной форме из Сакраменто в Москву, а оттуда на Кавказ устанавливать прочный мир. Я добавлю: сначала на Кавказ, а потом...

Т-сс... Об этом пока никому!

# ВИЗА В ПОЗАВЧЕРА

**Роман в рассказах**

*Наше поколение было поставлено перед войной. Я не знаю, почему; возможно, за грехи наших отцов.  
Уилла Кесер (1922).*



Рис. М. Беломлинского.

## СИРЕНЬ И МАЭСТРО

Ж-ж-жих!.. Жж-ииииииии-хх!

В палисаднике обламывали сирень. Пригибали к земле верхушки, смачно, с хрустом рвали, а потом отпускали ветки, и они, пружинясь, уносились ввысь. Сиреневая эпидемия охватила всю деревню.

Хозяйка тетя Паша, еще не старая, но потерявшая женскую форму до такой степени, что не с чем даже сравнить, исходя злобой, кричала невидимым врагам из-за забора:

– Шчас с вилами выйду! Апосля еще сообщу куды следоватит!

Хруст стихал.

– Ишь, ломателей развелось! – прибавляла она уже без злобы. – Треск на всю Расею-матушку. Шли бы к сябе в сад и рвали, сколь душа просить. Дак нет жеж, суки, все на чужое зарятси...

Паша психовала, обещалась не спать ночь, дежурить с ружьем (которого у нее не было), изловить хулигана для примера и отвести к участковому. Тот, хотя и алкоголик, посадить кого следует умеет. Вот и пушай срок дает. Другие по ерунде сидят, а тут ведь за дело. Паша грозила завести немецкую овчарку из питомника НКВД, где у нее работал зять.

– Любую падлу на части разорветь, – добавляла она, и неясно было, кто разорвет: зять или овчарка.

А злилась Паша потому, что она сама ломала ветки со своих кустов. Обернув их влажной тряпкой, возила на город-

ской вокзал продавать букеты встречающим и провожающим. Дармового труда и в колхозе было полно, а тут все ж деньги. Сирень за долгую дорогу вяла, стоять Паше приходилось долго, платили мало. Один дачник посоветовал ей не возить цветы, а покупать у тех, кого уже встретили, за полцены и продавать за полную цену спешащим.

– Я шо – спэкулятка какая! – возмутилась Паша и дело бросила.

Но чтобы другие ломали ее собственную сирень, этого она допустить по-прежнему не могла.

Между тем угрозы ломателей не пугали. Даже карапузята лет трех, проходя мимо Пашиного дома, просовывали руки сквозь щели в гнилом штакетнике, норовя достать веточку с цветами. Ж-ж-жи-их!

Сирень у тети Паши, на беду ей, была самая красивая в деревне. Кусты вымахали выше крыши хилой ее избы. Когда на окраине деревни около полуночи кончались танцульки под баян, ухажёры, подталкивая своих подруг в ближайший лесок, по дороге обламывали у тети Паши огромные ветки, и запах сирени срабатывал в нужный момент безотказно. Знатоки поговаривали, что в запахе кое-что для этого содержалось. Что-то расслабляющее первоначальную женскую неуступчивость. Из лесу долго потом доносились стоны и причитания, так что сторонний человек вполне мог решить, что там резвится леший.

Сирень сию особую, рассказывала Паша со слов своей умершей бабки, хозяин этой земли драгунский полковник Муров привез откуда-то с Востока, где русский офицер был почетным гостем в гареме одного шейха. С помощью этой волшебной сирени шейх якобы демонстрировал гостю любвеобильные возможности той части гарема, которая обслуживала полковника.

Вернувшись на родину, барин решил перенять прогрессивные достижения Востока и оборудовал у себя в поместье помещение для гарема, обсадив его привезенными корешками особой сирени. Тетя Паша с гордостью рассказывала, что бабка ее была хороша собой и в том гареме имела честь потрудиться. Муров уже планировал пригласить в гости шейха, чтобы доказать ему, что и у нас в России не лыком шито и все радости жизни не хуже, да семнадцатый год помешал.

После революции дом Мурова крестьяне на радостях новой жизни сожгли, сам Муров исчез. Сирень же пустила на пепелище новые побеги и выжила. Пашин зять из собачьего питомника НКВД рассказывал, что Муров объявился недавно, написал из лагеря письмо товарищу Берии, что знает могучее средство для получения женской любви. Мурова по этому делу специально допрашивали, агенты даже приезжали в деревню за сиренью, и Берия лично проводил опыты. Муров долго писал эти письма, но потом ему посоветовали заткнуться, потому что товарищ Берия сказал: «Лучше НКВД средства нет и быть не может».

– Стала сирень народная, то есть таперича моя, – разъясняла тетя Паша политику партии большевиков. – Моя! А вся округа зарится. Нюхали бы и шли бы, нанюхавшись, швориться в лесок. Так бы и не жалко, а они...

Хорошо, что полковника не выпустили, считала тетя Паша. Из негоревших бревен муровского дома Пашин мужик собрал эту кособокую избу. Вернись барин, он бы еще бревна назад потребовал. Часть дома Паша вот уже третье лето сдавала, и жили у нее дачники по фамилии Немцы. Папа Немец, мама Немец, и дочка Немец, и сын Немец. Вообще-то они были русские. Дедушка приехал из тамбовской деревни Немцы́, где и ударение-то падало на последний слог. Но, посудите сами, господа-товарищи: кто за пределами деревни станет произносить слово «немец» с отодвинутым в конец ударением? И с этим пришлось смириться. А если так, кто будет числить человека русским, татаринном или алеутом, если у него фамилия Немец? Ну и коли ты с такой фамилией все-таки не немец, то кто?

Ж-ж-ж-их!

Чуть свет Олег мгновенно просыпался от хруста ветки, которая ударялась о стену дома и возвращалась на свое место. За этой самой стеной Олег спал. Он испуганно вскакивал, выглядывал в окно, но в черноте ничего не было видно. Сирень и днем-то не пропускала света. На улице слышался женский визг и шепот.

В ту ночь мать тоже проснулась от треска и сказала отцу:

– Не доживет сирень до воскресенья, ой, не доживет!..

Месяца не прошло, как Немцы переехали на дачу. Отец ночевал в городе. От деревни до станции был час ходу полями,



да на поезде езды час, да в городе от вокзала трамваем немного, а в случае перебоя с электричеством, когда трамвай не ходил, еще час пёхом. Приезжал отец в субботу вечером. По такому случаю мать разрешала Олегу во второй половине дня не играть на скрипке, и это была радость. Они с Люськой встречали отца на околице, по очереди раскачиваясь на железном сиденье ржавой, вросшей в землю колхозной косилки. Паша уверяла, что косилку эту приезжал торжественно вручать колхозу представитель партии большевиков по личному приказу Ленина.

– Вот только фамиль никто не упомянул, – сказывала Паша Олеговому отцу. – То ли Дяръжиньской, то ли Мянжиньской, в общем, кажись, Ланачарьской. Одним словом, из НКВД от Ленина.

– Так ведь, когда колхозы создавали, Ленин уже умер, – удивлялся отец, но Паша историю знала лучше.

– Умер, не умер, а косилку подарить велел. Потому ее наш председатель и бережет, а косим вручную.

Отец предпочитал в политическую дискуссию не углубляться. Вручную-то тоже мало кто косил на колхозном поле, все работали на своих огородах, добывая себе прокорм, хотя за невыход в поле председатель грозил срезать в доме лампочку Ильича. А косилка, хотя и ржавела, но стала, так сказать, элементом культуры. По вечерам, во время танцев, на железном ее сиденье располагался баянист, и косилка оказывалась в центре вытопанной в траве танцплощадки.

Возвращаясь из города, отец обычно появлялся на тропинке, что зигзагами выползала из оврага и шла лугом, усеянным коровьими лепешками и жесткой, с васильками, травой, которая не привлекала даже немолодую Пашину козу Зорьку. Паша старалась привязывать Зорьку на виду, чтобы коза сама спускалась в овраг на веревке за сочной травой. Но Зорька не желала становиться горной козой, лазить ей не нравилось, и ее недовольное бляение было похоже на нытье.

Поджидая отца, Олег убегал вниз, к болоту, и приносил козе травы и свежих веток. Люська кормила ее из рук, а Олег на велосипеде описывал вокруг них кольца и восьмерки. Зорька молчала, пока справлялась с едой, а после снова начинала скулить, почти как собака. Ни накормить, ни развеселить ее

было невозможно. Люська и Олег переживали Зорькину неволю, но мгновенно забывали о козе, едва замечали на другой стороне оврага отца. Они мчались ему навстречу: Люська – бегом, Олег – изо всех сил нажимая на педали.

– Тихо, тихо же! – всегда кричал отец Олегу снизу и пыхтя поднимался по тропе из оврага. – Псих ненормальный, свалишься ведь!

– А нормальные психи бывают? – спрашивал Олег, подкапывая и начиная совершать обороты вокруг отца.

– Бывают, – парировал отец. – Вот Люська – нормальный псих, а ты?..

И в этот раз отец шагал, тяжело нагруженный: он получил зарплату, а завтра праздник. Дачный муж, он тащил две огромные сумки и – Олег сразу заметил это – настоящую бамбуковую удочку. Не забыл, выполнил обещание. Теперь уж точно они будут ловить рыбу, когда отец пойдет в отпуск. А из сумки торчали подарки всем: и Олегу, и Люське, и матери.

Пятнадцатилетие родительской свадьбы приходилось на среду. И отец с матерью засуетились, стали готовиться, запастись продукты, хотя никогда раньше этого дня не праздновали. Обед решили устроить в воскресенье. Пускай гости приедут утром, искупаются в речке, сходят в лес и вообще отдохнут от городской духоты и сутолоки.

– На столе густо не будет, но сиренью, сиренью зато насытитесь вволю! – обещал отец, приглашая родню и друзей. – И еще с собой нарвете. У нашей хозяйки сирень – крупнейшая во всей деревне. Не верите – сами убедитесь!..

Приткая Люська оказалась проворнее и первой добежала до отца. Она остановилась, ждала, пока отец ее обнимет. Он не мог этого сделать, мешали сумки. Тут подъехал, крутя что есть мочи педалями, Олег. Отец поставил на траву сумки, портфель, положил удочку и обнял детей, обоих сразу.

– По-моему, за неделю ты-таки подросла, – сказал отец Люське. – Скоро меня догонишь, а?..

Люська только хмыкнула. Она просто рвалась вырасти, чтобы пойти к косилке на танцы, но это ей никак не удавалось. Тринадцати, которые у нее были, и то не дашь. А глаз на нее прохожие уже клали, и она по этой части соображала что-то, хотя и неизвестно, что.

– Ну, гуляки-именинники, как дела? Мать готовится? А вы меня ждали? И правильно!

Это было очень удобное для Олега и Люськи семейное соображение Немцев: во все семейные праздники считались именинниками дети. Отец нагнулся, порывлся в сумке, вынул коробку и протянул дочери. Люська молча взяла и отошла в сторону. И вдруг щеки ее вспыхнули: она вынула новенькие коричневые туфли на каблук.

– А мне? – вежливо спросил Олег.

Он давно заметил свой подарок, но ждал.

– Тебе вот, – отец указал на складную удочку. – И еще...

Олег бросил велосипед и схватил удилице. А когда повернулся, отец протягивал ему пакет. Олег тут же разорвал его. Там был набор поплавков, крючков, блесен.

– Во-о-о! – заорал Олег так, что Зорька шархнула в сторону и заблела.

Перестав блять, она испуганно гладела на людей. Люська присела на траву, вынула из коробки новенькие коричневые туфли на каблук и сразу надела на грязные босые ноги. Она тут же прогулялась в туфлях перед отцом.

– Ну и походка! Ты же девочка из хорошей семьи. Спроси у мамы, как вертеть...

Он не договорил, чем.

Олег пересчитывал крючки и блесны.

– А мне-е-ее, – сказала Зорька, перестав жевать траву.

Никто не обратил на нее внимания. Олег, усевшись на велосипед, поехал впереди, держа в одной руке удилице. Перед ним бежала длинная тень. Тень подпрыгивала на буграх, металась, будто стремилась оторваться от велосипеда и умчаться вдаль.

Сестра сняла туфли, чтобы их не пачкать, оберла с них рукой пыль и брела босиком сзади, не отрывая взгляда от туфель. Она обдумывала, как бы надеть вечером туфли незаметно, чтобы не догадалась мать.

А мать уже бежала им навстречу. Распахнутая калитка, кусты сирени в палисаднике, крынки, просыхающие на заборе, и лицо матери, радостное и возбужденное, – все багровело в лучах заходящего солнца. Солнце висело совсем низко над оврагом, тяжелое, готовое вот-вот придавить, подмять под себя луг, деревню, кусты сирени, всех людей и даже козу Зорьку.

Никогда такого тяжелого заката Олег не видел – ни до, ни даже потом, когда стал взрослым и навидался всякого.

Пока мать сутилась с ужином, отец не торопясь разжигал во дворе, возле террасы, самовар. Самоваров бок горел на солнце, будто вот-вот расплавится. Олег мотался вокруг отца на велосипеде.

– Не мешай отцу, Оля! – кричала мать с террасы.

– Он не Оля, он – Олег, мы же договорились! – возражал отец, кашляя от дыма. – Надо все же было назвать его Францем, в честь Шуберта.

– Этого только не хватало, чтобы еще больше дразнили. Мало ему быть Немцем.

– Зато ты не звала бы его Олей!

Отец не любил, когда мать звала сына женским именем. А она привыкла.

Смеркалось. Олег не хотел слезать с велосипеда, даже когда все уселись на террасе за стол. Чего спешить, если после ужина мать отправит спать? Но отец встал и привел сына за руку.

Они сидели в сумерках, не зажигая света, чтобы не налетели комары. Отец шутил, смеялся, стараясь подбодрить набегавшуюся за день мать. Из оврага выплывал и стлался по земле белесый туман. Он обволок крыльцо, хотел забраться на террасу, видно, не рискнул. Стало прохладно. Мотылек прилетел к теплу и сел на самовар. Но не удержался, ноги у него подкосились, и он упал в трубу на догорающие угли.

– А как скрипуля? – вдруг строго спросил отец.

– Знаешь, совсем обленился, – мать смотрела на Олега. – Играет вместо четырех часов от силы два. Хоть веревкой его привязывай.

Чтобы не заострять конфликт, Олег решил промолчать. Позапрошлой осенью его стали водить в музыкальную школу, и учительница велела летом тоже играть на скрипке каждый день. Принудиловку и взрослым-то тяжело терпеть, а Олег от нее прямо-таки страдал.

– Прокрутишь способности педалями, – ворчала мать, – а еще мальчик из хорошей семьи.

– Ладно уж, завтра у нас праздник, сказал Немец-старший. – А с понедельника сын начнет играть по-серьезному. Верно? Всегда лучше начинать с понедельника.

Логика была сомнительная, но сегодня выгодная, и Олег охотно согласился. До понедельника было впереди целое воскресенье.

– Быстрее! Ешьте быстрее! – поторапливала мать. – Вы у меня сегодня загуляли. А вставать рано: гости приедут.

Она соскучилась по отцу. Но и Олег тоже по нему соскучился, не хотел уходить спать. Одна Люська тайком поглядывала на лавку, где стояли ее новые туфли, и соображения теснились в ее головке, увитой черными колечками, которые она то и дело наматывала на пальцы. Запах сирени ее будоражил что ли? За стеной тяжело вздыхала, ворочаясь на топчане, хозяйка тетя Паша. В сарае, неподалеку от избы, обиженно жаловалась Зорька.

– Мм-мне-еее! – уныло повторяла она.

От всего этого: от темноты, прогорклого самоварного дыма, густого запаха сирени, от тумана, укутавшего сад, режущего уши комариного писка и смеха отца, – от всего этого было состояние такой таинственности, что замирало дыхание. Олегу казалось, вечер этот никогда не превратится в ночь, и не хотелось прервать его, уйти, лечь.

– Спать, спать, пора спать, – нудно твердила мать.

Если бы она знала, что сегодня у Люськи и Олега последний день детства, что сейчас они прощаются с ним. Если бы знала, разрешила бы посидеть хотя б еще полчаса.

На улице заиграла гармошка. Кто-то прихлопывал ей в такт, ойкал и приплясывал. Люська ушла в комнату и подкралась к окну. Матери это не понравилось. Люська и так уже вчера бегала к косилке смотреть на танцы, и мать ходила туда за ней, угрожала, что приведет домой силой.

Мать переглянулась с отцом, взяла Олега за руку и, не слушая возражений, повела спать. Отец подошел к Люське. Он с ней лучше ладил. Обнял ее сбоку за плечи, стараясь не коснуться ставших в это лето весьма выпуклыми женских прелестей. Сказал, что ей теперь осталось совсем немножко подрасти – каких-нибудь три года, и тогда она сможет танцевать хоть целые дни и всю жизнь. Люська вздохнула.

– Ничего вы не понимаете! Через три года я уже старухой буду. Кто меня выберет?

Она обиженно повела плечами и отправилась в постель прислушиваться к шепоту парочек возле сиреневых кустов.

Олег долго ворочался, глядел на удочку, стоящую в углу, и уже засыпал, когда над ним за стеной раздалось знакомое: ж-ж-жих! ж-ж-ж-и-их!.. Деревенские дарили тети Пашину сирень своим подругам перед прогулкой в темный лес. Под эту музыку Олег заснул.

Утром Немец-младший проснулся от птичьего чириканья. Первое, что он увидел, была скрипка-четвертушка на гвозде над кроватью. Люська у противоположной стены еще сладко спала. За окном скворцы старались усесться поудобнее в тени сирени и, ссорясь, обсуждали свои насущные заботы. Солнце быстро поднималось. Олег сбегал к речке поплескаться на золотом песке, а когда вернулся, подготовка к гостям была в полном разгаре. Мать в спешке громыхала посудой и колдовала над керосинкой, на которой стояла закопченная чудо-печка. Керосинка коптила, но два румяных сдобных колеса уже красовались на столе, допекался третий.

– Как ты думаешь, сколько народу приедет? – в который раз спрашивала мать отца. – Сколько твоих и сколько моих?

«Твои» – это была отцовская родня, «мои» – мать.

– Человек двадцать, если не больше, весь интернационал, – отвечал он. – Да нас четверо, да представитель простого народа.

Представитель простого народа тетя Паша тем временем принесла посуду, ножи, вилки, и мать велела Олегу раскладывать их по столу, на террасе. Олег считал вслух.

– А вообще-то, – заметил отец, – ты бы поиграл часок лучше, пока никого нет. Пальцы надо ежедневно разминать!

– Сам сказал, с понедельника, – возразил Олег.

И отцу крыть было нечем. Он отнес на ледник сумку с бутылками водки и вина и решил заранее нарубить сухих сосновых щепок для самовара вдобавок к собранным шишкам. Он ловко орудовал топориком, и гора щепок быстро росла.

Подойдя к Зорьку, тетя Паша принесла крынку с молоком, положила на плечо коромысло, захватила ведра и отправилась к колодезю. Олег скатил с террасы велосипед и поехал вслед за ней. Колодезь был возле соседней избы. Окна в той избе были распахнуты, и сквозняк выдувал наружу занавески. Они походили на паруса. Олег стал объезжать кольцами вокруг колодезца, поднимая пыль, пока тетя Паша его не отогнала. Она на-

брала одно ведро, спустила второе и стала поднимать. Ворот ныл. Паша зачерпнула ладонью воды из ведра и полила ось, чтобы та не скрипела.

В избе кто-то громко включил радио. Ожив, оно закричало, начав с полуслова, непонятно о чем. Тетя Паша повернула голову и прислушалась. Олег тоже послушал, но ничего не понял и поехал опять вокруг колодца. Тут он увидел, что тетя Паша отпустила рукоять ворота. Ведро, полное воды, с грохотом ударяя по бревнам сруба, бешено помчалось вниз. Забыв про полное ведро и коромысло на траве, Паша побежала домой. Косынка у нее сбилась, волосы разметались по плечам. Не понимая, что произошло, Олег помчался вслед за ней.

Паша остановилась, отшвырнув калитку. Задетые калиткой лопухи удивленно покачали огромными листьями. Глотнув воздуха, Паша смотрела то на мать, возившуюся у керосинки с чудо-печкой, то на отца, который орудовал топориком, рубя щепу. Калитка вернулась обратно, скрипнула, и мать повернула голову.

– Чего, тетя Паша? Никак гости наши уже надвигаются?

Паша словно лишилась языка.

– Ты что это? – с тревогой переспросила мать. – Лица на тебе нет...

– Во... – выдохнула Паша, зыркнув глазами, и горло у нее перехватило.

Казалось, она застонала, готова была упасть, но совладала с собой.

– Вой...на! – договорила наконец она.

– Игра, небось, военная, – проговорил отец, не поворачивая головы. – А ты испугалась... Смешно!

Он все еще тыкал топориком в чурки. Но уже не так уверенно.

– Война ведь, а... Война же! – твердила тетя Паша, потеряв над собой контроль. – Ой же война, бабоньки-и-и. Ой!..

– Мама! – завизжала Люська и бросилась на шею матери.

Отец поднялся с травы, бросил топорик. С лица его медленно сходила улыбка. Он стал бледным.

– Кто сказал?

– Радио, кто ж еще такое скажет? – к тете Паше вдруг вернулся голос и рассудок.

– Да с кем война-то? – недоверчиво спросил отец.

Тетя Паша, вдруг прозревшая, уставилась на него.

– Как это с кем? А с вами, с немцами!

– Да ты что, тетя Паш! – возмутился отец.

– А я что? Молытов жых объявил: херманцы напали. Говорить, мол, спасать надо товарища Сталина, а то его перьвым убьют. А убьют, хто же нас защитить?

В соседнем доме завывала женщина, потом еще одна, начали кричать дети, залаяли собаки.

– Чего же мы стоим тут? – спросил отец. – Надо...

Он замолчал. Олег удивился, что даже отец не знает, как быть, если война. Отец напряженно глядел в небо, будто силится прочитать там что-то очень важное. Словно там было написано, что до последнего вздоха теперь ему осталось два месяца и четыре дня. И матери ровно столько же, чтобы стать вдовой.

Собирались с дачи судорожно и нелепо. Отец вынул из сумки свертки с продуктами и оставил на столе, в сумку и два чемодана мать, стиснув зубы, укладывала пожитки. Отец снял с гвоздя скрипку и протянул Олегу:

– Держи-ка, маэстро!

– Гости не приехали вона почему, – рассудила тетя Паша. – Таперича бонбять. Сюды приедешь, а там твое имущество разбонбять. Жалко ведь имущество!

Люська стояла на крыльце, прижимая к груди новые туфли. Олег не хотел расставаться с удочкой и велосипедом.

– Может, лучше скрипку оставим, а велик возьмем? – осторожно предложил он.

Но отец рассудил, что пока придется велосипед оставить, ненадолго конечно, а скрипку нельзя. Война, не война, а упражняться надо. Олег, вздохнув, подчинился. Он не знал, радоваться или огорчаться. Беда взрослых на него не распространилась, а внезапный отъезд казался случайным и увлекательным приключением.

Пока они дособирали пожитки, Паша сбегала к колодцу за ведром и коромыслом. Второе ведро сорвалось с цепи и утонуло. Мать разрешила горячий пирог и всем дала по куску.

– А м-м-мне-е-ее! – кричала Зорька, которую не отвели пасться.



Паша вывела Зорьку из сарая и привязала во дворе возле картошки.

– Таперя все одно, – причитала она, – пушай ботву ест, гори все синим пламенем.

Немцы молча несли к калитке чемоданы. Перед дорогой все присели.

– Не надо, ох, не надо было нам откладывать на воскресенье! – ни к кому не обращаясь, вдруг сказала мать. – Теперь когда соберемся?

– Погоди, образуется, – успокоил отец. – Наши их в два счета разгромят. На их территории. Те и пикнуть не успеют.

Он хотел сказать «немцы», но сказал «те».

– Ой ли! – произнесла мать. – Они готовились.

– А мы? Сталин тоже не спит. Недавно по радио говорили: он никогда не спит. Жаль только, что отпуск, небось, не дадут. А кончится всё, тогда уж точно возьму отпуск, приедем сюда опять и будем с Олегом рыбу удить. Верно, тетя Паш?

– Можеть, и верно, – неохотно отозвалась она. – Мой-то с финской не возврателся, а нынче, можеть, и верно. Кто их знает, как повернуть... Прогресс нынче, в газетах писали, что таперя прогресс... Погодите, я вам букет на дорожку наломаю. Я мигом, мигом...

Она нагнула самый высокий куст сирени так, что старый ствол захрустел, и принялась безжалостно отдирать огромные ветки с ярко-фиолетовыми цветами. Немцы поставили вещи на землю, растерянно оглядываясь, ждали. Солнце стояло высоко, и грозди сирени от жары поникли, сжались.

– Не помогли пятицветники, – сказала вдруг мать.

Каждый день Олег с Люськой лазили между ветками, выискивая редкие цветки с пятью лепестками. Цветков-звездочек находили много. Найдя, Люська хихикала, а почему, Олег не понимал. Она клала цветок между ладонями и что-то шептала. Олег относил пятицветники матери. Мать всегда радовалась, говорила:

– Этот на счастье! И этот...

– Берите, во, чо там... – бурчала Паша, наваливая на мать огромный букетище. – Все одно – погибнет таперича сирень-то. Парней таперя в армию позабирают, хто ж девкам будеть ветки с такой высоты ломать? А сирень, коли не ломать, чах-

нет. Как баба неломанная. Ломать их надо, сирень и баб, когда цветут. А неломанные чахнуть. Тоскуют они по рукам-то!

– Чего ж тогда рвать не разрешала? – спросила мать безо всякого любопытства.

– Ох, сердешные! – всплеснула руками Паша. – Не разрешала? Злая была, что они тискаются, а я бобыляй. И потом... Это ж когда было-то? Еще до войны. А таперя... Как же ж вам будет-то? Ведь вы ж немцы, то есть таперя наши враги...

– Но это просто фамилия такая!

– У-у-у! Это еще хуже. Всем видать, как бельмо на носу. Ну, уж как будет-то... Накося вот, держи!

Паша вывалила второй огромный букет в руки Олегу. Он растерянно обхватил одной рукой сирень, а другой прижимал к животу обмотанную полотенцем скрипку. Гуськом они затопали по тропинке в сторону станции.

Пройдя несколько шагов, Олег обернулся. Паша стояла к ним спиной и яростно ломала ветки, одну за другой.

Жих! Жих! Ж-жж-ииииииии-ых!..

Она с остервенением швыряла их на землю, топтала ногами и выговаривала слова, которые Олег и позже, став взрослым, старался не употреблять при женщинах.

## СОЛИСТ БЕЗ СКРИПКИ

Перед тем как надеть на Олега новую темно-синюю матроску с белым парусником на груди, мать долго терла сына мочалкой, стригла ногти на руках и на ногах.

– А на ногах зачем? – спросил он. – Ведь никто не увидит.

– На всякий случай, – объяснила она.

Мать ощупывала ему руки так, словно он родился с девятью пальцами или только что упал на камни и ободрал до крови ладони. Но все у него было пока что цело. Люська между тем хихикала. Она вообще не верила в человеческие таланты – ни в свой, ни в чужие.

Родители наряжались, будто шли в театр. Отец облачился в выходной синий костюм и завязал темно-красный галстук с косыми синими и белыми полосками, который явно душил его. Мать надела черное платье с кружевным воротником (в нем она Олегу с отцом очень нравилась) и свои единственные парадные туфли на высоченнейшем каблуке. Наконец сына заставили дважды высморкаться в отцовский платок, чтобы не пачкать его собственный, и повели. А Люська осталась лежать на диване с книжкой. Она даже не попросила мать дать ей походить в туфлях на каблуках, как обычно делала раньше.

Происходило это года за два до войны. В полутемном коридоре двухэтажного особняка на Татарской улице в нервном ожидании экзамена собралось полным-полно детей и еще больше родителей. Некоторые читали объявление на стене: «Дети старше пяти лет по метрике в первый класс скрипки не при-

нимаются». К Олегу это не относилось, а другие посетители качали головой, что-то ворчали и уводили детей несолоно хлебавши. От нечего делать отец и сын Немцы начали играть в ладшки, кто чью кроет.

– Вы с ума сошли! – зашептала мать, сердито глядя на отца. – Сейчас же прекратите! Отобьешь ребенку пальцы как раз перед проверкой.

– Немец есть? – отворив дверь, спросила строгая седая женщина с белым бантом под подбородком.

Все стали оглядываться.

– Тут, а как же! – отреагировал отец.

– Свидетельство о рождении, пожалуйста!

Она скользнула глазами по метрике, проверила дату рождения и ушла обратно, жестом предложив войти. Отец подтолкнул Олега к двери, а сам остался и взял мать за руку. Олег сделал несколько шагов и, открыв рот, растерянно остановился у порога.

Женщина с белым бантом уселась за рояль. На блузке у нее ослепительно сверкала старинная серебряная брошь.

– Здравствуй, дружок! Значит, твоя фамилия Немец, а зовут Олег, так?

Олег послушно кивнул.

– Ты петь любишь?

Олег опять кивнул. Он с интересом разглядывал на груди у женщины брошь – в жизни таких не видел. Она поманила его к себе, взяла его ручки в свои ладони и стала их вертеть, мять, примерять к своим. Потом что-то записала в тетрадку.

– Значит, петь любишь? Тогда спой песню, которая тебе нравится.

Знал Олег все песни, что тогда, перед войной, пели.

– Много славных девчат в коллективе, но ведь влюбишься только в одну! – заорал он.

Он очень старался: отец велел петь как можно громче. Но женщина зажмурилась, замахала руками.

– Хватит, хватит, голубчик! Достаточно! Теперь я сыграю, а потом ты простучишь ладошкой ритм по крышке рояля. Понял?

Чего ж тут не понять?

Она положила одну руку на клавиши рояля и проиграла короткую мелодию. Догадаться было проще простого: «Широ-

ка страна моя родная». Олег пробарабанил. Женщина кивнула и записала что-то на бумажке. Брошь у нее на груди заколыхалась.

– Всё! – сухо сказала она. – Можешь идти домой.

И Олег попал в объятия матери.

– Не забыл про «до свидания», сынок?

Пришлось вернуться. Олег снова открыл дверь и увидел: там сидит такой же мальчик в такой же матроске и ему так же мнут пальцы.

– До свиданья! – заорал Олег и хлопнул дверью.

Через несколько дней отец ввалился вечером в их комнату с таинственным свертком.

– А ну, держи! Да не урони.

Сверток открывали торжественно. В нем оказалась скрипка – новенькая, пахнувшая деревом и лаком. Купить ее было нелегким делом. Олегу требовалась четвертушка, самая маленькая скрипка, какая только может быть. Кроме скрипки, в бумаге был еще смычок, баночка с канифолью и пластмассовая подушечка под щеку – все, что нужно настоящему скрипачу.

Отец и мать переглядывались, наблюдая, как Олег примеряет скрипку к подбородку. Счастье прямо-таки струилось из глаз родителей. Перед сном в постели они размышляли вслух. Им виделось, что уже завтра по всему городу развешивают афиши: выступает лауреат всех конкурсов, какие только бывают, знаменитый скрипач Олег Немец и т.д. и т.п. Вот они скромно сидят в первом ряду, а их сын стоит посреди сцены. Зал в умилении утих, и скрипка в руках их сына оживает. Вот он кончил – и в зале овация. И букеты цветов летят через их головы на сцену, и все такое прочее.

Одно только родителей беспокоило: как им самим себя вести? Мать считала, что нужно аплодировать вместе с залом, невзирая на то, что это их собственный сын, а отец был уверен, что лучше скромно сидеть, потупив глаза, и делать вид, что они ни при чем. Так делают все хорошо воспитанные люди. Ну, а когда их попросят на сцену, тогда они скромно выйдут и тоже будут кланяться.

Немцам везло. Учительница в музыкальной школе, та полная седая женщина с белым бантом и брошью, оказалась третьей скрипкой оркестра оперного театра и большой энтузиасткой

поиска одаренных детей. Ее муж был в том же оркестре первой скрипкой, а сын – едва входившим в моду молодым дирижером, имя которого, если он приезжал из столицы, Немцы немедленно отыскивали теперь в уличных афишах. Преподавательница с воспитанниками нянчилась, велела родителям привозить детей заниматься к ней домой. Немцы возили сына через весь город на колымаге-автобусе, чтобы Олег мог полчасика поводить перед учительницей смычком.

Годы спустя, сидя в оркестре, Олег Немец не раз задумывался, почему с такой страстью отец и мать хотели сделать из сына Паганини. Почему не Рембрандта, или Ньютона, или Лермонтова? Впрочем, Лермонтов – пример неудачный: его тоже учили в детстве играть именно на скрипке. Ну, еще понятно было бы, если б родители сами были музыкантами. В том случае заговорила бы наследственность, а тут?.. Упорство, с которым родители это делали, было и остается загадочным, мистикой.

Сразу после экзамена, едва раздавался телефонный звонок от знакомых, мать первым делом сообщала:

– Олега-то нашего взяли в музыкальную школу! Конечно, проверили и обнаружили способности. Пальцы у него специально для скрипки. Чувство ритма, а также аб-со-лют-ный слух. Экзамен он сдал блестяще, это точно. Теперь все зависит только от его трудолюбия.

И мать смотрела на Олега испытующим взором.

Сам Олег, хотя и радовался, но не ликовал. Сперва ему было интересно ходить в сопровождении матери в музыкальную школу, водить там смычком по струнам и гадать, откуда вылетают звуки. Но еще больше нравилось носить скрипку по улице. Некоторые прохожие на тебя оглядываются: гриф торчит из газеты. Олег специально так заворачивал, чтобы скрипка было видно.

Маленьких чехлов для скрипок в продаже не было. Выручила мать родственница тетя Полина. Муж ее химичил на заводе «Химик» и под полой вынес кусок серебристой ткани, похожей на клеенку, из которой делали аэростаты. Из этой ткани мать сама сшила чехол по размеру скрипки. Теперь, когда Олег шел в музыкальную школу, на серебряный чехол стали оглядываться абсолютно все.

Скоро, однако, Немец-младший перестал разделять родительские восторги. Играть каждый день подолгу одни и те же гаммы надоело. Утром хотелось поваляться в постели, потом заняться игрушками. А только встанешь – мать сразу спешит напомнить:

– Про гаммы забыл? А переходы с одной струны на другую, как велела учительница? Ты должен полчаса отыграть!

Он послушно начинал играть, и тут раздавалось:

– Не так держишь скрипку! Посмотри на картинку в учебнике: не так изгибается кисть, когда водишь смычком!

Мать говорила авторитетно, будто всю жизнь только и делала, что учила детей играть на скрипке. Олег торопливо играл и в долгие паузы отдыхал, глядя на издевательски медленнодвигающиеся стрелки часов. Но минутную стрелку не заставляли играть на скрипке, и она не торопилась обогнуть половину циферблата.

Даже гулять во дворе стало теперь не так весело, как раньше. Не успеешь выйти – ждешь, что тебя вот-вот позовут домой. И подрагаться толком нельзя, из окна сразу крик:

– Пальцы! Ты повредишь себе пальцы!

Олег грустнел: все люди как люди, а он? Лучше бы он учился боксу. Всем во дворе было ясно, что это пригодится скорей, чем игра на скрипке.

– Ну как наш маэстро? – спрашивал отец, возвращаясь вечером домой. И видя кислую физиономию сына, иногда добавлял, обращаясь к матери. – Слушай, а может, не мучить его, если ребенок не хочет?

– То есть?! – возмущалась мать. – Откуда ему знать, хочет он или нет. Бросит сейчас, а потом захочет, но будет поздно.

За обедом мать рассказывала отцу поучительные истории про знаменитых скрипачей.

– Вот, например, Ойстрах... И этого, как его, забыла только, как зовут, кажется, Бусю Гольдштейна насильно вытаскивали из-под кровати. Ремнем били, чтобы играл. Вот и результат: его знает весь мир!

Потом мать поворачивалась к Олегу.

– А тебя, Оля, не бьют, считают, что ты сам понимаешь, как это важно. Так что ты просто обязан играть добровольно!

Отец посмеивался, но в целом был солидарен с матерью. Они упорно не хотели понимать, как скучно и противно три раза в день по полчаса стоять возле стола и водить, водить, водить смычком туда-назад, туда-назад, туда-назад...

Первый концерт скрипача Олега Немца состоялся не в музыкальной школе, а в бомбоубежище. Город еще не бомбили, но воздушные тревоги начались.

Заслышав завывание sireны, мать наспех одела Олега, схватила другой рукой Люську и потащила детей в подвал соседнего большого дома. Они долго спускались по темной лестнице. В прелом помещении, с синей лампочкой на потолке, шелестел вентилятор. Вокруг стояли и сидели, кашляли, сопели, жевали, слышался детский плач. Где-то вверху продолжала завывать сирена воздушной тревоги.

– Играй! – сказала Олегу мать, едва отдышавшись. – Тебе же пора играть.

Прихватить с собой скрипку она, разумеется, не забыла.

Олегу было неловко, но он послушно вынул из серебряного чехла инструмент, натер смычок канифолью, огляделся и стал настраивать струны. Все вокруг перестали возиться и разговаривать, даже детский плач утих. Головы повернулись к нему.

Юный Паганини начал играть упражнения, переходя со струны на струну, путаясь и начиная снова. Люди смотрели и слушали, будто и в самом деле неожиданно оказались на концерте скрипача. Интеллигентная старушка, почти без волос, обмотанная шарфом, присела на пол, покачиваясь в ритм музыки. Олег перешел от упражнений к простенькой мелодии, которую он, хотя и неуверенно, уже мог сыграть.

– Тише, граждане, не толкайтесь! Здесь музыкант.

Некоторые из сидящих стали пробираться поближе, селись на пол. Какой-то старичок по соседству проворчал:

– Нашли место, где музицировать...

Но на старичка зашикали. Казалось, люди забыли, что где-то наверху могут бомбить, или хотели забыть. А едва Олег закончил и опустил скрипку, раздались жидкие хлопки, которые представлялись матери овацией, когда она вечером рассказала про концерт в бомбоубежище отцу. Отец похлопал Олега по щеке. В тот день на западной окраине город первый раз бомбили.



Матерей с детьми начали отправлять в эвакуацию. Отец принес из табачного киоска фанерный ящик из-под папирос «Беломорканал», который они за полтора часа набили пожитками.

– А скрипку возьмем? – внезапно спросил Олег. – Буду там играть в бомбоубежище. Мне понравилось.

Отец и мать переглянулись.

– Обязательно, – кивнул отец. – А то как же ты вернешься к учительнице? Забудешь всё...

На вокзале толпа гудела у только что поданного состава. Отец пытался обнять мать, а их толкали со всех сторон.

– Ишь, нашли место миловаться!

– Дайте дитям в вагон пролезть.

– Вещей-то нахватали! – кричали дежурные на платформе с повязками. – Бросайте, людей не можем разместить.

– Документы, – потребовала проводница.

Возле нее стоял человек в штатском. Мать протянула паспорт. Человек глянул на фото и матери в лицо.

– Немцы, значит, – сказал он, оглядывая их с некоей иронией, – а от немцев бежите. Оставались бы...

– Зачем это? – чуя подвох, тревожно спросила мать.

– А их подождать...

– Да мы русские, что вы! – голос у нее задрожал. – Фамилия такая.

– А дети вписаны?

– Да, конечно, вписаны, а как же?

– Эвакосправка есть?

– Эвако – что? – не поняла мать.

– Документ на эвакуацию.

– Справка там, в паспорт вложена.

– Так... Пропустите их в вагон!

Мать высунулась из окна, и отец бережно передал ей скрипку.

– Пускай сын играет каждый день. Это очень важно, важно для будущего.

– Ладно, ладно, не волнуйся, себя береги, – отвечала мать, кусая губы, чтобы не разреветься.

Она будто чувствовала, что видятся они в этой жизни последний раз.

– Смотрите, какой огромный чехол для скрипки! – крикнул Олег, показав пальцем в окно.

Над вокзалом в блеклом солнечном небе висел пухлый аэростат из такой же серебристой ткани, какую муж Полины вынес с завода на чехол для скрипки Олега.

Поезд дернул и пошел. Олег, мать, Люська закачались, протиснули головы в оконную щель и, глотая прокопченный паровозный дым, силились глядеть назад. Расталкивая людей, отец побежал за вагоном, но на платформе было тесно. Другие провожающие тоже пытались бежать, сбивали друг друга, началась давка. Лицо отца смешалось с другими, и он исчез. Таким он остался для Олега Немца навсегда: родным, растерянно улыбающимся, очень далеким и расплывчатым – похожим в толпе на всех других отцов.

Поезд гудел, набирая скорость, и платформа с отцом осталась далеко. Состав был смешанный, из товарных вагонов и пассажирских. Немцам досталась в общем вагоне роскошная полка на троих. Мать решила, что она положит детей валетом, а сама притулится в уголке и будет спать сидя. Олег, боясь забыть наказ отца, вдруг попросил:

– Я поиграю, мам! Уже и так один раз сегодня пропустил...

С удивлением мать вытащила ему из серебристого чехла скрипку. Вагон мотало. Отводя руку со смычком, Олег ударялся о полку, и звуки получались то прерывистые, дрожащие, то жалобные, заунывные. Сидевшие на соседних полках пораскрывали рты и водили глазами вслед за смычком. В проходе стали собираться зрители со всего вагона, даже больше народу, чем было в бомбоубежище.

Ехали медленно, безо всякого расписания, часами стояли на полустанках. На больших станциях мать бегала за кипятком и хлебом, который выдавали по талонам. Вагоны то и дело перегоняли с пути на путь, и раз мать осталась бы на незнакомой станции, не начнись в этот момент бомбежка: состав остановили, и она успела добежать. Мать с удивлением замечала, что в дороге Олег три раза в день играл упражнения и его не приходилось заставлять. Он играл. Ему нравилось, что зрители собираются в проходе слушать, хотя играл он одни и те же гаммы. Впрочем, были в вагоне и недовольные, и ворчащие.

– Совсем с ума посходили! – ища сочувствия, говорила всем проходящим хромая женщина средних лет, стуча клюкой об пол. – В туалете засор, а они на скрипке...

Никто не знал, куда они ехали шесть дней и шесть ночей. В маленьком уральском городке эшелон загнали в тупик и объявили, что поезд дальше не пойдет.

Охающие старухи в черном собирались на станции кучками глазеть на *выковыренных*. И впрямь это их слово было точней, чем чужое и непонятное *эвакуированные*. Уполномоченные с красными повязками на рукавах бегали со списками, распределяли по улицам, по домам. Это называлось уплотнением. Сердитые хозяева нехотя принимали к себе жить. Но народ русский к насилию приучен и давлению сверху поддается без особого сопротивления. Подчинялись люди нехотя, а после теплели, ссужали кто керосинку, кто картошки, кто лишнюю подушку.

Немцев пристроили в комнате, довольно чистой, с окном, выходящим в огород. За перегородкой жила семья хозяина дома – шофера мясотреста. Мяса в городе, конечно, в помине не было, но трест имелся. Сперва мать страдала оттого, что кровать за стенкой скрипит вечером, а потом шоферская жена встает, и в сенях журчит вода, но постепенно привыкла. Через несколько дней шофер узнал для матери, что в мясотресте требуется секретарь-машинистка. Мать пошла туда. Начальница мясотреста посмеялась над ее фамилией. Проверив анкету и позвонив куда-то, она сказала:

– Главное, что ты с образованием, а значит, грамотная.

И зачислила в штат.

Отец в каждом письме спрашивал, регулярно ли сын играет на скрипке. Мать в длинных письмах, которые она сочиняла, уложив детей спать, описывала отцу происшедшее чудо. Олег играет теперь больше, не приходится даже заставлять, ему самому нравится. Выходит, мы с тобой не ошиблись, у него действительно талант. Как только война кончится, сам увидишь.

Играть-то маэстро играл, но учить его было некому. Олег остановился на гаммах, которые упрямо повторял двадцать раз в день, и двух примитивных мелодиях.

– Отведи меня в музыкальную школу, – просил он. – Папа сказал, чтобы я играл всю войну.

– Где ее взять, музыкальную школу? Нет ее здесь...

Оркестра или музыкантов в городке тоже не имелось. А если и были, мать не могла их разыскать. Говорили, была группа духовиков, которые подрабатывали, играя на похоронах, но всех их во главе с дирижером-пожарником позабирали на фронт. Однако на берегу пруда, недалеко от плотины, засаженной хилыми тополями, приютился домик, в котором за сто лет до войны по великой случайности родился известный всему миру композитор. Поскольку это было единственное во всей округе учреждение, имевшее отношение к музыке, в поисках учителя мать отправилась в домик на плотину.

Дом, в котором родился великий композитор, был небольшой, с оконцами, выходящими в палисадник, и крылечком. В нем размещался мемориальный музей композитора.

Посетителей в музее не имелось, видно, не до этого людям было. Хранителем и директором музея оказался, согласно дощечке на двери, тов. Чупеев. Мать увидела бодрого старичка с усами, напоминающими Буденного, и трясущимися руками. Когда Чупеев хотел что-то сказать, он сперва облизывал усы языком, и они западали ему в рот, а со словами вываливались обратно. Глаза старика слезились и смотрели немного в разные стороны, как бы миную собеседника.

Долго и сбивчиво мать объясняла ему цель своего визита, а он никак не мог понять, что к чему.

– Говорите громче, я плохо слышу! – то и дело требовал директор.

Мать повторила все сначала, и теперь он наконец сообразил.

– В городе нашем скрипачей нету, понимаете ли. Нету, вот какое дело. А сам я рубал белых в нашей округе шашкой на скаку, а теперь вот на заслуженной пенсии. Но поскольку война, вышел на службу по призыву, на культурный фронт...

Директор оторвал от газеты квадратик бумаги и стал скручивать сигарку из махорки, потом ловко высек огонь, ударив кусочком металла о камень, и прикурил от тлеющей веревки.

Мать закашлялась от дыма. Словами, ею произносимыми, руководил на расстоянии отец, которого в это время уже забрали в ополчение, и мать не отступала, не могла отступить.

– У меня муж на фронте. Он велел учить сына музыке. А вы не хотите помочь!

– Сейчас фронт везде, – строго сказал Чупеев, поняв ее слова как упрек. – Однако же и я поставлен для охраны культурных завоеваний, а не просто так... И потом, матушка, я плохо слышу.

Мать не сдавалась:

– Раз вы единственный в этом городе, кто состоит при музыке, помогите! Мальчик – вундеркинд, понимаете?

– Вун дер... чего?

– Ну, талант. Что же нам остается делать? Скоро ведь все кончится, мы вернемся домой, и Олег наш снова будет посещать музыкальную школу. А пока... Я ведь не бесплатно!

– Война идет, голубушка, – оправдывался старик. – Деньги роли не играют. А мальчика, конечно, жалко. Да... Что же делать? Ладно. Пускай приходит.

Мать прибежала домой радостная.

– Сынок, я все-таки нашла тебе учителя музыки. Нашла! Только играй ему громче, он немножечко глухой.

Ближе к вечеру Олег взял скрипку и отправился в музей за плотиной, к старичку. Музей был уже закрыт, и Олег постучал в дверь.

– А ну, покажь скрипку! – попросил Чупеев, впустив Олега.

Маэстро огляделся. Внутри была полутьма, на стенах портреты в старинных рамах, на столах под стеклом разложены ноты. Старик с любопытством повертел скрипку в руках, окуриив ее махоркой так, что из отверстий долго потом выходил дым. Не беря в руки смычка, директор попробовал струны большим пальцем, вернул скрипку и велел:

– Ладно. Не боги горшки обжигают. Настраивай, деточка!

И уселся в кресло, в котором девяносто пять лет назад восседал отец великого композитора, когда сам тот классик был в возрасте Олега и учился играть.

– *ЛЯ*, – попросил Немец-младший.

– Чего? – не расслышал учитель музыки.

– Нажмите, пожалуйста, *ля*.

Старик послушно подошел к роялю, стоявшему в углу комнаты, вытер ладонью пыль с крышки и обтер ладонь о собственный зад. Он поднял крышку и одним пальцем проиграл гамму, от *до* до *до*, – единственное, что директор умел. Олег уловил *ля*, быстро настроил скрипку и ждал.

– Ну-с, валяй, – старик выпустил клуб дыма. – Чего можешь воспроизвести?

Олег знал несколько пьес, которые умел играть по нотам. Ноты в суете отъезда взять забыли – до них ли было, когда эвакуировались? От дыма Олег закашлялся, но поднял скрипку к подбородку.

– Упражнения могу для каждой струны и для всех... Еще могу этюды...

– А из готовых, однако же, произведений?

– Могу Бетховена «Сурок».

– «Сурок»? Ну что же? Давай твоего «Сурка».

Старик подошел сбоку, наклонил ухо поближе к скрипке и начал скручивать новую сигарку. Бетховенский «Сурок» Олегу нравился. Он напевал его, даже когда не играл.

*По разным странам я бродил,  
И мой сурок со мною...*

Сурка было жалко. Бездомный, забитый и голодный, бродил он с хозяином в поисках куска хлеба. «Сурок», между прочим, сохранился в памяти Олега на всю жизнь, и сыну своему четверть века спустя Олег это напевал.

Немец-младший сыграл «Сурка» два раза подряд, начал третий раз и оборвал. Опустив скрипку, он стоял молча, только кашлял, глотая махорочный дым.

– Молодец! – похвалил Чупеев. – А песню «Священная война» знаешь?

– Знаю. Только сыграть не могу.

– Тогда спой. Только громче, а то я не слышу.

– Вставай, стр-р-рана огр-р-ромная, – запел Олег, – вставай на смер-р-ртный бой!

– Однако же и поешь ты тоже неплохо! – воскликнул старичок. – Вот и выучи к следующему разу, чтобы играть на скрипке «Священную войну». И еще хорошо бы «Интернационал». А то Сурок, Сурок... Сейчас война, драться надо!.. На сегодня хватит. Как разучишь, приходи. Мы с тобой вместе и споем!

Вообще-то Олег думал, что «Сурок» – тоже военная песня. Он уже повидал бездомных и голодных на вокзалах. Но спорить Немец не стал. Он застегнул серебристый чехол. Стари-

чок попрощался с ним за руку, как со взрослым, и подтолкнул к двери.

Было начало осени. На улице стемнело. Навстречу с пруда дул холодноватый ветер, шевеля тополиными ветками и неся сухие листья. Фонари не горели. Кусок луны слабо мерцал над водой. Олег ускорил шаги, потом побежал домой. В том месте, где кончалась плотина, стоял ларек. До войны в нем, судя по надписи, продавали мороженое. Олег уже миновал ларек, когда его потянули в сторону за воротник. Не успел Олег сообразить в чем дело, как его схватили за плечи, развернули и прижали к стене ларька. А он обнимал двумя руками скрипку.

– Закурить не найдется?

– Да я не курю...

Их было человек пять, и старшие на две головы выше его. Они смотрели, прищурясь, хихикали, подталкивали друг друга плечами.

– А деньжата есть?

Денег у него тоже не было, но они и сами это выяснили, потому что облазили его карманы.

– Чего ж у ты есть? – спросил тот, который стоял напротив и был заправилкой остальных.

Он ловко перекатывал папироску губами справа налево и обратно.

– Дай ему в глаз, Косой, и пусть катится, – предложил кто-то.

Так это, оказывается, и был Косой! Его боялся весь город. Это он отнимал у ребят хлеб, когда они, отстояв в очереди, бежали из магазина. Олег знал, что плакать в такой ситуации – последнее дело, но слезы сами полились то ли от беспомощности, то ли просто от страха.

Взгляд Косого остановился на серебристом чехле.

– Что за чемоданчик? Шкалик, взгляни!

Шкалик, маленький, юркий, вынырнул из-под Косого.

– Да это же Немец, выковыренный. Немец – фамилия у него такая. Фашист, значит, фриц...

– Здóрово! – заржал Косой. – Значит, мы фашиста в плен взяли. Может, его повесить, а?

Все загалдели. Шкалик между тем ухватился за чехол. Обеими руками Олег обнимал скрипку.

– Слышал приказ? – пропищал Шкалик. – А ну!

Сейчас отберут и тогда... Отец не простит этого матери, мать не простит Олегу, не переживет.

– Немецкая рожа у него, а ходит по русской земле.

Косой лениво сделал шаг вперед и небрежно двинул вперед кулак. Но в нос Олегу не попал, удар пришелся по скуле, под глаз. Боль заставила думать быстрее. Еще не зная, что предпринять, Олег крепче сжал скрипку. Вдруг он, меньше всех ростом, резко присел на корточки, словно провалился вниз и, прижимая скрипку к животу, ринулся головой под ноги Косому. Тот подставил подножку, но Олег и так уже лежал на земле. Они не успели навалиться на него. Еще мгновение, и он вылез из круга на четвереньках, шмыгнув в тень, в кусты.

– Держи фашиста!

Это был голос Косого.

Его успокоили:

– Не бойсь! Далеко не уйдет.

Компания разбежалась прочесывать окрестность.

Олег лежал у ограды в сорняках, прижавшись к земле и накрыв собой скрипку. Руки, лицо, ноги обожгло крапивой, всё загорелось, нестерпимая боль охватила тело.

Дружки Косого покружили, посвистели, переругиваясь, и снова собрались у ларька. Тогда Олег пополз. Он полз по-пластунски, как разведчики в кино. Не удалось, однако, скрыться.

– Вон он! – радостно заорал Шкалик.

Ватага сбежалась и окружила Немца плотным кольцом. Он поднялся, все еще обнимая обеими руками скрипку.

Две сильных руки развели Олегу локти. Шкалик выхватил чехол и протянул его Косому. Косой перекинул папироску из одного угла рта в другой и велел:

– А ну, открой! Посмотрю балалайку!

Шкалик начал отстегивать на чехле пуговицы. У него не получилось, и он стал просто отрывать их. Наконец чехол сполз, и скрипка осталась раздетой.

– Тонкая штука! – удовлетворенно протянул Косой, с интересом вертя в руках инструмент. – А ну, фашист, сыграй! Послушаем!

И он протянул скрипку Олегу.



Тот взял инструмент, но отрицательно покачал головой:

– Я не умею, я только учусь.

Немец поднял с земли чехол и дрожащими руками попытался натянуть его на скрипку. Чехол у него вырвали и бросили в пыль.

– Мы желаем музыки, – осклабился Косой. – Верно я говорю?

Компания оживленно загудела.

– Играй!

Косой поднес кулак к самому носу Олега.

– Чувствуешь, чем пахнет? Ха!

И все опять загоготали следом за ним.

Олег заплакал бы, но так горела кожа на лице, что слезы уже не могли течь или он их не чувствовал. И тут решение, близкое и соленое, как слезы, пришло к нему. Он ясно понял: другого не дано! Олег бросил скрипку на землю и наступил на нее ногой раз, потом другой, третий. Скрипка издала страшный хруст. Одна струна загудела под подошвой и умолкла.

Несколько мгновений компания пребывала в неопределенности. Все глядели на Косого.

Первым всполошился Шкалик.

– Косой! Давай его утопим в пруду...

Олег рванулся в сторону. Но его ударили и держали за руки, чтобы не удрал.

– Атас! – крикнул кто-то.

По плотине шел военный патруль – трое рослых матросов в черных бушлатах с красными повязками на руках и с автоматами. Косой струхнул, но сделал вид, что потерял интерес.

– Отпустите его, он чокнутый! – сказал Косой.

Сам он повернулся и в мгновение исчез. Кто-то пнул Олега под зад ногой, и все они рассыпались в разные стороны по примеру атамана. Патруль медленно прошел мимо и исчез в темноте.

Постояв в одиночестве, Олег нагнулся и поднял с земли бывшую скрипку. Обломки фанеры висели на проволоке. Он аккуратно запихнул куски в серебристый чехол и медленно побрел домой.

Мать возилась на кухне. Увидав заплывшее от крапивы лицо сына и под глазом синяк, она обняла Олега, запричитала,

заплакала. Он сказал, что подрался и все, больше ничего она выведать не могла.

Чехол он как ни в чем не бывало повесил на гвоздь.

Глаз стал тяжелым, не открывался. Лютая обида комкала сердце.

– Когда опять на урок, сын? – спросила из кухни мать.

– Через три дня, – ответил Олег.

Три дня он врал матери, возвращавшейся с работы, что играет по три раза в день, что разучивает песню «Священная война» и «Интернационал». Он хотел, чтобы мать не волновалась и не писала о случившемся отцу.

Над его кроватью висел чехол с останками скрипки. Люська неведомо как догадалась: Олег и рвануться к скрипке не успел, – она стащила с гвоздя чехол и открыла. Оттуда выпала деревянная труха и моток струн.

– Так я и думала, – философски протянула Люська.

Но Олега не выдала.

Ему казалось, мать радовалась, что он играет. А Олег то и дело думал о том моменте, когда она узнает, что скрипки больше не существует. Уж хоть бы она узнала скорей!

– Знаешь, Олег, – сказала вечером мать. – Сегодня у Люськи на плотине какие-то подонки хлеб отобрали. Хозяин взял топор, и мы с ним побежали, но там уже никого не было.

– Это Косой! Я знаю, Косой! – крикнул Олег и умолк.

– Мне соседка тоже сказала, что Косой. А что с твоей музыкой?

– Понимаешь, учитель велел тебе передать, что я очень талантливый. Ему меня просто нечему учить. Он сказал, из меня и так получится Паганини, может, даже Ойстрах. Но после войны.

Мать аж присела на стул и продолжала удивленно смотреть на сына.

– Боже, ты такой же чудак, как твой отец! Только... он мне никогда не врал.

Немец-младший взглянул на гвоздь над кроватью. Там было пусто.

– А скрипка? – спросил он.

– Боже ты мой, конечно, выбросила! – качнула головой мать. – Да что уж...

– Я ничего ей не говорила, – сказала на всякий случай Люська.

– Ма, а как ты узнала?

Мать сжала губы, чтобы не разреветься, что с ней часто случалось в последнее время. Она вынула из кармана резной обломок подпорки под струны.

– Это тебе на память.

– Где ты взяла?

– Утром, после того как ты подрался, на работу бежала. И вот, нашла на плотине. После войны купим тебе другую скрипку. А будешь писать отцу – об этом ни слова, ладно?

## КОРОБКА ГУАШИ

Задолго до войны отец Олега купил коробку дорогих японских красок. Получилось это так.

Всю жизнь он мечтал стать художником, Немец-отец. Молодым носил этюды к художнику Грабарю, и тот его однажды похвалил. Отец пытался даже делать гравюры, как Фаворский. Судьба, видно, не складывалась. Стал отец ретушером в фотографии, а потом в издательстве. Там ретушеров требовалось все больше для исправления реальной жизни, которая в книгах становилась все лучше, все веселее. А мечта о живописи в душе отца не умерла. Тень несостоявшегося художника следовала за ним по пятам и однажды толкнула на нелепый поступок.

Отец шел по улице в центре, и на яркой витрине в торговине (были когда-то такие магазины для торговли с иностранцами за валюту, а со своими гражданами – за натуральные золотые изделия) он увидел японские краски в серой картонной коробке. Коробка с синими иероглифами по бокам была открыта, в ней стояли двадцать четыре баночки с королевскими гербами на блестящих, никелированных крышках. Имея такую гуашь, это было ясно даже дилетанту, просто невозможно не стать художником. И пока отец стоял у витрины, он понял: упустишь такой случай – он может и не повториться. Во что бы то ни стало коробка должна принадлежать ему.

Он сунулся было в дверь, обратившись к продавщице, но та откровенно засмеялась. В торговине на советские деньги

ничего не продавали. Отец ушел ни с чем, сперва расстроился, но по дороге успокоился и смирился. А вечером рассказал это матери как шутку: полцарства не за коня – зачем ему конь? – а за краски. Мать отнеслась к этой шутке неожиданно серьезно.

– Пстой! У меня же золотое колечко есть! Помнишь, бабка мне подарила, когда я с тобой познакомилась...

Бабушка была уверена, что, увидев кольцо из червонного золота, отец сразу женится на матери. Отец действительно женился. Правда, кольцо это увидел уже после свадьбы. Мать стеснялась его носить (тогда это, мягко говоря, не модно было в пролетарском государстве) и, ничего не сказав бабке, тихонько спрятала, а потом в суете просто про кольцо забыла.

Но когда мать поняла, что отцу необходимы японские краски, она, порывшись немного в вещах, отыскала спрятанное в старой сумочке кольцо, пролежавшее там несколько лет, и протянула ему. Отец замахал руками, отказался.

– Да зачем оно нам? – воскликнула мать. – Безделушка старых времен и все. Кому сейчас придет в голову носить кольца? Разве что недобитой буржуазии, бывшим нэпманам. А краски нам жизненно нужны. Имея такие краски, будешь творить и станешь настоящим художником. Вот увидишь, тебя выставят в Третьяковке!

Мать ничего не понимала ни в красках, ни в живописи, но хорошо чувствовала движения души отца. Отец, поколебавшись, взял кольцо и отправился в торгсин.

Там приемщица лениво взяла лупу, рассмотрела клеймо на ободке, бросила кольцо на специальные весы и что-то записала в ведомость.

– На переплав, – сказала она и кинула кольцо в ящик, стоящий в сейфе. – Вы чего желаете купить?

– Мне бы краски, – попросил отец. – Во-он те, японские.

Она поставила перед ним на прилавок коробку с синими иероглифами на боковых стенках.

– И больше ничего?

– А сколько остается?

– Еще на кисточки хватит, – сказала она.

Такого счастья отец не ожидал. Пачка кисточек легла на коробку.

В дом отец внес коробку впереди себя на руках, торжественно, будто исполнял некий языческий ритуал. Лицо его сияло.

– Сколько же она стоит? – из простого любопытства спросила мать.

– Если узнаешь – разведешься, – ответил отец.

С тех пор как Олег Немец помнил себя, коробка стояла на этажерке под приемником. Трогать краски строго-настрого запрещалось. Всем друзьям и знакомым, которые часто заходили в дом, отец собственноручно показывал гуашь, выставляя на стол одну за другой баночки с яркими цветными этикетками. Он очень гордился, что у него есть такие краски.

Казалось, в коробке не было ничего особенного: темно-серый футляр из плотного картона. Разве что на боках обозначены синие замысловатые иероглифы. Зато внутри!.. Баночки с яркими красками стояли по шесть в ряд, каждая в своей особой ребристой ячейке. В никелированные крышки можно, как в кривом зеркале, разглядывать свое изуродованное изображение. На крышках выпуклые старинные гербы. Цвета у красок чистые, сочные. Плюс ко всему, если отвинтишь крышку – ощущаешь особенный вкусный запах.

Отец собирался развязаться с делами, немножко освободиться от приработка и снова, как в юности, заняться живописью. В этот раз – всерьез. Он нечасто говорил, но часто думал об этом. На жизнь денег не хватало, и он брал больше и больше работы. Скорей, все же, кроме денег, не хватало ему таланта и настойчивости. Но и в этом случае кто возьмет на себя смелость отказать человеку в праве надеяться?

Так и не выбрал он времени взять кисти и опробовать краски.

Впрочем нет, один раз он открыл их. К Немцам зашел управдом и попросил написать плакат: «Соблюдай светомаскировку!» Очень выразительный и яркий получился плакат. Но больше краски отец не открыл.

После Олег не раз думал: не они ли с Люськой виновны в том, что отцовским мечтам не суждено было свершиться? Его и сестру надо было кормить, одевать, обувать, Олега учить музыке. Виноваты были Олег с Люськой, несомненно, уже тем, что родились. Но не они одни. А если так, то кто же еще? Гитлер? Сталин? Судьба?

Мать с детьми эвакуировали. Отец оставался один. Потерянный, он стоял посреди маленькой комнаты и оглядывался: что еще, совершенно необходимое, они забыли?

– Не беда! – говорил он почти весело. – Ненадолго все. Скоро вернетесь! Но для меня вот это обязательно возьми. Только это. Мало ли что...

Он протянул матери коробку с японскими красками.

– А может, останешься один и начнешь рисовать? – осторожно предложила она.

– Сейчас все равно не до того. А у тебя они сохранятся.

И отец повернулся к сыну.

– Только береги мои краски, не разбей! Война кончится, я обязательно живописью займусь. Вот увидишь!

Все тогда были уверены, что сразу после войны само собой наступит счастье, полное, светлое, радостное, и все свершится, сбудется, осуществится мгновенно, будто по мановению волшебной палочки.

Так коробка с японскими красками очутилась в фанерном ящике из-под папирос «Беломорканал» и вместе с матерью, Олегом и Люськой попала в городок на Урале, а отец остался дома. Там он ушел на фронт, а тут заботы свалились на мать.

Постепенно она продала на толкучке привезенную хорошую одежду, а себе и детям латала старье. Продавать стало нечего. Несколько раз вынимала мать из ящика серую коробку с красками, вертела в руках и прятала обратно.

Но однажды, когда с продуктами стало еще хуже, поколебавшись, мать приписала в конце письма отцу: «Еще хотела тебя спросить про японские краски. Что, если мы обменяем их на отруби или кусок сала? А кончится война, купим новые, в сто раз лучше этих».

Ответа не пришло.

Мать переживала, кляла себя, что написала отцу про краски. Ведь он собирался после войны рисовать. Зачем же было его расстраивать?

Как-то раз мать и Люську послали на три дня убирать картошку в деревню. Олег остался один. Все, что мать оставила ему поест на три дня, он слопал за раз. Второй день Олег голодал, а на третий вспомнил про краски.

Вынул он их со дна фанерного ящика и понес на рынок. Сейчас он обменяет их на хлеб и на продукты, сам будет сыт и еще накормит мать и Люську, когда они вернуться.

В той части рынка, которая была отведена под толкучку, народ в действительности не толкался. Там ходили не торопясь, останавливались, присматривались к товару, приценивались, торговались. А те, кто продавал или менял, стояли рядами и выкрикивали:

- Кому новые галифе? Почти новые галифе...
- Ситчик довоенного образца. Налетайте, дамочки!
- Планшет немецкий! Был немецкий, стал советский!
- Сапоги старые, отремонтируешь – будут новые!

В этот-то ряд и встал Олег с коробкой японской гуаши.

Подходили к нему многие. Брала коробку, открывали, разглядывали королевские гербы на никелированных крышках, удивлялись своему искаженному отражению, смотрели краски на свет, зачем-то трясли, даже лизали, пробуя на вкус. Кто ухмылялся, кто щелкал языком, кто спрашивал, где юный владелец украл эту коробку, кто пожимал плечами, но все возвращали краски обратно, не спрашивая, чего и сколько Олег хочет за них получить.

Постоял он так с полдня, расстроился, совсем голодный унес краски домой и спрятал их на место. От голода ныло под ложечкой. Он питался картофельными очистками, которые подбирал у соседей. Жарил и парил он их на сковородке, то и дело подливая воду.

Матери, когда они с Люськой вернулись, Олег ничего не сказал...

Минуло с того времени примерно четверть века.

Пришел как-то Олег Немец домой. Заглянул из коридора в комнату, видит, сын его рисует и сам с собой разговаривает. Олег подсел к нему, стал вникать в рисунки. На картинках ползли танки, стреляли пушки, пикировали самолеты и, конечно, взлетали ракеты с пышными огненными хвостами.

– Что это? – спросил Олег.

– Не видишь? Воздушный бой! Вот – наши, вот – фашисты. Огонь! Трах-трах...

Олег не видел, где наши, а где фашисты. Но, действительно, на картинке шел бой, и Валеша точно знал где кто. Откуда



у ребенка, родившегося через полтора десятка лет после войны и не умеющего читать, столь обширные исторические сведения? Очевидно, частично из детского сада, ну, еще из детских книг, да и телевизор он смотрит. Везде и всюду без конца твердят про войну и показывают войну.

Но Валеша вообще был странным ребенком. Раз, обидевшись на мать за несправедливый упрек, схватил он жирный красный карандаш и провел по стене черту на всю длину комнаты. Когда Олег спросил, что это изображено на обоях, сын ответил, уже успокоившись:

– Не видишь? Это моя злость!..

Жена возмутилась, а Олег заинтересовался. Про линию злости он рассказал своему зятю Нефёдову. Как Люськин муж объяснит поступок его темпераментного сына?

Школьный учитель истории Нефедов, крупный домашний философ, задумался и истолковал факт по-своему.

– Возможно, это самовыражение, – сказал он. – Мальчик пытается найти себя в изображении чего-то... Если хочешь научить сына рисовать, не покупай ему этих малюсеньких детских красок. Купи настоящие банки гуаши, большие кисти, пускай мажет что хочет и как хочет. Не связывай его фантазии. Связать ее еще успеют.

Немец так и сделал. Он купил рулон обоев и прикрепил кнопками большие куски на стенах – тыльной стороной наружу. Пусть лучше Валеша выражает свои чувства тут, чтобы не ремонтировать квартиру.

– Рисуй везде, – распорядился Олег. – А вообще тебе нужны настоящие краски. В получку куплю.

– Купи, – согласился сын. – А то бабушка давно хотела подарить и не подарила.

Олег тоже стал замечать, что мать здорово постарела в последние годы и стала забывчивой.

– Обещала ему краски? – спросил Олег, когда она приехала в гости.

– Ведь и верно, обещала! Наши, отцовские, помнишь...

Мать время от времени находила и дарила внуку свои реликвии: то значок «Почетный донор», то игральные карты, то полтинник старой чеканки. И правда, в следующий приезд она не забыла, привезла сверток.

Олег развернул и долго разглядывал полуразвалившуюся коробку с выцветшими синими иероглифами.

– Знаешь, мам? Ведь я носил их продавать...

– Знаю, – кивнула мать. – Я, сынок, тоже. Да кому тогда было до японских красок? Вот никто и не купил... А Валеша где?

Внук лежал под кроватью с деревянным автоматом в руках и выслеживал каких-то врагов.

– Валеша! – позвала она. – Поди-ка сюда!..

Торжественно держа перед собой серую коробку, бабка произнесла:

– Вот краски. Помнишь, обещала? Нарисуй бой с фашистами, про которых я тебе рассказывала.

Стало ясно, что имеется еще один источник информации, из которого его сын черпает познания про ту проклятую войну.

– Валешенька, – прибавила бабка, – это краски деда твоего. Береги их! Краски очень хорошие – японская гуашь. Правда, Оля?

– А кто это – Оля? – спросил Валеша.

– Оля – твой отец, – сказала бабка. – Олей я его маленьким звала.

– Очень смешно, – заметил Валеша. – Он что – был девочкой?

– Вылитый дед! – заметила бабушка. – Тот тоже всегда говорил: «Очень смешно!» А сам не смеялся.

– Ба, а где мой дедушка? – спросил Валеша.

Мать заморгала глазами, не ответила.

– Он к нам не приедет?

– Нет, не приедет, – сказал Олег.

– Никогда?

Ему не ответили, и Валеша не переспросил. Он уже открыл коробку. Там стояло двадцать четыре разноцветные банки – никелированные крышки с гербами слегка потускнели, но все еще отражали предметы. Олег дал сыну кисть и молча показал на лист бумаги на стене.

– Открой! – тихо попросил сын.

Олег попытался отвинтить крышки. Края их поржавели, не поддавались. Немец колотил по ним кулаком, накладывал мокрую тряпку, поливал горячей водой и, наконец, облив крышки одеколоном, отвинтил.

Краски в банках остались такими же яркими, как были, но за прошедшие годы окаменели и потрескались. Рисовать ими Валеша не смог.

– Пап, – все так же шепотом попросил сын. – Купи мне другие, которые красят. Ты же обещал...

– Ну как краски? Нравятся? – крикнула из кухни бабушка.

– Очень нравятся, спасибо! – ответил внук.

Промолчав, Олег с гордостью отметил: приятно иметь дело с воспитанными людьми.

– По-моему, Олег, Валю пора учить музыке...

Всё, абсолютно всё возвращается на круги своя, усмехнувшись, подумал немец.

На другой день он зашел в универмаг и постоял возле скрипок. Понятны благие желания бабушки сделать так, чтобы ее любимый внук пилил на скрипке. Но хватит в доме одного скрипача – его самого. И немец принес домой из универмага портфель, набитый банками с разноцветными красками. Уж лучше иметь дома художника: это хотя бы тихо.

Новые краски сразу пошли в дело. Валеша тут же стал малевать на стенах самолеты, танки и еще какие-то штуки, понятные ему одному.

– Когда будет война, – объяснил сын, – я буду летать вот на такой ракете. Смотри!

И он показал на стену.

– Только войны нам не хватало, – пробурчала жена. – Да еще, чтобы ты там летал...

– Ну, конечно, на ракете, – согласился Олег. – На чем же еще?

– Война – это очень интересно, да? – спросил сын.

– Не очень, – сказал немец.

Засохшие японские краски он аккуратно сложил в коробку и поставил на сервант.

– Рисует Валеша? – спрашивает бабушка, приезжая к ним в гости.

– Конечно рисует! Вот, видишь?

Олег показывает на стены, увешанные разрисованными листами, а потом смотрит на сервант, где стоит коробка с высохшей японской гуашью.

## УРОКИ МОЛЧАНИЯ

Автобус устало тронулся. Сзади Олега старая женщина слабыми пальцами пыталась удержаться за дверцу, в которой отсутствовало стекло. Дверца закрылась и туго прижала женщину к пассажирам, стоящим на ступеньках. Прямо перед глазами Олега на поручень легла рука, такая узкая, будто из одной сделали две. Внезапно Олег ощутил голод, хотя только что позавтракал. Эта рука держала перед его глазами серебряную ложечку, полную сахарного песка. Во рту стало сладко.

Двери с трудом расползлись на остановке. Посветлело. Олег увидел родинку у женщины на щеке, ближе к носу. Крупную родинку, которая придавала лицу смешливое выражение. Женщина глядела мимо, занятая своими мыслями. А он старался быстрее сообразить, что скажет, если она тоже признает его. Ему было восемь, а стало, как-никак, сорок. Стало быть, ей...

Она получала на большой перемене от завхоза буханку хлеба на класс, резала ломтями, а ломти делила на четвертушки. Медленно шла она по проходам и на каждую парту клала три кусочка. Затем еще раз проходила по классу и каждому насыпала чайную ложку крупного желтого сахарного песка из полотняного мешочка. Голодные дети жадно следили глазами за ее длинной узкой рукой. Ложечка быстро опускалась в мешок, осторожно вытаскивалась и снова пряталась.

Есть начинали все вместе, когда пустой мешочек ложился на учительский стол. Сначала Олег не торопясь объедал чер-

ные блестящие края. Обсасывая горелую корку, он постепенно подбирался поближе к сахару. Теперь можно было погрузить в песок язык и втягивать нектар, подобно пчеле, по крупнице, укрепляя в перерывах волю, чтобы хватало надолго.

Учительнице тоже полагался хлеб и чайная ложка сахара. В первый день учебного года по неопытности все слишком быстро съели и устали на нее. Она вытерла платком пальцы, села за стол и положила перед собой свою порцию хлеба. Поднесла было кусочек ко рту, но подняла голову и оглядела класс:

– Кто желает добавки?

Руки взметнули все.

– А ты, Патрикеева, не хочешь? – спросила учительница.

Олег оглянулся. Патрикеева сидела позади него – остро-скулая удмуртка с широко посаженными глазами. Мать у нее умерла, а про отца она ничего не знала. До школы жила в деревне с бабушкой и по-русски понимала плохо.

– Патрикеева, – медленно повторила учительница, отделив слово от слова. – Ты – почему – не – хочешь – добавки?

– Хочу!

И Патрикеева тоже выставила руку.

– Ну вот. У нас остается ничей кусок. Будете его получать по очереди.

– А тебе? – спросила Патрикеева.

Она говорила учительнице «ты».

– Я сыта, ребятки, не хочу...

И тут же отнесла хлеб первому счастливчику, на которого весь класс смотрел с завистью.

Теперь каждый день на большой перемене класс хором кричал, чья очередь, и, глотая слюны, следил за очередником, который обсасывал вторую порцию.

А возможно, они любили ее не за это.

Олег напряг память и с трудом вспомнил ее имя, хотя имена обычно не держатся в его голове. Она велела, чтобы звали ее Даша Викторовна, говорила, что паспортное имя у нее трудно выговаривается и ей самой не нравится.

В тот год Олег настроился идти в другую школу в другом городе, куда его записали весной родители, а попал в эту, потому что между двумя школами пролегла эвакуация. Школой

на Урале оказалась одноэтажная бревенчатая изба под черной дранкой, а в настоящей школе разместили госпиталь. «Немец Олег» – округлым, как звенья цепочки, почерком Даша Викторовна вписала данного мальчика в журнал.

Двор школы, от забора до забора, был голый, основательно утоптаный. Травка опасно вылезала по краям из-под досок забора, между которых зияли щели. Дорогу в школу сокращали, бегая через огороды, подкармливаясь по пути чужой морковкой. Классы маленькие: учительский столик, притиснутый боком к перекошенной, потрескавшейся доске, и разнокалиберные двухместные парты, на которых, скукожившись, сидели по трое. Сумка у среднего лежала на полу. Олег упирался в нее ногами. Чтобы среднему выйти к доске, крайнему следовало встать. Всклакивали все охотно: тело затекало, и хотелось двигаться.

Даша Викторовна выглядела так, будто война ее не коснулась. Словно жила она до или после. Ходила в обтягивающем фигурку светло-синем костюмчике и белой блузке с кружавчиками, как нынче ходят стюардессы. Лицо у нее было скуластое, и глаза немного раскосые. Темные густые волосы, идеально зачесанные назад, скручены в тугий узел, такой тугий, что Олегу казалось, ей всегда больно. Написав на доске мелом, она тщательно вытирала свои длинные пальцы белоснежным платочком с кружевами и складывала его по прежним складкам. Она была удивительно красивая в профиль, когда глядела в окно, а там, за стеклом в узорах, занималась красноватая заря. И почерк ее в ученических тетрадях был такой же красивый, как она сама.

Всему миру было некогда, а она относилась к детям с лаской. Кровь стыла от прочитанного в газетах, не говоря уж об услышанном, а она читала им сказки и завязывала ушанки под подбородками. У всех лица печальны – она на уроках улыбалась. А может, просто родинка у носа делала ее веселой?

Она не любила про себя рассказывать. Раз только вспомнила, как было у нее в жизни два самых счастливых дня. Двадцатого июня сорок первого она кончила педучилище, а двадцать первого расписалась с курсантом летной школы. Это у них задолго было запланировано и наконец свершилось. Они стали мужем и женой. Двадцать второго он улетел.

В ноябре... нет в декабре сорок первого морозы стояли лютые, за тридцать. В доброе время по радио повторяли бы, что детям в школу не идти. Утром, подбегая затемно к школе, Олег слышал визг пилы. Завхоз Гайнулла плечом впихивал чурбан на козлы и работал двуручной пилой, приспособив на другой конец хитрую пружину.

Гайнулла орудовал единственной рукой. Правый плоский рукав офицерской гимнастерки был заправлен под истертый ремень. Ворот расстегнут, одно ухо шапки поднято, другое висит. Он не мерз и в тридцатиградусный мороз, только облачко пара висело у лица. Работал Гайнулла остервенело. Пилу с плохим разводом заедало, он дергал ее, упираясь в чурбан коленом. Бревно урчало, но не отдавало пилу.

До самого звонка вокруг козел толпились зеваки. Некоторые давали советы, как лучше освободить защемлённое полотно, как нажимать на пилу. Когда Гайнулла пилил, казалось, он никого не замечает вокруг. Он вообще был молчалив и говорил только в крайних случаях. Даже матюгался не всегда, а только если заедало пилу. Все-таки дети вокруг – он тоже понимал кое-что в педагогике.

Все считали завхоза фронтовиком и, побаиваясь, хранили к нему уважение. Ведь он такой же, как у многих учеников отцы, которые были далеко. Не многим старше. Но однажды Гайнулла рассказал, что на фронте он не был. Руку отрезало ему трамвайным колесом еще до войны.

– А гимнастерка? Откуда гимнастерка? – приставали ребята.

– Гимнастерку достал. На толкучке достал. Привез из деревни сала и обменял.

Уважение растаяло, завхоз стал лицом второстепенным, придатком к школе. Само собой, он обязан привозить из леса дрова, топить две печи, выходявшие боками в четыре класса, потом снова пилить, звонить на перемену и на урок.

Гайнулла тихо прокрадывался в класс с охалкой сосновых поленьев, от которых пахло смолой, и бесшумно открывал дверцу печи, стараясь остаться незамеченным. Если полено падало от его однорукости, он стыдливо оглядывался на учительницу. Позже Гайнулла бежал по скользкой улице на другой конец города, в пекарню, где по измусоленной доверенности получал под расписку четыре буханки хлеба и мешочек желтого сахарного песку.

Незаменимость Гайнуллы ощутилась, когда он исчез.

Учительница из четвертого, закутавшись в платок, вышла на крыльцо с колокольчиком. Бренча, она проталкивала детей в дверь и причитала:

– Ох, сердешные вы мои! Померзнете теперь. И куда пропастился этот Гайнулла?..

– Он заболелся, – сказала Патрикеева.

– Заболел! – поправила училка и вздохнула.

Учительницы сами приносили охапки дров, бегали по очереди в пекарню за хлебом. Печи дымили, дети кашляли. Через неделю дрова кончились. Гайнулла лежал с воспалением легких.

Обычно Даша Викторовна приходила раньше всех, затемно, и сидела в теплом классе. Она проверяла тетради до самого звонка, изредка перебрасываясь парой слов с Гайнуллой. Ученики здоровались, и она каждому механически кивала, не отрывая глаз от тетрадей. Теперь она не спешила прийти пораньше, появлялась перед звонком.

Дети сидели в пальто, шапки заталкивали в парты. В пальто по трое сидеть за партой было совсем тесно, но теплее. Прижимались друг к дружке и засовывали руки под воротник, поближе к шее. Вынимали, если что-нибудь записывали, а потом опять прятали руки.

Утром все обнаружили, что в чернильницах замерзли чернила.

– Ничего! – утешала всех Даша Викторовна. – Вот скоро поправится наш завхоз, и снова будет тепло...

На следующий день учительница из четвертого класса давно отзвонила на крыльце в колокольчик, а Даши все не было. Наконец дверь отворилась, и Даша застыла на пороге в пальто с лисьим воротником, подоткнутым так, чтобы не очень были видны потертости.

Все тяжело поднялись, с трудом выползая из-за парт, и весело стояли, пока она медленно дошла до стола и замерла. Легкое облачко пара появлялось и исчезало около ее рта. Даша оперлась на стол кулачками и смотрела мимо класса, в стену. Смотрела она целеустремленно в одну точку, и ученики начали оглядываться: что она там увидела, сзади на стене? Парты скрипели, кто-то сопел, кто-то толкал соседей, а она стояла не шевелясь.



За окнами прошуршали сани, донесся удар хлыстом и крик:  
– Но-о-о!..

И снова все стихло.

Даша Викторовна силилась совладать с собой. Вынула платочек, уже смятый и мокрый, закрыла им глаза и села. Она хотела что-то сказать, но слов не получилось.

Разрешения училки сесть не последовало, и все не знали, как быть. Кто уселся сам, кто продолжал стоять, облокотясь на парту. Поскрипывали расшатанные скамейки. Тонкие облачка пара вспархивали из детских ртов. Тишина тянулась долго, и вдруг Патрикеева, позади Олега, всхлипнула и зарыдала, бросившись на парту. Все тупо уставились на нее. Странная была девочка, угрюмая и молчаливая.

Вскоре Патрикеева успокоилась и сидела, размазывая слезы руками, вымазанными чернилами, отчего по лицу ее пошли фиолетовые подтеки, как синяки. Снова стало тихо. Все сидели не шевелясь, боясь взглянуть друг на друга и на застывшую перед ними, но отсутствовавшую Дашу Викторовну. Просто сидели, уткнувшись носами в парты. Отзвенел звонок на перемену, потом на второй урок, – никто с места не двинулся.

Неожиданно в середине второго урока вошел Гайнулла с охапкой дров. Когда Гайнулла входил, класс не вставал, а тут вдруг все поднялись – от нервного напряжения, что ли. Он был худ, лицо заросло щетиной, на шапке снег, лоб в каплях пота. Он пришел больным. И выглядел дряхлым стариком-доходягой.

Завхоз остановился у двери, смотрел на Дашу, и губы у него шевелились. Он свалил поленья, тяжело вздохнул, сел на корточки, ловко вынул из заднего кармана пачку лучины и самодельную зажигалку. Уложил дрова, подсунул под них лучину и зажег. Остывшая печка задымила, дрова не желали гореть. Дым пополз по потолку к окнам и стал опускаться, ища выхода. Класс начал кашлять. Но постепенно печка принялась, задышала, потянула воздух обратно в себя, дрова начали разгораться.

Уходя, Гайнулла обернулся, опять посмотрел на Дашу, покачал головой и тихо притворил дверь. К концу второго урока завхоз вернулся. Гулко кашляя, он еще раз набил печь поленьями и снова исчез.

Появился он снова на большой перемене. Ввалился в класс, тяжело дыша, и положил на стол перед Дашей буханку хлеба и мешочек сахару. Она кивнула, не посмотрев на него, а он, не говоря ни слова, вытащил из кармана гимнастерки ножик, открыл его одной левой рукой, зацепив конец лезвия за кромку стола, и, ловко прижимая животом буханку, стал нарезать ломти.

Даша Викторовна очнулась, открыла портфель, вынула серебряную ложечку и положила перед Гайнуллой. Он поманил пальцем Патрикееву. Вынимал ложечкой песок, сыпал на хлеб, а Патрикеева разносила по партам. Это было не так, как делала учительница. Нарушился привычный ритуал: сначала разнести хлеб, а потом пройти вдоль парт, насыпая сахар, чтобы ни крупинки не уронить на пол.

Как всегда, последний кусок должен был достаться очередному ученику в виде добавки. Несколько великоватый, кусок этот лежал на столе.

– Съешь, Даша Викторовна, – тихо сказала Патрикеева.

Она всегда странно выговаривала ее отчество.

– Съешь! – повторила Патрикеева. – Никто не хочет.

– Спасибо.

Едва шевеля губами, учительница произнесла первое за день слово и поднесла ко рту хлеб. Тот, кто должен был сегодня по очереди получить этот кусочек, открыл было рот, чтобы напомнить о себе, но промолчал. Рука ее дрожала, сахар сыпался на стол. Она съела, по инерции сгребла крошки, насыпала в рот, вынула сырой платочек, прислонила к губам и сидела не двигаясь.

Когда прозвенел звонок с третьего урока, Даша сказала, прерываясь на каждом слове, будто слова сжимались спазмами в горле:

– Идите... на перемену. Идите... Идите...

Слез своих она уже не стыдилась.

Сперва поднялись те, кто был ближе к двери. Они выскользнули в коридор, оставив дверь открытой. За ними, уже с шумом, как куры с насеста, соскакивали с парт, размахивая крыльями пальто, остальные.

Класс быстро опустел. В коридоре все стояли, сгрудившись, ничего не понимая и поэтому не решаясь бегать и драться.

Учительница из четвертого, закутанная в шаль, подошла к этой толпе.

– Ну, как ваша Даша Викторовна? Вы уж ее не обижайте, дети. Горе у нее. Самолет подбили в воздухе. Мужа... В общем, похоронка пришла.

Толпой достояли все до звонка и вернулись в класс. Патрикеева, оказывается, не выходила. Расселись опять и сидели, не разговаривая, не споря, не дерясь. Постепенно в классе потеплело, а дыму поубавилось. Ученики тихо поднимались, вешали пальто на гвозди, вбитые в доску на стене. Одна Даша сидела в пальто. Ее знобило.

Когда уроки кончились, она отпустила класс, осталась одна.

Утром Олег боялся идти в школу и хотел остаться дома. Мать, убегая на работу, пригрозила, что напишет на фронт отцу. Хотя вестей от него давно не приходило и это был избитый прием, он почему-то действовал.

За школьным забором пила работала живее, чем обычно. Дорожка у ворот уже была расчищена, и веселый дымок завинчивался над крышей. Во дворе, по другую сторону козел, напротив завхоза, стояла Даша Викторовна в пальто нараспашку. Олег осторожно взглянул на нее. Она раскраснелась, запыхалась. И те, кто шел в школу со страхом, приободрились, радостней скакали по ступенькам.

Даша Викторовна оставила пилу и побежала за детьми. На уроках было тихо, но не так, как вчера. Учительница взяла себя в руки, а может, отвлеклась, попилив дров. Глаза оставались холодными и чужими, но она разговаривала, даже немного улыбалась.

И класс ожил. В тот день все старались сидеть не ёрзая, читать, писать изо всех сил, даже вечные вертуны вроде драчливого Стасика, сидевшего впереди Олега. Даша обычно говорила, что даже после войны, когда будут в достатке парты и просторные классы, Стасика она посадит одного. Стасик жил с матерью и четырьмя сестрами. На отца его похоронка пришла в самом начале войны.

Дни шли, и Даша Викторовна постепенно вернулась к себе самой. Зима сдавалась. Сквозь облака ненадолго вылезало солнце. Копыта протапывали колеи, в которых к вечеру замерзала

вода, и можно было, разбежавшись, катиться вдоль всего квартала.

Вечером Олег с приятелями собирались на улице. Лузгали семечки, толкались, догоняли сани, заваленные грузом. Повиснув на перекладине, ехали, пока возчик, подкравшись, не сгоял кнутом. Двинулись бы в киношку – там шла «Девушка с характером», но денег не было.

– Глядите-ка! – вдруг крикнул Стасик и показал пальцем на противоположную сторону улицы.

Там по дощатому тротуару шла Даша Викторовна. Сейчас перебежит дорогу узнать, что ее ученики здесь делают, и отправит домой. Но Даша не обращала на них внимания. Рядом с ней, чуть впереди, вышагивал Гайнулла, гордо выпятив вперед новую руку в черной перчатке.

Не протезу все удивились, – разнося дрова, завхоз ходил с протезной рукой по классам уже дня три. Деревянным кулаком он загонял поленья в печь, если те сопротивлялись, и разрешал ребятам нажать рычаг. Пружина щелкала, и рука сама сгибалась. Нет, дело было не в руке, а в том, что училка держала Гайнулла под руку. И не протез нес он перед собой торжественно, а ее живую руку, лежащую на его искусственной.

Они остановились возле кино, поглядели афишу и прошли мимо. А ученики стояли как вкопанные, следя за ними глазами.

– Видали? Вот так!

Стасик, передразнивая, вперевалочку прошелся вдоль улицы, неся руку, как нес ее Гайнулла.

– А что тут видеть? – спросил Олег.

– Да ты что, не видишь, какая она блядь? Мужа только убили, а она, сука, уже с ним!

Болтаться на улице расхотелось, да и холодно стало. Поживаясь, все разбрелись по домам.

На другой день Олег вошел в класс и остановился у двери.

– Про Дашу знаешь?! – возбужденный Стасик стоял ногами на парте, прыгнул вниз и ухватил Немца за ворот рубашки. – Хотя... ты же с нами был...

Всем в классе он распространял вчерашнюю новость, но Олег вчера сам всё видел, и Стасик потерял к нему интерес.

Класс словно подменили. Это была истерия или какое-то массовое бешенство, называйте, как хотите. Все, включая самых тихих девочек, скакали по партам, дрались, мяукали. Олег бросил сумку под парту и, чтобы не отстать от других, стал подбрасывать и ловить шапку. Шапка ударялась в потолок, падала, осыпая Олега белой пылью, и сама становилась белой. Стасик с криками двигал парты, и скоро в классе стало невозможно пройти.

Никто не заметил, как вошла Даша. Нет, конечно, заметили, потому что стало еще шумнее. Она прижалась к двери, побледнела, хотела что-то произнести, но это было бесполезно. Всех она не могла перекричать, тихо пробралась между сдвинутых, как баррикады, парт к учительскому столу, нашла свой перевернутый стул, вернула его на место и села. Даша смотрела расширенными глазами на происходящее и ждала.

Стасик вскакивал ногами на парту и снова садился. Опять вскакивал, поворачивался к учительнице задом, крутил им и снова садился на парту. Он приставлял руки ко рту, складывая их в трубу, и дудел, вернее, ревел что-то громкое и бессмысленное.

Даша терпеливо сидела, не понимая, что произошло, и просто ждала, пока класс устанет и уgomонится. Не тут-то было.

– А я думала... – начала было она.

Никого не интересовало, о чем она думала. Ее не слушали или делали вид, что не слушали.

Наконец орать и бегать вроде бы устали. Выдохлись, возможно, или просто надоело. Тогда Даша велела открыть тетради. Одни открыли, большинство нет. Учительница спросила:

– Немец, ты приготовил домашнее задание?

С головы Олега сыпался мел, а Стасик размазывал его по парте и дул что есть мочи, опыляя соседей. Олег почти всегда делал уроки и хотел сказать «да», но Стасик больно ударил его по ноге.

– Не сделал! – заорал Олег. – И никогда не буду делать!...

– Но почему? – спросила Даша.

Вместо ответа Олег подбросил вверх шапку. Она шлепнулась на стол учительницы, испустив клуб белой пыли.

Валился Гайнулла, отворив дверь охапкой дров. Он не смог пройти к печке и стал ногой отодвигать парты. Никто ему не

помог. Класс снова начал орать, еще сильнее прежнего. Гайнул-ла свалил поленья возле печи и встал, стянув назад складки гимнастерки. Он молча поднял руку, потряс деревянным кулаком и замер.

Видимо, женским своим естеством Даша вдруг что-то почувствовала. Она покраснела, отвернулась от класса и пошла к доске писать. Тряпка пролетела по классу и, задев слегка учительницу, шлепнулась в доску. Даша положила мел, не дописав фразы, обернулась к классу и стояла, как на суде, тоненькая, почти прозрачная. Класс заорал, засвистел и улюлюкал с новой силой. Тогда училка стала пробираться между партами к печке.

Она подошла к Гайнулле, все еще стоявшему с поднятым вверх деревянным кулаком, встала на цыпочки и поцеловала его в небритую щеку. В классе мгновенно наступила тишина. Даша щелкнула рычажком, опустила протез и сказала:

– Не волнуйся, я уйду.

Не обращая никакого внимания на сидящих за партами, она пробралась назад к учительскому столу, схватила портфельчик и, пачкаясь мелом, тем же путем твердо удалилась из класса. Гайнулла медленно покачал головой и развел руками. Он стал шире с протезом и величественней. Так, с разведенными руками он и вышел. Стасик тут же влез на парту и, размахивая руками, торжествовал победу. Но печь осталась не растопленной, и все сидели, дрожа от холода.

Полтора урока до большой перемены Даша Викторовна не заходила. А после звонка, не успели самые прыткие вывалиться из класса, она внесла буханку и мешочек сахара. Голод заставил всех тихо разойтись по местам и ждать. Три десятка пар глаз следили за каждым ее движением, а сидевшие на передних партах уже втягивали носом аромат теплого ржаного хлеба.

Буханка захрустела под ножом, срезающим горбушку. Теперь запах свежего хлеба дотек до последних парт. Олег сглотнул слюну. Стасик, заметив это, презрительно на него посмотрел.

– Слюнтяй! – пробурчал он.

Он вскочил на парту и крикнул Даше Викторовне:

– Можете не стараться! Все равно есть не будем. Сами жрите!

Даша заплакала, но продолжала нарезать ломтики, и слезы капали на хлеб. Стасик оглядел класс.

– Все вы слюнтяи! – сказал он. – Продались за корку чернушки. Ну и хрен с вами!

Спрыгнув на пол, он полез в свою парту.

– Я матери не велел замуж выходить, а то уйду, – сказал он, уже ни к кому не обращаясь. – И тут уйду!

Стасик вытащил из парты сумку, рванул с гвоздя пальтишко и хлопнул дверью с такой силой, что с потолка посыпалась штукатурка. Оставив буханку недорезанной, Даша выбежала за ним.

На хлеб набросились толпой, тут же разорвали как попало и в драке начали выгребать из мешка ладонями сахар. Половину рассыпали, раскрошили нарезанные куски хлеба, подбирая с полу и поспешно засовывая в рот крошки. Кому-то отвалилось много, другим не досталось вообще.

Позади Олега раздались всхлипывания. На парте лежала Патрикеева, плечи ее вздрагивали. Олег постучал по ее плечу.

– Ты чего, Патрикеева? Ну, чего ты?!

– Гады вы! Какие ж вы гады! Свёлочи!..

Оказывается, она знала не только слово «ты», но и слово «вы».

– А она? – спросил Олег. – Она же сама виновата!

– Чего она такого сделала? Чего?

– Сама знаешь!

– Я-то знай, а ты?

– Ну, что? Что ты знаешь?!

– То, что Гайнулла ей брат. Родный брат! Они из наша деревня и тут живут возле мене. А вы – гады...

Она ухватила с парты ручку, размахнулась. Олег инстинктивно прикрылся рукой и закричал от боли. В классе установилась тишина. Все собрались вокруг них и смотрели то на Немца, то на Патрикееву. На ладони Олега наливалось синее-красное кровавое пятно.

На другое утро пришла новая училка. Она назвала свое имя, бесцветное, как и она сама. Почти все выветрилось из памяти Олега. Помнит он только, что сидела перед ними крепкая старуха с мужским хриплым голосом и с усами. Учить она давно уже перестала, а ее снова вызвали в роно. Война ведь, и

все обязаны, и она тоже. Запомнил Олег у нее усы и – как бы сказать поточней – кавалерийские команды, на которые она переходила в возмущении:

– Встать! Сесть! Все шагайте за мной! Передай матери, чтоб явилась!

Стасику, который вернулся через три дня, от новой учительницы доставалось больше всех. Он ее раздражал.

Да, что было, то было. Война обижала детей, а дети обижали других. Даша Викторовна не вернулась. Патрикеева говорила, что она работает в учреждении и в школу решила не возвращаться. Ушел завхозом в соседний госпиталь Гайнулла...

Автобус тяжело причаливал к остановке. Пожилая женщина, держась узкими ладонями за перила, глядела в автобусе мимо Олега, чуть усмехаясь. А может, ему так показалось: просто родинка у нее на щеке возле носа была смешливая.

Двери со скрипом отворились. Олег вдруг соскочил на землю, не доехав до своей остановки. Сразу стало легче дышать. Даша Викторовна не оглянулась, и автобус увез ее.

Стоя на пустой остановке, Олег разжал пальцы и поднес к глазам ладонь. Чернильная точка от пера, которое воткнула в него Патрикеева, синела возле большого пальца, как начатая, но не доведенная до конца татуировка.



## ЧУЖАЯ СВАДЬБА

Дверь оказалась не заперта. Мать ее отворила и видит: Олег и Люська сидят в полутьме, укутанные в одеяло. Совсем закоченели, бедненькие. Печь холодная, а дрова, напилены и наколоты, рядом лежат – это их работа.

– Вы ведь голодные. Что ж ты, дочь, печку не растопила?

– А мы тебя ждем!

– Тогда помогай скорей. Почти как в сказке: ваша мать пришла, костей принесла...

Люся выбралась из одеяла, стала разбирать кости и мыть их. Мать тем временем растопила печь и, чтобы детей приободрить, сказала:

– А Маринка-то снова письмо получила!

– Опять читать не дала? – спросила Люська. – И сама, небось, не читает? Вот глупая!..

– Сама-то не читает, а мне отдала...

– Ну?! Дай посмотреть!

– Погоди, сперва поедим...

Мать помешивала бульон в кастрюле, а Олег стоял рядом и глотал слюни.

Приготовление бульона было семейным ритуалом. Раз в неделю мать приносила кости. Мясо с них на комбинате тщательно обдирали на колбасу, колбаса шла, как говорили, для армии, а кости выдавали сотрудникам мясотреста, где мать служила машинисткой. Когда над кастрюлей появлялся дымок, дети со вкусом вдыхали запах. Но бульон варился долго,

и приходилось томиться, пока наступят счастливые минуты еды.

О письме мать рассказывать не спешила, болтала про всякую ерунду. Потом она сосредоточенно снимала с бульона пену и собирала ее на тарелочку. Пена шла на десерт.

Счастливые минуты еды пролетали мгновенно, и на некоторое время наступала сытость. После еды, кашляя от дыма, Олег и Люська забирались с ногами на кровать, сидели, греясь друг от друга, и мать им читала принесенное с работы чужое письмо.

Что-что, а уж насчет писем мать все знала. В обязанности машинистки входило принимать почту. Утром мать спешила в трест, чтобы самой разобрать всю корреспонденцию. Деловые письма откладывала (не убегут!), а личные сразу же разносила по столам. Возьмется кто другой и начнет требовать: станцуй – дам письмо. Таких шуток мать не переносила. Она любила быстрее отдавать письма, любила, но при этом нервничала.

Письма к Марине шли особые. Потому они и заменяли семейству Немцев свои радости. Их-то отец уже не писал. Плановика Марину все считали материной подругой, хотя она была лет на десять моложе. Снимала она угол неподалеку от треста. Попала Марина в эвакуацию на Урал из Украины, смуглая и чернобровая среди всех бледных приезжих. На носу и щеках ее пестрели веснушки – чуть-чуть, ровно столько, чтобы выглядеть невероятно симпатичной.

– Ох, и повезло тебе в жизни, Маринка! – бывало, говорила ей мать. – Господи, какая ж ты красавица!..

– Шутки шуткуете! – заливалась смехом Марина, будто в жизни не гляделась в зеркало.

Многие мужчины к ней подкатывались, иные и с серьезностью, но она никого даже обнадеживающим взглядом не достаивала. Что бы ей ни говорили, чего бы ни предлагали, хохотнет, да и только. А если кто понахальней, то так отбреет, что хам после весь день, небось, варёным раком себя чувствует, а на следующий день хорошо подумает, прежде чем опять подступаться.

Гордой да неприступной она неспроста была: аккуратно писал ей солдат Гриша, а она ему регулярно отвечала.

Встречались они еще со школы в маленьком городке, вместе поехали учиться в техникум в областной центр, откуда Григория в первый день войны забрал военкомат. Марина же, оплавав свое одиночество, сидела в общежитии техникума до тех пор, пока фашисты не подошли к самой окраине города, а потом бежала, куда глаза повели, и чудом спаслась.

Столько писем, сколько Марина, не получал в тресте никто. Когда она их читала, отложив работу, все женщины на нее смотрели, и она это знала. Сперва она непременно пожимала плечами. Вот, дескать, чудище, пишет всякую чепуху. Но это так, от кокетства. Постепенно щеки ее розовели, и чем дальше, тем приятнее было ей читать.

– Сумасшедший, – говорила она томным голосом. – Такие слова пишет...

Но видно было, что ей эти слова нравятся. В ответ на просительные взгляды женщин она молча протягивала им листок, исписанный бисерным почерком, чтобы влезло как можно больше. Женщины перечитывали эти странички по нескольку раз, согреваясь чужим теплом, а после еще долго обсуждали друг с другом детали.

– Марин, а у тебя с ним хоть что-нибудь было? – не раз спрашивала мать.

– Да ты что! – хохотала Марина. – Как же это можно, до свадьбы-то?! Да и негде было: и в общежитии, и в городском парке день и ночь народу полно...

– Ну, вы хоть целовались?

– Целовались, да, было, не скажу, что не было. А все остальное откладывали до счастливого времени. И вот теперь...

Оборвав на полуслове, Марина вдруг становилась печальной, что ей совершенно не шло.

Мать приносила письма домой и читала вслух детям, но фактически и для себя тоже. Сперва пропускала про поцелуи, потом все стала читать. Люська эти письма помнила наизусть. Ей четырнадцать стало, да и Олег на год подросток.

Гриша Маринкин хотя и называл себя в письмах пехотурой, но мало писал подробностей о войне. Не только потому, что это запрещалось военной цензурой, но, видно, и неинтересно ему было. Больше всего вспоминал он, как жили до войны, дом, родных и соседей, учителей, школьные проделки

товарищей. Потом он в подробностях описывал Марину, какой ее запомнил: руки, глаза, брови, плечи, волосы. Будто он писал вовсе не ей, а вел некий дневник. Описания эти заменяли ему живые встречи. Еще Григорий мечтал в письмах, как они будут жить после войны. Сыграют свадьбу веселую, все будут петь, плясать, и никто не вспомнит войну. Ее надо будет забыть, как будто ее вообще не было, а если войну не забыть, то счастья не будет. Только вот как позабыть, когда кругом столько крови и грязи, что за целый век не расхлебать? Мечтал Григорий вернуться в домик родителей с молодой женой Мариной. Насадят они вокруг домика яблонь, народят мальчишка, девочку и будут бегать с ними наперегонки через луг к речке Камышовке.

Все не раз разглядывали фотографию Григория. Наголо остриженный в военкомате, чернобровый, как Марина, толстощекий, с большими печальными глазами, он стоял по стойке «смирно» и строго глядел в объектив, как смотрят солдаты на всех фотокарточках.

Часто после уроков Олег забегал к матери в трест, колотил одним пальцем на машинке. Олега знали, за глаза звали «немчонком», но любили, давали кто карандаш, кто пустой коробок из-под скрепок. В коробочках этих удобно было держать марки и гайки, которые мальчишки отвинчивали на свалке с разбитых танков.

В тресте Олег боялся только одного человека – главбуха Корабелова. И правда, строгий был человек. Когда сотрудницы собирались вокруг Марины обсудить письмо, главбух выходил из стеклянной загородки, завешенной планами и социалистическими обязательствами по перевыполнению того, что еще не было выполнено. Все поспешно умолкали и мгновенно расходились по местам. Шагал Корабелов торжественно, маленький и крепкий, в черном неравномерно выцветшем костюме с протертыми зелеными нарукавниками. Черты лица его были на редкость правильные, и сам вид его внушал доверие. Если день был солнечный, то на свету становилось видно, что лицо его поедено оспой, а стекла очков толстые, как лупы, которыми мальчишки выжигают на заборах ругательства. Главбух высоко поднимал подбородок, молча глядя из-под очков на женщин, которые были выше его. А выше были все.

Он был полуслеп, главбух Корабелов. Бумаги прислонял к очкам вплотную и читал по складам. Ключ в сейф вставлял на ощупь. По остальному здоровью и возрасту Корабелов вполне бы мог находиться в действующей армии, да глаза подвели. Всё могли понять и простить трестовские женщины в ту пору, ибо все были без мужей. В тресте говорили, что незадолго до войны умерла у него во время родов жена, и с тех пор стал он так строг и угрюм. Впрочем, при хорошем настроении главбух мог и пошутить, даже засмеяться.

Марину главбух выделял среди всех остальных, не делая такого исключения даже для начальницы треста, женщины немолодой, но за собой следящей. Всех работников, независимо от возраста и должности, он сухо звал по имени-отчеству и только Марину просил:

– А ну, красавица наша, подай-ка мне плановый отчетик за прошлый кварталчик!..

Не обижались женщины, что только одна из них назначена Корабеловым на должность красавицы. Не у всех о том была забота в сорок втором году. И потом, Марина действительно была вне конкуренции.

Как-то за главбухом зашел младший брат его Левушка – ехать на рыбалку. Лет Левушке было около сорока. Ростом он был не выше старшего брата, изрядно полысевший, словно с цыплячьим пушком на голове. Жена у Левушки утонула прошлым летом, когда они купались вместе, и слухи ходили, что они поссорились и Левушка ее утопил. Но, может, это просто злые языки каркали. Так или иначе, оба брата куковали без жен вместе.

Корабелов в тот момент был вышедшим по начальству, и Левушка присел возле женщин, рассказывал что-то смешное. Они оживились, стали причесываться, украдкой передавали друг другу зеркальце.

Вдруг вошла Марина, которую главбух посылал за сводкой на комбинат. Она скользнула взглядом по младшему Корабелову, села за свой стол и уткнулась в бумаги. Левушка покраснел, засмутился и стал говорить несуразно. А едва вернулся главбух, младший брат поспешно убрался к нему за стеклянную перегородку.

Женщины сделали вид, будто ничего не заметили. Левушка Корабелов был человеком солидным, работал инженером

на военном заводе №79, где делали приборы для самолетов, поэтому ему полагалась «броня» – освобождение от фронта.

Через неделю все узнали, что у главбуха скоро день рождения, но это событие никого особенно не заинтересовало. Обсуждали другое: из всего треста пригласил он к себе одну Марину. Женщины сразу маневр раскусили, и некоторые были недовольны. Не потому, конечно, что не их пригласили, а от того, что не к главбуху Марина шла. Как же так? Ведь у нее жених на фронте!

Под давлением коллектива начальница треста лично закрылась с главбухом за стеклянной перегородкой и от имени администрации и профкома намекнула, что ситуация щекотливая. Корабелов-старший выслушал ее спокойно, ни словом не перебивая, даже кивая иногда в знак согласия, и ответил искренне:

– Я и сам вообще-то против чего такого... Но ведь просто день рождения. Никого я никогда не приглашаю, но тут братан настоял. Откуда мне знать, может, ничего, а может, сговор у них какой? Не дети, чай... А что, кстати, сама красавица голоса не имеет? Ее-то спросили?

И правда, саму Марину никто ни о чем даже не спросил, за нее решили. А с другой стороны, чего спрашивать, когда мясотрест в курсе ее личной жизни до малейших деталей, описанных в письмах Гриши?

После того дня рождения Марина пришла на работу как ни в чем не бывало, и все про это приглашение забыли. Но еще через два дня, когда мать положила ей на стол конверт с фронта от Гриши, Марина письмо прочитала и убрала в стол, а стол, как все заметили, заперла.

С того дня никто у нее писем не просил, только смотрели с завистью, как она их в ящике прятала. Письма по-прежнему часто шли, но мать как преданная подруга старалась передавать их ей потихоньку, чтобы никто не видел.

Свадьбу назначили через месяц – Левушка спешил. Марина пригласила всю бухгалтерию. Событие по тем временам было редкое, если вообще не уникальное, и всех, естественно, взбудоражило. Если бы никого не звали или же попросили избранных, меньше было бы в тресте разлада. А тут такое началось, чего свет не видывал.

Одни женщины сразу заявили, что ни за какие коврижки не пойдут. Маринина верность была их верностью, и измена ее становилась теперь их изменой. Всё они могли понять, все простить, эти женщины, только не это.

– Личное ее дело, – возражали им другие. – Не жена она Григорию, имеет право разлюбить. Да и была бы жена, что же она – не человек? Всяко в жизни происходит, новый муж лучше старых двух.

– Григорий же на фронте! – напоминали, удивляясь, первые.

– Да разве любовь это?

– А по-вашему, если его убьют, ей кукушкой куковать?

– Так он же живой!

– Живой! А Левушка Корабелов – не живой? Он человек с положением. И потом... вам-то какое дело? А тут хоть наедемся раз за всю войну.

– Ну и идите, ешьте досыта, а мы не пойдем!

Чувствуя на себе недобрые взгляды, Марина молчала, уткнувшись в ведомости. Только арифмометр у нее на столе периодически верещал. Но долго одной выдержать трудно. И после работы она пошла домой вместе с матерью.

– Почему все злятся? – стала жаловаться она. – Чего я такого сделала! Ну, существовало у нас с Гришей увлечение. Только ведь сердцу не велишь! И потом, то было в детстве, а с Левушкой я взрослой стала... На-ка вот, кстати, спрячь, чтобы Левушка у меня в сумке не нашел.

Марина протянула матери Гришино фото. А отдав, разрыдалась. По обязанности подруги мать гладила ее по голове и успокаивала:

– Не расстраивайся ты, Мариша! Пообижаются, поругаются и забудут. Бабы ведь у нас разные: у кого свое несчастье, а кто тебе просто завидует. Как сердце тебе велит, так и поступай.

Не от души мать говорила тогда. Люська и Олег знали, что мать тоже осуждала Марину. Как и все, мать надеялась, что свадьба по каким-либо причинам расстроится. Но и жалко ей было Марину. Вот почему старалась она быть помягче, оправдывала и тех, и других. Писем от Григория в те дни не приходило. Какие меж ними стали дела, никто, наверное, теперь не знал. Марина не делилась даже с ближайшей подругой.

Возможно, Марина чувствовала, что мать лукавила, а на деле ее сторонилась. Да и некогда невесте было: после работы бежала в дом к жениху, и вдвоем с матерью Корабеловых готовились они к приходу гостей. Все запасы в состоятельном этом доме пошли в дело, на телеге привезли из деревни продукты, укрытые крестьянами, корабеловскими дальними родственниками, от сдачи государству. Три соседки пришли помогать варить, жарить да печь пироги.

За три дня до свадьбы, утром, мать, как обычно, чуть свет сбегала за почтой и разбирала ее. Налево – личные письма, направо – служебные. Письмо от Гриши сразу в глаза ей бросилось. Хотела она отнести его и положить на стол Марине, но задумалась. Как раз Марине-то его письма теперь, наверное, ни к чему, – не с Левушкой же их читать! Да и вообще, пожалуй, лучше ей с Гришей совсем не переписываться. Исчезнет она из Гришиной жизни и всё тут. Перемелется, мука будет.

Значит, как же – не отдавать ей это Гришино письмо? Взять грех на душу? Но ведь так тоже нельзя, нехорошо. По какому-то праву мать может на это решиться? Должна же Марина написать ему правду, как и что, иначе он и дальше ей про свою любовь писать будет.

Встретив Марину в коридоре, мать отозвала ее в темный угол, чтобы никто их не видел, и протянула Гришино послание.

– Нет! – сразу запротестовала Марина, издали взглянув на конверт и спрятав руки за спину. – Брать не стану! Ни-ни! Что было, то ушло. Устала я жить в углу с чужой хозяйкой. А тянуть – Левушка ждать не станет...

В общем, попросила она мать, чтобы та сама отписалась от Григория, дала ему понять: не следует ему больше к Марине адресоваться. Как поймет, так пускай и будет.

Вот это-то письмо мать и принесла домой, чтобы читать вместе с Люськой и Олегом. Втроем поели они с хлебом бульона, сваренного из костей, и вскрыли конверт. Как только мать начала читать, она испугалась.

Григорий радостно писал, что в бою был ранен в руку осколком снаряда и что пришлось ему поиграть в санитарном батальоне в домино недельки две. Рука еще забинтована, но уже скоро заработает. И перед возвращением на передовую командир части спросил его, чего он хочет: медаль за отвагу или три



дня, не считая дороги, на побывку домой. Он, конечно же, выбрал дом. А поскольку родители его под фашистами (живы ли, нет ли, не известно), он, как только его из санбата выпустят, постарается улететь попутным рейсом в Москву. Оттуда поездом он доберется прямо к своей чернобровой – единственному человеку, который остался ему на земле дорог, и уже считает минуты. Если согласишься, сразу поженимся и сыграем свадьбу. Чего ж тянуть, когда все у нас с тобой ясней ясного?

– Вот здорово, что он приедет! – обрадовался Олег. – Прямо с передовой!

– Глупый ты! – заметила Люська и передразнила. – С передовой!.. К тебе что ли он рвется?..

Мать растерянно молчала, придумывая для Марины выход. Люська предложила:

– Надо срочно написать ему, чтобы ни в коем случае не приезжал.

– Но куда? Куда писать-то? В часть – так его там нет. В санбат – тоже выписался...

Так они ничего и не придумали. Спрятала мать письмо в папку с надписью «Дело №...», принесенную с работы. Письма – дело святое, всегда считала она. Мать их берегла и сама себе вслух иногда почитывала.

На другой день Марина забежала к Немцам домой, просила мать и Люську помочь в хлопотах на свадьбе. Она хорошо это придумала, чтобы все-таки увидеть мать на своей свадьбе.

– Да мне Олега оставить не с кем! – попыталась отговориться мать.

– А ты приходи с ним. Пускай и он попирует!

– Конечно, ма! – сказала Люська. – Надо же помочь! Я посуду мыть буду.

– Ты лучше дома ее мой, – отреагировала мать, – а то не допросишься.

– Дома мыть, – Люська отвечает, – неинтересно.

– Видали? Посуду мыть готова, лишь бы на свадьбу попасть!

– Мам, может, сказать Марине, что Гриша приезжает? – предложил Олег.

– Молчи, сынок. Зачем ей настроение портить? Опоздал Григорий со своим приездом, ох, опоздал...

Свадьба началась днем в субботу. Марина шепнула матери, что они с Левушкой еще в пятницу вечером сходили в ЗАГС, а на утро обвенчались в церкви. Дом у Корабеловых был солидный, огороженный высоченным, мрачным забором. Во дворе жила старая дворняга, разбитая параличом. Она не вылезала из конуры и не могла лаять, а только сопела и кашляла. Братья Корабеловы жили в доме с матерью. Теперь сюда переселилась Марина.

Достанется ей, думала мать. Левушка, хотя ему и сорок, – маменькин сынок, а старуха крутая. Свекровь Марину уже проверила, как та полы моет, чтобы отскабливала доски добела. Велела звать себя мамой и зарплату ей сдавать в день получки.

Гость валил косяком. Народу на свадьбу набилось битком. Кто позже пришел, за столом не уместился, пил и закусывал стоя, во втором ряду. Гости гуляли всю ночь, то и дело кричали «Горько!». Когда по случайности становилось тихо, было слышно, как за окнами кашляла, надрываясь, собака.

– Господи, – вырвалось вдруг у Марины. – Да ведь она ночью спать не даст...

– А тебе и не надо спать ночью, – назидательно сказал старший Корабелов.

Гости грохнули от смеха. Сильно захмелевший Левушка поднялся из-за стола и снял с гвоздя двустволку.

– М-моей жене м-мешает с-собака, – сказал он мгновенно притихшим гостям, слегка заикаясь. – Б-больше не б-будет м-мешать.

– Не надо, Лева! – крикнула Марина. – Умоляю...

– Молчать! – отрезал он. – Я уже решил.

Хлопнула дверь, и следом за окнами грохнул выстрел.

– Танцы, танцы давайте! – кричали гости.

Заиграл сиплый патефон, танго поплыло над столом:

*Мне бесконечно жа-а-ль  
Своих несбывшихся мечта-а-а-ний,  
И только боль воспомина-а-а-а-ний  
Гнетет меня.*

Мать на кухне мыла посуду, а Олег и Люська ее вытирали. Интересно, думала мать, что из бухгалтерии никто не пришел,

даже те, кто целился наесться. Григорий не приехал: с транспортом, очевидно, плохо, не смог добраться. Ну, и слава Богу, пронесло.

Поздно вечером мать увела сытых и сонных детей домой, а на свадьбе веселье еще было в разгаре. В воскресенье утром, еще затемно, как просила Марина, мать подняла их обоих, чтобы вернуться к Корабеловым и дальше мыть посуду. В этом был и плюс: опять дети могли хорошо поесть.

Ночью слегка подморозило. Но когда посветлело, оказалось, что небо почти чистое, солнце показалось из-за горизонта, и ледок начал таять. То ли зима началась, то ли осень еще собиралась вернуться.

Пришли Немцы к Корабеловым рано. Открыли калитку и остановились перед собачьей будкой: пес лежал в отверстии, будто спал, только кровавое пятно растеклось по земле и замерзло вокруг его головы. В доме было тихо. Мать с Люськой сразу принялись мыть посуду, а Олегу скучно стало торчать в кухне, и он выскользнул в горницу.

Гости, которые не ушли, спали – кто на сдвинутых стульях, кто просто в углу на половике. Те, кому неудобно спалось, просыпались и бесцельно бродили по дому. Двое вошли на кухню за рюмками, чтобы опохмелиться, и чокались, по очереди откусывая один огурец.

Кто-то завел патефон. Из спальни вышел, зевая во весь рот и потягиваясь, Левушка. Пушок на его голове колыхался.

Гости, все еще во хмелю, заголосили:

– Ну как, молодой, жена-то?

– Давай, сказывай!

– Да что рассказывать? – смутился Левушка.

– Видно скуповата, раз быстро отпустила...

Появилась старуха Корабелова, погладила сына по спине.

– Мягко ты больно, вот и скуповата... Да ничего, не горячись! Женщина тоже может иметь свое право...

Олегу разговоры эти были скучны. Он отправился во двор и в сенях столкнулся с главбухом Корабеловым.

– Не мечись, не мечись, мальчик, под ногами, – сказал тот без всякой сердитости.

Зря Олег его всегда боялся.

Во дворе у сарая был турник. Олег стал подтягиваться, раскачался, сорвался и больно шлепнулся на лед.

Хлопнула калитка. Во дворе появился солдат, робко огляделся и, поправив пряжку от ремня, туго стягивавшего шинель, спросил Олега:

– Браток! Мне сторожиха в тресте дом указала. Тут Марина проживает?

На крыльце заскрипели доски. Полусонный гость вывалился из дверей, ухватился за перила, справил надобность и ушел. Солдат поправил вещмешок с привязанной к нему каской и повторил:

– Чего молчишь? Марину знаешь?

Олег застыл, сидя на льду и соображая, как быть. Он ничего не ответил, бросился в дом, пролез сквозь людей на кухню и потянул мать за фартук. Та сразу поняла.

– Вытирай пока рюмки, доченька, – сказала она. – Я сейчас...

Мать накинула на плечи платок. Но тут в кухню вошла Марина. Под глазами у нее посинело, веснушки поблекли. Бросилась она к матери, приникла к щеке.

– Не уходи, только не уходи! – зарыдала Марина. – Одна я тут, чужая им!

– Ну... Ну... – погладила ее мать по голове. – Успокойся. Да и дело сделано. Куда ж назад? Ничего, стерпится. Левушка – человек нетрудный.

– Не понимаю я его, совсем не понимаю!

– Поймешь! Не сразу, однако, поймешь. Никуда теперь не денешься...

А Олег тянет мать за фартук. Отстранила она Марину.

– Подожди-ка, – говорит, – я сыну помогу.

И следом за Олегом прямым ходом к воротам.

Солдат сидел на корточках, подперев спиной столб, и смотрел на мертвую собаку. Мать оглянулась, не видит ли кто, и тихо спросила:

– Гриша?

Он кивнул.

– Пойдемте со мной!

– А Маринка разве не здесь?

– Да пойдемте же, говорю, быстрее пойдемте отсюда!

Разговор у матери с Григорием был короткий. Гриша поселился у Немцев на полу возле печки.

Дети с ним пилили дрова, ходили в лес, сбивали смолистые шишки и собирали в мешки, катались на трамвае от круга до круга. Оживился Григорий только раз, когда в морозный день привязал к сапогам коньки, взятые у соседа, и пробежался по замерзшему пруду.

Вечером, накануне Гришиного отъезда, мать неправдами достала на мясокомбинате костей, сварила бульон и все подливала и подливала Грише. Днем отпросилась она у главбуха и побежала домой, чтобы успеть Гришу проводить. Его дома не было: он отправился в комендатуру перед отъездом отметить. А дома что-то произошло, мать сразу догадалась.

Люська ходила по комнате надутая. Олег лежал на кровати и плакал.

– Что у вас здесь случилось?

Оба молчали.

Мать села к Олегу на кровать.

– Что с тобой, сынок? Чего ты?

– Может, и ты нас разлюбишь и бросишь? – кричит. – Тогда давай быстрее!

– С чего ты взял?

– А с того, что я всё понял!

– Чего понял? – переспросила мать. – Да у меня никого на свете нет дороже вас!

– Понял всё! Сперва любят, а после обманывают!

– Глупый! – хохотнула Люська. – Разницы не понимаешь: то дети, а это мужчины с женщинами. У них вечно сначала с одним, потом с другим!

– С другим!.. А на Григория, значит, плевать?!

– Дурак ты! – сказала Люська.

– Может, я и дурак, а Марина ваша – предатель!..

Долго Олег всхлипывал. Плакал он не от своей обиды, от Гришиной. И мать не смогла его успокоить, только пристыдила:

– Сейчас Григорий придет, а ты зареванный весь. Тоже мне мужчина!

Но, видно, был у них до этого разговор с Григорием. Потому что вернулся тот из комендатуры, молча вещички сложил и говорит:

– Спасибо вам за все. Не ходите меня провожать, не надо.  
– Обязательно пойдем, Гриша! – возразила мать. – Я с работы специально для этого отпросилась.

Приехали они на трамвае на вокзал. Все дни Григорий держался, а тут, перед концом, пал духом, шел и повторял:

– Как же это, а? Как же?

– Вот так уж, Гришенька, так устроена жизнь. Насилу мил не будешь...

Механически мать твердила дешевые слова, но, наверно, нужные, как все утешения.

– Выходит, я виноват. Но в чем же?

– Марине тоже не сладко, – сказала мать. – Женщины требуют от начальницы, чтобы уволили ее из треста. Не хотят с ней работать. Любовь – такая вещь...

Хотя – какая именно вещь любовь, мать и сама понимала все меньше. Да и позже соловьи для нее не запели. Старухой стала, жизнь в одиночестве прожила и одна трех внуков вынуждала.

Постояли Немцы с Григорием у вагона. Состав шевельнулся, заскрипели сцепки. Гриша обнял Олега, потом Люську. Мать обнять застеснялся, сказал:

– Передайте ей: Гришка, мол, желает тебе счастья.

– Обязательно передам, – кивнув, пообещала мать.

Он забрался в теплушку, уселся на пороге и махал рукой. Мать, Олег и Люська, убыстряя шаги, двигались по платформе, стараясь не отстать от вагона. Вдруг Григорий отвязал от мешка каску и бросил Олегу.

– Держи!

Каска забренчала, крутясь по камням, пока Олег не схватил ее.

– Зачем ему? – встревожилась мать. – С вас же спросят!

– Война спишет! – крикнул Григорий.

– Гриш, ты в другой раз сперва женись, а после люби, ладно? – подал голос Олег.

– Ладно! – улыбнулся Григорий.

Поезд загудел и пошел быстрее.

Мать остановилась на платформе, обняла Люську, которая почему-то разрыдалась. А Олег, размахивая каской, бежал за поездом до самой водокачки.

Обещание свое мать не выполнила, Марине ничего не сказала. После проводов Немцы стали ждать Гришины письма к себе. Фото его, которое Марина отдала матери, Люська поставила на подоконник, рядом с фотографией отца.

Немцы очень ждали писем. Но Григорий не написал.

## ПРЕСТУПЛЕНИЕ БИЛЕТЕРШИ

Люська Немец легко, чуть ли не вприпрыжку, выбегала к доске, и до нее долетали смешки, хотя она еще ни слова не сказала. Может, из-за отсутствия витаминов она не росла и смирилась с тем, что никогда не вырастет. И все-таки она еще повзрослела.

Каждый день, когда дома никого не было, Люська кокетничала сама с собой перед маленьким зеркалом, причесывалась по-новому, потому что вчерашняя прическа ей не нравилась. Она сама себе перешла из материнной черную юбку с разрезом и пуговицами; девчонки шептались, будто юбка слишком облегает бедра и вообще с таким высоким разрезом носить позорно.

– Уроки не делаешь. Чем же ты вообще занимаешься? – с подозрительной интонацией спрашивала классная руководительница. – Целыми днями в школе тебя нет!

– Подумаешь, работать пойду...

– Она еще хамит! – взрывалась учительница, мгновенно переходя на крик. – Ну, это уже слишком. Девочка-лодырница... Да как же такое можно допустить во время войны!

Говорила она, как снаряды взрывались: бум, бум, бум... Видимо, не случайно у ширококостной классной была кличка Бомба.

А может, просто пришла весна, думала Люськина мать. Хотя и военная, а все же весна! Та самая, про которую столько



написано и столько объяснено, что и слово-то произносить вроде бы неловко.

Так или иначе, но в конце третьей четверти, перед самыми каникулами, скопилось у Люськи пять двоек. Мать вызывали в школу раза три, но это не помогло. Завуч позвонила в соседнее ремесленное училище:

– Нельзя ли пристроить восьмиклассницу, очень хорошую, только учиться плохо?

В ремесленном набора не было. Оставалось просто исключить Люську Немец в назидание другим.

Люська не сказала матери, что ее исключили из школы. Каникулы шли замечательно, чего же травить материну душу? Утром, найдя красивую картинку в довоенном журнале, Люська причесывалась под нее и танцевала перед зеркалом непонятный танец, заменяющий ей гимнастику. Нарочно громко топая каблучками, чтобы потревожить соседей, она спускалась с крыльца и бежала в кино.

Купив самый дешевый билет, Люська садилась в дорогой восьмой ряд. Если прогоняли, не смущалась и пересаживалась. Бывало, глядела она одну картину несколько дней подряд.

Посреди дня забегала она домой чего-нибудь поесть. С братом вдвоем они разогревали оставленный матерью суп. Ели молча, каждый занят своим: Олег марками, которые он за отсутствием альбома переклеивал в новую тетрадь. А Люська – мыслями о том, что после каникул в школу идти не надо. Поев, Люська немедленно убегала.

– Куда? – строго спрашивал Олег, догадываясь о происходящем.

Хотя он был младшим, но, в конце концов, в доме он – единственный мужчина.

– Не твое дело! – очаровательно улыбаясь, отвечала Люська. Она его авторитета принципиально не признавала.

Школу затолкнули в старую избу, а школьное здание на соседней улице занимал госпиталь. Люська прокрадывалась через черный ход. Там пахло хлоркой. Сегодня какая палата? Вчера была шестнадцатая, значит, сегодня семнадцатая, второй этаж.

Она открывала дверь и слышала возгласы:

– Артистка пришла!

– Садись, доченька!

– На-ка, кисельку сперва похлебай...

Люська садилась на пустую кровать и говорила:

– Ну вот, значит. Я вам какое рассказывала? «В шесть часов вечера после войны»? Теперь, значит, «Сестра его двоюродного». В общем, так...

И начиналось кино. Она его пересказывала в лицах, куплеты пела, плясала и сцены изображала в действии, ловко прыгая между кроватями и тумбочками. Когда, пробившись сквозь толпу в дверях, входила санитарка и объявляла мертвый час или обход врачей, палата упрашивала:

– Не шуми, тетка Нюша, пушай она до конца расскажет!

Санитарка и сама садилась, слушала и смеялась, а после опять спохватывалась:

– С ума сошли! Она же без халата! А ну, марш отсюда!

Люська поправляла юбку и, не простившись, убежала.

– Когда придешь, артистка? – неслоь вслед.

– Может быть, завтра, а может, никогда...

Больше всего ей нравилось, как голодные мужчины на нее смотрят, и поэтому она возвращалась. Но приставать к ней из-за ее малолетства не решались. Да и палаты были с тяжелоранеными.

Раз Люська чуть не заговорила с матерью про школу. Представила, что сделает мать. Она отодвинет тарелку, будет хмуро молчать, а после скажет:

– Вот спасибо тебе, доченька! Отблагодарила нас с отцом за то, что всю жизнь спину на тебя гнули!..

И будет прикладывать к глазам передник. Мать устала, и ни к чему ей забот прибавлять.

В понедельник, после каникул, Люська, как обычно, взяла портфель и отправилась как бы в школу. Погуляла по улицам до десяти, а в десять начинался первый киносеанс. Она взяла самый дешевый билет и уселась в середине восьмого ряда, на свое привычное место. Зрителей было мало, в основном ребята из второй смены. А кино очень интересное.

Вернулась она днем, как обычно. Олег учился во вторую смену; он был занят своими делами, и Люська, молча поев, побежала на соседнюю улицу. Двадцать третья палата, второй этаж.

– Красотка наша тут!..

Во вторник, чтобы полегче было, выложила она книжки и отправилась с пустым портфелем. Олег ничего не заметил, а мать и подавно. Деньги, которые мать дала им обоим на каникулы, она уже потратила свои и Олеговы. Больше не осталось, а без денег в кино не попадешь.

Люська заглянула к Марине, материной подруге, занять у нее рубль. Марина раньше работала в тресте, вместе с матерью, а как замуж вышла, перешла в управление торговли. Люська сразу заметила, что у Марины животик округлился и платье в талии натянулось. Марина перестала крутить арифмометр, сразу вынула из сумки три рубля и тут заметила в Люське перемену.

– А ну, выкладывай! Чего у тебя происходит?

Стоит ли Марине рассказывать, неизвестно. Но слезы сами собой показались. И вообще Марина умная и практичная. Не передаст матери, это уж точно. Арифмометры в управлении трещат – никто посторонний ничего не услышит.

Марина не удивилась, услышав об исключении из школы, прижала Люську к себе, погладила по голове, пожалела:

– Горюшко! Ведь пятнадцать уже, а нескладеха. Нравится кто?

Марина отстранила Люську и оглядела внимательно с головы до ног.

Девочка пожала плечами.

– Да ты не стесняйся! В твоём возрасте все бывает. На что деньги берешь?

– На кино.

– И не надоело? Кино, кино!.. Работать тебе надо, милая. Я вот об институте мечтала, а даже техникума не кончила.

– Тебе хорошо, ты замужем! – вырвалось у Люськи.

– Не завидуй! Приходится вокруг мужа день и ночь ходить. Муж, как конь: его надо кормить, поить, мыть, чистить, прибирать за ним, и тогда семейная телега едет. А у тебя времени хоть отбавляй. Работать пойдешь, так тебе путь никуда не отрезан, сможешь и доучиться. Если, конечно, поумнеешь. А если нет, и так сойдет. В общем, после войны виднее будет.

– У-у-у, до этого еще дожить надо, – повторила Люська чужие слова.

– Делать-то что любишь? Чего молчишь? Одни хиханьки в уме? Послушай-ка, у Левушки моего есть в Кинопрокате знакомый. Епишкин его зовут, но мужик серьезный. Попрошу Левушку поговорить с ним, может, пристроят тебя... А сейчас ступай отсюда, мне дела делать надо. И не реви, уладится. С матерью сама поговорю, чтобы не очень на тебя наваливалась. Это лучше, чем она сама случайно узнает, так?

Люська кивнула, три рубля за лифчик спрятала и убежала.

Не забыла Марина. У матери вытянула слово, что та пить не станет. Пускай Люська работать идет, тебе же подспорье. В среду Люська зашла к Марине попросить еще денег. Но та денег больше не дала.

– Нету у меня: все свекровь забирает для учета. Зато есть новость. Кинотеатр «Аврора» знаешь? Войдешь, скажешь, мол, к директору. Тому объясни: я, мол, от Епишкина. Не перепутаешь? Им билетерша нужна.

– Билетерша?

– А ты, милая, кем же предполагала? Чарли Чаплином? Иди, иди! Работа не пыльная. Билеты проверила, и отдыхай себе, в носу ковырай...

– И кино смотреть можно?

– Да хоть целый день! Не возьмут – тогда приходи, еще подумаем.

В четверг погуляла бывшая восьмиклассница около «Авторы», огляделась. Стены кино были обшарпанные, только с фасада голубой краской покрашены. У входа мальчишки семечки лузгают. Окошко кассы на улице, в нем кассирша дремлет. Билетерша Люську к директору пропустила и с любопытством посмотрела вслед.

В дверь, на которой написано «Директор кинотеатра», Люська постучала робко. Никто не откликнулся, и она вошла.

Директору было на вид лет сорок. Он сидел за столом в коричневом костюме и при галстуке. На Люську директор не глядел, разговаривал по телефону. Долго он говорил, смеялся, наконец скосил на нее глаза.

А была Люська в самодельной черной юбке с разрезом и блузке из кружев, которую ей Марина подарила, потому что самой стала мала. Брови Люська слегка подкрасила, колечко от волос отделила и загнула под глазом, как в довоенном журнале.

Директор положил трубку.

– Ну, чего?

Люська объяснила.

– А лет?

– Семнадцать, – прибавила себе два годика Люська.

Мала для такой работы, прикинул директор, солидности не хватает, а так вроде ничего. Авось справится. И потом Епишкин звонил, можно считать указание дал.

Поставили Люську Немец у входа. Пожилая билетерша Фаина Семеновна стала ей показывать, как проверить и оторвать контрольный корешок от билета, изобразила, как без билета лезут, а бывает, число подделают или сеанс. Сама Фаина Семеновна появилась в «Авроре» недавно. Пошла она работать, как только мужа у нее загребли на фронт. Но уже вполне освоилась и, по сравнению с Люськой, чувствовала себя большой начальницей.

– В случае чего, Люся, – учила она, – кричи милиционера, но поста не оставляй. Пускай лучше один хам прорвется, чем орава. Это же государственные деньги, понимать надо!

Люська поняла. Билеты она научилась проверять и отрывать быстро, только руки мелькают. Народ прёт, особенно перед самым началом сеанса. Никому до тебя нет дела, скорей бы протиснуться. Все опаздывают, а билетерша одна. Она хозяйка, она командует, и спорить с ней нельзя.

– Проходите, быстрее, не задерживайтесь!

Зрители подчиняются, бегут в зал.

– Вы спутали сеанс, гражданин. Вам на следующий!

И здоровенный дядечка, виновато бормоча оправдания, пятится назад. Ну, а вздумали бы ее не слушаться, что ей тогда одной против толпы делать? Об этом лучше не думать.

Среди зрителей иногда попадались ее бывшие одноклассники. Они удивлялись, подмигивали. Один раз Бомба, Люськина классная, в кино приходила. Остановилась, загородив могучим торсом весь проход, и заявляет:

– Ну, чего ты тут, Немец, стоишь столбом? Иди в школу, покаяйся завучу...

Люська только улыбалась:

– Чего я у вашего завуча забыла? Мне и здесь хорошо!

Настало пыльное лето, потом осень с дождями пришла, и Люська, стало быть, в билетершах приработалась. В госпиталь она бегала теперь не каждый день, но только когда работала в утреннюю смену, да и то все реже. За день Люська так уставала стоять на одном месте, что в палате пересказывала раненым фильмы, сидя на кровати, и не танцевала, как раньше. Зато больше картин знала теперь наизусть.

На дневных сеансах народу было мало. Мальчишек-первачков она сама, бывало, подзывала и потихоньку пропускала без билета. А когда приходил Олег, строго требовала, чтобы брат билет купил. Пускай знает, что Люська спуску не даст.

Директор в зале сидеть не разрешал, велел дежурить у входа. Но он приходил поздно, а уходил рано. И едва начинался сеанс, Люська быстренько задвигала тяжелый засов на двери и пробиралась в зал.

Смотрела она все фильмы подряд, и ей это не надоедало. Была у нее записная книжечка. На каждой странице сверху написано название фильма, а под ним крестики. Посмотрит картину – еще крестик. Этот фильм Люська видела семнадцать раз, тот двадцать четыре, а некоторые только девять или семь. Она знала всех артистов в лицо и по фамилиям. Наших, довоенных и новых, и английских, и американских. Она бы узнала любого актера, встретиться он ей на улице. Но нашим артистам у них в городке делать было нечего. Американским и английским – и подавно.

Иногда директор, проходя мимо деловой походкой, кратко приказывал:

– Зайди в кабинет!

Он велел ей закрыть дверь, сесть, спрашивал ее, как осваивается, чего нужно.

– Нужно для чего? – недоумевала Люська.

– Ну, мало ли... Допустим, для ускорения отрыва билетов, – засмеялся он.

Разглядывал он ее внимательно, прямо-таки гипнотизировал, но ничего такого не позволял. Велел ей подметать у входа после сеанса, чтобы предприятие было образцовым на случай ревизии. Один раз директор открыл ящик стола и положил конфету, какой Люська не видела целую вечность.

– Это премия за хорошую работу.

Он поднялся из-за стола, прошел к двери и запер ее на ключ.

– А вот это зря, – сразу отрезала Люська.

– Почему же зря? – удивился он. – Поцелуемся, только и делов...

Директор положил ей руку на плечо, пальцы сжал и притянул к себе. Люська напряглась и оттолкнула его.

– Нет уж, вы сперва меня выпустите и сами тут целуйтесь! А то я кричать начну.

– Ух ты, какая нервная, – сказал он. – Да я ведь пошутил...

Он и после иногда так шутил, но осторожно, даже, пожалуй, обходительно. А может, просто не спешил...

Запоздала однажды Люська к началу второй смены. Фаина Семеновна свою вахту отстояла и ушла. Директор лично топтался у входа и проверял билеты, пока Люська не появилась. Она думала, будет нагоняй, а директор указательным пальцем ей по щеке провел и ушел.

Люська точно запомнила этот день, потому что после, проверяя билеты, чувствовала на себе чей-то пристальный взгляд. Бывало, директор выходил из кабинета, следил, как она проверяет билеты, и опять скрывался за дверь. Но тут она оглянулась осторожно – в фойе директора нету. Народу на улице у кассы много, особенно ребятишек. Когда сеанс начался и касса закрылась, а все опоздавшие пробежали и Люська уже задвигала засов на двери, она наконец догадалась.

Неподалеку от входа стоял солдатик на одном костыле, без ноги. Белобрысая челка торчала на лбу. Наверно, зачесывал назад и не получилось. Он был ушастый, как теленок. В ватничке поверх нижней рубашки и в галифе. Значит, из госпиталя удрал. Прислонился солдатик к стене кинотеатра, обхватив костыль длинными руками, и неотрывно глядел на нее. А стоило Люське обернуться – тотчас отворачивался, будто расписывание сеансов в витрине изучал.

Лицо его показалось Люське знакомым. Он в «Аврору» давно приходит. Чего ему надо, этому одноногому? Не иначе как в кино хочет попасть, а денег нету. Известно, как сильно хочется в кино именно тогда, когда нету денег. Люська поманила его пальцем. Солдат отвернулся и быстро заковылял по тротуару прочь. Дурачок! Ему же лучше думала сделать...

На следующий день солдатика не было, а через день он на своем костыле стоял на том же месте. Она его заметила перед двухчасовым сеансом. Но когда Люська его позвала – опять удрал. Ловко он с костылем управлялся.

Что-то она поняла, но засмеялась принужденно и, поведя плечами, сделала вид, будто ей абсолютно ничего не понятно. К ней часто приставали, и она слышала разные слова за спиной. А ему ничего от нее не нужно. Смотрит только. Даже не заговорит. Смотреть можно, пожалуйста. Но чего в ней особенного? Вон на улице какие шикарные красотки ходят! Загляденье! И одеты с иголочки, несмотря на войну, бери любую, – ту за деньги, эту даром. Куда Люське до них в ношеном да перешитом десять раз!

Через день солдатик опять маячил на улице возле окошка кассы, рассматривал расписание сеансов. Пропустив зрителей, Люська выбрала паузу, подкралась к солдату тихо, так что удрать он не успел, и ухватила рукой за его костыль.

– Хочешь в кино? Говори – хочешь?.. Да я без денег проведу. Подожди!

Парень вздрогнул, покраснел и стал смотреть себе на пыльный сапог.

Когда журнал начался, билетерша оглянулась и поманила его. Теленок заморгал. Она была худющая, маленькая, а он на полголовы выше и года на два старше. Она ввела его в фойе и заперла дверь на засов. В зал она засеменила впереди него, а он ковылял за ней, ни на шаг не отставая.

Фильм давали невероятно популярный, народу набилось полно. Люська посадила солдатика на свой стул, а себе принесла табуретку из фойе. Она, если верить ее записной книжке, уже сорок два раза видела «Жди меня». И теперь, смотря в сорок третий раз, заранее улыбалась в смешных местах и, чуть шевеля губами, произносила все, что за ней послушно повторяли герои и героини.

Она чувствовала, что парень смотрит на нее, а не на экран. Люська слегка косила глазами, и солдат тотчас отворачивался. Перед самым концом фильма она побежала открывать двери. Парень вышел последним и остановился.

– Пока! – сказала она.

Он не ответил и с места не сдвинулся.



– Между прочим, меня Люсей звать.

– А я Нефёдов.

– До свидания, Нефёдов. Между прочим, я завтра в первую смену. Последний сеанс в два часа.

Солдатик кивнул и заковылял прочь. Она не стала смотреть ему вслед, закрыла за ним тяжелую дверь и задвинула засов.

Назавтра Нефёдов пришел к двум. И Люська провела его в зал. Наблюдать за тем, как он смотрит, было интересно. То он замрет, то на губах блуждает робкая улыбка, а то вдруг глаза становятся испуганными. Она помнила, что дальше на экране произойдет, и старалась угадать, как он отнесется. Она показывала ему свой фильм и переживала.

Он был не такой, как другие, этот Нефёдов. Словам других она не верила ни на грош, а тому, что сказал бы он, – да, поверила бы. Но он все время молчал. Только то и дело забывал про кино и смотрел на Люську, пока она не напускала на себя сердитость.

Ее смена кончилась. На четырехчасовой сеанс проверяла билеты Фаина Семеновна. Люська вышла с Нефёдовым. У выхода ее тронул за локоть директор.

– Зайди ко мне, – тихо сказал он.

Люськина рука лежала на костыле Нефёдова, и солдат сжимал ей пальцы. Она освободила руку и убежала, ничего ему не сказав.

Фаина Семеновна, мимо которой она прошла, покачала головой и сделала большие глаза. Директор пропустил Люську в кабинет, закурил, красиво пускал дым и молчал. Она ждала, сложив руки на груди. Он прикрыл дверь, усмехнулся.

– Не бойсь, запирать не буду.

– А я и не боюсь.

– Давно этим занимаешься?

– Чем? – не поняла она.

– Не прикидывайся, я ведь по-хорошему. Пропускаешь, а деньги в карман. Кого ни найми, все вы одинаковые.

Она молчала.

– Хорошо, что не отпираешься. Я все видел. Стоял сзади и видел.

Директор поднялся из-за стола, протопал из угла в угол кабинета, почти задев Люську плечом.

– Ну, провела, – сказала она. – И что же?..

– Государство обманываешь, не меня, Люся немец, – сухо заметил он. – Товарища Сталина обманываешь. А еще с рекомендацией от Епишкина. И в зале сидишь, уходишь с поста. Я ведь не раз указывал... Делиться когда будешь? Половину надо отдавать. Я ведь не для себя – для Проката.

– Не брала я денег!

Удержаться, чтобы не плакать, Люська училась с детства. И хотя это не всегда получалось, на этот раз она не заплакала. Это было бы совсем ни к чему.

– Садись, – приказал директор, вдруг все решив. – На мое место садись.

Она послушно села в кресло. В нем свободно могла уместиться еще такая же девчонка, как она. Он подошел сзади, погладил ее по шее, потом рука его скользнула ей на грудь. Она вскочила, отбежала.

– Значит, не хочешь у нас работать? Противишься руководству. Ладно! Стало быть, вынь в правом ящике бумагу. Пиши! Так, пиши: «Директору кинотеатра «Аврора». Написала?.. Пиши дальше: «Заявление. Прошу меня уволить по собственному желанию». Так... теперь ставь подпись. Можешь жаловаться в Прокат, но не советую.

– Подумаешь, даже лучше!

Люська облизала палец, вымазанный в чернилах, повела плечом и вышла, не попрощавшись.

Тротуар был скользкий. Она поежилась от белых хлопьев, нехотя падающих на нее. Шел первый снег в эту осень. Нефёдов терпеливо стоял у афиши, опершись о костыль, ждал ее.

– Уволили, – сказала Люська.

Он взял ее руку, держал и молчал. Ему хотелось ее утешить, помочь ей, но он не знал, как это сделать. Хотел снять ватник, чтобы укрыть ее от снега, и застеснялся.

– Знаешь чего? – сказал Нефёдов. – Айда в госпиталь...

– Зачем?

– Там тепло.

– Ты вообще-то из какой палаты?

– Из седьмой я...

– Из седьмой? Туда я не хожу. Я только к тяжелым, которые не могут встать. А ты выздоравливающий...

– Пойдем к нам. Главврача я упрошу – он тебя санитаркой возьмет. Целый день будем видеться.

– Чудак ты, Нефёдов! – она ласково на него посмотрела. – Да если я туда санитаркой пойду, все ко мне целыми ротами приставать будут, а ты будешь смотреть.

– Пускай только попробуют! Я костылем так врежу, что враз отвяжутся.

– Как будто у них своих костылей нет... Ну, ладно, мне домой пора, мать с ума сойдет.

Люське хотелось остаться одной. Она дрожала – то ли от холода и сырости, то ли от усталости.

– А завтра? – спросил он, глядя на нее испуганными глазами. – Завтра придешь? Придешь завтра?..

Она чуть заметно повела плечами и убежала.

Директор «Авроры» открыл окно, отодвинул занавеску, вдохнул сырой воздух. Два силуэта привлекли его внимание, и он сразу узнал их. На углу, возле входа в его кинотеатр, уволенная билетерша рассталась с одноногим безбилетником.

## НЕФЁДОВ И НЕФЁДОВА

С некоторых пор мать стала присматриваться к Люське внимательнее.

Люська чувствовала, что мать ею недовольна. Не бранит ее, конечно, осторожничает, знает ведь, что дочь огрызнется. Но и не так ласкова мать, как прежде. У Олега, так у того все на лице написано, а у Люськи теперь тайны. Видно, что мать расспросить порывается. То и дело очень хочет спросить и о том, и о сем, но удерживается, потому что Люська молчит, и что происходит, не понять.

Люська влюбилась, как же. Вот смеху-то! Ну, допустим. Допустим, влюбилась. Матери, которая уже навоображала в голове с три короба, что тоже понятно, на всякий случай хочется предостеречь, и она говорит как бы нейтрально:

– Смотри, доченька, не наделай глупостей!

– Да о чем ты, ма? Чепуха какая!

Люська заранее знает все, что мать ей скажет. Ну чего она может ей посоветовать?

– Осторожно, Люся, веди себя. Ты еще неопытная, сейчас, знаешь, какие люди стали? Война все человеческое повытравила, а все животное повылезало. Если что, отец мне не простит.

У матери-то все просто было, а тут... Но уж если ты, мать, считаешь, что твоя дочь душой растет, так раньше надо было беспокоиться. А теперь поезд ушел. Мало ли чего тебе в голову лезет! Теперь дочь, можно считать, взрослая, хоть ты ее и

числишь несмысленным. А раз взрослая, может и личные тайны иметь. И потом, война войной, а жизнь-то проходит, как песок между пальцев.

Хочется матери его увидеть. Можно подумать, она сразу разберется, хороший он или плохой. А зачем ей его видеть, если дочь сама еще не понимает. Настроишься слишком серьезно, а потом поссоримся. Мать обязательно сразу заметит:

– Вот-вот! Предвидела ведь. Так и вышло.

Стало быть, гораздо удобнее, если мать ничего не знает, ведь тогда и предвидеть ей нечего. Сперва Люська сама разберется. А ты спи себе спокойно, дорогой товарищ мать, на улице вечером по двадцать раз встречать не выбегай. Ну, а хочешь попусту нервы тратить – беспокойся на здоровье, если считаешь, что дочь у тебя дебилочка.

Люське ясно, конечно, почему мать беспокоится. Пришла она недавно домой вечером, а Олег – кто его за язык тянет? – говорит:

– Всё знаю! Я тебя возле госпиталя видел! На скамейке обнималась – с одноногим.

– Знаешь, Немец, и молчи! Не твое дело!

Происходящее его, Олега, совершенно не касается: хоть он и брат, но младший. Олег обиделся.

– Думаешь, не понимаю? Сам знаю, что не мое дело. Просто тебя с одноногим видел, и все! Он что – твой жених?

– Не зови его одноногим! У него, между прочим, имя есть: Нефёдов он.

– Пускай Нефёдов. Мне все равно. Да ты не бойся, я матери ничего не сказал.

– Я и не боюсь.

– И не бойся! Только... Мать-то думает, что это не Нефёдов. Она беспокоится, что это Косой за тобой ударяет.

– Она что – ненормальная?

– Нормальная! Косой же приходил – она видела. Косого она возле нашего дома видела, а Нефёдова – нет.

– Косого я сразу прогнала. Велела, чтобы он на глаза мне не появлялся.

– Дура ты! Мало ли что велела... Так он тебя и послушает! Я теперь из школы домой боюсь ходить. Их много, они знаешь что у плотины творят?..

Дела шайки Косого у плотины известны были всему городу. Люська знала еще побольше Олега, потому что ей Косой кое-чем похвалялся.

Начал он приставать к Люське, еще когда она в кино билетершей работала. Люська с ним старалась не болтать и на работе его не очень боялась: народу там кругом полно, по вечерам милиционер дежурит, и военный патруль норовит в кино время скоротать. Но Косой выжидал, когда никого не будет, останавливался возле Люськи и говорил всякие глупости насчет ее прелестей. Да еще руками норовил ее ухватить. Люська кричала:

– А ну, убери руки!

Тут обычно люди с билетами подваливали, и Косой исчезал, разве что глазами зыркал и злобно цедил что-то сквозь зубы.

Вскоре Люську выгнали из кино.

Раз она из госпиталя возвращалась, уже когда ее санитаркой туда временно на подмену взяли, – без денег, но за питание. Она издали усмотрела, что вся шайка Косого толчется на плотине у ларька с надписью «Мороженое». У них проволочные крючки – за везы сзади цепляться на коньках и по замерзшим колеям ехать. Они мальчишек подкарауливают и крючками за валенки цепляют. Упавшего подтаскивают к забору, окружают компанией и срезают коньки. А если сопротивляешься – еще и бьют, а коньки продают на рынке. Ребята плачут, а дружки Косого над ними издеваются.

Бежит Люська домой быстро, задыхаясь, уже и холода не чувствует, и темноты не замечает, остался страх один. Обойти бы эту компанию стороной, да вокруг пути нету: одна единственная дорога через плотину. И снег, как на зло, хрустит под ногами от мороза. Может, надеется Люська, в темноте не заметят. Но маленький парнишка, которого они Шкаликком зовут, всегда за Косым ходит как тень, все ему доносит и служит на побегушках. Косой эту свою шестерку уже в «Аврору» к Люське подсылал. И Шкалик подбегал к ней и шептал:

– Косой велит тебе, Люська, после работы подойти к заднему выходу из кино, там, где помойка и где он, Косой, лично тебя будет ожидать. Не придешь – тебе же хуже.

Тогда Люська от Шкалика отвернулась, даже ответом не удостоила.

А тут, на плотине, она сразу, как их увидела, хромать начала. Думает, буду идти хромая, в темноте не узнают, и приставать не будут: ну, кому хромая да убогая девушка нужна? Пошла она, ковыляя изо всех сил, но не тут-то было. Шкалик первым ее высмотрел, возле самых ее ног дорогу для проверки перебежал и – прямо к Косому с важным сообщением. Привстал на цыпочки и тому на ухо про Люську. А Люська бежит, хромая на одну ногу, ни жива ни мертва.

Косой шлепнул Шкалика по голове и сразу побежал наперерез. Люське деваться некуда. Остановилась она в растерянности, не зная, куда податься. Он подошел вплотную и стал ее разглядывать.

– Ты, – спрашивает Косой, – разве не ко мне шла?

– Нет, – отвечает она, – не к тебе.

– Неправильно, Люся, поступаешь. Зачем хромой прикидываешься? Тебе это не идет. Ты мной лучше не брезгуй!

– Это почему же?

– Потому что я тобой интересуюсь. А ты мимо бегёшь. Боишься кого что ли?

– Боюсь.

– А ты не бойся. Пока я на воле, тебя никто не тронет, кроме меня, поняла? Пойдем, я с тобой до дому проследую, чтобы все видели, что ты моя краля.

– Я не твоя!

– А будешь моя. У меня как раз в данный момент подруги нету. Вакансия.

И хватает Люську за талию, поворачивает и толкает с дороги в сторону. Был бы с ней сейчас отец, подумала она, он бы защитил, что-нибудь сделал, не позволил бы так с ней поступать. Люська, надеясь отделаться от Косого, идет быстрыми шагами, а он рядом топает, ни на шаг не отставая.

– Ты, – говорит, – Люся, отчего хмурая? Может, голодная? Не стесняйся. Завтра приходи на плотину, я тебя хлебом обеспечу. В шесть часов фургон из пекарни в магазин едет. Ну, мы шутим маленько. Вскрываем его на ходу и несколько буханок выкидываем.

– А если поймают?

– Поймают – срок дадут. Хе-хе! А может, отобьемся. Ножички у нас – сталь хорошая. Немецкая сталь, трофейная. Ну,

а поймают разом – там питание казенное... Приходи, краля, хлеба дадим.

– Нет, – говорит Люська, – не приду.

– Придешь! – говорит Косой. – Никуда не денешься. А не придешь завтра – пеняй на себя.

Он вдруг притопнул ногой и запел звонким и чистым голосом:

*– Милый мой, а я твоя,  
Куда хошь девай меня,  
Хочешь, в карты проиграй,  
Хошь, товарищам отдай!  
Ух!..*

Довел он Люську до дому, а тут, с крыльца, мать навстречу: не выдержала – отправилась дочку встречать. Косой к забору отошел, но мать его все равно заметила. Взяла она Люську под руку и домой отвела. Дома ничего не стала спрашивать, только кровать ей постелила.

Очень Люська стала бояться. И не за себя только – за брата. Косой не из тех, кто просто так отступается. А Олегу из школы во вторую смену потемну домой добираться. Поколебавшись, решила Люська пойти его встречать.

Наверное, Шкалик ее еще по дороге туда приметил. На обратном пути из школы Олег вдруг остановился и Люське кивком головы указал:

– Вот они, вся компания. Нас поджидают. Зачем ты только за мной пошла?

Едва они поравнялись, Олега за рукав в сторону потянули. Люська им кричит:

– Не трогайте его, он же маленький!

– Его и не трогает никто, – вмешался Косой и приказал. – Отпустите!

Они руки разжали. Косой пнул Олега ногой и процедил сквозь зубы:

– Беги отсюда, чтоб я тебя не видел. Ну, кому сказано?

Не уходил Олег, стоял, потому что Косой не отпускал Люську, не давал ей пройти, руки расставил.

– Оставайся, краля, с нами. Неужели не поняла?



– Пусти меня! – она попыталась вырваться из кольца, плотно их окружавшего.

От Косого несло самогоном. Он схватил Люську обеими руками за края воротника и так рванул пальто, что все пуговицы посыпались. Косой оскалил зубы и вдруг набросился на Люську. Повалив на снег, он вытащил нож и, прижав лезвие к ее горлу, стал обшаривать ее другой рукой. Стоявшие вокруг похохатывали, присвистывали, подбадривали Косого. Люська уворачивалась, защищая то одну свою часть, то другую, закричала, но кто-то содрал с нее вязаную шапочку и в рот ей засунул. Она изо всех сил отталкивала Косого, и тогда руки ей развели его приятели и ногами к земле придавили.

Олег пролез между ног у стоявших вокруг них и, ухватив Косого за ногу, укусил. Косой матюгнулся и лягнул его ботинком в пах так, что Олег откатился и некоторое время лежал без сознания, не чувствовал даже, как его били ногами другие.

Косой справился с Люськой, но она так хрипела и извивалась, что всё у него получилось быстро и нелепо. Тогда он полуподнялся, стоя на коленях у нее в ногах, угомонился, даже вынул шапочку у нее изо рта и помог ей подняться. Она всхлипывала и прикрывала руками полы пальто, хотя холода не чувствовала. Приятели его молчали, ждали, что будет делать атаман.

– Пустите ее, – хмуро рявкнул Косой, застегивая штаны. Люську трясло, и она еле стояла на ногах.

– Сама же виновата, дура, – Косой теперь размяк, и ему хотелось поговорить, а может, оправдаться. – Буханочку дать? Свеженькая. Братана накормишь, и мать тоже...

Она не отвечала, закрывая лицо ладонями. Только отрицательно мотнула головой. Кольцо его приятелей раздвинулось, давая ей пройти.

– Интересно получается! – продолжал он. – Не хочет хлеба, видали? Гордая ты больно, но это мы обломаем. Вот что: завтра в шесть часов придешь к «Авроре». Желаю с тобой прошвырнуться на киносеанс, ясно? Пугать не буду, ты меня знаешь. А сейчас ступай, краля, – вон братан твой скучает.

Олег сидел на снегу и тоже не то плакал, не то подвывал. Губа у него была разбита.

– Ты живой? – она помогла ему подняться.

Косой поглядел на них и, сплюнув, прибавил:

– Шкалик, а ну проводи их до дому до хаты, чтобы чужие случаем не забили.

Шкалик послушно потащился сзади Люськи с Олегом. Они брели молча, словом не обмолвившись, и Шкалик семенил за ними, как послушная собачонка. Довел их до самого дома и убежал.

Погляделась Люська в зеркало: на шее у нее немного кровоточила полоска, оставленная ножом. Люська про себя твердо решила ничего не говорить матери и с Нефёдовым больше не встречаться, раз она теперь такая испорченная. Но как дальше жить, не ясно. Жизнь у Люськи отняли, она бы повесилась, но мужества на это не хватило.

Утром, когда мать убежала на работу, Олег вдруг, собираясь в школу, спрашивает:

– А ты Нефёдову скажешь, как Косой к тебе приставал?

Она растерялась.

– Только не вздумай, – отвечает она, – пойти жаловаться Нефёдову. Стыдно это. Он после ранения, ходит на костыле, а у них ножи. Я вообще его видеть не хочу!

– Значит, боишься за него?

– Боюсь!

– Видеть не хочешь, но беспокоишься. А за себя, значит, не боишься?

– Тоже боюсь, но...

Что «но», она не знала.

Олег убежал в школу, а когда вернулся, Люська поняла, что брат хитрит.

– Знаешь, Люсь, надо вечером пойти к «Авроре».

– Еще чего не хватало!

– Надо и все! Нету другого выхода. Если не пойдешь, они все равно тебя потом опять поймают и будут мучать. Иди к «Авроре» в шесть.

– Ты что, к Нефёдову ходил?

– Неважно, ходил или нет, – сказал он степенно, – но Нефёдов сказал, надо прийти.

Долго Олег молчать не мог, и постепенно Люська от него выведала, что братец ее два урока прогулял, потому что бегал в госпиталь. Его туда не пустили, и тогда он издали, через

окно, высмотрел Нефёдова в палате, вызвал его во двор и там все ему выложил.

– Ну, не всё, – поправился Олег. – Всё ты ему сама рассказывай, если хочешь...

Еще Люська узнала, что Нефёдов долго молчал, выслушав Олега, и сказал, что он это дело до вечера обмозгует, но так или иначе ровно в шесть вечера будет у кино, и чтобы Люська не опаздывала. И Нефёдов прибавил, чтобы Олег не приходил, глаз Косому не мозолил и не мешался. А то все можно испортить.

Люська весь день просидела дома и проплакала, а к вечеру смирилась и решила: пусть будет, что будет, а пойти – она все-таки пойдет. Олег прав, нельзя ей не пойти. Иначе – получится, что Нефёдов будет ее ждать, и выйдет, что она его обманула. Так она себя уговорила, а под конец надумала, что она должна выложить Нефёдову про все, что случилось, и потом с ним попрощаться. Про Косого она старалась не думать. Она даже причесываться как следует не стала, не то что брови и ресницы подводить, что ей шло. И пудру материну почти не брала, а уж о губах и говорить нечего, что не подкрасила. Только царاپину на шее попыталась, как отец когда-то говорил, заретушировать. К пальтишку другие пуговицы пришла, закуталась в платок шерстяной, на самый нос его натянула, вздохнула тяжело да пошла.

Приближаясь осторожно к кино, Люська издали увидела: неподалеку от кассы Нефёдов в своем военном ватничке маячит. В одной руке костыль, другой рукой железные перила обхватил, – так ему легче стоять на одной ноге. Перила эти возле кассы поставили, чтобы без очереди за билетами не лезли. Стоит Нефёдов и расписание сеансов изучает. Люська подошла к нему, и глаза у нее сами собой слезами набухли. Глядят они друг на друга, только железные перила их разделяют.

– Что это у тебя, Люся? – спрашивает Нефёдов и кладет ей руку на шею.

– Так... – захлопала мокрыми ресницами она. – Вчера ножом... порезалась, когда картошку чистила...

– Ясненько, – говорит Нефёдов. – Не плачь, Люся, и никого не бойся. Я с тобой.

Осталось Люське лишь невольно улыбнуться сквозь слезы. Да ведь она маленькая и то здоровей Нефёдова, а он говорит, не бойся.

Тут Косой показался. Приостановился, курнул папироску два раза, дал курнуть Шкалику, который позади него, как хвост, и прямым ходом к Люське.

– Здрассте, – говорит. – Пришла, краля? Я и не сумлевался...

И руку протянув, хочет схватить Люську за локоть. Но не успел он. Нефёдов мгновенно подлез под железные перила и между Люськой и Косым костыль свой поставил.

– Пойдем, Люся, – жестко сказал он, игнорируя Косого, – нам с тобой в кино пора. Некогда с посторонними разговаривать, а то опоздаем... Билеты уже куплены.

Косой отодвигает костыль, Люськину руку отпускает, сжимает пальцами плечо солдату и бурчит ему в ухо:

– Слушай, ты, красная армия! Ползи отсюда, пока я тебе кишки не вспорол...

Но вокруг народ, и милиционер, который Люську знает с тех времен, когда она тут работала, скучает в двух шагах от них и Люське улыбается.

Берет Нефёдов Люську под руку и, стуча костылем об лед, посыпанный возле входа песком, тянет ее к двери в кино. А Косой плетется позади и, видимо, соображает, где и когда ему этого хромого солдатику убрать с дороги. Люська послушно идет с Нефёдовым, но едва дышит и думает даже, что, может, ей остановиться, чтобы Нефёдов ушел в кино один: ведь что с ним Косой сделает – это представить страшно.

– «Сердца четырех» идет... Ты, небось, этот фильм видела? – спрашивает между тем Нефёдов.

– Я все фильмы видела, – скромно отвечает Люська, едва шевеля губами.

Нефёдов вталкивает Люську в фойе, протягивая билетерше Фаине Семеновне билеты, а Люська с ней здоровается. Косой со Шкаликом бросаются за ними, а билетов у них нет. Билетерша реагирует немедленно и строго:

– Ваш билет, гражданин! Нету? Тогда куда ж вы прете да еще с ребенком?

Косой сует билетерше купюру, а она его руку отталкивает:

– Идите на здоровье в кассу!

Потому что директор стоит у своего кабинета и следит за происходящим.

В зале смеркается: механик свет реостатом медленно гасит. Люська надеется, что сейчас фильм начнется и Косой их в темном зале не найдет. Но не успели они до своих мест пройти – она видит, что Косой, купив билеты, к ним проталкивается. Нефёдов с Люськой по проходу вдвоем на одном костыле и трех ногах ковыляют, а он на своих здоровых двух – за ними. Но все-таки они уже пробираются к своим местам.

Люська помогает Нефёдову сесть, костыль у него, как всегда, берет, а у самой сердце в пятки ушло. Киножурнал начался. Музыка бодрая звучит, и показывают, как советские войска Варшаву берут и как фашисты драпают. Косой в темноте по ряду продирается, добрался до них, но мест свободных рядом нет. Шкалик в проходе сел на пол и фильм смотрит.

Косой запыхался, сопит и говорит Нефёдову:

– Эй, ты, красная армия! Вот тебе, падло, мой билет и ступай отседова на мое место, а здесь я посижу.

Нефёдов голову подвинул, чтобы Косой ему экран не загоразживал, и отвечает холодно:

– Спасибо, но мне и тут неплохо. Так что иди, парень, на свое место и не застилай своим телом кино.

И рукой отодвигает Косого в сторону. Сзади из зала Косому кричат, что он экран загоразживает и смотреть взятие Варшавы мешает.

В гневе Косой руку нефёдовскую потряхнул с себя и берет его за грудки.

– Кому сказано, вышвыривайся отсюда!

У него аж пена на губах и матерщина, как горох, сыплется. Люська сидит ни жива ни мертва, только локоть Нефёдова от страха сжимает. Нефёдов берет из рук Люськи костыль, упирает подлокотник Косому в подбородок и рывком приподнимает костыль вверх, так что голова Косого откидывается назад. Косой отбивает рукой костыль так, что тот с грохотом летит мимо в проход, а сам лезет за пазуху, и у него в руке оказывается финка.

– Нефёдов! – в отчаянии кричит Люська. – У него нож! нож! нож!..

В эту секунду в ряду перед ними поднимаются два человека и заламывают Косому руки, перегнув его через стулья так, что вот-вот переломят ему спину пополам. С боков поднимаются еще чьи-то руки и мертвой хваткой берут Косого за ноги, чтобы он не мог брыкнуться.

Сзади кричат:

– Безобразие! Сядьте, кина не видно!

Им спереди отвечают:

– Щчас, щчас, товарищи, не волнуйтесь! Один момент и будет порядок...

– Шкалик, – хрипит Косой. – Дуй до плотины, зови ребят, наших бьют!

– Заткнись! – говорит чей-то угрюмый бас.

И слышно, как Косой хрипит. Люська видит, что Косого выносят, и он исчезает в темноте.

Через некоторое время те, кто выносили Косого, вернулись и опять сели впереди Нефедова с Люськой. Один из них протянул назад пятерню и пожал руку Нефёдову.

Услышав крики, прибежала в зал билетерша Фаина Семеновна. Киножурнал остановили и в зале зажгли свет.

– Что здесь происходит, граждане? Почему шум?

За билетершей следом в зал протопали трое в матросских бушлатах с автоматами – военный патруль. Только теперь Люська увидела, что в зале, впереди них и кругом, сидят раненые из госпиталя, одетые кто во что горазд, как могут одеваться только раненые: кто в шинели, кто в ватнике, а кто в одной пижаме. И это в такой мороз-то!

Патрульные прошагали по одному проходу и вернулись к фойе по другому. Убедившись, что все в зале в порядке, они ушли следом за билетершей.

Свет в зале снова погасили, и вместо журнала стали крутить дальше «Сердца четырех». Первый раз в жизни Люська не смотрела на экран и ничего, кроме Нефёдова, не видела. Вспомнила только про костыль, который упал в проход, нагнулась и подняла. Отдала своему стойкому оловянному солдатику костыль, и как-то так получилось, что она сама взяла его под руку.

Нефёдов к ней наклонился, прижал ее руку к пушистой своей щеке и молчал, но руку не отпускал, держал на своей щеке весь фильм. А в конце Люська сказала:

– Слушай, Нефёдов! У меня рука затекла.

Фильм кончился, и в зале загремела веселая песенка. Зрители поднялись со своих мест и двигались по проходам в сторону дверей с надписью «Выход». Вдруг движение застопорилось, в тамбуре перед выходом образовалась толпа, послышались крики, потом стало тихо. Толпа не двигалась, но стояла полукругом, не решаясь идти дальше, на выход.

– Да что там такое? Дайте пройти...

– Двигайтесь, граждане, не задерживайте остальных!

– Куды двигаться-то? Там покойник...

– Где покойник?

– Да вот, прямо тут, у выхода...

– Так милицию надо вызывать. Где милиция?

Люська с Нефёдовым протолкались вперед и раздвинули чьи-то плечи: на полу, возле стены, лежал скорчившись человек. Руки его были связаны сзади, а на голову надет клеенчатый мешок, перетянутый на шее веревкой. Лежавший не двигался и, видно, уже давно задохнулся. Люська сразу сообразила в чем дело, не ахнула, не пикнула, только прижалась грудью к руке Нефёдова. Он поглядел на труп спокойно, даже равнодушно и сказал:

– Пойдем отсюда, Люся. Ничего тут для нас интересного нет.

– Слушай, Нефёдов! – прошептала Люська ему в самое ухо. – Зайдем к нам домой? Я тебя познакомлю с мамой...

Зрители стали потихоньку продвигаться к выходу, боязливо обходя стороной тело, лежащее у стены. Только раненые из госпиталя подталкивали друг друга, выбираясь из зала, и, дымя сигарками, балагурили, будто ничего не произошло.

Через полгода, когда солдат Нефёдов стал студентом пединститута, они с Люськой пошли в очередной раз в кино «Автора», и Люська ему вдруг прошептала:

– Слушай, Нефёдов! Я хочу, чтобы ты на мне женился...

Люська Немец действительно стала Люськой Нефёдовой, но произошло это после войны и не сразу. Потом Нефедовы превратили мать в бабушку, подарив ей двух внучек, таких же белобрысых, как их одноногий отец. Но это совсем другая, сторонняя история, а в этой пора поставить точку.

## ЗЕМНОЙ ШАР НА НИТКЕ

Олег Немец не любит безделушек. С годами накапливается их в квартире множество – сувениров, статуэток, висяюлек разных. Однажды, когда в Америку отбывали, все это пришлось оставить, и, Олег думал, навсегда. Но вот теперь в его двухэтажном доме, где число комнат определить трудно из-за недостаточного количества перегородок, безделушки опять появились, и количество их растет еще быстрее, чем раньше.

Жене они нравятся, и ее руки расставляют везде слоников, собачек и кошек, буддийских божков, мексиканских дракончиков и гавайских человечков из лавы, не говоря уже о русских поделках: матрешках, глиняных зверьках и свистульках, тульских самоварчиках, валдайских колокольчиках, вологодских деревянных игрушках.

Куда бы они с Олегом ни ехали, что-то привозится – благо в любой стране такого товара более чем достаточно. И с новыми экспонатами Нинель переставляет весь антураж наново. Стоят и лежат эти сувениры в доме у Немцев на полках, на столах, на подоконниках, за стеклами в серванте, на тумбочках в спальне, в ваннных и туалетах, – везде мозолят глаза, хоть выбрасывай потихоньку от жены. Олег даже ссорился с ней из-за этого. У современного человека, убеждал он, достаточно воображения, чтобы украшения домославить. Когда заходит разговор на эту тему, он готов всех уверять, что самая уютная комната та, в которой только что побелили потолок и



стены, а мебель вносить не собираются. Мало мебели – много воздуха, есть можно и стоя, а спать на полу.

Говорит так Олег не ради оригинальничания, и не потому, что он аскет. Он действительно не любит лишних вещей. При этом есть одно исключение, которое делает его уязвимым в споре с женой, поэтому она не обижается. Она молча указывает на сервант.

Там у Немца хранится безделушка, которую он бережет. Всю жизнь она с ним. В школу в портфеле носил. В консерваторском общежитии в чемодане под кроватью лежала. Вывез ее в чемодане, и таможенники, когда все вещи выворачивали, эту штуку повертели, ничего в ней не обнаружили и в чемодан обратно швырнули. Сейчас она в серванте за стеклом. Валеша, сын, давным-давно, еще когда маленьким был, привязал к ней ниточку. Висит.

Издали это голубой шарик не больше мяча для игры в пинг-понг. А подойдешь ближе – различаешь материки, океаны, Европа, Африка, вот обе Америки, Австралия. Но лучше шарик рассматривать в лупу – тогда и города видны, и горы, и реки. Вот и Европа наша, с Азией сшитая так, что границы нет. На месте Северной Америки маленькая вмятинка. Словом, маленький глобус. Крутанешь пальцем – он на нитке завертится. Только знать надо, в какую сторону вертеть, чтобы не обидеть старика Коперника.

Шар покрутится, замрет, и тут становится видно, что все же глобус этот странный. Все очертания материков обведены жирной черной полоской, и их хорошо заметно. Точками обозначены и Москва, и Париж, и Лондон, и Пекин, и Вашингтон, и Рио-де-Жанейро. Но нет того, что должно быть на любой карте: нет границ государств. Все материки окрашены одной светло-коричневой краской.

В одном месте, если приглядеться еще пристальней, точка имеется в районе Урала. Точку ту Олег сам нанес. Выцарапал он ее вилкой на память, когда принес глобус домой... Было это в сорок четвертом.

После школы, забросив в окно портфель, Олег в компании ребят со двора забирался в трамвай. Билетов они не брали, а чтобы вагоновожатая их не видела, прилаживались в заднем тамбуре на корточки. Трамвай шатало и подбрасывало на уха-

бах так, будто он двигался без рельсов. Стекла забиты фанерой, только на площадке светло, потому что дверь оторвана. Сидят пацаны на трамвайной площадке и вытаскивают из кармана вчерашние трофеи: гильзы, патроны от пистолетов, сигнальные лампочки из приборов. Идет обмен.

- Два патрона на лампочку.
- Десять гильз на один патрон.
- Дай сперва поглядеть!
- Чего глядеть? Патрона не видал?..

Они сговариваются, но тут трамвай взлетает на ухабе, и патрон вместе с лампочкой и гильзами выпрыгивают из рук и проваливаются через щель в полу.

Ехали они до конечной остановки возле вокзала. Наконец, трамвай, повизжав, останавливался на круге. Дальше дорога шла через болото и заброшенный карьер, заросший мелкой кусачей крапивой, к заводской свалке. Свалка располагалась по обе стороны железнодорожной ветки, которая уходила в тупик. Каждый день в тупик загоняли состав с тяжелым краном впереди. Ребята прятались за кусты и крапиву, оттуда внимательно следя за тем, что привезли сегодня, и терпеливо ждали.

Кран, пыхтя, разворачивался, и два пожилых работяги в рваных гимнастерках подтаскивали крюк к ближайшей платформе, на которой громоздился разбитый немецкий танк, привезенный с фронта на переплавку. Рабочие обматывали танк тросами, за них цепляли крюк и отбегали в сторону. Крюк уползал вверх. Танк, поколебавшись и цепляясь за стоявших рядом таких же разбитых уродов, поднимался над платформой и медленно опускался на свалку.

После этого кран отдыхал, отдуваясь паром, а тем временем паровозик-кукушка простуженно свистел и выезжал из тупика. Пустую платформу отцепляли и к крану подогнали другой вагон, с мятыми бронемашинами или пушками. Такую мелочь работяги цепляли крюком попарно.

Разгрузив состав, кран убирался из тупика, оставляя на кустах белые клоки пара и кучу копоти. Не успевал он скрыться из виду, как пираты высыпали из засады. Обгоняя друг друга и спотыкаясь о рельсы, перепрыгивая через голые автомобильные рамы и рваные куски металла, братва мчалась сломя голо-

ву вниз. Главное – первым забраться в танк. Первым, пока все в целости, пока ничего не отвинтили, не отковыряли, не отломали там самое ценное.

В тот день Олег летел к «тигру». Он забрался на башню танка, попытался приподнять заржавевший люк – не тут-то было. Откуда взять силенок при тех скудных харчах? Подоспели приятели, стали помогать. Вчетвером они кое-как оторвали крышку. Олег ухватился руками за края отверстия и перемахнул внутрь. Дальше все известно. Ноги сами проваливаются, куда надо. Успевай только руками перехватываться. Мгновение – и ты уже на сиденье механика-водителя. Разваливаешься в блаженстве и полной тишине. От мира тебя отделяет броня толщиной в доску. Впереди узкая смотровая щель бросает отсвет на приборы. Тут они все, целехонькие, отвинчивай что хочешь. Это трофейное, значит, ничьё. Все равно пойдет в печь на переплавку, сгорит.

– Эй! Ну что там? – кричат сверху. – Лампочки есть?

– Порядок! – отвечает Олег, задрал голову, чтобы они лучше расслышали. – Еще никто не разбойничал. Факт!

Олег, с трудом дотянувшись, упирается ногами в педали. Заводит мотор, тянет на себя рычаг скорости и едет. Мотор ревет. Только это не мотор, а Олег сам тарактит:

– Т-р-р-р-р-тр-тр... Та-та-та! Тр-р-р...

Замолчал Олег, тихо стало. И тут задел он ногой некий предмет, который покатился по стальному полу, задребезжал. Олег наклонился посмотреть – внизу темно, ничего не видно. Он попытался дотянуться рукой до убегающей вещи и больно ударился виском об острый выступ. Помнит только – схватил пальцами то, за чем тянулся, другой рукой провел по лбу – вытер струю теплой крови и потерял сознание.

Очнулся он на кровати в просторной комнате, похожей на класс. Забинтованная голова болит, кружится, слабость невероятная. Вокруг на кроватях сидят и лежат раненые. Он поднес руку к лицу, – что-то сжато в кулаке. Разжал пальцы – на ладони совсем маленький земной шар. На своих местах голубые океаны и материки. Взял Олег глобус двумя пальцами, повертел. От окна на землю, которую он держал в руках, падал свет; с одной стороны был день, а с противоположной – ночь, – точно, как учительница в классе объясняла.

Пальцы были слабые, не слушались, и шар упал на пол. Олег повернулся на кровати, чтобы его поднять, и видит: точно по экватору земной шар развалился на две половинки. Спрятал Олег обе половинки под подушку и спрашивает раненого, тоже с перевязанной головой, лежащего на соседней койке:

– Где я?

– В госпитале, – отвечает тот.

– Зачем?

– Да уж не знаю. Дружки твои тебя, говорят, пугиволокли. Сказывали, на свалке ты головой приложился, они тебя вытащили. А у вокзала, аккуратно, раненых с поезда на трамвай перегружали. Ну, и тебя подобрали заодно, не бросать же... Благодарю бога, что на мину не напоролся или на необезвреженный снаряд! Куски бы твои не стали собирать.

В палату заглянул хирург. Он сел к Олегу на кровать и сказал:

– Живой? А ну, зрачки покажи!

Олег широко, как мог, открыл глаза.

– Не тошнит?

– Не...

– Раз так – нечего тут место занимать! Перевязку сделали – и марш домой. Дома отлежишься. У меня вон, тяжелые с эшелона в коридорах лежат. А тут, подумаешь, лоб зашили! Дать ему ужин и выгнать! Через три дня придешь – сниму швы.

Мать перепугалась, увидев сына с перевязанной головой. В госпитале бинта не пожалели, накрутили целый чурбан. Весь вечер она просидела возле него, держа ладонь у Олега на лбу. Через три дня чурбан с Олега сняли. А шрам с левой стороны лба остался на всю жизнь.

Сперва Немец стыдился, прикрывал шрам рукой, то и дело ощупывал его пальцем. Но от шрама появилось в Олеговом лице что-то уголовное, и во дворе после войны незнакомые пацаны с ним осторожничали. Раз со шрамами, значит, человек бывалый и не надо к нему приставать. Когда его спрашивали, он скромно отвечал, что шрам у него остался после танка. Привычка трогать лоб пальцем сохранилась, и можно подумать, что Олег задумывается, приставив палец ко лбу.

С годами он так привык видеть шрам в зеркале, что если бы красноватая полоска в одно прекрасное утро исчезла, Немец удивился бы, как известный гоголевский герой, который не обнаружил собственного носа. Но шрам, никуда не деться, остался на всю жизнь. Жена в порыве нежности любит целовать Олега в лоб, прикасаясь губами ко шву, говоря при этом, что целует героя войны.

Земной шарик ездил с Олегом из города в город после войны и висит теперь в серванте в доме Немцев в Сан-Франциско. Но так и не узнал Олег, почему и как эта безделушка очутилась в германском «тигре», – мог только сочинять разные истории. А глобус хранил свою географическую (а может, и еще какую-нибудь) тайну и не собирался ею делиться...

И вот теперь симфонический оркестр, в котором Олегу Немцу платят зарплату за то, что он умело водит взад-вперед смычком по струнам, прилетел в полном составе в Вену. Кроме Вены, у американских музыкантов был контракт на концерты в Граце, Инсбруке, Линце и – в самом конце – на родине Моцарта в Зальцбурге, на международном фестивале классической музыки. После оваций в Вене оркестрантов перемещали из города в город на двух туристических автобусах, наполовину загруженных ящиками и футлярами с инструментами. Олег изрядно устал и мечтал скорей прилететь домой, а им предстоял длинный путь через скользкий в эту пору перевал из Линца в Зальцбург.

Дело близилось к ночи, и оркестр рисковал остаться голодным, если поздно попадет в гостиницу. До Зальцбурга еще оставалось верст около ста, когда энергичная первая скрипка Эми О'Коннер предупредила, что, если ее немедленно не накормят, у нее завтра не будет сил доиграть до конца Первую симфонию Малера. Водитель кивнул, сбросил скорость, съехал с автобана и замер на площадке перед маленьким ресторанчиком в стиле охотничьей хижины.

Оказалось, они остановились на самой австро-германской границе. Вокруг до горизонта видные при свете луны Альпы, заросшие лесами, и под ногами аккуратно подстриженная зеленая трава. Дорожка, уложенная гладким камнем, ведет к дому. Посреди лужайки деревянный дом с большим крыльцом и верандой, на которой яркие, красные и синие, как игрушеч-

ные, столики и кресла. Наверху, на уровне второго этажа, вокруг дома балкон, и на нем белый флажок с надписью «Zimmer frei» – приглашение снять комнату.

Внутри хижина была просторной, тихой и уютной: высокие дощатые потолки, диваны по углам, застеленные веселой клетчатой тканью, на столах букетики цветов. Олег уселся спиной к стене на диванчик, чтобы оглядеться. Напротив красовался бар со стойкой и высокими табуретами. Стены комнаты украшали звериные шкуры, старинные луки, ружья и кинжалы. То ли все это богатство досталось хозяину от предков, то ли куплено в магазине старинного оружия, но оно являло собой подобие театрального реквизита. В углу, возле окна, за столиком сидела пожилая дама и медленно раскладывала пасьянс.

Хозяин, крепкий старик на вид лет семидесяти с небольшим, седой, сухопарый и юркий, уже закрывавший заведение, такого наплыва гостей не ожидал. Он был весь внимание и безостановочно улыбался:

– Bitte schön! Пожалуйста!

И, взмахивая руками, будто он дирижер, тут же ни за что благодарил:

– Danke schön! Большое спасибо!

Поняв, что это американцы, хозяин легко перешел с немецкого на английский. А когда узнал, что среди американских музыкантов есть русский скрипач, персонально пожал ему руку и сказал по-русски:

– Добро пожалувайт!

Разумеется, этого никто, кроме Олега, не понял. Хозяин говорил на ужасном русском, но все-таки говорил.

– А где здесь граница? – спросил его Олег.

– Граница? – засмеялся хозяин. – Граница проходит в мой спальня через кроватт. Я спитт Аустрия, а мой жена – Германия.

Жена спустилась помогать, зажгла свечи. Гости обсудили меню с учетом голода и чуждой Европе американской диеты. На столах появились кружки пива, и хижина загудела. Хозяин убежал на кухню готовить.

Хлебнув черного пива, Немец посидел минуту с закрытыми глазами, словно медитируя. А когда опять открыл их, дыхание у него перехватило: прямо над ним, на стене, висели

громадные ветвистые олени рога. По всему видно, могучее было животное. Может, и бродило неподалеку отсюда, в лесу.

Но не сами эти рога удивили Олега. Он глазам собственным не поверил, протянул вверх руку и потрогал, чтобы убедиться, что ему не померещилось. На одном из отростков висел на ниточке глобус – точная копия шарика, который хранится у него дома в серванте. Голубые океаны, коричневые материки, обведенные каемкой. От сквозняка, когда открывались двери, земной шар чуть-чуть покачивался.

Скоро появился хозяин с подносом, стал снимать тарелки со шницелями, форелью, салатами. Ставя каждую на стол, он повторял:

– Bitte schön! Пожалуйста! Bitte!..

– Что это у вас?

Спросил Олег по-английски и пальцем указал на глобус. Рука хозяина с тарелкой застыла в воздухе. Но отвечал он Олегу по-русски.

– Эtto? – он смутился. – Вам мешает? Я немедленно забир-  
райт. Bitte!

– Нет-нет, нисколько не мешает. Просто я хотел спросить, что сие за штука такая?..

– Эtto мой дочь повесиль. Он здесь вечером занимает. Дочь занимайт школа медицинский сестра...

– Наверно я плохо объяснил, – не отставал Немец. – Что это за предмет? Для чего?

Хозяин недоверчиво посмотрел на Олега: шутит гость или хочет его разыграть? Он снял с рогов нитку и протянул Олегу глобус.

– Bitte! Эtto есть точилька. Обыкновенный точилька для карандашш. Дочка покупайт на любой магаззин...

Олег взял в руки глобус. Он был как две капли воды похож на тот, что висит у него дома. Только материки гут обведены не одной, а разноцветными каемками. Повертев земной шар в руках, на месте Антарктиды Олег обнаружил отверстие – дыру к центру земли. В его глобусе такого отверстия с точилкой для карандаша не было. Внутри виднелось лезвие, укрепленное наискосок.

Наступила пауза. Хозяин поклонился. Он не знал, бежать за остальными тарелками или, может, у этого русского будет еще вопрос. Глобус вернулся к хозяину.

– Danke schön, – сказал Немец, исчерпав этим свою эрудицию в немецком, и соскользнул на почти родной английский.  
– Дело в том, что у меня дома есть такой же глобус...

Хозяин, скорее всего, удивился наивности этого русского. Но виду не подал и вежливо наклонил голову.

– Но без точилки! – прибавил Олег.

– Может быть, бывает без точильки, – согласился австриец.

– Дело в том, – продолжал Олег, – что свой я нашел пятьдесят лет назад на Урале.

– Ураль? Ураль есть граница Европа унд Азия. Ураль знают все дети в австрийский школа.

– Я нашел его, – упорно продолжал Олег, – в «тигре», разбитом германском танке, понимаете? Как попал такой глобусик в «тигр»?

Хозяин, улыбаясь, смотрел на Олега, будто вспоминая что-то, давно забытое. Морщил лоб, тер глаза.

– Что ты к нему привязался, Немец? – запротестовали оркестранты, ничего не понимая в их диалоге. – Есть хочется, а ты...

– Да у него все наши шницеля сгорят!

– Отвяжитесь! – рассердился Олег. – Дайте поговорить с человеком! Это важнее шницелей.

– Важнее шницелей, Олег, – сказала Эми О'Коннер, – нет ничего на свете!

Когда гости зашумели, хозяин спохватился, побежал на кухню и разнес дымящиеся блюда остальным. Уничтожая форель, Олег то и дело поглядывал на отросток оленьих рогов, висевших на стене. Земной шар там покачивался от дуновений воздуха.

Оркестранты насытились, допили пиво, заторопились. Дело шло к полуночи, до отеля было еще далеко, а перед завтрашним дневным концертом необходимо, если не выспаться, то хотя бы подремать. Хозяин разнес всем кредитные карточки, убрал столы и вышел на крыльцо проводить гостей.

– Danke schön!

Приветливо улыбаясь, он повернулся к Олегу и хотел что-то прибавить лично ему, но не знал, будет ли теперь это интересно.



– Приезжайте Зальцбург опять, всегда будет очень рад! Будет еще черный пив, рецепт специаль!

– Спасибо.

– Да, тот точилька... – замялся он.

– Глобус?

– Да, именно глобус! У вас не точилька – просто глобус. Такой глобус носил некоторый офицер рейха. Адольф думал – все пять материков будет его коричневый краск. Все пять – будет рейх, да. Аустрия есть маленький страна, мы на тот глобус нет, никто нет. Тогда мы все уже был рейх, и про Аустрия можно не думать. Да! Где, вы говорите, его нашел? Разбитый танк? Да! Я тоже был немецкий армий. Тотальный мобилизаций... Нет, у меня глобус нет, я был зольдат. Глобус Адольф давал только для офицер... Потом плен – оттуда я говорю русски. Шесть лет лагерь Бологое. Глобус – рейх, теперь точилька. Может, та же фабрик делает, ха-ха!.. А вы тоже воевал?

– Нет-нет, – Олег покачал головой.

– О, Natürlich! Конечно! Вы был молодой. Это большой удача! Война не имел смысл. Сталин был тоже хороший Адольф. Мог быть весь глобус краснй краск. Два маньяк играл шахматы. Мы был шахматы, нас убивал. Люди умирали за коричневый или краснй краск, не за счастье... До свиданья! Auf Wiedersehen!

Олег пожал руку хозяину и потрогал у себя на лбу шрам. Рубец был на месте.

Автобусы с оркестрантами тронулись, и все вокруг исчезло в серой сырой мгле: и Германия, и Австрия, и охотничья хижина, от которой они только что отъехали.

Немец смотрел в окно. Автобус осторожно сползал вниз по извилистому серпантину дороги. Желтые фары едва пробивали пелену тумана. Олег вспомнил плотину, по которой он в такой же туман добирался домой пешком, весь продрогший, скользя по мокрому снегу. Плохо устроен человек. Ничего не забывает. Помнит даже то, что давно надо бы развеять по ветру.

## ВВЕРХ И ВНИЗ

– Я дико извиняюсь, этот камень свободен?

Олег кивнул и жестом предложил располагаться.

Тяжеловесный молодой человек в очень черных очках помахал рукой двум хорошеньким девочкам, ожидавшим на пригорке. Они подошли, небрежно кивнули Олегу, скинули маечки, и их пышущие рекламной прелестью тела в ярких купальниках с вырезами на груди до пупа, а на бедрах до подмышек, право же, украсили бухту. Девушки сложили пожитки в тени этого огромного камня, а сами расположились на плоской его части.

– Мы наполовину уже вроде бы знакомы, – заговорил молодой человек, укладывая в тень ласты и транзистор, из которого тихо изливалась некая ритмическая мелодия. – Наполовину или на четверть. Тут пятачок небольшой. Встречались, наверное, на почте или в кафе. Как сейчас помню, вы были с интересной женщиной, очень импортного вида, чуть-чуть в возрасте, что очень ей идет – не отпирайтесь!

– Это моя жена, – пробурчал Олег.

– Понятно. Тогда вам в жизни повезло. А где ж она?

– Обгорела немного и осталась на турбазе. Меня зовут Олег, а фамилия моя – Немец.

– Замечательно! Но язык у вас немножечко плывет не в немецком, а в американском направлении, – молодой человек хихикнул. – Точь-в-точь, как у моей тети Муси, которая приезжала в прошлом месяце с Брайтон-Бич. Я не ошибся?

– Возможно, – улыбнулся Олег. – Я живу в Сан-Франциско.

– Во! – удовлетворенный своей пронизательностью сказал пришелец. – А я – Боря, Боря с Одессы. Кончаю инфак и произношение чую за версту, хотя в обетованных землях самому не приходилось еще бывать. Я Боря, а это сильно влюбленные в меня девушки. Они влюблены в меня уже целую неделю.

Девушки чуть заметно усмехнулись. Видимо, за неделю они к Бориной говорливости привыкли.

– Чем же вы, Олег, занимаетесь, если это не секрет? Большим бизнесом?

– Не совсем. Я пиликаю на скрипке.

– О! Солист или...

– Нет-нет, играю в оркестре...

– А сюда надолго?

– На пять дней после гастролей: жену ностальгия одолела. Она здесь в детстве с родителями отдыхала... Да и я раз мальчишкой побывал... Теперь вот грею свой радикулит, коль больше делать нечего.

Девушки хихикнули. Этот пожилой господин не заинтересовал их даже тем, что он живет в Америке, поскольку жена его значилась где-то рядом.

Теперь они лежали, хотя и на разных камнях, но вчетвером, лицо к лицу, образуя нечто вроде кривого креста. Горячие эти камни находились в Крыму, в Змеиной бухте, недалеко от поселка Коктебель, расположенного, как выяснили великие писатели Ильф и Петров, на берегу Энского моря. Время от времени Олег не глядя пошвыривал камешки в воду. Боря поставил перед собой пакет со сливами.

– Кушайте, Олег, не стесняйтесь. Они тщательно вымыты, и это утоляет...

В Змеиной бухте, если вам не известно, даже и сейчас еще загорает и купается особая публика. Сюда нужно добираться вплавь или, когда море спокойно, карабкаться по уступам, опускаясь до колен в воду и ступнями нащупывая порожки. Вход сюда, в заповедную зону, запрещен. Но охранников нет, а когда они появляются, то надо положить им на ладонь некоторую сумму, весьма скромную, и запрещенное становится разрешенным. Развлечений в Змеиной бухте никаких, если не считать

поисков красивых камушков – халцедонов и сердоликов. Впрочем, почти все они давно собраны и проданы. Из удовольствий остаются сливы и, для некоторых, глубокие вырезы на купальниках. В этой тихой миниатюрной гавани, отгороженной от мира отвесными скалами и морем, приятно ощущать свою временную независимость от человечества, сплевывая сливовые косточки.

С Борей было не скучно. Его загорелую плотную фигуру, с явным избытком холестерина, переполняла жизненная энергия. Он делал вид, что ко всему равнодушен и свое от жизни взял. Но делал это весело. И шутил легко, не опускаясь совсем в пошлость и не поднимаясь до слишком сложных материй. А количество одесских бак было у него в запасе неисчерпаемое. Когда становилось жарко невмоготу, он надевал ласты, плюхался в воду и лениво плыл довольно приличным брассом, без труда догоняя своих девочек. Их повизгивания напоминали о патриархате и делали его великодушным. Потом он снова лежал тюленем на камнях и, если хотел что-нибудь сказать, совершенно случайно едва прикасался к девчоночьим коленям или шеям.

Откуда они взялись на пляже, двое щуплых мальчишек лет по четырнадцать, никто не заметил. Они оказались рядом и украдкой посматривали на девочек, которые были года на три их постарше. Как уже было сказано, там было на что поглядеть. Мальчишки изредка перебрасывались словами и вдруг заспорили. Хлопая друг друга по спинам, оба вскочили.

Сейчас эти два бройлера подерутся, подумал Олег. Но один повернулся, прошел совсем рядом с девочками, глядя туда, куда нельзя, прижался животом к стене, нависшей над пляжем в пяти шагах от Олега, и стал ощупывать камни. Потом он повис на выступе, подтянулся и начал карабкаться на скалу.

Боря с девушками сползли между тем с камней в голубую воду, потому что стало невыносимо жарко. Они немножко поплескались в голубых волнах на мели, играя с водорослями, проплыли немного и вернулись, обрызгав Олега прохладными каплями воды. Девочки улеглись на камни, и Боря оглядывал их, как тюлень, охраняющий свое стадо.

Боясь перегреться, Олег тоже сплавал, вышел на берег и лег обсыхать на старое место. Он повернул голову, и глаза его

побежали по скале, измеряя расстояние. Мальчишка лез вверх уже метрах в пятнадцати от земли. Это заинтересовало всех, кто был в маленькой Змеиной бухте. Все от нечего делать глядели на фигурку, карабкающуюся по отвесной стене.

Пошарив рукой в сумке, Олег вытащил бутылку с минеральной водой, бумажные стаканчики, жвачку и печенье в красивой упаковке – всё, что жена положила ему с собой, – и предложил соседям. Девочки с любопытством повертели этикетки перед глазами, но попили только воды. Олег пожевал сливу, сплюнув косточку в морской прибой. Все не сводили глаз с мальчишки. Он прытко и уверенно карабкался по отвесу, цепляясь за не видимые снизу выступы и кусты, шаг за шагом уходя все выше. Лезть вверх нетрудно, подумал Олег. Ноги сами влипают в лунки. Когда лезешь, видишь впереди бездонное небо, и очень приятно преодолевать земное тяготение.

– Ой, смотрите, смотрите! – восхищенно пооткрывали рты девочки, когда мальчишка вдруг повис на одних руках, перебираясь с выступа на выступ.

Ясно, что ради этого восклицания, а вовсе не из-за спора со своим приятелем, полез парнишка на скалу.

Олег встал, сложил ладони рупором и крикнул:

– Эй!

– Эй! – отозвалось выше, в ущелье.

– Может, остановишься, пока не поздно?

– Поздно! – ответило эхо.

Мальчишка упорно качнул головой и продолжал смотреть только вверх.

– Во, грызет гранит! – прокомментировал Боря. – Он хочет вам показать, господа, каким целеустремленным должен быть настоящий супермен. Но он не супермен. Он рядовой фраер... Лично я пойду еще искупаюсь, уж больно жарит. А уж как ему там печет без майки на раскаленных камнях, я и думать не хочу.

Скоро Боря выбрался из воды, стащил ласты и опять брякнулся на горячий, как сковородка, камень.

От земли мальчишку отделяли теперь метров двадцать. Сколько же это будет футов, с трудом шевелил мозгами Олег. Наверное, шестьдесят с лишним. Он ко многому в Америке

привык, но не к этим размерам. Двадцать метров, отделявших мальчишку от земли, – ничто по сравнению с сотнями метров скалы, нависшей над морем, но двадцать метров под тобой, вниз уходящие, когда внизу только камни, а скала отвесная, это все же многовато.

Добравшись до приступочка, на котором рос полузасохший желтый цветок, мальчишка, видимо, удовлетворил, наконец, самолюбие. Он сорвал цветок и бросил девочкам.

– Дешевый приемчик, – заметил Боря. – Сегодня даже не восьмое марта.

Одна из девочек цветок подобрала и понюхала.

– Никакого запаха, – сказала она. – Только пыль, и больше ничего.

– Пошли ему воздушный поцелуй, – продолжал Боря. – Только бы он не вздумал оттуда с какой-нибудь веткой к тебе парашютировать. От дальнейшего комментария я пока воздерживаюсь.

Только теперь, бросив цветок, мальчишка глянул вниз, чтобы увидеть результат. И когда глянул, съежился. На него жалко стало смотреть. Он перестал шевелиться и медленно озирался вокруг, напрягая руки и прижавшись животом к отвесной стене, и вдруг слева обнаружил маленькую площадку. Притираясь к скале, перебрался на нее и сел бочком, уперев пятки в узкий карниз.

Боря небрежно жевал сливы, сплевывая косточки как можно дальше, дабы показать девочкам, что парень не совершил ничего замечательного. А девочки отбирали друг у друга полузасохший цветок и механически вертели в руках. Они начали нервничать. Прижимали к груди тонкие белые пальцы с неумелым маникюром и, вытянув шеи, смотрели на скалу, полуоткрыв влажные губы. Боре не нравилось, что девушки стали чересчур серьезными и про него забыли.

– Посмотрите на этого отважного героя, подруги! – Боря произнес это с интонацией культурника из дома отдыха, чтобы разрядить напряженность, и сплюнул еще одну косточку. – Посмотрите так, будто вы всю жизнь будете гордиться этим юным энтузиастом. Он идет по стопам советских героев-отцов, которые никогда ни о чем не задумывались. Данный мальчик тоже думал задним умом, который подгонял его вверх.

Теперь требуется думать передним, чтобы как-нибудь спуститься. Посмотрим, есть ли у него спереди столько же, сколько сзади.

Девочки не улыгнулись. Они, казалось, не слышали. Они продолжали смотреть вверх. Олег от комментариев воздержался. Они с Борей переглянулись. То, что сказал Боря, было несколько жестоковато, как всякая сущая правда. Но Боря был старше, опытнее, не говоря уж об Олеге. Боря умолк, а Олег думал сейчас о том же: на этом мелком честолюбии он уже в жизни горел, а парнишка, который там висел, еще нет.

Каждый, кто хоть раз взбирался здесь по горам, знает шутки Кара-Дага – Черной горы. Отвесные скалы давно потухшего вулкана исчезают в море, обросшие водорослями и ракушками. Тропинки между нагромождениями гигантских камней считанные и хорошо заметны. По этим проходам желательно ходить собранно и доверительно, ибо тропы тоже иногда бывают следами человеческой мудрости. А где нет троп, в тех местах лучше не пытаться карабкаться, если, конечно, имеешь намерение вернуться.

Скалы Кара-Дага кажутся незыблемыми, прямо-таки вечными. А ухватишься покрепче – отслаиваются пластинками. И если отслоится не в добрый час кусочек камня, за который ты ухватился в опасном месте, превратишься ты в неживой материал, подобный тому, из которого здесь сложены горы, сухие деревья и дельфины, выброшенные на берег. Иногда останется время пожалеть, а бывает, не успеешь.

Восемь-десять таких псевдоальпинистов и горе-скалолазов каждый год отбывают отсюда в запаянных цинковых гробах. Это называется статистикой. И данный юный восходитель к светлым вершинам, судя по всему, будет статистически учтен. В Америке, думал Олег, есть специальная служба спасения в несчастных случаях, которая называется «Rescue». А тут?

Некоторых, случалось, снимают вертолетом пограничники, но это долгая история, особенно теперь, в безалаберное и потому ленивое для погранслужбы время, когда у них нет денег на водку, не то что на керосин для авиации. И потом, так пытаются снять тех, кто забрался на вершину. С боку вертолет не снимает, он сам может поломать лопасти винта, а вертолет без винта – что-то вроде санузла на колесиках. Так что теперь

нужно полдня, а то и больше провисеть на скале, пока местные власти найдут скалолазов. Но и эта надежда реализуется медленно. Их надо уговорить лезть, когда неясно, кто будет платить. Пройдут часы, пока они забудут клинья и, рискуя собой, спустят вышеуказанного самоучку на тросе. Да и есть ли тут вообще скалолазы? Возможно, все они в данный момент покоряют Джомолунгму.

Олег чувствовал, что мальчишка там, наверху, все это уже и сам пробежал в голове. Позировать ему, скорей всего, уже давно расхотелось. Когда внизу тебя не ждет абсолютно ничего приятного, тебе не до позерства. Стоимость цветка, который сорван и сброшен вниз, он вычислил, и оставалось горько пожалеть о содеянном и неисправимом. Конечно же, он знал, не мог не слышать историй про погибших на Кара-Даге, но теория соединилась с практикой слишком высоко над поверхностью мирового океана.

Мальчишка застыл, втиснув ноги в небольшую выемку. Олегу почему-то представилось, как у парня потеют пятки, вдавленные в этот карниз. Мальчик смотрит вниз и не знает, на что решиться. Что бы он ни решил – плохо.

– Жаль, что у мальчика нет крыльев, – устав молчать, хмуро сказал Боря. – Был бы он Дедалом или в крайнем случае Икаром. Как раз сейчас крылышки бы ему оченьгодились. А может быть, девочки, он ангел, и крылья отрастут?

Не по себе было Олегу. Противное состояние, когда, будто маленькому, тебе хочется закрыть руками глаза, сесть на корточки и прошептать:

– Меня нет...

Такое в его жизни было. Больше того, Олегу казалось, что он уже побывал там, на месте мальчика, испытал его состояние. Но, во-первых, это было давно, а во-вторых, не совсем правда.

В Змеиную бухту за год до войны Олег приплывал из соседней небольшой бухты верхом, сидя на спине у отца. Мать оставалась ждать их за скалой. Отец фырчал моржом и отчаянно брызгался, потому что плыть с Олегом было все-таки тяжело, хотя отец и не показывал вида. Олег, не понимая этого, пришпоривал отца пятками и кричал:

– Быстрей! Быстрей!!..



Если неподалеку выныривали дельфины (тогда, перед войной, они еще не боялись людей), отец уговаривал Олега пересечь на них, а Олег думал, что отец предлагал серьезно, и очень этого боялся.

Потом Немец-старший лежал, раскинув руки, под солнцем, как рыба, выброшенная на берег. А Олег, конечно же, устремлялся к скале и пробовал так же зацепиться за эти самые предательские камни, за эти манящие выступы.

Так же, да не так! Потому что тогда рядом был отец, и он дремал, но был начеку. Отец лежал, лелеемый горячими лучами, и вдруг вскочил, почувствовав беду на расстоянии. Он подбежал к скале, дотянулся и стащил Олега за ногу до того, как мальчик сделал тот самый шаг, после которого лезть вверх легко и быстро, а обратно хода уже нет.

Сын был зол на отца и надулся. Сын проявлял героизм, а отец воткнул ему палку в колеса. Семимильными шагами сын хотел вскарабкаться к светлой вершине, преодолеть страх, достичь цели, а родитель уныло стащил его за пятку вниз. Олег лежал на камне обиженный, а отец изрек:

– Уж рисковать жизнью, сын, так хоть знать, ради чего...

Не понял тогда Олег, что сказал отец. А отец не стал объяснять, плюхнулся в воду и поплыл. Через год он пошел на фронт рисковать и не вернулся. Ну, не пошел, его пошли, – ведь у него не было выбора, риск был тотальный, так что какая разница? Он не был никаким героем, отец, он был самой обыкновенной жертвой обстоятельств. Его толкали вперед, туда, откуда заведомо почти не было шанса вернуться. Но все же военная мясорубка молола людей ради защиты других людей, от этого факта никуда не денешься, и было хоть какое-то оправдание риска.

Олег был тогда вдвое меньше парнишки, подвешенного сейчас на скале. Впрочем, какое значение имеет эта разница? Все на свете мальчишки просто обязаны повторить все на свете ошибки. Все как один они целеустремленно ищут, где бы еще ошибиться. Сие происходит во все времена и эпохи, у всех народов, при всех системах, и изменить это не дано. Чужой опыт не учит, такова природа и обреченность молодости.

– Тяжкое зрелище, – сказал Олег, ни к кому не обращаясь.

– Может, смоемся? – предложил Борис. – Жрать давно пора, а мы когда еще до поселка дотащимся? Товарищ наверху – субъект конченный, свидетельство о его смерти в ЗАГСе уже выписывают, а нам жить да жить. Подушка мы для него все равно плохая. И вы обратили внимание: приятель его – малый сообразительный, давно драпанул от греха подальше. А почему? Может, ему скучно стало или кушать захотел? Ничего подобного! Чтобы не быть свидетелем. Что молодое поколение хорошо научилось делать, так это смываться вовремя.

– Помогите ему, мальчишки! Сколько можно так нервничать? – девушки повернулись и вопросительно смотрели на мужчин.

– Хм... Это прагрэссивная мысль, – Боря перешел на грузинский акцент, вскочил, принял позу партерного акробата и посмотрел на Олега. – Сыловой э-этюд! Ты, дрюг, на мэ-ня. Дэвочки занимают мэста на тэбе. Алле!.. Ну и что? Ну, шесть метров, а до него двадцать с гаком.

Он улегся обратно на камень и продолжал:

– У меня встречное предложение. Я даю перочинный ножик, и девочки режут свои купальники на полоски. Из них они вяжут веревку. Веревку закидываем ему, чтобы привязал и по ней спускался. Это будет патриотический поступок в стиле Голливуда, а кроме того, эстетически красивое зрелище. Олег, у вас как у иностранца, наверное, есть с собой фотокамера, а?

Олег признался себе, что этот симпатичный Боря из Одессы, при всей своей временной циничности, был почти прав. Может, пробираться меж камней километров пять до поселка и там пытаться организовать помощь? На это уйдет как минимум три часа. Столько времени мальчишка не продержится на узком приступочке не шевелясь.

А он там, наверху, сидел. Сидел, стиснув губы, и держался онемевшими пальцами за остатки корней, из-под которых время от времени на лежавших внизу сыпались комочки сухой земли.

Теперь весь пляж молчал и смотрел на мальчишку. Он чувствовал взгляды, старался собрать волю, и его отчаянное «Зачем я это сделал?» теперь передалось всем, кто на него

глазел. Олег понимал его. Уж если такое дело сотворено, остается надеяться на самого себя.

Наконец парнишка решился. Чуть приподнялся, обхватил руками выступ, повис на руках и опустился на один шагок вниз. Нога сорвалась. Пальцы задрожали от напряжения, впились в камни. Судорожно водил он слепой ногой по скале и наконец нащупал другой выступ. Он не смотрел вниз: внизу ничего радужного не светило.

Мальчик перехватился руками, сделал шагок и снова повис. Если сейчас камень отслоится – конец. В этом вся жестокая доброта Черной горы – Кара-Дага: трещины в камнях, выдутые ветром и размытые дождями, видны со стороны неба, а когда лезешь, укрыты от глаз. Захочет Черная гора – удержит, не захочет – отслоит камень.

Пляж молчал. Вылезли из воды те, кто купался, и тихо улеглись на горячих камнях. Парнишка сползал медленно, втягивая голову в плечи и замирая после каждого шага. Смертельный страх сводил мышцы, не позволял сделать следующего движения. Предыдущие лет четырнадцать мальчика опекали много разных людей, а теперь они от него изолированы. Он один заведует собственной жизнью, распоряжается ею полностью. Один и больше никто. И в этом редком случае смерть его тоже зависит только от него самого.

Девочки сжались в комочки и, прислонясь спинами друг к другу, задрали головы, – две хрупкие фигурки, смешные и беспомощные в своем сострадании.

– Бога нет! – произнес вдруг Борис. – Если бы он был, он бы подлетел и снял юродивого.

Его голос перестал быть ироничным и помрачнел.

Мальчик прополз обратно половину пути, и теперь предстояло самое трудное. Скала подкашивалась, дальше придется преодолевать земное притяжение иначе: нечеловеческим усилием загонять ноги под стену. А сил не осталось. От напряжения у него отвисли плавки и тело оголилось. Девочки скромно опустили глаза, но не уходили от скалы.

Перестал жевать сливы Боря. Добровольно распявший себя на скале юный Христос портил ему аппетит.

– Попробуем? Может, поймаем? – не выдержал Олег и, забыв, что должен беречь руки, пошел к скале.

Борис отрицательно покачал головой. Он словно приклеился к берегу клеем. Олег влез на камень, попытался дотянуться и подставить ладонь мальчишке под пятку.

Мальчишка сползал, извиваясь змеей и цепляясь, неизвестно за что, потому что скала в этом месте была абсолютно гладкой. Было слышно, как он хрипит. Все старались не смотреть, но подняли головы, когда страшно завизжали девочки. Осталось каких-нибудь метра четыре, и он все-таки сорвался. Сорвался, слегка ободрал плечо Олегу и шлепнулся, попав на песок между двух острых камней, а то бы сломал ноги.

Девочки подбежали к нему, схватили под руки. Он высвободился, встал сам. Отошел в сторону, лег на большой камень, спрятав свой поцарапанный и вымазанный в крови и пыли живот. Щенок был почти что целехонек.

Присев на корточки, девочки спустили воздух из подушек, превратив их в сумочки, и, надев босоножки, засемили к скале, вокруг которой предстояло перебираться вплавь, чтобы выйти из этой чертовой Змеиной бухты. Когда они скрылись из виду, Боря вскочил:

– Надоело! Хорошенького понемножку! Я дико извиняюсь... Надеюсь, мы еще до вашего отъезда увидимся. Я бы хотел записать ваш адресок: вдруг судьба закинет в Сан-Франциско...

И он двинулся догонять влюбленных в него девочек. Проходя мимо потрепанного скалолаза, Борис сильно смазал этому индивидууму по шее, и парнишка удивленно поднял голову. Включив на ходу транзистор, Боря дал джаз так, что стало слышно его маме, проживавшей в городе Одессе.

Немец решил, что еще немного покантуется у моря. Это был его последний день в Коктебеле.

А герой дня лежал на камне полуживой. Чтобы поддержать его морально, Олег подмигнул мальчишке, и тот, удивленный, подмигнул в ответ. Руки его свисали с камня, как плети. На ногтях запеклась кровь.

## ВЛАДАН

Когда час пик, въехать в центр Сан-Франциско с северной оконечности залива непросто. Мост Голден Гейт – Золотые Ворота – запружен до предела. Машины то двигаются еле-еле, то останавливаются совсем. Мало кто из сидящих за рулем нервничает, но для Олега Немца это обычно вопрос жизни. Представьте себе скрипача, который выходит во время исполнения Второй рапсодии Листа на сцену и говорит дирижеру и зрителям:

– Sorry, я застрял в пробке.

И начинает играть с середины.

Сегодня концерта не было. Двигались они с женой на обед к приятелю, причем не вечером, а около четырех часов. Солнце уже склонялось в сторону океана. День, однако, был воскресный, все куда-нибудь ехали, и пробка установилась раньше обычного. Нинель то и дело поглядывала на часы, поскольку после званого обеда вся честная компания русских эмигрантов собралась отправиться смотреть российский цирк, не так давно прибывший на гастроли в Калифорнию. Билеты были оплачены по телефону, о чем Олег и не подозревал.

– Другие живут как люди, – сказала Нинель, опустив солнечный козырек с зеркалом и подкрашивая губы. – Ходят регулярно в гости или, там, на концерты. А мы раз в сто лет выбрались и то приедем к шапочному разбору. Стоим, как идиоты, и глядим на тюрьму Алкатрас.

Тема эта была заигранной пластинкой. Нинели хотелось общения, зрелищ, а мужу – полежать на диване.

– Ну как мы можем ходить на концерты, если это моя работа? – Олег уныло произнес часто повторяемый рефрен. – Ведь те, кто служат в банке, не ходят вечером в банк развлекаться.

– Не надо в банк. Да тебя вообще никуда не вытащишь!

– Но в данный момент мы как раз и едем в гости.

– Так ведь выбрались раз в кои-то веки! И то только потому, что Мирон – твой близкий друг. Ты не мог отказаться... Надо же: все-таки сдал он этот сумасшедший медицинский экзамен!

– Каких-нибудь двенадцать лет – и он опять врач. Такова эмигрантская жизнь...

Вдруг поток двинулся. Они увидели, как справа полицейская машина вытолкнула на обочину застрявший грузовичок. Олег прибавил газу, и их «Бьюик» запетлял по серпантину парка Президио. Теперь уже недалеко.

Дом у Мирона Ольшанского был недавней постройки: гостиная, семейная, кухня на первом этаже – без перегородок, что для большой тусовки человек на восемьдесят весьма кстати, потому что съехался русский средний класс со всего Сан-Франциско, большей частью врачи. Гульба шла полным ходом. Публика, Олегу почти неизвестная, но между собой давно, видимо, знакомая, уже бродила по дому с бокалами и кружками, то и дело подкачивая насосом пиво из бочки.

– Нам обоим джин-энд-тоник, – сказала Нинель, с кем-то целуясь.

– Покажите того последнего, который стал наконец американским врачом, – крикнул Олег со смехом.

Но старый, еще российский друг Мирон Ольшанский уже спешил ему навстречу.

– С восьмой попытки! – сияя, сказал он и долго тряс Немцу руку.

– Поздравляю! – Олег похлопал Мирона по плечу. – Видишь, как здорово: меня скоро на пенсию попрут, а ты – молодой врач.

– У меня натуральный обмен: второй диплом приобрел – первые волосы потерял. – Мирон повернулся к гостям, ткнув

Олега в спину. – Господа, для разнообразия я вам скрипача пригласил, а то вы тут на медицине зациклились.

– Скрипача? Где же его скрипка?

– Не видите, с ним жена – ее-то он и пилит.

– А концерт будет?

– Пусть сыграет в честь хозяина гимн Советского Союза или какой-нибудь другой реквием...

Олега втиснули между двумя симпатичными дамами, как теперь принято говорить, неопределенного возраста. Они, не спрашивая, стали заполнять Олегу рюмку и тарелку. Мирон увел Нинель на другой конец стола, который ломился от вкусных вещей, и предстояла трудная задача: решить, чего не есть.

Мирон между тем, счастливый от победы, гостей и алкоголя, продолжая неведомый Немцу разговор, крикнул:

– Тихо! Вы тут все пристрастны, особенно бывшие советские урологи и, по определению, не можете быть объективны. Давайте спросим человека нейтрального. Скажи, Олег, какой орган у мужчины главный?

Все за столом перестали громыхать вилками и посмотрели на Немца с ироническим прищуром. Олег не думал и секунды.

– Руки, – сразу сказал он.

– Почему – руки? – разочарованно, а может, и с презрением спросил кто-то.

– Не слушайте его: ведь он же скрипач!

– Скрипач? Значит, он всю жизнь перепиливает скрипку и никак перепилить не может. Выходит, и в его руках прока нет.

Олег понял, что в данной компании сказать «руки» было большой политической ошибкой: урологи сразу потеряли к нему интерес. А сделал это Олег по двум причинам. Во-первых, из чувства противоречия решил избежать того, что они хотели услышать, и, во-вторых, он был действительно уверен, что руки у мужчины важнее головы, не говоря уж о прочих вещах.

– Мы все здесь узкие специалисты, – завершал дискуссию хозяин и посмотрел на Немца. – При всей нашей симпатии к музыке и к тому, что играть на рояле или скрипке удобнее двумя руками, мы лучше знаем, какой орган у мужчины главный. Давайте выпьем за предстательную железу!

И он опрокинул в рот рюмку.

- Не напивайтесь, ребятаки, нам еще ехать развлекаться.
- Куда? – с тревогой спросил Олег и строго посмотрел на жену.

– Ой, Олежек, – затараторила Нинель, – совсем забыла тебе сказать: все купили билеты в цирк. В кои-то веки российский цирк на гастролях в нашей калифорнийской дыре. Тряхнем стариной, ну пожалуйста!

- А где это?
- В Окленде, отсюда полчаса.

Между тем гости, поглядывая на часы, стали группками и по одному выбираться на улицу и плюхаться в машины. Перепившие послушно пускали за руль жен и укладывались на заднем сиденье подремать. Те, кто не знали дороги, пристраивались в хвост тем, кто дорогу знал. Если на мосту Бей Бридж тогда вдруг возникла пробка, то произошло это только потому, что полсотни машин, принадлежащих одной компашке, жались друг к другу на хайвее в Окленд.

Там, возле парка, толпа людей уже двигалась пешком и на велосипедах к огороженной временным забором поляне. Народец победнее старался запарковать машины подальше, чтобы не платить за стоянку. Люди состоятельные, вроде гостей доктора-новобранца Ольшанского, въезжали вблизи цирка на дорожную парковку. Среди публики было много черных, поскольку цирк расположился в таком жилом районе, и, само собой, много детей. Тут пахло морскими водорослями, полынью и специями из соседних ресторанов. А в центре поля вырос купол, растянутый тросами. Гудели кондиционеры, накачивая под этот купол прохладный воздух. В вагончике продавали билеты.

Под куполом гроыхнула такого качества музыка, переносить которую ушам Олега было трудно и даже вредно. Он не был в цирке, наверное, четверть века и, откровенно скучая, лениво блуждал глазами по сторонам. Люди простой породы, а их было вокруг абсолютное большинство, поедали зрелище, попкорн, мороженое и запивали все кока-колой и пивом. Любая американская аудитория, как известно, жизнерадостна и доброжелательна, и прием русского цирка не был исключением. Зал то и дело вспыхивал аплодисментами, даже если на арене не происходило ничего выдающегося.



После парада, акробатов, дрессированных собачек, фокусника, который умело перепилил свою ассистентку в миниюбке и максидекольте, после вынутой из матрешки бескостной женщины, выделявавшей замысловатые акробатические фигуры на вращающемся в воздухе сверкающем шаре, шталмейстер возвел руки к небу и объявил следующий номер программы:

– А теперь, леди и джентльмены, перед вами – Владан!

До этого момента слушавший вполуха Олег потряс головой, чтобы сбить сонливость, ибо был уверен, что ему почудилось. Зазвучало танго, мелодия которого ушла из памяти, но, оказалось, ушла не совсем. Горло у Немца сдавил спазм. Он стал жадно глотать кислород, будто воздух из-под купола цирка вдруг откачали.

– Повтори имя, – прошептал он жене.

– Владан, кажется, а что?

– Владан?! – выдохнул Олег.

– Тебе плохо? – с тревогой спросила Нинель. – Опять сердце поджигает? Дать таблетку?

Подложил Олег под язык таблетку, но это не помогло. Он закрыл ладонями уши, и время спрессовалось. События в памяти дрогнули и замелькали, замельтешили, закрутились, – Немец едва отслеживал происходившее на арене. Впрочем, видел он именно то, что однажды прожил полвека назад. Будто последующая жизнь отодвинулась в сторону и ничего не осталось, кроме детства...

Посреди тусклой и грязной весны военного сорок четвертого года хмурый уральский городок неожиданно расцвел яркими афишами, к которым, скользя по мокрому льду, устремились не избалованные такого рода событиями аборигены. Разинув рты, они разглядывали красавцев и красавиц, расклеенных по заборам. Из афиш местные огольцы вырезали ножами, что понравилось, но вскоре на те же места наклеивались свежие полотнища.

На одной из афиш усатый фокусник, одетый во все голубое, с черной повязкой на глазах, смело стоял в огненном кольце. Рядом с ним женщина в белоснежном бальном платье, будто она только что сошла со страницы старого романа, держала в руках шляпу; из шляпы выглядывал пушистый щенок. На другой афише несколько разъяренных тигров, облизываясь, смотрели на красотку-дрессировщицу. Тигр держал в пас-

ти ее голову, а красotka изо всех сил улыбалась. На третьей – человек в черном плаще, похожий на мушкетера, на ковре-самолете опускался с неба на землю.

## Е Ж Е Д Н Е В Н О

– было написано красным вверху этой афиши. А внизу шесть толстых черных букв с тремя восклицательными знаками:

## В Л А Д А Н !!!

Слово запомнилось и сделалось вдруг в целом городе самым незаменимым.

– Владан! – кричали уличные мальчишки, бегая по рынку.

– Владан!! – орали ученики на переменах.

И толком никто не мог ни понять, ни объяснить, что это такое «Владан», ибо гастроли цирка еще не начались.

В те дни за парту с Олегом Немцем посадили новичка. Он слушал, как все в классе кричат, а сам лишь улыбался. Строгая учительница с усами записала его в классный журнал и для памяти раза два громко повторила:

– Ахмет Ахметжанов. Ахмет Ахметжанов... Ты, значит, из цирка?

Ахмет кивнул. Класс загудел.

– Дети, тихо! – прикрикнула учительница. – Ничего особенного! Он в классе будет временно, пока цирк не уедет.

Олег придвинул к Ахмету тетрадку с домашним заданием и положил осколок от фугаски.

– Бери! Бери насовсем!

Новенького эта вещь не заинтересовала. Вскоре выяснилось, что у него были дела поважней. После школы Олег с Ахметом вместе вышли на улицу и остановились у афиши.

## ТРИ – АХМЕТЖАНОВЫ – ТРИ

– сообщала афиша и ниже поясняла:

## ЭКВИЛИБРИСТЫ С ШЕСТАМИ

Отец Ахметжанов шел по проволоке, держа наперевес шесть или, как объяснял Ахмет, баланс. На плечах отца Ахметжанова стояла Ахметжанова-жена, то есть мать Ахмета. А у нее на плечах стоял мальчик – новый друг Олега Ахмет, который числился старшим сыном в группе цирковых артистов Ахметжановых. Два его меньших брата, близнецы Сурен и Булат, тоже бегали и прыгали на арене, но на канат их допускали пока только на репетициях.

– И впятером будете выступать? – спросил Олег.

– На репетициях уже давно работаем, но бывают срывы...

Итак, Немец сидел на одной парте с живым артистом цирка, чему все завидовали. Скоро он знал об Ахмете абсолютно все. Как тот жил в детском приюте в Ташкенте, как его усыновил Ахметжанов-старший. Всех троих детей он и его жена взяли из детских домов.

А как много Ахмет умел! Стоило Немцу произнести на уроке слово, и он получал замечание. Сосед же его мог болтать так, что училка ничего не слышала. Ахмет и Олега научил говорить, почти не шевеля губами. Таким способом Ахметжановы переговаривались на арене, незаметно для зрителей.

– В цирк вечером желаешь? – спросил новенький, когда после уроков они прощались на улице.

– А можно? – глаза у Олега загорелись.

– Приходи к служебному входу ровно в полвосьмого.

Олег прибежал заранее, обошел цирк кругом, отыскал табличку «Служебный вход», осторожно вошел и стал ждать у двери.

В половине восьмого Ахмет, одетый в черную бурку, вышитую бисером, подошел к вахтеру и, положив руку Немцу на плечо, сказал:

– Это ко мне!

Они поднялись на верхний этаж, пробежали по длинному коридору, потом лезли по винтовой лестнице и пробирались мимо ящиков, набитых реквизитом. Олег вслед за Ахметом вскарабкался по железным ступенькам на узкий балкончик и замер: в полутьме перед ним открылся купол – цирковое небо, увешанное канатами. Ахмет между тем солидно пожал руку осветителю и показал на Олега глазами.

– Вот мой друг. Пускай тут посидит, ладно?..

Осветитель кивнул. Он возился с прожектором и даже не взглянул на Олега, видно, привык, что к нему подсаживают зайцев. Ахмет хлопнул Немца по плечу и исчез.

До представления оставалось еще минут двадцать. В зале было пусто, прохладно и полутемно. Униформисты в зеленых мундирах, перекликаясь, раскатывали на арене ковер. Когда крики стихали, снизу доносилось рычание тигров. Тех самых тигров, что красовались на афишах недалеко от Владана.

Сидя в углу балкончика верхом на перевернутом старом прожекторе, Олег смотрел на арену. Зал постепенно заполнялся народом. Осветитель защелкал выключателями. Толстый, гладко прилизанный человек в черном фраке, который не сходился на животе, шагнул вперед и произнес красиво и громко слово, знакомое и непонятное:

– Вла-дан!

Оркестр грянул танго. Осветитель рядом с Олегом засуетился. Свет в зале потух. Потом луч прожектора высветил под толчком ковер-самолет, точь-в-точь, как на афише. На ковре сидел человек в черном плаще. Ковер-самолет стремительно летел вниз. Теперь луч прожектора осветил пятно в центре арены.

Там медленно вращался круг. Человек в плаще прыгнул с ковра-самолета на круг. А его черный плащ взметнулся и улетел в темноту вместе с ковром. Артист остался в белой рубашке с бабочкой, узких черных брюках и – босиком. Он застыл. Он ждал, когда кончатся аплодисменты. Затем он прошел по краю круга, раскланялся и уселся в кресло, будто устал после дальней прогулки.

Шталмейстер снова выдвинулся на арену и объявил:

– Художник, рисующий ногами, – Владан!

В зале вспыхнул яркий свет. Под танго, слегка пританцовывая, на арену выбежала женщина в белоснежном бальном платье. Она тоже раскланялась, расставила перед Владаном мольберт и укрепила лист бумаги. Владан поднял босые ноги, и только теперь стало видно, что рукава его рубашки висят по бокам тела, и эти рукава пусты. Художник рисует ногами, потому что рук у него нет.

Оркестр умолк. Правая нога Владана мелькала над бумагой, и в тишине зала был слышен скрип углей, которыми Владан рисовал. Делал он это быстро. Через несколько секунд музыка

заиграла снова, а женщина сняла с мольберта только что созданный пейзаж и понесла вокруг арены. Олег сидел выше всех, но даже он разглядел пальмы, море, дома на берегу.

И началось! Владану подавался новый лист бумаги, и он мгновенно набрасывал новый сюжет. И пока его помощница обходила круг, новый рисунок уже был готов. В конце пути ассистентка вручала каждую картинку зрителям, и лист бумаги начинал свое путешествие из рук в руки вдоль ряда или наверх до самой галерки.

От высоты, с которой приходилось смотреть на арену, и ряби разноцветных огней, с которыми орудовал осветитель, а может, еще от дыма и треска вольтовых дуг в прожекторах у Олега кружилась голова.

Внезапно музыка оборвалась, и свет в зале потух. В луче прожектора на арену опустился ковер-самолет. Он поднял Владана с его помощницей и унес в темноту. Оркестр загромохал марш, перекрывая шум аплодисментов. Зрители захлопали неистово и требовали повторить. Владан не вышел.

Всё в тот вечер казалось Олегу невероятным – ведь он первый раз в жизни был в цирке. Но ни его друг Ахмет Ахметжанов, который, скинув бурку, по тонкой трубе ловко взбирался на двадцатиметровую высоту и там делал стойку на руках, ни силовые акробаты братья Чертановы, ни наездники, ни даже тигры, которые ласково лизали щеки дрессировщицы, – никто не поразил Олега так, как художник без рук Владан.

Днем дома, после школы, когда мать была на работе, Олег решил повторить номер Владана. Он спрятал руки в карманы, уселся на стул и пытался поднять с пола босой ногой карандаш. Ничего не получалось. Тогда он рукой вставил карандаш между пальцами ноги и начал рисовать на куске бумаги, прикрепленном к стене. Получалась мазня: нога упорно не слушалась и не хотела создавать шедевра. Люська сидела рядом и умирала со смеху. Мать узнала об эксперименте и сказала, что Олег сходит с ума. Даже отец этого никогда не делал, а ведь он художник. Олег ей отвечал, что если б она побывала в цирке, ей тоже захотелось бы попробовать.

– Только цирка мне не хватает! – воскликнула мать.

Ахмет часто брал Немца с собой в цирк. Мать не возражала, считала, что лучше сидеть за кулисами, чем слоняться по

улицам неизвестно с кем. Олег дома без конца повторял куплеты, которые пели клоуны. «Тут и там – Гитлера там-там! Там и тут – Гитлеру капут», и другие гениальные стихи. Мог бы Олег как шталмейстер объявлять номера, ничего не перепутав, не хватало ему только такого же представительного живота, на котором не сходилась фрак, не говоря уж о самом фраке.

Олег прирос к цирку. А Владан по-прежнему оставался загадочным существом, прилетавшим на ковре-самолете из неведомого мира.

Раз Ахметжанов-старший ушиб руку, и номер их в тот день отменили. Ахмет очень обрадовался, что сегодня не надо выступать, затащил Олега в пустую артистическую, и они стали рубиться в шахматы. Играл Ахмет так, что не успевал Олег опомниться, как его королю угрожал мат. Немец не обижался, но скоро ему надоело раз за разом беспросветно проигрывать, тем более что на арене в это время шло представление.

– Ахмет, айда лучше смотреть...

– Ты же видел десять раз!

– Ну, все-таки глупо сидеть в цирке и не смотреть!

Они помчались по коридору к лестнице, когда их позвали.

– Ахмет! – слышался сзади хриловатый негромкий голос.  
– Зайди!

Ребята остановились.

– Владан зовет, – сказал Ахмет и пошел к открытой двери.

Посреди комнаты стоял невысокого роста молодой парень в белой майке и мятых пижамных брюках. Он растерянно улыбался.

– Владан, это Олег Немец, мой друг.

Ахмет подтолкнул Олега вперед. Олег, как взрослый, протянул руку, чтобы поздороваться, но тут же сконфузился, потому что у Владана вместо рук торчали короткие обрубки возле плеч. Локтей у него не было. Олег растерялся, но Владан захохотал и тем сразу его простил.

– Будем знакомы, – представился он, наклонился и, сведя оба обрубка на груди, сдавил ими Олегову ладонь. – Меня звать Слава.

– А где же Владан? – растерянно спросил Олег.

– Это и есть Владан, – засмеялся Ахмет. – На арене Владан, дома Слава. Ты зачем нас, Слава, звал?

– Вы Майю случайно не видели? Куда она пропала? Понять не могу... Ребятишки, сложите мои вещи в шкаф, а то я спотыкаюсь.

Волшебник, рисующий ногами, стоял посреди комнаты в майке, лохматый и растерянный, размахивая короткими культяпками рук, а вокруг на полу было разбросано его барахлишко. Ахмет ловко собрал и сложил в шкаф белье и одежду. Олег, как мог, ему помогал.

– В шахматы сыграем? – спросил Ахмет Владана, когда они немного прибрались.

– Давай! Только сперва с гостем. Идет?

Олег кивнул не очень уверенно.

– Расставляйте фигуры.

Шахматная доска стояла на полу. Олег делал свой ход, Владан, сидя на диване, тут же протягивал ногу и, ухватив фигуру между пальцев, опускал ее точно на нужную клетку. Он быстро обыграл Немца и сказал:

– Приходи почаще – выиграешь.

С того вечера Олег, можно, пожалуй, сказать, подружился с Владиславом Даниловым, или, сокращенно, Владаном, как тот значился на афишах. И очень этой дружбой гордился. Олег бегал к Владану почти каждый день, теперь чаще, чем к Ахмету. Он гонял для него на рынок за махоркой и научился скручивать сигарки из газетной бумаги, которые вставлял Владану в губы и потом давал огонька. А догоревшую его сигарку научился ловко тушить в тарелке с надписью «Госцирк», которая заменяла пепельницу. Он и уроки делал, сидя у Владана, а тот его кормил, чем было.

Однажды днем Олег весело вбежал к Славе.

– В шахматы сыграем?

Владан промолчал.

– Что с тобой?

– Без рук, брат, тяжело, – грустно ответил он. – Беспомощность унижает. Жить неохота...

Он был мрачней тучи.

– Мне бы водки стакан... Достань, браток, а...

Кивнув, Олег помчался домой, помня, что у матери под кроватью стояла добытая неведомо откуда бутылка. К счастью, дома никого не было. Олег завернул ее в газету и прита-

шил Владану. Тот сидел в полузабытье на диване в той же позе.

– Где взял?

– У матери...

– Спасибо, друг! Налей.

Олег налил ему полстакана.

– Добавь еще.

Стакан заполнился до краев.

– Теперь закупорь, заверни бутылку в газету и не забудь взять домой. Не то я всю допью.

Стиснув стакан обрубками рук и не пролив ни капли, Владан опрокинул его в рот, не морщась и не закусывая, как будто это была вода. Он сидел и ждал, пока лекарство подействует. Олег погладил ему обрубки.

– Это... на фронте?

Владан взял его за плечи обрубками рук и сжал.

– Я ведь водителем был. И руки мои остались в бронетранспортере.

– Как это? – не понял Олег.

– А так. Драпали мы из окружения. Чувствую, вязнут гусеницы, болото, надо обходить. Стали кружить и напоролись на минное поле. Помню только, ребята меня вытаскивают, я кричу: «Руки, руки мои возьмите!» Больше ничего...

– Понятно, – растерянно протянул Олег.

– Если понятно, браток, не откажи в любезности – сходи за Майей! Понимаешь, дело какое! Нас на фронт везут...

– Тебя – на фронт?

– Номер наш включили в программу бригады, которая едет на фронт выступать.

Конечно, Олег знал, где живет Майя: Владан не раз послал за ней. Это было довольно далеко от цирка, за железнодорожной станцией. Если трамвай не ходит, а он ходит редко, то пешком минут сорок. И Немец отправился к Майе.

Чем больше Олег привязывался к Владану, тем непонятней была для него Майя и их отношения. Познакомился Владан с ней в Ташкенте, в госпитале, где лежал после ранения. Курносая веснушчатая Майя забегала к нему в палату. Она была беженка, эвакуированная, вся семья ее погибла. Она ведь была старше Владана на одиннадцать лет. Владана взяли в танко-



вую школу из Суриковского художественного училища, где ему прочили славу нового Репина. И пока Владан лежал полгода в госпитале, нашел он себе занятие: в связи с отсутствием рук рисовал ногами. Потом его подобрала проезжая цирковая труппа, поскольку артистов для программы не хватало. Владан уговорил Майю ехать с ним.

Она стала помогать ему на репетициях, гримировала его, начала понемножку выступать вместе с ним. Владан с Майей расписались в ЗАГСе и жили в артистической: спали на диване, а ели за гримерным столом. Они проехали много городов, и вдруг все рухнуло.

Первым делом Майя расклеила на заборах объявление, которое сама написала: «Цирк снимет комнату для артистки». И такая комната нашлась. На вопросы Владана она отвечала, что уходит в частный дом, потому что устала скитаться. А дом, хоть и чужой, все-таки дом. Она не жила с ним больше, но приходила на работу. И тут, после представления, Олег слышал, как они ругались. Владан ходил хмурый, натыкался на стулья и матерился.

– Ты что – хочешь совсем уйти? Пропадешь!

– Мне здесь надоело...

– А номер? Как же наш номер?

– Мне все равно!

Хлопнув дверью, она вышла, а в коридоре натолкнулась на шталмейстера. Он был в парадных брюках, но вместо фрака в зеленой полосатой пижаме. Шталмейстер схватил Майю в охапку, пытаясь успокоить.

– Ахметжановы больны. Эти скандалят. Представление срываете! Да на фронте за такое вы бы пошли под трибунал!

Не отвечая, Майя вырвалась, убежала. Номер их в программе пропустили.

С большой неохотой Немец бежал к Майе.

Дверь, в которую он стучал, долго не открывалась. Олег уже хотел уйти, когда наконец вышла Майя в халатике, грешком продолжая расчесывать длинные вьющиеся волосы.

– Ну, что тебе? – устало спросила она. – Опять? Скажи Владану, что я больше не приду. Понял?

– Нет, не понял! – замотал головой Олег.

– Не понял, ну и не надо!

За спиной у Майи появился большой человек в трусах. Олег знал его. Этого тяжеловеса в цирке объявляли как силача – чемпиона среди силачей. Он поднимал огромные гири немыслимого веса, а потом свет гас, и униформист собирал эти гири в охапку и бегом уносил с арены.

– Слушай, малец, – усмехнулся тяжеловес. – Майя сейчас занята.

– Он велел передать, – продолжал Олег, – что едет на фронт...

– На фронт? – удивилась Майя и пожала плечами. – Ну и пускай едет!.. Я-то тут при чем?

Обратно Олег бежал, терзаясь сомнениями. Как же быть: сказать Владану Майины слова или нет? Если Владан это услышит, ему будет плохо. А если врать, то как?

– Ну что? – спросил Владан, едва Олег переступил порог.

– Майи нету! – сказал Олег.

– Где ж она?

– Куда-то уехала... Совсем...

Владан сжал губы. Олег скрутил ему сигарку, положил в губы и дал прикурить.

– Дела... – пробормотал Владан.

Он лег на диван и отвернулся лицом к стене.

На другой день цирковая труппа уезжала: часть на фронт, а часть в какой-то другой цирк. Прощаясь, Ахмет подарил Олегу новую афишу. На ней вместо «Три – Ахметжановы – три» красовалось: «Пять – Ахметжановы – пять». От Владана Олегу достались рисунки. Не те большие, которые он делал на арене для зрителей, а маленькие, которые он делал для себя. Рисунки долго висели у Немцев дома. Когда уезжали в Америку, таможня рисунки не пропустила, и Олег от обиды их порвал.

И вот теперь немец сидел в цирке, вжав голову в плечи и ладонями прижав уши. Время развернулось и примчалось назад. Жена тревожно на Олега поглядывала, не понимая что случилось. А на арене молодая женщина снимала с мольберта пейзажи, сделанные человеком, который также полулежал в кресле и рисовал ногами. Пустые рукава его белой рубашки развевались на сквозняке. Только человек, прилетевший на ковре-самолете в черном плаще, был совершенно седой.

Разволновавшись, Олег плохо видел происходившее на арене и, едва номер кончился, поднялся.

– Мне... ну, в общем, надо за кулисы, – сбивчиво сказал он Нинель. – Надо поговорить с этим человеком...

– А сердце твое в порядке?

– В порядке... Не волнуйся...

И Немец пошел по проходу, то и дело спотыкаясь о чьи-то ноги и изредка механически извиняясь.

Пожилая черная уборщица, узнав в чем дело, указала ему на дверь.

Перед зеркалом, спиной к нему, сидел человек с седой гривой волос, и женщина в белом передничке держала перед его губами бумажный стаканчик так, чтобы он мог пить. Олег подождал, пока человек напьется.

– Слава, – тихо позвал Олег.

– Тут я, – весело отозвался человек и повернулся во вращающемся кресле.

– Раз отзываетесь на это имя, значит, это вы.

– Конечно, я – это я. А вы, простите...

– Мне трудно объяснить... Я мальчик, с которым вы играли в шахматы и посылали к Майе... Меня зовут Олег Немец.

Некоторое время они молча и изучающе смотрели друг на друга.

– Война? – спросил Владан, как спрашивают секретный пароль.

– Война, – подтвердил Олег и вздохнул.

– Since this is your friend, I'll be back in few minutes, – промолвила женщина и вышла.

– Что она сказала? – спросил Владан.

– Она отойдет на несколько минут, – перевел Олег.

– Я знаю, здесь нельзя курить, – Владан подмигнул. – Но пока эта леди, которую ко мне тут прикрепили, вышла, достань мне сигаретку во-он из той сумки. Мы ведь «на ты», да? Как не поднять по такому случаю?

Чиркнув зажигалкой, Олег дал Владану прикурить и закурил сам.

– Видишь, я в том же амплу, – сказал Владан и закашлялся.

– Кто же тебе помогает?

– Да кто попало... Они у меня не задерживаются, – Владан вдруг запел. – Менял я женщин, как, терьям-терьям, перчатки...

– Приятно тебя видеть здоровым и в форме, несмотря ни на что!

– Здоровым?! – печально усмехнулся Владан. – А тебя не удивляет, что я вообще жив? Мне ведь семьдесят. А ты? Ты-то как?

Олег скупно рассказал. Он был растерян и от этого глуповат.

– У тебя семья, а я вот как жил, так и живу бобылем, если не считать случайных эпизодов. Не живу, а существую...

– А как Майя? Может, это неприятно вспоминать?..

– Майя, представь себе, пришла на наше представление в Нью-Йорке. Живет с мужем на Брайтон-Бич.

– Он тоже был циркачом?

– Сейчас служит швейцаром в гостинице. А ведь не мальчик... Меня раньше за границу никогда не выпускали, – ведь советские люди не должны быть уродами. А сейчас к вам сюда только ленивые не едут. Я знаю, все халтурят, но, поверь мне, кроме циркачей: на канате под куполом на шармачка не поработаешь... Послушай, Олег, ты же по-английски сечешь. Погляди, что тут про меня пишут?

Кивком головы Владан указал на стол. Немец взял свежий номер газеты «Сан-Франциско экзаминар». На фото Владан был в своей рабочей позе на арене. Надпись гласила: «Русский артист, который ногой рисует лучше, чем другие художники рукой».

– Я-то газет не читаю, – сказал Олег. – Оказывается, о тебе уже не первый раз здесь пишут. Вот послушай: в связи с появлением талантливого русского художника без рук газета решила провести конкурс среди читателей: какой орган у мужчин самый важный.

Только теперь до Олега дошло, почему спорили у Мирона гости!

– Ну и какой же? – спросил Владан, кося глаза в газету.

– «Читательницы охотно откликнулись, – переводил Олег. – Одна молодая женщина заявила, что постановка вопроса неправильная: у ее друга ей нравятся все органы. А одна феминистка заявила, что у мужчин нет важных органов вообще, все второстепенные, а все важные органы только у женщин. Она и получила первую премию на конкурсе: бесплатную подписку на газету «Сан-Франциско экзаминар».

– Боже мой! – воскликнул Владан.

– А вот еще, – Олег продолжал читать. – Тебя будут показывать по телевидению. Готовься! Знаменитая Барбара Уолтерс специально прикатила в Сан-Франциско взять у тебя интервью для передачи «20-20».

– Зачем мне все это?

– Поздно, брат, ты – знаменитость. А вот письма читателей. Послушай-ка, тебе делают предложение. Некая Стефани Боксер готова утешить тебя в одиночестве. Она пишет, что отсутствие рук у Владана – не помеха и что готова выйти за тебя замуж. Женишься – останешься в Америке.

Владан улыбался. Но в глазах его стояли слезы.

– Это что, серьезно? Такого мне в жизни никто не предлагал. В молодости я хотел любить женщин руками, понимаешь, и очень страдал, что не мог... Мопассан говорил, пока у него есть хоть один палец, он мужчина, а у меня нет ни пальцев, ни даже тех мест, из которых они растут. Кому я нужен – жалкий калека, жертва той тупой, идиотской войны, обрубок человека?

Я ведь тоже не состоялся из-за войны, хотел сказать Олег. Но это было неуместно, и он промолчал.

– Владан, давай я заберу тебя к нам домой, – вместо этого произнес он. – Отдохнешь... Расслабишься... Погуляем на океане... А потом привезу обратно.

– Нет, Олег, нет! Все это не для меня. У меня только две точки существования: арена и эта гримерная с диваном. Тут или там я и помру. А теперь прощай, дружище. Мне надо принять снотворное и лечь.

– Тогда вот мой телефон, – Олег набросал на клочке бумаги номер. – Отдохнешь – позвони, я за тобой приеду и...

Владан кивнул. Олег обнял его за плечи, понимая, что звонка не последует. Пустые рукава владановой белоснежной рубашки колыхнулись и замерли.

Олег вышел на улицу. Представление давно закончилось, и пространство вокруг цирка опустело. В Тихом океане садилось солнце, оранжевое и тяжелое. И никакой разницы с тем солнцем, которое Олег видел в деревне накануне войны, на самом деле не было.

Нинель одиноко стояла у входа и ждала мужа.

## КВАРТИРА №1

Немало помотался по свету Олег немец. А в город, где родился, никак не мог выбраться. Было к тому объективное препятствие, ибо давно переселился Олег на другой континент и сделался американским подданным. Он все надеялся на гострольную поездку, но пути оркестра туда не лежали.

И вот, после очередного концерта в Москве, в предотъездный свободный день, душный и полный бензиновых паров, Олег отчетливо понял: если он немедленно не съездит, то после уже не увидит свой город никогда. Договорились они с женой, трепавшейся на радостях с утра до ночи со старыми подругами, встретиться в десять вечера того же дня на Центральном телеграфе, у входа.

Билетов на ранний рейс на аэровокзале, конечно, не было. Но для тщательно выбритого, вальяжного господина, во всё ненаше одетого, с американским паспортом, а главное, за двойную цену в твердой валюте билетик случайно нашелся. Через час Олег уже протопал через магнитную ловушку в Быкове на посадку. Если все будет нормально, меньше часа полета, и там у него будет несколько часов.

Подремывая в тесном для его располневшего тела и дребезжащем самолете, немец подсчитал, сколько он не был в родном городе. Вышло около полувека. Для всеобщей истории человечества его вояж не имел существенного значения, но история не происходит сама по себе. Она то течет мимо, то втягивает нас в водоворот. Мы выкарабкиваемся, обсыхаем на

солнышке, и кажется, что история снова независимо течет мимо. Она-то легко может течь без нас, да мы без нее не живы. Подобные философемы приходят только человеку, пребывающему в самолетном безделье. Ну, и день был непростой, набухший предчувствием.

Самолет приземлился, когда наступило самое пекло. Не выходя из приземистого здания провинциального аэровокзала, Немец повесил на плечо сумку, плащ и первым делом втерся в очередь поближе к кассе. Заскандалившему было старику он дал доллар, и тот сменил гнев на милость. Олег купил за три пачки российских банкнот обратный билет на вечерний рейс в Москву. Пока что ему везло. Чтобы разом на весь день отрешиться от мирских забот, в стекляшке напротив аэровокзала он взял две порции жутких вареников, похожих на вареных мышей. Однако есть их не стал, отдал бедной женщине, которая проворно слила их в пластиковый мешок. Немец взял такси, через полчаса очутился в центре и побрел, повинуясь внутреннему компасу.

Ничего Олег не узнавал, а все-таки к старому чугунному мосту пришел, никого не расспрашивая. У моста он замедлил шаги. Грузная решетка, покрашенная по ржавчине, бугрилась волдырями. Вот здесь, за поворотом, должен стоять ларек, чуть поодаль женщина в белом фартуке, а перед ней лоток, полный разноцветных подушечек по три копейки штука. Немцы, отец и сын, отправляются на прогулку. Сын трясется по булыжнику на двухколесном велосипедике. У ларька прислоняет велосипед к решетке. Отец берет кружку пива, а на сдачу сын покупает у лоточницы подушечки. Олег сосет аккуратно, чтобы они дольше не лопались. Едва только вытечет повидло – конфете конец.

Олег ощутил во рту кисловатый вкус этого повидла, но, завернув за угол, ни пивного ларька, ни лоточницы не увидел: они стояли здесь до войны. Вместо булыжника кругом лежал асфальт, и асфальт этот давно успел обрасти змейками трещин. Немец ускорил шаг. Тут уже близко.

Жили они в узком кривом переулке возле церкви Андрея Первозванного. Церковь была полуразрушена, из-под штукатурки вышла кирпичная кладка, на колокольне, ближе к макушке, торчали железные балки. Колокола сбросили по при-

казу наркома тяжелой промышленности Орджоникидзе. Луковицы давно оголились, и ветер снес железо. Кресты стояли, словно стыдясь, наклонив плечи, будто им так лучше был виден весь кривой переулочек.

Каждый день Олег с приятелями торчал возле обрешеченных окон церкви. В ней, в отсеках, разделенных низкими фанерными перегородками, работали скульпторы и мастера, отливающие из гипса готовые статуи. В окнах, через квадраты решеток, виднелись неоконченные монументы вождей без рук, торсы да бюсты. Ленин держал на поднятой вверх руке свою собственную голову, словно снял ее, чтобы передохнуть от напряженных мыслей о судьбе человечества.

Но толпились пацаны возле окон не из-за Ленина. Самым волнующим зрелищем было, когда удавалось подглядеть процесс созидания скульптур ткачих и колхозниц, ударниц труда. Рядом с монументом за пятьдесят копеек в час стояла на возвышении сисястая натурщица, и на ней, в отличие от скульптуры, никакой одежды не было. Зрители у окна, отпихивая друг друга в борьбе за лучшее место, вслух комментировали зрелище.

Натурщица, как правило, не обращала на шпану внимания и болтала, а иногда уходила под занавеску и там занималась то с одним, то с другим скульптором совсем другим искусством, о котором Олег имел тогда весьма смутное понятие. Иногда скульпторы пускали одного-двух старших ребят внутрь. Те местили глину или таскали воду из колонки на улице, стараясь пройти как можно ближе от натурщицы, а если повезет, то и задеть ее локтем. Та начинала хохотать и строго говорила:

– Ну, чего варежку-то развесил? Анатомию что ли в школе не проходил?

На доме, в котором росли Олег с Люськой, штукатурка затекла от дождей ржавыми полосами, но стены были крепкие. В прошлом веке тут часто бывали пожары, кругом оставались пепелища, а этот дом выстаивал целехонек. Он видел Наполеона. В квартиру вело широченное гнилое деревянное крыльцо, крытое резным навесом. Люська с маленьким Олегом и кошкой сидели на протертых ступенях и втроем мурлыкали на солнышке. В обшарпанной двери была прорезана щель. Над щелью отец масляной краской красиво вывел: «Кв. №1».



В щель почтальон засовывал газеты, и они падали в коридорчик. Звонок над щелью, если крутануть, весело тренькал.

Комнату украшала старинная изразцовая печь, которую мать топила из коридорчика. У окна, закрывая подоконник спинкой, стоял диван. На нем спали отец с матерью. У другой стены втиснулись две кровати – Люськина и Олега. К ним примыкала шаткая этажерка с деревянным ящиком, из которого доносилась хриплая музыка. Когда приходили гости, отец хвастался, какие далекие станции принимает новый приемник – даже иногда Ленинград.

Больше всего на свете Олег любил гостей. И как только умещалась у Немцев такая тьма народу? Отец был самым веселым в самой шумной компании. Он потешался над всеми и над собой, пел арии из опер и танцевал вальсы, сажая детей на руки. Перестав смеяться, он становился хмурым и говорил, словно оправдываясь:

– Очень смешно!

Иногда Олег не понимал шуток, и ему казалось, отец обижает мать. Но она звучно била отца по спине и сама смеялась.

Он работал ретушером, отец. Орудиями его труда были тонкая кисточка, молочное стекло в разводах туши да лупа. Из издательства он приносил пачки снимков. Симпатичных людей с бракованных фотографий Олег после вырезал.

Однажды в дверь позвонили. Вошли двое в форме НКВД. Отец стал белым, как бумага, а мать прижала ладони к шее.

– Гражданин немец? Пройдемте в комнату, – сказал один из вошедших отцу. – А вы, гражданка немец, возьмите детей и идите гулять.

– То есть как? – переспросила мать.

– Разве не по-русски сказано? Уходите на улицу.

Мать безысходно зарыдала, одела детей и увела во двор. Было ясно, что отца уводят. Стоял тридцать седьмой. Но часа через полтора энкаведешники ушли. Один из них на прощанье даже козырнул матери. Она побежала в дом, готовая к худшему, но отец тихо сидел на своем рабочем месте, уперев локти в стол и тупо глядя в стену. На вопросы матери он не отвечал, словно онемел. О том, что произошло в доме, отец все же поведал матери. А мать молчала почти двадцать лет и рассказала Олегу, словно случайно вспомнив.

Оказывается, энкаведешники посадили отца за стол и стали по обе стороны, будто готовились выкручивать ему руки. Один из них открыл портфель, извлек из него большой конверт с сургучной печатью и вскрыл его. На стол перед отцом легла фотография – крупным планом лицо с усами, изъеденное дырками оспы. Узнать лицо было нетрудно, оно глядело со страниц всех газет, но, конечно, без оспы.

– О вас имеются данные как о лучшем ретушере, – сказал другой незванный гость. – Можете убрать с этого лица лишнее?

– Могу, – еле выговорил отец.

– Делайте!

– Но это большая работа.

– А мы не спешим...

Они стояли над ним, следя за каждым его движением, а он работал медленно, потому что руки у него дрожали. Когда оспа исчезла и кожа на щеках стала гладкой, как у младенца, один из гостей ловко вытащил фотографию из-под отцовского локтя и спрятал ее в портфель. А перед отцом положили бумагу, на которой ему велели написать, что он был посвящен в государственную тайну, разглашение которой карается по всей строгости советских законов. Впоследствии, вспоминала мать, они с отцом никогда и нигде снятой с такого близкого расстояния фотографии этого лица не встречали. Отец предполагал, что фото это извлекли в связи с новым заказом для скульпторов, но скульпторам видеть натуральное лицо было недозволено.

– А ты ему, не дай Бог, оспинку где-нибудь случайно не оставил? – с беспокойством спрашивала после мать. – Заберут ведь!

Но обошлось.

Отец и сам любил щелкать затвором. Печатал фотокарточки ночью, расставляя на столе, возле ребячьих кроватей, ванночки. Подынешь веки – все в странном розовом свете. Одно фото висело на стене: сидят на диване мать, Люська и хохочущий отец. Олег стоит рядом, держа в руках смычок и скрипку. Отец посадил их тогда на диван, аппарат укрепил на треножнике, протянул к дивану нитку и сел сам.

– А ну, смейтесь, как положено! – крикнул отец, захохотал и дернул за нитку.

Вспыхнул магний, затвор щелкнул. Все улыбались, как надо, а Олег напряженно следил за ниткой. Так он и получился.

Война для Олега началась с мелочей. Приемник велели сдать на почту и выдали квитанцию. После первых налетов отец сказал:

– Придется вам эвакуироваться.

Олег радовался. Кто-то ему ляпнул, что на Урале, куда шли эшелоны с детьми, полным-полно камней-самоцветов, и Олег ехал собирать красивые камушки. Мать плакала. Отец остался на перроне. Из художников составили группу красить зелеными и желтыми пятнами крыши для маскировки. Ретушеров записали художниками.

Мать с двумя детьми привезли в маленький городок с зелеными палисадниками, тихий и бедный. С бревенчатых стен маленькой комнаты косами свисала пакля. Мать прибегала с работы, когда от темноты и голода у Олега и подраставшей Люськи слипались глаза. Отворачивая лицо от дыма, мать растапливала печь, варила и, пока они уничтожали еду, грела возле печки их одеяла, мечтательно приговаривая:

– Вот погодите, скоро наш отец вернется...

От отца почтальон приносил письма, иногда по два-три сразу. С конвертов Олег срезал марки. После стали приходиться конверты без марок. Потом пошли треугольники. А вскоре и треугольники приходиться перестали. Засыпая, Олег видел: мать сидит на кругляке и, оцепенев, глядит на догорающие угли.

Война кончилась, и летом они втроем вернулись в родной город. На месте крыльца с резным навесом оказалась просто дверь. Вдруг мать побледнела, сжала Олегу руку и долго стояла не шевелясь. Над щелью, заменяющей почтовый ящик, хотя краска немного облупилась, было видно выведенное отцовской рукой: «Кв. №1».

Мать опомнилась, опустила чемодан, дотянулась до ручки и дернула. Дверь не открылась. Попробовала мать покрутить звонок – он едва скрипнул.

Люська показала Олегу вверх на стену. Окон их квартиры не было, а сама стена была новая, криво сложенная из обломков кирпича, и шла она наискось. От этого дом выглядел временкой и совсем перестал быть похожим на те особняки, которые видели императора Наполеона.

Оставив детей стеречь чемодан, мать ушла за угол и постучала в квартиру к соседям. Оттуда вышла женщина в пуховом платке. Она нехотя объяснила, что старые жильцы в начале войны разъехались кто куда. Въехали новые. Бомба тут упала еще в первый год войны и разрушила часть дома. Жильцов переселять было некуда, а трещины ползли дальше. Стену дотачали, чтобы дом не рухнул, и первой квартиры нынче фактически нету. То есть дверь-то в нее осталась, это так, да она никуда не ведет. А крыльцо давно на дрова пошло.

Женщина ушла и тщательно заперла за собой дверь. Мать стояла в растерянности, переминаясь с ноги на ногу. Олег и Люська на нее смотрели, а что она могла решить?

Приютила их тетка Полина, троюродная материна сестра. Она никуда не уезжала и сторожила свою комнату всю войну. Жила она на окраине одна, но все равно Немцам нужно было думать о своей конуре. Прописаться матери не удавалось, потому что не было квартиры, а в очередь на квартиру райисполком не ставил без прописки и характеристики с работы. На работу же никуда не брали без прописки. Зато по случайно сохранившейся квитанции на почте выдали отобранный в начале войны приемник. Тоже выдавать не хотели: квитанция-то была на имя отца, а отец пропал без вести. От прописки зависела остальная жизнь.

Безо всякой надежды мать ходила в домоуправление, и раз паспортистка Зоя Ивановна сжалилась, намекнула, что если участковому подмазать, он закроет глаза на то, что квартиры №1 фактически нету и в ней пропишет.

– А как ему отдать деньги? – спросила мать. – Вдруг не возьмет?

– Да как все дают? – удивилась паспортистка. – Вложи в детскую книжку и скажи: вот, мол, подарок вашим детям.

Мать взяла займы у тети Полины и подарила участковому книжку «Дядя Степа», в которую вложила всю наличность. Участковый был немолод и толст.

– Почитаю, – надув щеки, сказал он.

Через неделю, когда мать пришла за ответом, участковый, разглядывая ее паспорт, строго сказал, что прописать уже почти можно, но замначальника по паспортному режиму смущает ее фамилия.

– Да уж какая есть, – равнодушно в тысячный раз объяснила мать.

– Может, с национальностью спутали? А если так, что это за немцы у нас в городе после войны? Но начальник тоже детские книжки любит...

Брать взаймы было не у кого. Мать сняла с руки и положила на стол участковому часики. Тот поморщился, но быстро убрал их в ящик стола. Через неделю у матери в паспорте стоял штамп прописки в квартире №1, которой вообще-то не существовало.

Мать устроилась на работу счетоводом в какую-то артель. Куда ж еще ей было деваться с такой плохой фамилией? Олег понимал, что отец не вернется, хотя похоронки так и не пришло. Мать притихла, руки у нее стали шершавыми.

Они жили впроголодь, потому что на первые две зарплаты мать купила в комиссионке треснувшую скрипку. Олег сам ее склеил и вдруг стал играть без понуканий. Когда Олег переставал играть на скрипке или у него были нелады в школе, глаза матери наполнялись слезами. Она не говорила ни слова и быстро отворачивалась. Иногда она плакала без видимых причин.

– Что ты все про одно: дети да дети, – поучала ее Полина, которая была лет на двадцать старше. – О себе подумай!

Не отвечала мать, будто не слышала.

В коммуналке у Полины они прожили некоторое время. А потом вечером пришел участковый. Пыхтя, спросил разрешения присесть (целый день, мол, на ногах), но надо взглянуть на документы. Полины не было, детей мать только что уложила, Олег делал вид, что уже спит. Выложенный матерью на стол паспорт участковый открывать, однако, не стал.

– Выпить чего не найдется? – вдруг спросил он.

Просяба такая даже обрадовала мать: не будет он принимать мер, выпьет да уйдет. Он сам откупорил поставленную перед ним четвертинку водки, влил в себя полстакана, закусил хлебной корочкой, валявшейся на столе, слил в стакан оставшее и допил.

– Хорошо! – сказал он, совсем раскраснелся и расстегнул шинель.

– Ну, и слава Богу! – пробормотала мать. – У нас с документами все в порядке, можете не беспокоиться.

– А как насчет по женской части? – и он сжал материну руку.  
– В каком смысле? – оторопела мать.  
– Да в прямом. Я мужчина сильный, сама понимаешь, что мне надо.

Он поднялся, шатнувшись, и схватил мать за вторую руку. Она отстранилась, как могла.

– Нет, не надо, пожалуйста, дети ведь смотрят, – запримечивала мать.

– Тогда в коридор пойдем, да не бойсь, я шинель подстелю, она теплая.

В это время тихо вошла тетя Полина.

– У, да тут веселье гудит, – все поняв с первого взгляда, зашумела она. – Но надо и честь знать, гости дорогие, хозяйке спать пора, завтра чуть свет на работу.

– Ладно, вдругоря еще приду, – угрюмо объявил участковый, отпустил материны руки и нетвердой походкой направился к двери.

Уткнувшись в Полинино плечо, мать рыдала.

Через неделю участковый еще пришел. Но теперь мать была готова к отпору. Он выпил свою дозу, пытался облапить мать, но та ухватила для своей защиты за Олега. Обняв, поставила сына впереди себя. Участковый рассвирепел, схватил со стола пустую четвертинку и грохнул об пол.

– Тебе же хуже! – заявил он матери. – Соседи давно в милицию сигнализируют, что вы живете в одном месте, а прописаны в другом.

Он хлопнул дверью, и несколько дней было тихо.

Мать уже ложилась спать, когда в дверь позвонили. Из милиции пришли двое, один был в штатском. Забрали у матери паспорт, велели за ним прийти. Вскоре мать получила паспорт обратно. Прописка была ликвидирована. Матери дали подписать бумагу – в течение сорока восьми часов покинуть город вместе с детьми, а если останется, посадят за нарушение паспортного режима, а детей – в колонию.

– Сын! – решила мать. – Хочу с тобой посоветоваться... Ты у нас единственный мужчина.

Раньше она так никогда Олегу не говорила.

– Не знаю, как и быть, – она замолчала, искала слова. – Выселяют нас. Ездил я в деревню, где мы на даче жили.

Думала, может, Паша возьмет нас к себе. Да два года, как она умерла... Снимать здесь разные углы и скрываться? Я уже искала. Как спросят фамилию – смеются, а как узнают, что прописки вообще нету, не сдают, боятся. И сама куда ни пойдешь, все отец, отец... Тут набережная – мы с ним на лыжах катались. Там дом, где я тебя родила и он меня с цветами встречал. Нет нам здесь места без отца...

– Чего же ты хочешь?

Хотя Олег считал себя почти взрослым и мать давно уже не называла его Олей, как девочку, предложить он ничего не мог.

– Заставляют второй раз эвакуироваться, – сказала мать с отчаянием. – То немцы были виноваты, а теперь потому, что мы сами Немцы. Уедем туда, где жили в войну. Там у нас... отец еще был жив... Помнишь, он всегда сердился, когда я тебя Олей звала? Я и не зову.

Не все понял тогда Олег, ему сказанное. Где жить, ему было все равно. Там остались шпанистые приятели, с которыми они играли на огороде в войну, зимой гоняли на коньках, цепляясь проволочными крючками за грузовики, а летом дергали морковь на соседских огородах. Здесь он так и не успел ни с кем толком подружиться. Во дворе ворье. Одни приходят из лагерей, другие уходят. Те и другие зовут тебя фрицем и бьют. Люська тоже рвалась ехать немедленно. Там у нее был почти что жених Нефёдов.

Немцы уехали обратно. Люська вскоре вышла замуж и родила двух дочек. Олег кончил музучилище, открывшееся после войны, и попал в симфонический оркестр областной филармонии. Он тоже женился, родил сына. Однажды первая скрипка, секретарь парторганизации филармонии, когда они после концерта выпивали, сказал Олегу:

– Если хочешь расти, вступай в партию. Без партии хорошим музыкантом тебе не стать.

Пришлось послушно влиться в партию – отчего ж не вступить, если обещают блага? И действительно, скоро его сделали третьей скрипкой. Для плана оркестр выезжал в соседние колхозы и воинские части, чтобы массы овладевали классической музыкой. Заработал коммунист немец квартиру через пять лет. Немного погодя купил мебель и на книжную полку

поставил собрания сочинений русских и прогрессивных западных классиков, чтобы было, как у всех. Еще через несколько лет построил летний домишко на выданном ему филармонией садовом участке. Стоял в очереди на «Москвича». Постепенно сыну Валеше исполнилось столько, сколько самому Олегу было перед войной.

Нельзя сказать, что Олег жил счастливо, хотя и неплохо. Можно сказать, жил лучше многих других, но энергичная жена его Нинель, окончившая в Москве Институт народного хозяйства имени Плеханова и служившая старшим экономистом в проектно-институте, однажды спросила:

– Ответь мне, пожалуйста. Кто у нас в семье мужчина?

– Допустим, я, – осторожно сказал Олег. – А что?

– А кто у нас в семье немец?

– Так ведь только по фамилии...

– Видишь, как получается: все равно ты. Конечно, лучше бы ты был для этого настоящим немцем или евреем, но что поделаешь? В общем, ты мужчина, ты немец, а в русских очередях стоять мне. И мне надоело!

– Что-то я не просекаю, – пробурчал он, хотя уже вполне догадался. – Куда ты клонишь? К разводу? Хочешь обзавестись фамилией поблагозвучней?

– Ни за что! Я клоню к Америке или в крайнем случае к Германии, – сказала жена. – Все едут.

– Разве? – спросил Олег, который в практической жизни был далек от всего, кроме пиликания на скрипке. – А почему?

– Потому что выпускают, – исчерпывающе объяснила жена. Это был могучий аргумент.

– Конечно, я уже все прощупала, – продолжала наступление Нинель. – Выпускают в основном евреев, но и немцев, и армян. Если подсуетиться, думаю, с такой фамилией, как у нас, мы тоже вызов получим. Напишем, что ты не только немец, но и еврей. А уж я с тобой кем хочешь буду. Ну, подумай только: вырвемся – и никогда в жизни у тебя больше не будет прописки!

Это dokonало его нерешительность.

Из партии Олег немец вышел в общем-то почти так же легко, как вошел. Из филармонии его мгновенно ушли по собственному желанию. Время было для отъезда благоприятное,



так называемый детант, и Немцы, прождав несколько месяцев, в общем потоке получили приглашение от незнакомой тети в Израиле. Неизвестно, была ли она тетей или дядей, но дай ей или ему Бог долгих лет жизни. Люська со своим Нефёдовым и дочками осталась. А мать, поколебавшись, поехала с Олегом.

При всей Олеговой скромности только тогда выяснилось, что он не просто талантлив, но очень – ибо посредственных музыкантов в хороших оркестрах на новой его родине не держат. С тех пор он много поколесил по свету с тремя оркестрами, в которых пришлось работать, но никто никогда ни в одной стране, кроме той, первой, не смеялся над Олегом Немцем, что у него такая фамилия. Ну, а у сына Валешки, который кончил университет в Америке и работает компьютерщиком, этой проблемы вообще нет: русское слово *Nemets* по-английски ничего не значит, а и значило бы, так что? Самое близкое к нему слово *nemesis* означает «возмездие» или «кара». При желании можно рассмотреть тут некую символику, но на практике она не работает.

А работало то, что Олега Немца все же безотчетно тянуло туда, где он родился, в квартиру №1. Жизнь он прожил в квартирах с разными номерами, но первая была у него одна. Может, как ни глупо это звучит, дело в том, что он в ней был прописан?

Прописка Олегу больше не нужна. И по всему свету он ездит без виз. Только в ту страну, где у него была прописка, ему надо получать визу, платить угрюмым чиновникам за то, чтобы они выдали клочок бумаги, разрешающий навестить родину.

Шагая по жаре в костюме и при галстукке, Олег взмок. Он стянул пиджак, замотал его в плащ, расстегнул воротник: воздуха не хватало, дышалось тяжело. Но когда до дома остался один квартал, Олег не выдержал, зашагал еще быстрее, побежал. А мог бы и не спешить: если дом не снесли за полвека, то он постоит еще пять минут.

Дом стоял на месте. Немец остановился и вздохнул. Переулок превратился в тупик. Новая улица пролегла в стороне, вдоль набережной. За церковью, поперек проезда, распластался бетонный корпус, весь в стекле и алюминии. В нем раз-

местилось, судя по обилию автомобилей у подъезда и милиционеров, гуляющих вокруг, серьезное учреждение.

Церковь обросла лесами. Покривившиеся кресты выпрямили, луковицы облепили жестью и покрасили в яркий желтый цвет, заменяющий позолоту. Олег заглянул в окно через решетку. Скульпторы и скульптуры исчезли. Внутри стояли унитазы и ящики с кафелем для санузлов – склад. Олег мог опоздать: неподалеку сгрудились бульдозеры. Вот-вот ничего не останется от всего переулка, кроме церкви, на которой появилась плита, похожая на могильную: «Охраняется государством. Повреждение карается законом». Повреждать, однако, уже было нечего.

Дверь их квартиры по-прежнему висела над землей. И надпись еще можно было разобрать: «Кв. №1». Дверь забита горбылем крест-накрест. Немец обошел дом вокруг, спотыкаясь о ломаные кирпичи, с любопытством осмотрел новую стену, которая отсекла часть дома, и решил позвонить в квартиру №2. Долго никто не открывал, потом послышался старческий голос:

– Чего надо?

– Из стройуправления, – сказал Олег первое, что пришло на ум, стараясь свой тихий голос превратить в грубый и деловой.

– Чего надо-то? – повторил голос за дверью.

– Ввиду сноса... Осматриваем помещение.

Два замка повернулись, щеколда отодвинулась. Старуха в грязном, когда-то цветастом халате подозрительно оглядывала Олега. Но он был одет прилично, и на лице у него ничего криминального написано не было.

– Гниет дом, будем сносить, – сурово сказал Немец. И стараясь не придавать значения словам, прибавил. – А почему дверь первой квартиры заколочена?

Они стояли по разные стороны порога. Женщина долго не отвечала. Сунув в рот заколку, она прибрала волосы. Держась рукой за дверь, вытянула шею, глянув на дверь квартиры №1, будто впервые ее заметила. И сказала то, что Олег давно знал: дом бомбили в войну, трещины пошли, и тут поставили новую стену.

– А к вам, мамаша, можно войти, взглянуть, нет ли трещин?

– Входи, коли поручено. Только у меня со вчерась не прибрано.

Беспорядок и грязь в комнате, в которую он попал, были монументальны. «Вы слушали песни о нашей родине и марши», – радостно сообщил диктор. Олег внимательно осмотрел стену, отделявшую затхлые старухины апартаменты от несуществующей квартиры №1. Он глянул в окно, зарешеченное ржавыми прутьями, и сообразил, что старухина стена не достигает до новой кирпичной кладки. Там остается промежуток, часть дома, в которую не войти.

Для виду Олег вынул блокнот, накарябал закорючку и поблагодарил старуху. Она спросила, скоро ли ее переселят, сколько ж можно обещать?

– Скоро, – успокоил ее Олег. Не удержался, добавил. – Можно не убираться.

– Вот и я так считаю, – согласилась хозяйка. – Чего ж мыть, если выселяют? Большая вам благодарность, родненький.

– Не за что!

В домоуправлении Олег разыскал слесаря. Крепкого здоровья, но опухший от фруктово-выгодного, тот полулежал на старом диване в маленькой комнатке с раковиной и унитазом. Слесарюга долго не мог взять в толк, чего пришьелцу надобно. Ворчал, что пристают к горлу с ножом из-за разной ерунды, а у него важная проблема утечки в бачках.

– На кой ляд тебе далась эта дверь, скажи ты мне, тогда запущу...

Олег вытащил из кармана полиэтиленовый мешок с толстой пачкой денег.

– Хватит?

Пролетарская гордость помаячила в зрачках слесарюги, но не настолько долго, чтобы дать клиенту возможность передумать.

– С этого и надо было начинать, – назидательно сказал слесарь, небрежно спрятав в карман мешок сушеных рублей. – Просить – все просят, а я один.

Прошли они к дому кратким проходным двором, о котором Олег не подозревал. Раньше такого хода не существовало. Остановились у квартиры №1. Слесарь поставил на землю ободанный чемоданчик, оглядел дверь.

– Дело серьезное, – сказал он, набивая цену. – Сперва надо обмозговать.

Он не спеша закурил. Олег молчал, ждал. Потом вынул свои сигареты и, чиркнув зажигалкой, тоже закурил.

– Сам-то кто?

– Скрипач.

– Во, дает! – захохотал слесарь. – Скрипач... Все мы скрипим. Артист, что ли? То-то смотрю, бумажник набит. Да нет там антиквариата за дверью-то! Как в войну забили, так и стоит.

Отшвырнув окурок, гегемон пнул ногой чемоданчик, и тот открылся. Из него была извлечена большая связка ключей на проволоке.

– Может, сперва доски оторвешь? – осторожно предложил Немец.

– Доски успеют.

Слесарь стал примерять ключи. Ни один не подходил, а может, просто заржавело. Поглядывая на Олега косо, слесарь медлил. Его тревожила возможность подвоха. Если там ничего нет, на кой ляд ему авансировали пачку, а не несколько бумажек, как всегда?

– Твоя как фамиль-то?

– Немец.

– Из Германии?

– Фамилия, говорю – Немец.

– Странная фамилия... Яврей, что ли? И чё те рыскать там? Будут скоро сносить, приходи да гляди.

– Я приезжий.

– Откуда же?

– Из Сан-Франциско. На гастролях тут...

– А, гастролер, значит. Как говорится, бывший изменник родины, а теперь наш друг и брат. Паспорт-то предьявь...

Усмехнувшись, Олег дал ему синий паспорт. Слесарь его с любопытством покрутил так и сяк.

– Что-то тут не по-нашему. Значит, ты какой же нации?

– Американец.

– А фамилия, говоришь, Немец. Чудно!

Это становилось утомительно.

– Ну что? Открываешь или...

Надоело это Олегу. Он вырвал из рук слесаря паспорт и вытащил из кармана скример – коробочку с полицейской сиреной, которую кто-то ему посоветовал купить перед отъездом в Россию.

– Што за штука? – удивился слесарюга.

– Щас облучу тебя – станешь импотентом. Деньги на бочку, другого найду. Включить?

– Здесь я хозяин, – обиделся тот. – Зачем так круто?

Слесарь нагнулся и вытащил из чемодана топор. Гвозди заныли, и горбылины рухнули. Топор втиснулся в щель, покряхтел и, наломав щепы, зацепил дверь. Она запищала, захрипела и – открылась. Пахнуло сыростью и гнильем.

– Валяй, пачкай костюмчик, коли такая охота взяла...

Закусив от волнения губу, Олег ступил на порог. Паутина и тусклые гирлянды пыли свисали с потолка, шевелясь, будто живые. Под слоем кирпичной крошки и мусора на полу виднелись бумажки. Олег поднял их, отряхнул, вытер ладонью. Это были два брошенных через почтовую щель в двери и никем не взятых письма, – одно треугольное, другое в конверте. Он сунул их в карман и, вобрав голову в плечи, шагнул вперед.

В коридорчике, засыпанном обломками кирпича и цемента, было полутемно. Дверь из коридора в комнату оторвана, проем перегороден упавшей балкой. Отодвинуть балку Олег не смог и пролез под ней, перемазавшись. Дальше наступила сплошная темнота. Выставив руки, как слепой, Олег сделал шаг, еще один. Под ногами заскрипело, хрустнуло. Он нащупал в кармане зажигалку, чиркнул. Оторвал со стены клочок отслоившихся обоев, поджег край и, когда бумага разгорелась, бросил на пол.

Пламя разошлось медленно. А когда весь кусок обоев вспыхнул, осветились стоптанные половицы, когда-то крашенные. Олег поднял глаза: перед ним стоял кусок изразцовой печи в выбоинах от осколков. Разноцветный кафель этот с позолотой он видел с пеленок, а картинки на нем заинтересовали его чуть позже. Синие музыканты. Танцы синих дам с синими кавалерами, проводы после бала – синие кареты и синие лошади.

Только тут Олег глянул на пол и сообразил, что он раздавил каблуком. Внизу лежали кусочки белого стеклышка с чер-

ными разводами. Он подобрал осколки стекла письмом и высыпал в карман.

Клок обоев догорал. Олег оторвал со стены еще полосу, разорвал пополам и подбросил в огонь. Копоть полетела хлопьями, запахло горелой краской с пола. Теперь стало видно, что от печи начиналась новая стена, кривая, наспех сложенная из обломков кирпича. Простенок остался узкий, метра полтора, и в глубине сходил на нет, примыкая к стене старухиной квартиры. В простенке, погнутые и прижатые к стене, стояли ржавые кровати – Люськина и Олега. Отблеск пламени, перед тем как погаснуть, высветил темный прямоугольник над кроватью. Фотографию эту Олег, хотя и ободрал ногти, оторвать от стены не смог, так прочно была она приклеена. Мать обычно ворчала, когда отец клеил фотографии на стены. А отец отвечал:

– Обои – ремесло, фотография – искусство...

Зажмурившись, немец вышел наружу. Слесарь сидел на чемоданчике и курил.

– Дай нож! – приказал Олег.

Тот повел бровью, но молча привстал и вытащил из чемоданчика нож, вернее, заточенный обломок пилы, наполовину обмотанный изолентой. Олег попытался поджечь еще кусок обоев; сколько он ни чиркал зажигалкой, газ в ней кончился. Касаясь руками стены, Олег двинулся вперед, нащупал на стене фото и, просовывая нож между штукатуркой и обоями, вырезал с большим запасом кусок. Он вынес фотографию на солнечный свет и, когда глаза привыкли, увидел, что почти не повредил ее, срезал лишь уголок.

Слесарь курил, сидя на чемоданчике в позе мыслителя.

– Похож? – спросил Олег слесаря и ткнул пальцем в мальчишку с белым бантом на шее, скрипкой в одной руке и смычком в другой.

– То-то ж! Немец, американец... Я сразу проник. Жил здесь?

– До войны. А после – только прописан. Прописан только, а жил...

– Сидел, небось? – слесарь гнул свои мысли. – Всё на тебе написано. Думаешь, я твоей коробочки испугался? Пожалел тебя, вот что! Немцев всех тогда сажали. На скрипочке теперь пиликаешь, а мы тут за утечку в санузлах отвечаем.

Он осмотрел Олега с ног до головы, оценивая, потом снова поглядел на фото и подобрел.

– Стряхни паутину-то!

Немец похлопал себя по плечам. Спросил без интереса, просто чтобы не молчать:

– Семья есть?

– Была гдей-то.

– Это как?

– А так, что лучше не знать где, чтоб с алиментами не чикаться. Ты хоть и скрипач, а темный. Без практики, видать, живешь. Знаешь что? Дай мне еще пачку – у тебя их в сумке вона сколько, я видал!

Ясно, что жена будет за это корить, как за всякую другую непрактичность, но еще пачку Олег отвалил. Гегемон повеселел, поднял топор, загнал обухом дверь на место, навесил горбылины крест-накрест, как было, поднял чемодан и, не кивнув даже, бодро затопал. Через несколько шагов он обернулся.

– Если что, приезжай. Я всегда здесь. Опять вскрою.

– Так ведь снесут...

– И-и!.. Уж сколько годов сносят, а все никуда не деется.

В слесаре вдруг проснулось чувство юмора.

– А можно, небось, и вообще не сносить, – осклабился он.  
– Смотря кому и сколько заплатишь...

В соседнем дворе на вытоптанной клумбе играли дети. Скамейка рядом, в тени, была свободной. Олег сел, закрыл глаза и попытался собраться с мыслями. Они шли вразброд. Жжж-иих! – раздалось позади него. Пацаны ломали сирень. Ломали, бросали на землю и топтали ногами. Олег вздохнул, вытащил письма, которые давеча сунул в карман, и стал их разглядывать.

Письма запылились и выцвели, треугольник еще и заплесневел. Олег поворачивал их и щурился, сисясь разглядеть надписи. Некоторые слова исчезли, остались голубые разводы. На конверте одного письма выгорела бурая полоса. Видно, солнце через щель добралось. Наискосок красовался черный штамп полевой почты, номер ее. Фиолетовая печать с гербом «Просмотрено военной цензурой» тоже сохранилась, будто свежая.

Вскрывать письма Олег не спешил. Он прикурил у прохожего, затянулся. Письма на мгновение исчезли в облачке ды-

ма. Олег взглянул на имена. Оба письма были адресованы матери, а она уже пятнадцать лет как умерла в госпитале в Сан-Франциско. До конечной минуты она была уверена, что отец жив. Жив и вернется – вопреки здравому смыслу, времени, вопреки всему. Люська, бросив на неделю внуков и мужа, на Олеговы деньги прилетала ее похоронить.

Резким движением развернул Олег треугольник, и тот превратился в пожелтевший тетрадный листок. Фамилия и имя в конце, под текстом, – Виктор Румянцев – ничего ему не напомнили. Человек, который написал письмо, был в одной роте с Немцем-отцом. И на его глазах, писал он, отец был убит, сражаясь за родину и товарища Сталина. И солдаты поклялись отомстить немцам за смерть нашего боевого товарища, лишь случайно носившего такую плохую фамилию Немец. По штампу выходило, что это произошло не позднее конца октября сорок первого.

На втором письме была марка и штемпель – сорок шестой год, и Олег поспешно разорвал его. Листок внутри конверта хорошо сохранился. То ли Олегу показалось, то ли на самом деле – пахло от листка лекарством.

Писал тот же Виктор Румянцев, но почерк был мельче и поспешней. Сообщал, что вот уже четыре года находится в психиатрической больнице после контузии. Весь организм целый, и чувствует себя хорошо. Но из больницы не выпускают, потому что он все время говорит про ужас, через который прошел, и это докторам не нравится. А он не может забыть, и всё тут. И не может забыть своего погибшего друга, с которым они делили хлеб и водку. Тогда, с фронта, он написал не всю правду, потому что боялся написать, за это расстреливали. Сейчас здесь письма тоже проверяют, как на фронте, но это письмо вынесет и отправит верная медсестра, которая не продаст.

Мой друг, писал Румянцев, погиб ни за что. Пустили на фашистов толпу невооруженную, и нас буквально изрешетили пулями, будь он трижды проклят, убудодок товарищ Сталин. Меня только то спасло, что я сзади моего друга был и сам тоже сразу упал, будто убитый. И так лежал дотемна. Из гимнастерки его вытащил я бумажник и положил содержимое в свой. Руки на груди ему я сложил, уполз в лес и вышел к своим. Бережно хранил я фотографию, где мальчик со скрип-



кой, дочка и жена. А также была открытка, в которой отец поздравлял сына Олега с днем рождения, но отправить не успел.

Облизав пересохшие губы, Олег поморгал растерянно и стал дальше разбирать выцветшие слова. Еще, писал Румянцев, там был кусочек бумаги завернутый, а в нем засушенный цветок – от сирени, наверно, но лепестков не четыре, а шесть. Все думал я, что кончится война и смогу повидать родных моего друга и вам это отдать, но когда была контузия, все это вместе с моей одеждой исчезло, и концов не найти. Часто мне снится теперь сон, все один и тот же: мы с моим другом Немцем сидим в цирке, а на арене дерутся Гитлер и Сталин. Все норовят друг другу в зубы угодить или подножку подставить. А зрители тихо сидят, никакой реакции. Никак я не могу узнать, кто победит – Сталин, Гитлер ли: каждый раз просыпаюсь, когда на зал оглянусь, потому что все зрители – мертвецы. Мертвецы все в солдатской форме. И мой друг по фамилии Немец рядом со мной сидит мертвый и не шутит, как он делал всегда, а всё на меня валится. Еле сил хватает мне его труп держать. В цирке мертвая тишина. Только я один в зале живой.

В конце письма Виктор Румянцев извинялся, что не может семью друга навестить и все рассказать, но что надежды не теряет выйти из больницы, хотя потери сознания все чаще бывают, а как выйдет, напишет еще. Еще письма не было. Да и это, последнее, странно, что почтальон бросил в щель: квартиру-то уже разбомбило. Одна дверь осталась.

Олег спрятал письма в бумажник и аккуратно вывернул карман. На ладони лежали кусочки белого стекла, покрытого разводами черной туши. Разводы эти на белом стекле сделала отцовская кисточка. Когда отец садился ретушировать фотографии, белое стеклышко всегда лежало перед ним. Оспу товарища Сталина скрыла эта самая тушь. На стеклах застыли капли крови. Подержав на ладони осколки, Олег высыпал их под скамейку. Только тут он заметил, что порезался, когда стекла собирал. Пососал царапины на двух пальцах и сплюнул: порез был глубокий.

Вокруг скамейки, на которой он сидел, бегали, галдя, дети. Жара спала. Пахло сиренью. Люська, когда приезжала к Олегу в Калифорнию, в саду у него сразу бросилась к сиреневому

кусту и с удивлением обнаружила, что в нем сколько угодно пяти- и шестизвездных цветов, приносящих счастье.

– Просто здесь такой сорт, – засмеялся Олег.

– Странно только, что запаха почти нету. А помнишь?..

Люська не договорила, и глаза ее набухли слезами.

Олег почувствовал, что устал, и потряс головой, чтобы взбодриться. Надел пиджак, а плащ перекинул через плечо. Фотографию, наклеенную на кусок обоев, свернул в трубку. Он заставил себя встать и сосредоточиться на текущей жизни. Остановил такси и, сев на заднее сиденье, поехал в аэропорт. Всё! – решил он по дороге. Завтра день в Москве, а потом домой в Сан-Франциско. Сантименты детства надо забыть. Некоторым везет с детством, другим – нет. Бывает детство, в которое лучше не возвращаться – ни в памяти, ни физически. Ничего это не дает, кроме постоянной травмы, страдания от прошлой убогости и бессмысленных потерь, комплекса неполноценности или мании, травмирующей всю последующую жизнь. Вычеркнуть черное прошлое хотя бы из собственной жизни, изъять, ликвидировать и забыть.

Однако не очень был уверен Олег, что это ему удастся. Перед тем как вылезти в аэропорту из такси, он развернул мятую пожелтевшую фотографию – последний привет детства. Сидят на диване трое Немцев: сияющая от молодой женской силы мать, слегка дурашковатая Люська и счастливый, хохочущий отец. А сбоку стоит четвертый немец – пухлощёкий мальчик. Он торжественно держит в руках маленькую скрипку и смычок.

*1968, Москва – 1997, Сакраменто.*



# **РАССКАЗЫ РАЗНЫХ ЛЕТ**



Рис. М.Лисогорского.

## НЕУДАЧНИКИ

### 1.

Мне нравилось одно существо с французского отделения.

Кое-что про нее удалось выяснить. Ее звали Лина. Она почти совсем окончила балетное училище Большого театра, когда ее, как она сама подругам объяснила, выбраковали. За что – я не мог догадаться, сколько ни глядел на нее в толчее перерывов между лекциями. Длинноногая, длинношеяя, с походкой, полной грации, она ступала по земле так, словно это был не грязный университетский коридор, а райская долина. Волосы у нее были абсолютно черные, туго затянутые на затылке аптечной резинкой. Глаза чуть раскосые, губы, всегда готовые растянуться в улыбке. И никакой косметики, все свое. Последнее обстоятельство по своим восемнадцати годам я считал высшей добродетелью. Ее подруги ходили с яркими сумками – она носила черный чемоданчик. Они постоянно прихорашивались – я ни разу не заметил, чтобы она погляделась в зеркало. Я бы на ее месте любовался собой ежеминутно. Коротче говоря, она являла собой всему миру совершенство, сомнений у меня не возникало, кроме одного.

Единственным ее недостатком оказалась фамилия. Она портила картину. Фамилия была Умнайкина. С такой фамилией в наш ироничный век нужно думать над каждым словом. Луч-

ше бы она была Глупышкина или Дурнайкина. Хотя жил известный физик Умов, но то было давно, в доироническую эпоху.

Фамилия ее, думал я, станет зацепкой, с помощью которой отыщутся другие недостатки, и постепенно я остыну. Но других недостатков не находилось. Как я ни противился, мысли об этом существе вдруг стали неотъемлемой частью моего бытия. Она казалась легкой и остроумной, близкой по духу, по интересам, – по всему. Правда, все это были только предположения, поскольку Лина Умнайкина оставалась недоступной. Со своей нерасторопностью и неизжитым еще комплексом неполноценности я только искал способа хотя бы переброситься с ней парой слов. Если б она мне меньше нравилась, сделал бы я это без труда. Несмотря на непрерывные тусовки всех со всеми, мы с ней, как ни странно, ни разу не оказались в одной компании. В одиночестве она мне не попала ни разу, приятельницы и особенно приятели так и липли к ней. Даже попытка просто поздороваться провалилась: она ответила рассеянно, словно пыталась вспомнить, кто это такой.

Сидя на лекции, я думал о том, как увижу ее в коридоре. В коридоре репетировал, как подойду и... Мне бы только подойти. Потом уж я бы не растерялся. Наконец решился: теперь или никогда. После звонка, чуть не сбив с ног профессора Крючкова, выскочил первым из двери, пробежал полтора коридора и, глотнув воздуха, остановился возле аудитории, где по расписанию должна была сидеть она.

Умнайкина появилась из дверей, но, шепча ей что-то на ухо, рядом с ней волочился Баландин – длинный парень в очках с четвертого курса истфака. Баландин играл в волейбол за сборную института и фактически был главным забивалой, вся сборная играла на него. Лина прислонилась к перилам у не то дорических, не то коринфских колонн и смотрела с балкона вниз. А Баландин, зажав между щиколоток спортивный чемоданчик, продолжал ей что-то страстно рассказывать. Я растерянно стоял возле двери в опустевшую аудиторию. Баландин покровительственно похлопал Лину по плечу, сел перед ней на чемодан и, взяв в руки воображаемую гитару, хрипло запел:

*– Прошел меня любимый мимо,  
Прийти к фонтану повелев.  
Я прихожу, смотрю: любимый  
Стоит в кольце прелестных дев.  
На ногу ногу запрокинув,  
Стоит он в блеске пышных фраз.  
Я на диване рядом стыну  
Уже, наверно, целый час.*

Она его внимательно слушала, слегка улыбаясь и не подозревая, что это единственная песенка, которую Баландин знает и поет всем, на ком сосредоточился его взгляд. Безжавшие мимо студенты останавливались, с любопытством наблюдая за этой сценой. Он, вдохновленный публикой, продолжал:

*– Легли колонн густые тени.  
У факультета на виду,  
Руками охватив колени,  
Своей я очереди жду.  
Стоит, о смысле жизни споря,  
Не собирается кончать.  
О боже! О, какое горе –  
Любить такого трепача!*

– Только так, а не иначе! – прибавил Баландин свою любимую поговорку. – Песня Ады Якушевой, ставшая впоследствии народной, посвящена ее первому мужу Юре Визбору.

Студенты разбежались. Баландин поднялся с чемодана, поклонился и поднес к глазам Умнайкиной ладонь. Что-то писал на ней, водя пальцем другой руки. На губах у Лины блуждала усмешка, губы шевелились, читая буквы, которые выводил лучший нападающий института. Он сжал ее плечи, закрепляя свой успех, но она вырвалась и убежала. Баландин захохотал.

– Только так, а не иначе! – проходя мимо меня, повторил он. – Еще сутки, и крепость будет наша!

Подмигнув мне, он удалился довольный собой. А Лина уже была окружена девчонками. Я побрел несолоно хлебавши.



Баландинские штучки нам известны. Он всегда зазывает симпатичных девочек болеть. А поскольку наша сборная выигрывает благодаря его прыжку, получается, что все остальные ему только мешают. Таким образом, провожать приглашенную болельщицу он идет королем ринга. Если бы у меня был прыжок Баландина! Я бы допрыгнул до Лины в один момент.

Увидел я Умнайкину впервые в конце лета, на приемном экзамене. Сочинение писали сразу несколько потоков. Она сидела рядом, через узкий проход, и видна была мне вся – от черной аптечной резинки в волосах до блестящих пряжек на белых туфельках, которыми она упиралась в скамейку впереди. Она похожа на балерину, подумал тогда я и засмеялся: балерина слизывала языком чернила с пальца. Почувствовав на себе пристальный взгляд, она оглянулась, сделала недовольную гримаску и только что облизанным пальцем показала сперва на меня, потом на свои глаза и на тетрадь. И улыбнулась. Если б я встретил ее в приемной комиссии, когда подавал документы, я подал бы их на французское отделение.

Сидя на лекции по истории западной литературы, я напряженно думал, как поступил бы Бальзак, чтобы сблизиться с Умнайкиной. Но Бальзак жил в эпоху иных человеческих отношений. Может, послать ей стихи? Но полфакультета пишет стихи, мои не лучше. Позвать ее в воскресенье на стадион, где я буду стартовать в кроссе филфака? Пусть увидит, как я, задыхаясь, бегу одним из первых среди последних. А что если пригласить ее в театр?

Мысль эта пришла в голову потому, что с театром у меня были непростые отношения.

## 2.

В первый день лета, после получения аттестата зрелости, настроение мое оставалось радужным. На второй день оно омрачилось размышлением, как жить дальше. Весь третий день я жалел, что раньше об этом не думал, а на четвертый случайно столкнулся на улице лицом к лицу с Андреем Федорчуком. Лицо у Андрея было озабоченное, он спешил и, коль скоро

узнал меня и остановился, зачем-то я ему, несомненно, понадобился.

– Чем занят? – Андрей ткнул в меня пальцем.

– Ничем.

– Чудненко! У меня деловое предложение. Я, понимаешь, теперь помощник режиссера. Беру тебя в театр.

Он бросал спасательный круг моим тревогам.

– Прямо? – не поверил я.

– Минуй вуз, – расхохотался он. – Завтра в одиннадцать ноль-ноль придешь к служебному входу. Будешь участвовать в гражданской войне.

– Это как?

– Не бойсь! Нам людишки нужны для «Любови Яровой».

Он сгреб свои длинные волосы пятерней со лба и побежал дальше, а я остался на краю тротуара, жалея о том, что ничего толком не узнал, не выспросил. Неужто в театр со служебного входа? Ведь не пустят же!

За два года до этого к нам в школу пригласили выступить одного известного артиста. Потешая зал, он рассказывал смешные эпизоды из жизни за кулисами, и это было восхитительно. Девчонки и учительницы чуть с ума не посходили. Меня он загипнотизировал. Я вдруг увидел себя на его месте на сцене почему-то в широкополой шляпе с пером. Я фехтую на шпагах, объясняюсь в любви, срываю поцелуй и кланяюсь, кланяюсь, кланяюсь. Публика неистово аплодирует и бросает мне цветы, забыв о том, что пора бежать в гардероб занимать очередь. Короче говоря, решение было твердое, как сталь: буду актером.

Что касается конкретного пути из неартистов в артисты, над этим я как-то не очень задумывался. Впрочем, кое-что почитал. В книгах про великих актеров рассказывалось, как они преодолевали свои недостатки. Мне тоже хотелось преодолеть свой невысокий рост и, мягко говоря, недостаточно приятное выражение лица, далекое от требований, предъявляемых жажущим пробраться в театральные вузы, где попавших счастливых превращали в жераров филиппов и марчелл мастрояни. Только не ясно было, как конкретно надо преодолевать.

Я пошел в драмстудию, которой руководил пятикурсник из театрального училища Андрей Федорчук. Почему-то он с уваже-

нием относился к моим сценическим опытам, подбадривал меня. А я принимал это уважение как день моему таланту. Ведь сам Федорчук был без пяти минут настоящим режиссером.

Теперь, когда вахтер в театральной проходной поставил галочку в списке возле моей фамилии и пальцем указал, как пройти к помрежу Федорчуку, я подумал: вот я и стал актером. Такая у меня генетика. Мой компас вывел куда надо.

– А вот и еще один! – весело сказал Федорчук.

Он взял меня за шиворот и повел к режиссеру. Так в студии во время репетиции он разводил нас за шиворот на свои места в мизансцене, – это проще, чем объяснять, где тебе, бестолочи, занять позицию.

Режиссером оказался усталый седой человек с впечатлительным животиком и одышкой, похожий больше на бухгалтера. К губе его присохла погасшая сигарета.

– Новобранец, – представил меня Федорчук. – Но с хорошим опытом.

– Опять из твоей студии? Ты их что, как пирожки, печешь?

Сопя, режиссер посмотрел на меня в упор, потом, отступив на шаг, прищурился и оглядел сверху вниз и снизу вверх, сложил свои огромные губищи дудочкой, нехотя вынул из кармана замшевой куртки руку. Он немного пошлепал губами и ткнул меня в плечо, как тыкают вилкой рыбу, которую надо доесть, но уже не хочется – не вкусно.

– Для красного солдата мелковат, – промямлил он. – А белых у нас уже своих полно. Не надо!

– Да я ему уже вроде пообещал, – сказал просительно Федорчук. – Парень хороший, старательный. Наш человек...

– Ты б еще не нашего привел! – возразил режиссер и, повернувшись, крикнул. – Голубее нужен задник, голубее! На кой мне эта ядовитая зелень?!

Стрелка моего компаса заколебалась. Я вздохнул и хотел уйти. Но тут режиссер снова повернулся ко мне:

– Старина, а ты в джазе себя не пробовал? Имею в виду: чувство ритма у тебя есть?

Я скромно кивнул.

– Возьми его, – устало сказал он помрежу. – Проведи через второе действие. Пускай поработает лошастью.

«Любовь Яровая» шла полным ходом уже не в репетиционном зале, а на сцене, но еще без костюмов и грима. Меня поставили слева у кулисы, неподалеку от пульта помощника режиссера. На щите перед ним загорались и гасли сигнальные лампочки. Федорчук сидел во вращающемся кресле и бурчал в микрофон:

– Начинаю второе действие. Кончайте курить. Занятых в первой картине прошу на сцену. Пошевеливайтесь!

Помреж недолго возился со мной. Я быстро сообразил что и как делать. Все-таки в кармане у меня лежал аттестат зрелости. Ну, пусть не в кармане, а дома, в шкафу под бельем, – не придирайтесь к словам. По гениальному замыслу режиссера, когда красные временно отступают, поручик Яровой должен в панике промчаться на лошади, в глубине за сценой остановиться, а затем появиться перед зрителем.

С лошадью, хотя это эффектно и привело бы зрителя в восторг, решили не связываться, как с дорогостоящей и трудно управляемой стихией. Магнитофонов тогда в театрах еще не было, музыку делал небольшой оркестр в яме. Три дня с утра до вечера к ужасу родни и соседей лошадь тренировалась дома и достигла несомненных результатов. Стоя слева за кулисой, я держал наготове руки с зажатыми в них кастаньетами.

Моя работа начиналась после взмаха руки Федорчука, следом за фразой на сцене тылового деятеля Елисатова «Как бы трюмо не повредили». Дождавшись этой фразы, я начинал цокать тихо, потом лошадь приближалась, и звук кастаньет становился громче:

– Та! Та-та! Та-та-та! Та-та-та. Та-та! Та-та-та-та-та! Та-та!

Тут поручик Яровой соскакивал с лошади и стремительно бежал через сцену. Вслед ему Елена, жена профессора Горностаева, кричала:

– А, голубчик! Что? Режь буржуев, как кур?!

Любовь Яровая испуганно спрашивала:

– Ай, кто, кто там?

А лошадь еще некоторое время цокала за кулисой копытами, перебирала ногами. После этого я был свободен.

Чувство причастности к большому искусству заставляло меня проводить за сценой долгие часы. Я с восторгом вбирал в себя

разговоры, краски, звуки. Потом это стало несколько однообразным и поднадоело. Театр изнутри постепенно разочаровал меня своей прозой: грязными вблизи декорациями, матерщиной рабочих сцены, нудными повторениями одного и того же на репетициях, приказами дирекции о том, что артисту Н. объявляется выговор за явку на прогон в нетрезвом виде. Я осторожно поделился этим открытием с Федорчуком.

– Разочарование, – философски заметил он, – следствие избыточных восторгов. Скоро все станет на место. Откроется нечто таинственное, непостижимое. Театр выше быта, суеты. Театр – часть жизни, это так, но он выше жизни, как цветы выше корней. Во-он, видишь, бежит по коридору актриса, заслуженная, между прочим? Она вчера перепила, ночь провела, ей самой неизвестно с кем, и опоздала. Сейчас ее вымастерит режиссер. Потом она закурит, расскажет ему похабный анекдот, и он успокоится. А она потихоньку сбегает в буфет опохмелиться, вернется, выйдет на сцену и вдруг преобразится в чистое и божественное создание, в которое влюбится ползала.

– Но как, в чем секрет?

– В ней что-то включается... Так деревянный ящик превращается в рояль или в телевизор, способный открыть мир. Чудо, брат! Театр – это Золушка. Под рваным платьем скрыта красота: прекрасное тело и гармоничная душа. Стучи копытами, старайся! Сделаем тебе рекомендацию в театральный вуз.

Федорчук оказался прав: постепенно я вошел в колею, на грязь перестал обращать внимание, постигал душу Золушки, одетой в лохмотья.

В мужской артистической, когда пошли в ход костюмы и грим, статистов стало набиваться полно. Все они были студентами, старше и опытнее меня. Мне просто повезло. А может, и не просто, хотел думать я. Не бездарней же я натуральной лошади!

Гримировались стоя, оттесняя друг друга от банок с красками, в которые лезли руками. Мне одному не надо было гримироваться: в отличие от красных и белых солдат, лошадь на сцене не появлялась. Она стояла у кулисы, там, где из стены торчала красная коробка с надписью: «При пожаре разбей стекло и нажми кнопку». Стекло было уже выбито, оставалось нажать.

Когда ни красные, ни белые солдаты на сцене не требовались и режиссер был занят с актерами, мы собирались на узкой площадке винтовой лестницы, ведущей вверх, на чердак, и вниз, в оркестровую яму. Иногда к статистам подбегали актеры взять закурить, за это расплачивались шутками. Вдруг от скуки кто-нибудь нажимал красную кнопку в коробке и кричал:

– Атас, ребята! Сматывай удочки!

Все разбегались и прятались, кто где мог, но так, чтобы следить за происходящим.

Вскоре по скрипучей лестнице сползал с чердака пожарник дядя Константин. Толстый, абсолютно лысый, в военной гимнастерке с широким ремнем, дотаченным, по-видимому, куском пожарного шланга, дядя Константин держал наперевес огнетушитель и, тяжело дыша, оглядывался: где горит? Впрочем, не раз обманутый, он, наверное, и сам не верил, что может быть пожар. А когда у него начинала выть сирена, спускался по обязанности, обозначенной в инструкции, и за это ненавидел хулиганов.

Убедившись, что нигде ничего не горит, дядя Константин подходил к кнопке и обнюхивал ее, словно хотел по запаху найти преступника или искал отпечатки пальцев. Константин заслонял спиной кнопку и, все еще держа огнетушитель наперевес, будто он готов немедленно отразить нападение поджигателей театра, хриплым от неупотребления голосом спрашивал:

– Кто жал? Я спрашиваю, кто жал?!

Вокруг никого не было.

Дядя Константин поправлял ремень, стягивал гимнастерку за спиной и более спокойно прибавлял:

– Выясню! Все равно выясню, кто жал. Подам дирекции докладную, пускай увольняют. Так и знайте!

Тут, как ни в чем не бывало, начинали собираться статисты.

– За что ты его уволишь, дядя Константин?

– За ложную тревогу. Скажите еще спасибо, что я сразу пожарную часть не вызвал. Сидели бы вы все в пенном порошке и пускали пузыри!

– Спа-си-бо, дя-дя Кон-стан-тин! – скандировали мы хором.

Пожарник взваливал огнетушитель на плечо и, тяжело ступая толстыми больными ногами, гордо поднимался к себе на

верхотуру, на свой пост. Работа его состояла в том, что он целые дни спал.

### 3.

Настал день сдачи спектакля комиссии из министерства, которой боялся даже сам режиссер. Все суетились, присматривали друг за другом, дабы от волнения чего не натворить. Помреж Федорчук – за рабочими сцены, чтобы не перепутали декорации и посреди гостиной не прибили развесистый дуб. Актеры – за гримерами и костюмершами, художник – за осветителями. На всех рычал режиссер. И только статисты не волновались. Нам все было до лампочки. Подумаешь, пробежать по сцене или постоять на карауле возле штаба, пока актеры перешвыриваются репликами! Лошадь: та-та-та – и порядок! Станиславский, конечно, прав: нет маленьких ролей, есть маленькие актеры. Но у маленьких актеров и роли маленькие, и маленькая ответственность. Это – про нас. Всем своим видом статисты говорили: за нас не волнуйтесь! Уж мы-то не подведем, свое дело сделаем без особого напряжения. А вот вы?!.

После каждой картины в артистических с нервным смехом обсуждали, кто чего забыл на сцене: кто чашку, кто винтовку, кто реплику. Нам нечего было забывать и нечего нервничать. Да и все шло нормально. Я знал свое место и перед вторым действием уже стоял неподалеку от Федорчука и ждал своей минуты. Помреж сегодня не замечает меня. Побледневший и внутренне напрягшийся, он охрипшим голосом выговаривал в микрофон:

– Сцена – готово? Свет – готово? Поручик здесь? Горностаева здесь? Яровая на месте? Где Яровая, леший ее заберит!?

– Послушай, Андрей! – подбежал к помрежу молодой артист Лёня. – Как лучше? «Господа, танцы продолжаются! Ле кавалье ангаже ле дам!..» А может, лучше повторить два раза: «Господа, господа»? Будет выразительней...

– Отойди, Лёня, со своей выразительностью! – гавкнул Федорчук. – Делай по тексту и отойди. Ей-Богу, не до тебя!

Лёня отправился на сцену спрашивать совета у Горностаевой.

– Уберите! – взмолился Федорчук. – Даю занавес! Уберите Лёню со сцены!

– Ты что, спятил? – зашипел режиссер, неизвестно откуда взявшийся. Он встал рядом с Федорчуком, скрестив по-наполеоновски руки на груди. – Ведь кто-нибудь услышит «Уберите Лёню со сцены», подумает, что ты о Брежневе!

– Осталось два гвоздя! – рявкнул рабочий, отточенными движениями прибывая к скамейке дерево.

– Не надо гвоздей! – сквозь зубы процедил Федорчук. – Занавес! Тишина, даю занавес!..

Потекло второе действие. Сейчас Федорчук сделает мне знак рукой, чтобы я приготовился, и сразу после слов на сцене «Как бы трюмо не повредили» я начну бить копытами. Рядом со мной стоит поручик Михаил Яровой, старый артист, собирающийся на пенсию. На нем полведро омолаживающего грима. Яровой переминается с ноги на ногу, будто только что и в самом деле слез с лошади, – так он входит в роль. Я буду работать сперва тихо, потом громче, еще громче... Тут Яровой прокричит мне в самое ухо:

– Тпру-у! – затем тихо, только для меня, добавит. – Стой, стерва!..

И – выскочит из-за кулисы на сцену, разминая ноги, будто только что проскакал галопом верст двадцать.

Вот Федорчук делает мне знак рукой. Я поднимаю кастаньеты. И тут вместо слов «Как бы трюмо не повредили» слышу сзади, над самым ухом, заспанный хриплый голос:

– Кто жал?! Кто жал, спрашиваю!

Оглядываюсь – вплотную ко мне стоит пожарный дядя Константин. На поручика Ярового он не смотрит, – тот старый артист, не будет же он перед пенсией баловаться! Дядя Константин хватает меня за локоть, поворачивает и, решив, что я сейчас брошусь удирать, наставляет мне в грудь огнетушитель.

– Наконец-то я тебя накрыл! – шипит дядя Константин, выпуская из легких огромное количество горячего воздуха.

– Я не нажимал, – сразу отрециваюсь я.

Ведь это святая правда! Красные и белые солдаты, не занятые в этой картине, только что толпились тут, кто-то нажал, и все смылись. А дядя Константин сводит счеты со мной.



– Ах, ты не нажимал?! – наступает он на меня, упирая мне в грудь огнетушитель.

Еще чуть-чуть и он вытолкнет меня на сцену.

– Если не ты, кто же? Кто? Грозил уволить – теперь приведу в исполнение. Совсем обнаглели!

А занавес поднят.

На сцене стоит онемевшая Горностаева. Она должна крикнуть Яровому, а тот никак не едет. В зале слышится смех. Туда долетают крики дяди Константина. Но вот Горностаева нашла и кричит за кулисы поручику Яровому:

– А, голубчик! Что? Режь буржуев, как кур?!

Спасая театр, Любовь Яровая подбегает к ней и произносит свою реплику:

– Ай, кто, кто там?

На что взбешенный дядя Константин ей резонно кричит из-за кулис:

– Кто, кто?! Пожарная охрана.

Яровая не находит ничего лучше, как сказать реплику по роли:

– Не может быть! Показалось!

– Показалось? – кипит дядя Константин. – Чичас акт будем составлять!

Режиссер и Федорчук вдвоем хватают пожарника сзади за ремень, пытаясь оттащить его от сцены. Но тушу Константина сдвинуть с места невозможно. Тогда Федорчук пытается рукой закрыть ему рот. И кивает мне: дескать, давай, начинай. Тучный дядя Константин легко отдирает их руки и еще крепче упирает в меня огнетушитель.

– У тебя свое начальство, у меня свое, – сипит он, выворачивая голову, чтобы уклониться от ладони Федорчука. – Сказал уволью – уволью!

Поручик махнул на нас рукой и выскочил на сцену, не дождавшись топота лошади. Он был опытным артистом, не в таких переделках бывал. Движения, которые он делал, были нелепы. Трудно догадаться, что, по замыслу режиссера, Яровой только что спрыгнул с коня. Скорее, он встал с кровати и потягивается, а может, вышел из туалета.

Дядя Константин, матюгаясь, взвалил огнетушитель на плечо и стал взбираться по лестнице на свой пост. Федорчук вытер

платком капельки пота со лба: спектакль вошел в колею. Но вытирая лоб, помреж поднял руку и тем напомнил мне, что я должен работать лошадей. И радостно, что было сил, я затахтел кастаньетами:

– Та! Та-та! Та-та-та-та-та-та-та-та-та! Та-та-та! Та-та!!

Лошадь примчалась, я дал ей посучить ногами и, поскольку поручика Ярового рядом не было, сам заорал в полную глотку:

– Тпру-у-у!..

Поручик Яровой, отработав эпизод, вернулся со сцены за кулисы, переглянулся с Федорчуком и погладил меня по голове.

#### 4.

После столь эффектного дебюта я был уверен, что с драмтеатром, а заодно и с театральным училищем покончено. На исходе августа выяснилось, что проходной балл на филфак благополучно набран, и я изнывал от безделья и жары, шастая по Москве от газировки до газировки и от дома до реки. То и дело я возвращался мыслями к существу, обнаруженному на приемном экзамене. Судьба обязана свести меня с ней, как только начнутся занятия, и тут уж я не растеряюсь.

Мое брэнное тело покоилось на лежаке пляжа №3 в Серебряном бору, когда меня окликнули. Надо мной стоял Андрей Федорчук.

– Привет, коллега! – рявкнул он. – Я полагал, в этот ответственный период все поступают в вузы...

– Уже не коллега, – печально заметил я.

– Разочаровался или временное отступление?

Пожать плечами – это был самый точный ответ.

Между получением аттестата зрелости и сдачей его в вуз у меня было время подумать, как заметил проходимый по литературе поэт, о времени и о себе. Нельзя сказать, что желания стать актером у меня поубавилось. Даже после неудачи – нет! Но я потолкался в коридорах Театрального института и Щепкинского училища, забитых до отказа конкурентами, и понял: до другого берега по этой соломинке мне не перейти. А где-то я вычитал, что хороший полководец тот, кто, наступая, имеет

про запас совершенно секретный план отступления. Мудрее было отступить заранее. Но поступив на филфак, я тут же начал жалеть, что моя карьера из-за малодушия сделала зигзаг, изображенный на дорожном знаке «Извилистая дорога».

Федорчук сел рядом со мной на лежак. Он относился к тому разряду порядочных людей, которые всегда готовы помочь, но теряются, когда их помощь не нужна. Он ни словом не напомнил старое. Сказал только, что ему дали, наконец, самому поставить пьесу, спущенную сверху, которую никто не рвался делать, а он согласился. Называется «Прага остается моей», и нужны статисты на роли студентов. Придется петь на сцене.

– Ты студент и будешь играть самого себя. Или теперь ты верен только старославянскому языку?

В театре было интересно. К тому же он давал приработок к стипендии, которой хватало на неделю. Словом, из гражданской войны, в которой мы участвовали в «Любови Яровой», я перебрался в оккупированную фашистами Прагу.

Члены подпольной организации встречались под каштанами, возле небольшого ресторанчика. Конспирация состояла в том, что мы изображали золотую молодежь. На меня надели пахнувший нафталином пиджак-букле, я мазал клеем под носом и налеплял узкие черные усики. Статисты демонстрировали на сцене массовость сопротивления фашистам.

С моей курносой партнершей Олей, как оказалось дочкой театрального пожарника дяди Константина, мы стояли возле кулисы. Когда оркестр начинал играть танго, выходили на сцену, часть которой была рестораном, выпивали за столиком по бокалу воды, подкрашенной под вино, и начинали танцевать. Хореограф долго возилась с нами, требуя, чтобы я резко бросал Олю на колено.

– Вы же влюблены, братцы! – кричал из зала Федорчук, указывая на нас пальцем. – Чего же вы топаете, как коровы по танцплощадке?

Лицо Федорчука, ведущего репетицию из восьмого ряда, не было видно, только руки, которые освещала настольная лампа. Оля нежнее сжимала мой локоть, и мы старались двигаться элегантнее и улыбаться друг другу изо всех сил, хотя это получалось фальшиво.

К нашему выходу сонный дядя Константин спускался с верхотуры. Он глядел на дочь, и глаза его добрели. Даже на меня в эти минуты он не смотрел подозрительно, хотя, клянусь, не я шутил с кнопкой пожарной сирены.

Ресторан закрывался. На сцене темнело. Оставшись одни, подпольщики собирались тесной группой и, озираясь, пели:

*– Никогда, никогда, никогда  
Не склонится перед Гитлером Прага!*

Композитор Приватин, автор музыки к пьесе, специально приезжал разучивать с нами мелодию. Но во время сдачи спектакля начальник отдела культуры песню не одобрил.

– Я сам принимал участие в руководстве разведкой во время Отечественной войны, – сказал он. – Как же это подпольщики в оккупированном немцами городе, да еще в ресторане, поют хором прогрессивную песню?

– Видите ли, это театральная условность, – пытался оправдаться Федорчук. – Нам нужна музыка, песня, оживление...

– Оживление – пожалуйста. Я в художественную сторону не вмешиваюсь. Но зачем же чересчур оглуплять врагов? Это принижает серьезность нашей борьбы и великой победы. И вообще: спектакль исторический, а намек в песне на наши танки в Праге.

– Так ведь это Гитлер!

– Гитлер-то Гитлер... А зрителю не запретишь думать, что это аллюзия!

Мы перестали петь и тихо мычали для оживления. Кроме того, появился новый статист: долговязый парень в эсэсовской форме. Он выходил из-за противоположной нам кулисы и ударял хлыстом по голенищу своего блестящего сапога. Мычание тотчас прекращалось, из оркестровой ямы вырывалось танго, и все разбегались.

На следующей репетиции начальство решило и бессловесную песню убрать. В самом деле, зачем подпольщикам мычать? Они должны действовать.

Федорчук похвалил меня за танец и опять обещал бумажку от театра, если я все-таки надумаю переходить в театральный вуз. Но теперь я был влюблен. Эх, если бы мне дали сыграть

какую-нибудь, хоть маленькую, но словесную роль! А так – лучше Умнайкиной не знать про мою, как выразился Федорчук, «статистическую деятельность». Узнает, что я на побегушках в театре, – она, почти окончившая балетное училище Большого театра, будет просто презирать меня.

А тут еще волейбольный красавец Баландин! На игру, куда он звал ее, я не могу пойти: вечером у меня спектакль. Баландин уведет девушку после игры, весь в мыле от торжества победы, и у него будут две победы в один день.

На спектакль я шел с камнем на шее. Даже анекдоты в артистической и на лестнице не смешили. Курносая Оля, моя партнерша, притащила из дому бутерброды и усиленно меня угощала. Голодным я был всегда, но Оля меня не вдохновляла.

– А я сегодня последний день, – вдруг сказала она. – Взяли в институт культуры в Питере. Приезжай...

– Ваш выход! – донеслась команда помрежа.

Оля уже держала меня под руку. Грим она накладывала тщательно, никогда, в отличие от других, не ленилась положить румяна на шею, чтобы шея не белела, ведь в бинокли ненамазанную шею прекрасно видно. Я знал, как важны для актера мелочи. Знал историю знаменитого итальянца Сальвини. Тот вышел на сцену в «Отелло», наложив коричневый грим на лицо и позабыв покрасить коричневым руки. Зрители улыбались, заметив, что руки у Отелло смертельно бледные. Но Сальвини был гением, и не дал зрителю во втором акте повод похихикать. Отелло вышел снова с мертвенно белыми руками и – снял белые перчатки. Под ними был коричневый грим. Но кто в зале рассматривает статистов в бинокль?

Заиграло танго. В ресторанчике под каштанами зашевелились пары. Оля слегка сжала мой локоть, я выдавил жалкое подобие улыбки, и мы двинулись на сцену. Я танцевал чуть-чуть разболтанно, любуясь расцветающими каштанами, небрежно намалеванными на холсте. Затем подпольщики сошлись, пошептались, а когда эсэсовец щелкнул хлыстом о голенище, рассыпались. Мы с Олей, влюбленная парочка, пошли вдоль оркестровой ямы у самой рампы.

И тут – едва я добрался до середины сцены, раздались оглушительные аплодисменты. Весь зал хлопал, кричал «браво» и даже «бис». Аплодисменты заглушили слова немецких

офицеров. Актеры вынуждены были умолкнуть, выдержать паузу, начать сначала, а зал продолжал хлопать.

За кулисы прибежал Федорчук. Он тоже не понял, в чем дело. Наконец из зала кто-то выкрикнул мою фамилию, и снова раздались бешеные аплодисменты.

Федорчук, умница, с пульта помрежа позвонил администратору.

– Спокойно, ребята! – сказал он, положив трубку. – Всё ясно! Сегодня филологический факультет в полном составе пришел на коллективный просмотр. Для них что стадион, что театр – болеют за своих!

В артистической никого не было, из репродуктора доносился второй акт. Я вытащил из банки горсть вазелина и жирно намазал лицо. Посидел немного, любуясь на себя в зеркало, оторвал усы и стал снимать ватой грим.

## 5.

Утром я дремал на лекции по философии, положив голову на руки, в самом углу, чтобы никого не видеть, ничего не слышать. Но сосед потряс меня за плечо:

– Проснись, тебе записка!

«Не могли бы Вы, – прочитал я, – подойти в антракте к колоннам? Л.»

Сон как рукой сняло. Конец лекции я сидел в позе спринтера, ожидающего старт.

Умнайкина подходила ко мне медленно, чуть помахивая чемоданчиком, с настороженной улыбкой, которая едва угадывалась, будто Лина не очень была уверена, что это я, а если я, стоит ли вообще ко мне приближаться. Не выдержав, я шагнул к ней навстречу и готов был взять у нее чемоданчик, потому что в руках она держала еще и пачку книг. Но чемоданы в институте носили только своим девушкам, и Лина отвела руку, а я почувствовал, что покраснел.

И тогда она улыбнулась. Она улыбнулась, как умела только она, и первый раз для меня и больше ни для кого.

– Ты вчера здорово танцевал, очень естественно, без всякой натяжки.

Она легко и просто перескочила с письменного «вы» на устное «ты», и это был бальзам на душу.

– Откуда ты знаешь?

– Видела, сидела в первом ряду. Все тебя сразу узнали... У тебя это серьезно?

– Что?

– Театр...

– Не знаю. И да, и нет...

– А я неделю проплакала, когда врачи сказали, что сердце не очень здоровое. Мол, для простого смертного сойдет, я для балерины нет.

– Чушь!

– Не чушь... У меня девять недостатков – так комиссия сказала. Могу их тебе перечислить. Во-первых, у меня низковатый для балерины зад. Во-вторых...

– Замолчи!

– Почему же? Это ведь не я придумала.

– Не надо, прошу!

– Они еще не заметили, что у меня кривой нос.

– Кривой?

– Ты тоже не заметил? Мне в седьмом классе в нос попали снежком.

– Послушай, но ведь всем известно, что в балетном училище полно детей и внуков высокого начальства. У них – вообще никаких данных!

– Им и не надо, их так берут, по звонку. Но остальным требуется быть идеальными, чтобы в области балета быть впереди планеты всей. Когда выгнали, я думала, не переживу. А теперь прекрасно, даже нравится: французский будет основным языком и возьму еще два. Быть неудачницей в восемнадцать лет просто глупо. И все же... Я смотрела на тебя и, знаешь, о чем думала? Все же на сцене замечательно, кем угодно...

Тут меня осенило.

– Оля, моя партнерша, уехала. Хочешь, поговорю с режиссером, он тебя возьмет статистом? Уверен, возьмет! Тебе сам Бог велел танцевать танго!

– А что, это идея...

Звенел звонок на лекцию.

– У тебя очень красивый нос! – сказал я.

– Только кривой, – засмеялась она. – А фамилия моя тебе тоже нравится?

– Конечно, – искренне соврал я. – Замечательная фамилия. Почему ты спрашиваешь?

– Потому что она глупая, – Умнайкина протянула мне свой чемоданчик. – Как ты вчера под каштанами Праги шел? Так?

У факультета на виду она взяла меня под руку, и мне показалось, что где-то заиграло танго.

– А волейбол? – спросил я.

Зря спросил. Но Лина поняла.

– Волейбол – ничтожество, – просто объяснила она.



## ДВА РОЯЛЯ В ОДНОЙ КОМНАТЕ

Рижская улочка Виландес лежит неподалеку от порта. Она всегда чистая, мощенная облизанными временем булыжниками, меж которыми вылезает жалкая трава. Улочка упирается в парк, тот самый, в котором посадил вяз Петр Первый. Дома на этой улице простояли век. Каменные русалки неумоимо поддерживают под окнами ящики с цветами. Стены домов такие толстые, что выглянуть из окна на улицу непросто. Сейчас из тех кирпичей построили бы домов втрое больше.

Тут тихо. Стук каблуков гулко отдается аж в другом конце улицы. Редко проедет лошадь с дровами или фургон с бутылками к молочному магазину. Мальчишки играют в футбол посреди мостовой. Эхо от их криков, перелетая через крыши, проваливается в колодцы дворов и глохнет в мокром белье, развешенном на веревках.

По тротуару вдоль Виландес двигаются, словно тени, старухи из соседних домов, направляясь к парку. Они вяжут кофты и сдают их за гроши в артель, расположенную тут же в подвале. Старухи замедляют шаги возле двух окон на втором этаже, из которых с утра до вечера доносятся звуки рояля. Старухи ворчат на мальчишек: те орут и мешают слушать музыку.

Мелодии из этих окон звучат каждый день – то быстрые, то медленные. Иногда рояль, сбившись, не договаривает фразу, умолкает и после паузы начинает сначала. Бывает, целый месяц подряд каждый день звучит одна и та же мелодия; старухи запоминают ее и мурлычат про себя.

Неожиданно в звуки одного рояля врываются звуки другого. Оба рояля звучат вразнобой, мелодии сбивают друг друга, спорят, дерутся. И уши не могут вынести этого сумбура. Даже каменные русалки под окнами морщат носы. У второго рояля не бывает длинных связанных мелодий. Отрывки. Куски. Немыслимые аккорды, тяжелые, как удары грома. Старухи морщатся и спешат уйти из-под окон в парк, чтобы усесться в тени старинного вяза и начать вязать.

Один рояль умолк. Лариса встала, потянулась, как кошка, выгнув затекшую спину, захлопнула ноты с портретом Шопена на обложке, постучала пальцем Шопену по лбу. Она подбежала к зеркалу, поправила копну волос, схватила капроновую авоську, бросила в нее тетрадку с конспектами, ноты, два яблока. На мгновение замерла у двери. Рихард продолжал экспериментировать с аккордами, готовясь к контрольной по гармонии. Отвратительные комбинации звуков. Неправильно звучит.

– Эй, там у тебя до-диез торчит, слышишь?

– Угу...

Аккорд, еще аккорд... Пауза... Вот это, кажется, лучше... И он записывает...

Ларисе хотелось поговорить, но она опаздывала и только побарабанила по черной крышке. Второй рояль умолк.

– Я ухожу.

– Пока!

Они оба учатся в консерватории. Она на втором курсе по классу фортепьяно. Он кончает в этом году историко-композиторский. Заняты оба с утра допоздна, поговорить некогда. Общаются рояли, стоящие валетом, прижимаясь друг к другу круглыми впадинами. У роялей достаточно времени поговорить друг с другом, и, кажется, они отлично понимают друг друга.

Комнату эту в небольшой коммуналке на Виландес студенты снимают уже третий год. Их давно грозятся выгнать, но до дела как-то не доходит. Хозяину нужно поставить памятник: терпеть два рояля, не замолкающих ни на минуту, – да сами так поживите! А секрет в том, что у хозяина дочка играет на виолончели, учится в музыкальной школе, и Рихард ей помогает, изредка аккомпанируя. Зато соседи их ненавидят и не здороваются.

Лариса затворяла за собой входную дверь, когда позади услышала звук разбитого стекла. Она вернулась и растерянно встала у окна. На полу валялись осколки. В нижней половине рамы зияла дыра. По остаткам стекла вверх ползли трещины. Рихард вскочил и, стараясь не ступить на стекла, подбежал к окну. Лариса пыталась выглянуть на улицу из-за его плеча.

– Никого?

– Никого! – Рихард повернулся. – Беги, на лекцию опоздаешь. Я сам разберусь.

– Поймать бы – пускай вставляют, – она закинула авоську на плечо. – Занимайся, я приду – вымету.

Лариса убежала.

Куски стекла вынимались плохо, замазка засохла. Рихард то и дело поглядывал на мостовую. Он соврал Ларисе. На камнях сидел мальчишка в рваных джинсах и ковбойке и тер ушибленную ногу. Видно, упал и не успел драпануть со всеми. Рихард высунул голову, с трудом перегнувшись через широкий, как стол, подоконник.

– Не видел, кто разбил?

– А если я, то что?

– Зайди сюда.

Он сидел на мостовой и не двинулся с места.

– Да не бойся, не съем я тебя. Мне помочь надо...

Мальчишка поднялся, попробовал наступить на больную ногу и, немного прихрамывая, косолапо двинулся в подворотню.

Рихард не раз видел его то на улице, то во дворе, когда выбегал за дровами. Печи в доме были прожорливые, комнаты с высоким потолком, и протопить их стоило большого труда. Однажды этот мальчишка помогал Рихарду пилить и коллол чурки лучше его.

Раздался звонок в дверь.

– Заходи. Ты чего как из деревни?

Мальчишка сделал два маленьких шага вперед. Рихард порылся в кармане.

– Давай измерим стекло и сходи в магазин, ладно? Вот тебе деньги. Вставить-то надо, а то мы замерзнем, ночью холодно уже.

– Дай линейку, я сам смерю.

– Вон в том ящике поройся, найдешь...

Рихард сел за рояль. Взял два аккорда, написал что-то, снял с пюпитра лист нотной бумаги, разорвал и вытащил чистый.

– Ты из джаза? – спросил мальчик, стоя на подоконнике.

– Вроде.

– Я тебя видел. Когда в парке конкурс танцев был, ты играл.

– Разве это игра? Я там подрабатывал. Игра – вот.

Рихард взял аккорд.

– Так это же не музыка!

– Это-то и есть настоящая музыка! Верней, с этого начинается музыка.

– А я джаз люблю. Джаз – это вещь.

– Вещь! – согласился Рихард, а заиграл польку Шопена, ту самую, которую Лариса разучивала с утра, заиграл в ритме джаза.

– Так что ли?

Мальчишка кивнул. Рихард оборвал игру и досвистел лейт-мотив до того места, где начиналась разработка темы.

– Ну, я пойду, – сказал мальчишка, пряча деньги в карман.

Рихард вышел его проводить.

– Тебя как звать?

– Пачкин...

В комнату пришли осенние сумерки, скрыли пестроту изразцов на печи. Надо встать, принести настольную лампу, а Рихард сидел, размагнитившись. Никак не мог взять себя в руки и заниматься дальше. Оглядел комнату, будто видел первый раз, закрыл глаза.

Мать старалась приобщить его к музыке, а он гонял по улице. К музыке потянулся, когда подросток. Оказался даже в музыкальной школе. Был период: играл фанатически, сутками. Мать давила на его честолюбие, обещала концерты с корзинами цветов и толпы поклонниц. Рихард поступил в консерваторию.

– А вы не станете пианистом, – сказал ему через месяц профессор Янис Иванов. – Увы, никогда!

– Это почему? – запальчиво спросил он.

– Что же, батенька, думаете, всю жизнь можно бить баклуши, а потом, когда заблагорассудится, сесть за рояль и всё

наверстать?! Уж извините, чудес не бывает. Рубинштейн что говорил? Если он не играет один день, замечает он сам, два – замечает критика, а три – слышит зритель. Посмотрите на свои руки.

Рихард развернул ладони.

– И что?

– Ничего! Сядьте за рояль!..

Рихард заиграл. Иванов молча слушал, потом рукой приказал умолкнуть.

– Так вот вам приговор. Ваши пальцы потеряли гибкость. Это не восстановится.

Пришлось смириться. Рихард перебрался на историко-композиторский факультет и был готов стать, скорей всего, педагогом.

К Ларисе, с которой Рихард был едва знаком, он заехал год назад за нотами. Дверь в квартиру оказалась незапертой, и в комнате никого не было. Он услышал плеск в ванной и открыл дверь. Лариса так растерялась, что даже не крикнула. Тут он на ней и женился. Когда Лариса перешла жить к нему, в эту комнату грузчики затащили еще один рояль.

– Два рояля вместе – это слишком! – говорили его однокурсники. – Брак между пианистами вообще следует запретить.

Возможно, друзья были правы. Они всегда правы, друзья, кроме тех, конечно, случаев, когда они ошибаются. Рихарду и Ларисе вдвоем жилось хорошо, хотя, бывало, они ссорились по пустякам и дулись друг на друга, впрочем, неподолгу.

– Ты почему в темноте?

Рихард не слышал, как вошла жена. Она щелкнула выключателем, и Рихард зажмурился от яркого света.

– Задремал, – сказал он, чтобы ничего не объяснять.

Из выбитого окна дуло. Подросток по имени Пачкин не вернулся. Плакали последние их деньги.

Пачкин не вернулся, и окно завесили на ночь одеялом...

С утра они сидели, как всегда, каждый за своим роялем. Получив право голоса, рояли затараторили на своем клавишном языке, заспорили, старались перезвучать друг друга. Днем Лариса заспешила в консерваторию. Переодевалась она быстро, раскидывая по обоим роялям одежду.

– По-моему, звонят, – перестав играть, крикнул муж.

Лариса открыла уже с сумкой в руках: за дверью стоял Пачкин.

– Здравссте!

– До свиданья! – усмехнулась она и крикнула. – Рихард! Это к тебе.

Она сбежала по лестнице, а круглолицый маленький Пачкин, похожий на колобок, попятился, нагнулся и поднял стекло, большое, почти в рост его самого. Рихард вышел в коридор. Нос у мальчишки расплющился лепешкой, и через стекло лицо казалось голубым.

– Магазин-то вчера был уже закрыт, – объяснил он, боком пролезая в дверь.

– Не разобьем? – спросил Рихард.

– Подержи, я влезу на подоконник. – сказал Пачкин. – Теперь подай стекло. Не задень за раму!

– Руки порежешь!

– Сам ты порежешь. Да ты играй, я вставлю.

Пачкин прислонил стекло к стене, вытащил из кармана нож и начал выцарапывать замазку из рамы. Рихард не стал возражать и сел за рояль.

Долго Пачкин возился, пыхтел, сопел, забивая гвоздики. Наконец он спрыгнул и подошел к роялю.

– Замазки нету? Стекло обмазать...

– В другой раз. Спасибо.

Пачкин потрогал метроном. Качнул маятник, и стрелка начала мерно отсчитывать ритм. Передвинул грузик, и метроном зашагал быстрее.

– Мешаю?

Рихард кивнул. Пачкин остановил метроном.

– Ну, я пошел...

– Руки помой!

– Успеется!

– Погоди, ты, небось, голодный? Я тебе бутерброд с колбасой сделаю.

– Нет, я пошел!

– Дома у тебя кто?

– Мать. Она шас вообще-то в порту. А отец в море. Скоро вернется. Через два месяца. Но не к нам. У него краля.

– Это как?

– Ну, баба другая...

Он помялся, раздумывая, говорить ли, но пробурчал:

– А стекла-то я не бил.

– Вот-те раз... А кто же? – Рихард тут же пожалел, что так глупо спросил.

– Да там один... из рогатки. Мяч застрял в ящике для цветов, он хотел его сбить и промазал.

– Чего же ты не сказал?

– А ты бы поверил? И потом... я хотел посмотреть, что у вас тут играет. Я пойду.

– Заходи, Пачкин!..

Но тот уже исчез.

Когда Лариса вернулась, сели ужинать. Она сдвинула пепельницу, спросила:

– Это ты положил деньги?..

– Где?

– Да вот, под пепельницу.

– Это сдача. Он хороший малый...

– Кто?

– Пачкин! Хороший малый! Что-то в нем есть...

– Ты все усложняешь, Рихард...

Прошло несколько обычных дней. Он сдал одну контрольную и готовился к другой. У Ларисы приближался шопеновский вечер, на котором ей предстояло выступить.

Как-то, услышав на улице крики, Рихард встал из-за рояля размяться и подошел к окну. Усевшись на подоконник, чтобы лучше видеть, он в ораве мальчишек поискал Пачкина. Найдя, поднял со своей северной трибуны руку в знак приветствия. Мальчишка кивнул и помчался догонять мяч. Играл он изо всех сил, чувствуя, что на него смотрят.

Рихард крикнул:

– Пачкин, зайти!

Открыл дверь и протянул руку:

– Как жизнь?

– Бьет ключом, – солидно ответил тот.

Рихард долго рылся в чемодане с книжками (все никак не соберут денег на полки), вытащил «Остров сокровищ» Стивенсона.

– Это тебе. Я ее раз пять читал.

– Не, мне не надо. Мне читать некогда.

- Возьми, говорю!
- Ну, ладно. Так и быть, погляжу.
- Ты чего делаешь в воскресенье?

Пачкин пожал плечами.

– В устье Лиелупе поедешь? На яхте покатаемся – у меня там друзья. Порыбачим...

Пачкин кивнул, взялся за дверь. Лариса снимала плащ в коридоре.

- А, это ты стекла бьешь?

Просто пошутила.

- Ага!

Пачкин прошмыгнул на лестницу.

- Зачем он тебе? – спросила Лариса.

– Ну, у мужчин могут быть свои интересы, женщинам они кажутся чепухой...

- Нашел тоже мужчину!
- Я хочу взять его с нами на Лиелупе.
- Вот еще! Только собралась расслабиться...
- Ты и будешь отдыхать, он не помешает.
- Вдруг чего случится... Я боюсь...
- Да он самостоятельный...

Она ушла на кухню, ничего не ответив.

На следующий день Лариса, как всегда, опаздывала в консерваторию. Она надевала плащ, когда в дверь раздался звонок.

- Рихард дома?

Она заколебалась, не зная что ответить. В самом деле, Рихард очень устает – минуты нет свободной: лекции, халтура, чтобы заработать на жизнь. Что ему надо, этому прилипчивому дворовому мальчишке? Пачкин потоптался у двери.

- Так его нету?
- Нет-то нет... – протянула Лариса. – А ты чего хотел?
- Я? Да так...

Он застеснялся и повернулся, было, уходить.

– Видишь ли? – Лариса аккуратно подбирала слова. – Рихард сейчас ужасно занят. У него контрольные. Ты подрастешь, поймешь. У тебя свои дела, у него свои. Извини, я опаздываю на лекцию. Извини!

Пачкин кивнул, но все еще стоял на месте. Потом протянул Ларисе книгу.



- Отдайте, я прочел.
- Отдам обязательно...

Несколько дней у Рихарда было нервных. Он сдал две контрольные, сделал оркестровку пьесы. Без особого успеха, если не считать одного урока музыки с дочкой замминистра торговли, бегал он в поисках заработка. Рихард плохо спал, бормотал во сне. В воскресенье они никуда не сдвинулись. Лариса не поехала к матери, осталась помочь ему. Утром, перед тем как сесть за рояль, она сбегала в молочный за творогом и сметаной, тем единственным, что он ел. У нее самой оставалось две недели до шопеновского концерта. Она буквально вытолкала Рихарда пойти в парк погулять.

И действительно, развеявшийся и повеселевший, он пересек парк и шагал домой по булыжникам улицы Виландес. Старухи, которые вязали, сидя под древним вязом, перестали шевелить пальцами и смотрели ему вслед.

- Это он играет, – сказала одна старуха.
- Не играет, а только жене мешает, – возразила вторая.
- Бренчит, понимаешь, вместо того, чтобы мелодию издавать, – подтвердила третья.

И они стали опять молча вязать.

Теперь, после прогулки, Рихарду захотелось во что бы то ни стало рвануть к приятелям на реку Лиелупе и выйти в море на яхте. Обязательно в море. Под ноги ему катился мяч. Рихард разбежался и врзал по воротам из портфелей. Попал! Мальчишки иронически поскалили зубы, и игра пошла дальше.

- Как дела, старик? – окликнул Рихард Пачкина.

Тот пробежал мимо, в гущу боя. Рихард еще раз позвал.

- Чего? – строго спросил Пачкин.

– Подойди, говорю!

– Ну!

– Чего не заходишь?

Пачкин ногой остановил мяч.

– Чего же приходите? Мешать вам заниматься?

– Давно ты перешел на «вы»?

– Куда перешел? – не понял Пачкин и оглянулся на ребят, которые торопились играть. – У вас свои дела, у меня свои. Вы играете на рояле, а я палкой на заборе, только и делов!

Он поднял щепку и затрещал по планкам палисадника. Добежал до ворот из портфелей и, едва не сбив с ног проходившую старушку, ринулся к мячу.

– Сумасшедший какой-то! – пожилая женщина отстранилась к стене и посмотрела на Рихарда, ища сочувствия. – Псих ненормальный!..

Рихард ничего не ответил, прошел мимо.

Лариса оказалась дома.

– Смотри-ка, ты порозовел! А то был бледный, как смерть...

Она поцеловала его в щеку.

– Садись скорей, обедом накормлю. Соседи уехали, так что будем есть на кухне.

– У нас обед? Просто не верится. Знаешь, кто мне попался? Пачкин. Странный все-таки мальчишка! То льнет, то отключается...

– Сам ты еще мальчишка!

– А ты против?

– Не знаю. Что у вас общего? У тебя свои дела, у него свои... Между прочим, прислали счет за прокат роялей. Где денег возьмем?

– Завтра пойду грабить банк, – сказал Рихард.

Он доел картошку и ушел в комнату. Рояль его, будто сорвавшийся с цепи пес рывкнул так остервенело, что даже мальчишки на мостовой перестали играть и подняли головы к окнам на втором этаже. Сердитые аккорды посыпались один за другим.

Лариса на кухне мыла посуду и, услышав, пожала плечами. Этот прелюд Скрябина Рихард никогда не играл. Она быстро составила грязные тарелки в раковину, решив, что вымоет потом, вошла в комнату, намазала пальцы питательным кремом, помассировала руки, подождала, пока крем впитался, и села за рояль.

Каменные русалки под окнами наморщили носы: в нервный прелюд Скрябина вмешался мягкий вальс Шопена.

## ПОЩЕЧИНА

Я с удовольствием брился бы каждый день, но усы, а тем более борода росли медленно. И я кромсал себя безопасной бритвой только раз в неделю.

Чтобы иметь стильную прическу, я по два часа просиживал в очереди к несравненному Кузе, лучшему парикмахеру Усачевки. Пульверизатор у него был сломан, Кузя наливал одеколон «Шипр» прямо на ладонь и огромными ручищами приглаживал голову, будто пробовал, хрустит ли арбуз, созрел ли.

После стрижки мать, встречая меня, затыкала нос пальцами.

– От настоящего мужчины, – морщась, ворчала она, – должно пахнуть чесноком. Так всегда отец парикмахерам говорил.

Отца я смутно помнил. Он сам ушел от нас с матерью. А от той, другой женщины, когда началась война, его оторвал военкомат. Мать называла отца бабником.

Стал я часто вспоминать отца после того, как в школе мы прошли рассказ Шолохова «Судьба человека». Как и герой рассказа, отец мой попал в плен, но, в отличие от шолоховского героя, получил после войны десять лет лагерей за то, что сдался в плен живым. Я знал, что писать в книжках про лагерь нельзя, в книгах должно быть всё красиво и правильно, а не так, как в жизни, и рассказ Шолохова мне нравился больше, чем история с моим отцом, который умер за полгода до реабилитации, о чем нам прислали справку. Справка эта обрадовала мать тем, что ее прислали нам, а не второй жене.

На знаю почему, но с тех пор, как я начал бриться, мать стала беспокоиться за мою генетику, видимо, опасаясь, что я стану таким же бабником, как отец. Однако деньги на следующую стрижку все же давала.

Наспех сделал уроки, я тщательно утюжил свои единственные брюки, но они у колен еще больше торчали. Видимо, тела при нагревании действительно расширяются.

– Когда вернешься? – осторожно спрашивала мать, опасаясь большего, чем происходило на самом деле.

– Сегодня, – бросал я и, чувствуя, как обыкновенное слово вдруг становится хамским, прибавлял. – Да ты не волнуйся.

К вечеру класс наш охватывало желание пройтись. Пройтись – значит, поговорить о протекающей вокруг нас жизни, о целесообразности поступления в вуз и, конечно, о любви.

Темнеть стало рано. Мы сходились у школы или Новодевичьего монастыря. Подняв воротники, брели до Зубовской площади по одной стороне улицы, а возвращались по другой. Встречая ребят из своего класса, мы останавливались под тусклыми фонарями, пожимали друг другу руки, будто не виделись год, и солидно расходились, продолжая вести светские беседы.

Мужики ходили отдельно, считая общий разговор с девчонками несерьезным. Они ж ничего не понимали ни в окружающей жизни, ни в делах, ни в любви. Когда на пути попадались девчонки, кто-нибудь отпускал шуточку, и те под наш громкий хохот удалялись.

Другое дело – встречаться. Это совсем не то, что пройтись. Тут остаешься один на один. И хотя вслух все мы это активно презирали, всем хотелось встречаться и крутить любовь, как в кино. Именно это, пожалуй, и было главной причиной того, что я часами сидел в парикмахерской, дожидаясь творца мужской красоты Кузю, и каждый день тщательно гладил свои заношенные до предела единственные брюки под улыбочиво-тревожным взглядом матери.

Я пробовал писать стихи и даже прочитал в библиотеке «Жизнь» Ги де Мопассана. Но как только начинал думать о собственной любви, Ги помочь не мог, и я ощущал некую неполноценность. Мне тоже хотелось встречаться, как в кино,

и вроде бы препятствий к этому не было, только я не знал, с кем. Ни мне никто не нравился, ни я никому.

Обидно, когда никто из девчонок тобой не заинтересовался. Но я изображал на лице полное равнодушие. Специально садился против зеркала во время веселых радиопередач, стараясь не смеяться, – тренировался держать каменное лицо. В классе это считалось особым шиком.

Да, все хотели встречаться. Только мой друг Севка был против встреч с девчонками и теоретически, и практически. В разговоре об этом он при удобном и неудобном случае обычно сплевывал через плечо и сообщал:

– Лично мне никто из них не нужен. Не до них...

Однажды, проходя мимо парты Жиловой, я услышал свою фамилию и замедлил шаги. Жилова сидела спиной ко мне и видеть меня, мне казалось, не могла. Шла речь об исправлении троек у какой-то ее подруги. А тройки эти, по мнению всезнающей Жиловой, были оттого, что их владелице нравился я. Нравился чуть ли не со второй четверти седьмого класса. Из-за этого-то она хуже учится, чем может.

Я ей нравлюсь, то есть она в меня... И скрывает почти два года!

– Не подслушивай! – повернув голову и заметив, что я остановился, крикнула Жилова.

Но поразмыслив, я пришел к выводу, что она, уж не знаю как, но распрекрасно чувствовала меня у себя за спиной и специально говорила так, чтобы я все услышал.

Подумаешь, сказал я сам себе в коридоре. Мало ли кому кто нравится! И стал сосредоточенно думать, кто же все-таки она.

Плохо в нашем классе учились многие. То есть не то чтобы совсем плохо, а так себе. А уж могли лучше абсолютно все, это как пить дать.

На уроке географии я составил карту размещения всех семнадцати девчонок класса. Решил отгадывать по внешним приметам и, продвигаясь в меридиональном направлении с юга на север, ставить нолики, а если найду – крестик. Крестиков получилось восемь, – это был явный перебор.

Едва карта заполнилась, прозвенел звонок. Географический метод результатов не дал.

На алгебре я приступил к операции гипноза, то есть решил смотреть на каждую до тех пор, пока она на тебя не оглянется, и тогда читать мысли на расстоянии. Смотрел я, высверливая глазами. Через некоторое время наши взгляды сходились, но в ответ мне либо высовывали языки и строили гримасы, либо показывали кулаки. Девчонкам в нашем классе палец в рот не клади. Ситуация не прояснилась, и пришлось сменить все крестики на нолики.

Вся трудность, понял я, в том, что у Жиловой слишком много подруг. Мой друг Севка получил ответственное задание навести справки. Сам он, как известно, ни с кем не встречался, называя любовь простой биологией, в отличие от сложной биологии, которой серьезно занимался. Но ради дружбы Севка согласился потратить свое драгоценное время на эту ерунду. Жилова ему безнадежно симпатизировала и ради этого даже занялась биологией. В одной из душевных бесед с Жиловой Севка как бы невзначай выведал секретное имя.

– Это Колютина, – гавкнул Севка и хлопнул меня по шее.  
– Она ничего. С научной точки зрения. На четыре балла пойдет.

Итак, Колютина! Динка Колютина... Как же я сразу сам не сообразил?

Действительно, когда я на нее смотрел, она не показала мне язык, как все остальные, но скорчила гримасу и при этом заметно порозовела. Ведь Динка ни с кем не встречается и вечером выходит только пройтись. Ясно, что у нее никого нет. А главное, когда мы первенство школы в баскетбол выиграли, она подарила мне шоколадку. Не кому-нибудь другому, а мне. Вполне можно было против ее имени поставить крестик. Впрочем, это мне теперь так кажется.

Колютина... Ночью она просыпается и просит: «Дай, мама, мне перо, бумагу». И пишет письмо: «Я вас люблю, чего же боле? Что я могу еще сказать?» Всю ночь слезы капают на бумагу. А утром девичья честь побеждает: Колютина сжигает письмо на газовой плите, а пепел выбрасывает в мусоропровод.

Жизнь моя пошла иначе. Ни о чем другом, кроме любви, я теперь думать не мог.

В перемену я подошел к Динкиной парте. И тихо, но так, чтобы слышала Жилова, сказал:

– Колютина, пойдем вечером в кино, у меня случайно есть лишний билет.

Билетов у меня не было, но это не важно.

Жилова отвернулась, сделав вид, будто что-то уронила под парту и хмыкнула. Динка покраснела, отрицательно качнула головой, вскочила и побежала из класса в коридор.

И то обстоятельство, что она смутилась, еще более возвысило меня в собственных глазах.

После уроков Колютина сама подкралась ко мне в раздевалке и, отводя глаза куда-то в сторону, сказала:

– Знаешь, я, кажется, передумала и, наверное, в кино смогу, если, конечно, успею выдолбить алгебру, которую, ну, в общем...

И замолчала, растерянно глядя в потолок. Все ясно: она в меня по уши!

Я взял у Севки до завтра часы, чтобы засечь, на сколько Динка опоздает, и секунда в секунду подошел к воротам монастыря. Под надписью «Филиал Исторического музея» уже переминалась с ноги на ногу Колютина.

– Ты давно ждешь?

– Нет, – ответила она. – Полчаса.

– А насчет билетов я тебе наврал.

– Ой, это же еще лучше!

Мы отправились гулять. Оказывается, она не хуже меня рассуждала о смысле жизни, и у нее появлялись интересные мыслишки. Она даже умела спорить, хотя в конце-то концов во всем оказывался прав я. Даже в области фигурного катания, которым она занималась два раза в неделю, а я никогда.

Дошагали мы до стадиона. Там было пусто и полутемно.

– Дин-ка-а-а! – крикнул я что было мочи.

– Ка! ка! ка! – ответило эхо.

– Тс-с-с, – она закрыла мне рот ладошкой, и я почувствовал запах каких-то необычайных духов.

Она поняла.

– Нравятся?

– А это какие?

– Мамины, – ответила она и быстро побежала по ступенькам между трибунами вверх.

Спускалась она, прыгая на одной ноге, и при этом смеялась и непрерывно болтала о всякой ерунде. Вернувшись, она погладила меня по голове и сказала:

– Ты настоящий мужчина.

– С чего ты взяла?

– Вижу. Молчишь – значит много думаешь. И не пристаешь с глупостями...

Когда мы шли обратно, я чувствовал, как вся она светится вниманием и заботой, как серьезно слушает, что говорит ей ее идеал. Хотя говорил я с ней небрежно, острил как попало, не обдумывая заранее, что скажу, она все равно каждый раз смеялась, прямо-таки заливалась смехом. Глаза у нее блестели, и в них было написано: «Ты самый замечательный, самый остроумный человек на свете. Даже если б на твоём месте оказались Райкин или Никулин, мне не было бы так весело, как с тобой».

Она была счастлива. В мерцающем свете уличных фонарей мне даже показалось, что она довольно-таки симпатичная, чего раньше, когда мы прогуливались в мужской компании и обсуждали девчонок, я ни за что бы не отметил.

Отца у Динки тоже не было и, как мы выяснили, начав с полунамеков, он был там же, где и мой, то есть в местах отдаленных, но, кажется, еще был жив.

– Без мужчины в доме еще лучше, спокойнее, – повторил я фразу, которую не раз слышал от матери.

Динка посмотрела на меня внимательно, словно вдруг усомнившись в чем-то, и сказала глухо, почти про себя:

– Без мужчины в доме горе...

Она пошла так быстро, что я помчался за ней вприпрыжку.

На Усачевке возле школы Динка остановилась и долго выбирала место на стене, где будет установлена мемориальная доска с моим профилем и надписью: «Здесь учился...» и все такое. Колютина смотрела то на меня, то на стену, словно телепатически переносила мой профиль, усовершенствованный Кузей, на серую кирпичную кладку. Профиль с достоинством улыбался. Вдруг Динка спросила:

– Хочешь, домой тебя провожу?

– Валяй! – снисходительно ответил я.



Зашуршали листья и побежали по асфальту. Закапал мелкий дождь, сонный и ленивый, будто раздумывал, становится ли сильнее или перестать. Мы вошли во двор.

– Смотри! – прошептала Динка и, встав на цыпочки, взяла меня за палец.

На голых ветках липы повисли тяжелые капли – дрожащие бусы из дождя. Мы вместе тронули ветку. Бусы посыпались на нас.

– Может, и до двери проводишь? – спросил я.

– Провожу! – тряхнула головой Колютина, и волосы выбились из-под ее голубой вязаной шапочки.

Она вошла в подъезд и, не оглядываясь, стала в полутьме подниматься по ступеням, плавно и бесшумно, приподняв руки, точно дирижер. Я попытался было ей подражать, но скакал хромым козлом.

У окна, между этажами, она остановилась. И я ощутил ее порывистое дыхание совсем рядом возле своих губ. Динка заботливо, как моя мать, вытерла ладонью капли дождя с моих щек, качнулась, словно сделала какое-то «па» на льду, наши взгляды перемешались, и оказалось, что мы целуемся. Я сжал ее локти, но она мгновенно вырвалась и убежала.

На губах моих остался горьковатый привкус листьев, мокрых от дождя.

Теперь по вечерам, когда мне телефонили друзья, чтобы пройтись, я под разными предлогами отказывался, поскольку ждал другого звонка. У Динки телефона не было, и она звонила из автомата. Мы встречались, и на свежем, только что выпавшем снегу рядом с моими подметками сорок второго размера отпечатывались каблочки красных сапожек тридцать пятого. Я по-прежнему гладил брюки, правда, уже не так тщательно и не каждый вечер. Не разлюбит же меня Колютина из-за каких-то там мятых брюк! К мастеру Кузе я тоже больше не ходил и быстро зарос.

Мы встречались. Но встречаясь, я уже не мог пройтись с ребятами от монастыря до Зубовской и обратно. Автоматически я попал в разряд людей, которых мой друг Севка называл пропащими.

– Пропащие хуже лишних людей из девятнадцатого века, – вещал он, – ибо становятся рабами. С научной точки зрения.

С ним трудно было не согласиться: или девчонки, или настоящая мужская компания. А соединить и то, и другое никак не удается.

Решили мы, например, как-то идти на хоккей, а Динка вмешивается, говорит, что тоже пойдет. Я играю в баскетбол, а она приходит болеть, и ребята отпускают по этому поводу шуточки. Я на лыжах, и она тоже хочет на лыжах. Долго думал я, чем бы удивить интеллектуалов из нашего класса, и решил прочитать Гегеля. Пойму, не пойму – прочесть. И Динка захотела сидеть со мной в читальне. Оказывается, она тоже давно собиралась постичь Гегеля.

Единственное, что было точно интересно, – стоять с ней в подъезде, когда она меня провожала, и целоваться. И еще сжимать в руках ее длинные, какие-то бескостные пальцы так, что она постанывала от боли, но рук не отнимала.

Но и провожания ее мне скоро надоели. И все, что она мне рассказывала, я уже слышал. Спорить с ней было не о чем. Она во всем со мной сразу соглашалась, и это начало меня злить.

Начал я избегать Динку. Даже не пришел однажды к монастырю, где она ждала меня чуть ли не до ночи. Спросила, почему не пришел; я сказал, что был занят. И она не обиделась.

Динка просто не понимала, что происходит и почему она мне мешает.

Севка поймал меня однажды в коридоре и стал вертеть пуговицу на моей куртке. Потом спросил:

– Ты с Колютиной-то хоть целуешься?

– Само собой.

Я отобрал оторванную пуговицу и в деталях набросал несколько сцен, большую часть позаимствовав из Мопассана. А в конце сказал:

– Надоела она мне...

– Детский сад все это. С научной точки зрения, – объяснил мой друг.

На другое утро, когда мы с ним снова стояли в коридоре и я втолковывал ему про Гегеля и философию духа, ко мне подошла Жилова.

– Почему ты избегаешь некоторых девочек? Можно ведь честно объяснить, и все...

Ну где ей понять, что я разочаровался в лучших чувствах? Оказывается, на деле получается совсем не так, как об этом твердят в книжках и показывают в кино! Только время тра-тишь, а его и без того мало. И решил я разом отвязаться и от Жиловой, и от Динки.

– Чего Колютина ко мне пристаёт? – возмутился я. – Целоваться ей надо, вот что!

Севка заржал молодым жеребцом на весь коридор.

Жилова вспыхнула, прикусила губу и испуганно отскочила от меня. А я повернулся к Севке, довольный, что наконец-то свободен.

– Ну, ты герой! – похвалил меня Севка. – Вечером пройдемся по-мужски и все выясним насчет свободы духа.

На большой перемене, когда дежурные выгнали всех из класса, чтобы проветрить, в коридоре меня отыскала Жилова.

– Зайди в класс, – строго сказала Жилова. – Там тебя ждут. Очень срочно!

– Кто?

Неудовольствие изобразилось на моем лице. Не ответив, она исчезла. Пожав плечами и сунув руки в карманы, медленной походкой я независимо вошел в класс.

За дверью стояла Колютина. Бледная, ни кровинки в лице. Сейчас будет уговаривать, чтобы я не обижался, не сердился и попросит вечером встретиться.

– Здравствуй! – сказала она и загадочно улыбнулась.

– Мы что, не виделись?

– Виделись! Но я еще раз, для вежливости.

Почему она улыбается? И дышит так, словно три раза пробежалась до актового зала на пятом этаже и обратно.

Динка подошла ко мне вплотную, и я испугался, что сейчас она поцелует меня и кто-нибудь откроет дверь и увидит. Но она только пристально посмотрела мне в глаза. И не успел я вынуть руки из карманов, размахнулась и врезала по щеке так, что я едва устоял.

Пока я соображал, что к чему, Колютина плавно, по-дирижерски взмахнула руками и выскользнула из класса, аккуратно притворив за собой дверь.

Я огляделся. Никого. Даже дежурных нету. Хорошо еще, что без свидетелей.

Щеку жгло. Я держался за нее обеими руками, точно болел зуб. Неплохо бы дать ей сдачи. Да, конечно, дать сдачи! Сразу бы надо сообразить. Ну, да ничего, успею. Как? А вот так!

На следующей перемене я попросил Севку позвать Колютину в класс.

– Скажи, англичанка зовет...

– Англичанка? Пожалуйста.

Когда все выходили, я спрятался за дверь. Сложил руку лопаточкой и жду. А Динка не идет.

И вот дверь открывается.

– Здравствуй! – говорю я.

– Мы что, не виделись? – спрашивает Динка и краснеет.

– Виделись! – грубоватым голосом говорю я. – Но еще раз, для вежливости.

Размахиваюсь посильней, так, чтобы она не подумала, что я какой-нибудь слабак, и...

Придумал я это великолепно, но не очень был уверен, что такое на следующей перемене произошло бы. Все-таки я понимал разницу: она дала мне пощечину, а я ее ударю. И вообще, как любил повторять отец, это остроумие на лестнице. Так говорят французы, когда кто-нибудь с опозданием чего-либо сообразит.

Тут зазвенел звонок, и перемена кончилась. Ребята повалили в класс, я сел за парту вместе со своей пощечиной, так и не придумав, что с ней делать.

С того дня при встречах с Колютиной я отворачивался первым, чтобы как следует показать свою мужскую гордость. Но Колютина делала вид, будто вовсе не замечает меня.

Само собой, Динка расскажет о пощечине всему классу, и я буду опозорен. Придется в другую школу переходить. Но Динка никому не сказала. Я на чем свет стоит ругал толстуху Жилкову, которая помогла подстроить эту ловушку, хотя Динка даже Жилковой не сказала, зачем звала меня в класс. Уж Севка бы мгновенно сообщил.

И все равно я злился на нее. Почему мне так обидно? Почему? Чего в ней страшного – в пощечине? Раньше на дуэлях убивали, и то ничего.

В библиотеке я взял толковый словарь и на букву «П» отыскал: «Пощечина – удар по щеке ладонью». Только и всего

– удар по щеке. Не поддых, не по шее даже. Не ножом, не кастетом, не кулаком – просто ладонью. А так обидно. Нет, врет толковый словарь: пощечина – удар не по щеке, а по чему-то еще.

Мать что-то почувствовала и с тревогой смотрела на меня по вечерам, но спрашивать не хотела. Да и спросила бы, ничего не сказал бы, поэтому-то она и не спрашивала.

Я поймал себя на том, что слишком часто думаю о Колютиной. Учусь с ней года четыре, встречался целых два месяца, а оказывается, совершенно ее не знаю. Не такая уж она бесхарактерная. А если вдуматься, так даже смелая.

Оглядываться на нее я боялся. Она всегда теперь смотрела насквозь, будто не только меня, но даже моей парты в принципе не существует. А когда меня вызывали к доске, я спиной чувствовал ее ироническую улыбку: «Ну, чего этот трепач может сказать заслуживающего внимания?» Я краснел, путался, нес чушь и даже по любимой истории стал получать натянутые трюки.

В такой ситуации невольно станешь мрачным. А Динка веселилась, даже танцевала на переменах, напевая нечто ритмически-четкое. Может, это было показное, а может, ей стало легко жить после того, как она от меня отвязалась?

Мне казалось, что заболеваю. Разве плохо мне было бегать с ней по Воробьевым горам вдоль Москвы-реки и ловить ее лыжи, когда она летела в молоденький сугроб? И не мне ли завидовали ребята, когда после баскетбола Динка дожидалась меня возле мужской раздевалки, легко и просто брала под руку, а они, толкаясь, топали вокруг нас? А в читалке, разве не Динка выписывала мне цитаты из Гегеля, которые я потом, подглядывая в ее шпаргалки, декламировал Севке?

Мне не хватало ее серьезного интереса к моим ерундовым делам. Лучше бы она съездила еще раз по другой щеке, но смотрела на меня и видела, что я существую.

Нет, так больше продолжаться не может, надо что-то делать, как-то действовать. Мужчина я, в конце концов, или нет?

И я решил подойти к ней. Решить-то решил, но не знал, как.

Сперва я снова отправился к мастеру Кузе и, просидев в приемной часа полтора, измяв только что выглаженные брю-

ки, получил свою порцию «Шипра». Я вспомнил, что говорил отец матери о запахе чеснока, но решил, что «Шипр» надежнее.

После этого отправился к Динке во двор и стал ждать.

Сидел я на скамейке и повторял фразу, с которой начну: «Прости меня. Давай поговорим».

Часа через два у нее в окне погас свет – видно, она собиралась пройтись. Я подошел к подъезду, шепча: «Прости меня. Давай поговорим». По лестнице кто-то спускался. «Прости меня. Давай поговорим...»

Хлопнула дверь. Колютина в голубой шапочке вприпрыжку выскочила из подъезда. «Прости меня. Давай поговорим». Ну же!.. Но язык мой словно приклеился к нёбу.

Поглядел ей вслед и, когда она скрылась, сказал громко самому себе:

– Прости меня. Давай поговорим!

Что было сил, я ударил себя сперва по одной щеке, потом по другой и уныло побрел к дому.

Динка меня презирала. Я сидел сзади через три парты, но для нее я испарился, исчез с лица земли, стал космической пылью.

Мне необходимо было излить кому-нибудь душу, и я предложил Севке вечером пройтись.

– Не могу, старик, встречаюсь, – ответил он.

– Неужели с Жиловой?

Он, как благородный человек, промолчал.

– А как же твои принципы с научной точки зрения? – осведомился я.

– Дело не в том, что она девчонка, – объяснил Севка. – Она здорово в биологии сечет.

– В простой или сложной? – ядовито поинтересовался я.

Но мой друг, видно, окончательно стал рабом и, сияя, заявил:

– Вообще!

Пропал человек. А я остался расти в одиночестве. Это было одиночество, к которому никак не приставишь слово «гордое».

Четверть века спустя я прочитал в старинной восточной книге, что не женщина несчастна, если она полюбила первой любовью подлеца. Несчастен подлец, который не воспользовался последней возможностью стать человеком.

Прочитал и возмутился. Ну и загнули! Подумаешь!..

Но тут передо мной возникла Динка в своем черном школьном фартучке.

– Здравствуй! – она усмехнулась.

– Давно не виделись, – сказал я.

– Да, двадцать пять лет... Но еще раз, для вежливости.

Она размахнулась и...

Постарев и многое позабыв, я помню эту историю, точно она произошла вчера. Только звали Динку не Динка и фамилия ее была не Колютина.

С той поры бывало в жизни всякое, но щека моя от той пощечины до сих пор горит.

## КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ КЛИЧКИ

Записка не укладывалась в рамки разговора и потому обиженно лежала на зеленом сукне стола.

Спор шел о любви и дружбе. Мы разгребали гору записок с вопросами и тут же отвечали на них. Бумажки с вопросами, на которые был дан ответ, я бросал в картонную коробку из-под сливочных тянучек. А эта записка лежала. Как-то не цеплялась она за тему.

Сцена в актовом зале, куда меня пригласили на диспут, была маленькая, но уютная. Стол, накрытый зеленой скатертью и два скрипучих стула, на которых мы восседали.

Из зала на нас глядели сотни три пар глаз. Диспут затянулся, записки приносили все новые и новые, а эта лежала. Время от времени я возвращался к ней глазами:

*Как избавиться от клички?*

*Только кличку не называйте.*

*Рыжий.*

Слова *избавиться* и *не называйте* подчеркнуты двумя жирными чертами. Имени, разумеется, нет.

Мне было неловко. В самом деле: человеку это важно, и он ждет ответа, а ты молчишь, будто тебе на него наплевать.

Пододвинул я записку своему соседу, моему бывшему однокласснику Вальке, волею судеб сделавшемуся учителем лите-



ратуры Валентином Георгиевичем. Длинный и складывающийся только пополам, как циркуль, Валька прочел записку, ухмыльнулся и, подмигнув мне, вернул клочок обратно. Дескать, выкручивайся сам. Валька с детства был простым и легким. Никаких проблем не решал и мимо любых сложностей умел проплывать с улыбкой, их не задевая.

По правде говоря, я чувствовал трудно объяснимую близость с человеком, написавшим записку. В том, что он переживает и что это серьезно, я был почти уверен. Если б человек не страдал от клички, думалось мне, стал бы он такую записку писать, да еще на диспуте о любви?!

Когда обзовут тебя в третьем классе – еще куда ни шло. А если в восьмом? Ведь в твоём восьмом непременно есть человек, подстриженный под мальчика, который лучше всех в классе, а может, во всей школе или даже микрорайоне. И ты уже полтора месяца собираешься позвать этого человека на каток. А когда решаешься наконец подойти, вдруг сзади слышишь:

– Сёдни в хоккеей придешь играть, Кастрюля?..

И та, к которой ты шел долгих полтора месяца, начинает смеяться. Смеется, не может остановиться. Откуда ей знать, что в воскресенье, в походе, ты потерял казенную кастрюлю? Ей просто смешно. И она больше не принимает тебя всерьез.

Прочти сейчас я вслух эту записку, даже не называя прозвища этого человека, подписавшего ее, всем станет смешно. Те, у кого нет клички, будут смеяться над тем, у кого она есть. А у кого она есть, будет хохотать над собой, дабы никто не подумал, что у него комплекс. И один человек почувствует себя несчастным, решив, что весь зал дразнит его одного. А вдруг он недавно проходил в классе «Бедную Лизу»? Пойдет да и утопится.

И я опять отложил эту записку.

Но, отвечая на другие вопросы, я невольно все время думал: не попытаться ли разыскать автора? Решил потихоньку оглядывать ряды. В зале сидят девочки и мальчики, почти взрослые и не совсем взрослые, розовые и бледные, причесанные и лохматые, наивные и ироничные, с взволнованными, сонными, горящими и равнодушными лицами. Одни шепчутся, другие слушают, разинув рот. Рыжие среди них тоже попадают. Не этот ли, с торчащими ушами, – обладатель постыд-

ной клички? Или вон тот нестриженный, похожий на мышонка, который все время шмыгает носом?

Искал, искал я и вдруг подумал: ну, найду его, а дальше? Что же, прямо вот так и сказать со сцены, что я про это думаю?

Нет, лучше дождусь его в дверях, отзову в сторону и скажу:

– Не расстраивайся, старина! Подумаешь, кличка... Еще не самое страшное клеймо в жизни. Бывают и почище... Даже в паспорт клейма ставят. И раз не самое, держи хвост морковкой!

А он мне:

– Вам-то не самое, у вас нет клички!

Что ему на это в двух словах в суете ответишь?

Тем временем мой жизнерадостный одноклассник Валька объявил, наконец, что проблема любви и дружбы окончательно нами решена, тема закрыта и диспут окончен. Поднявшись над столом, учитель стал показательно трясти мне руку.

Записка так и осталась без ответа.

В троллейбусе, по дороге домой, вытащил я ее из кармана и перечитал. Был, как гадалки говорят, у меня к ней свой интерес.

С шестого, или, нет, с пятого, класса меня тоже все звали Рыжим.

Мать с отцом перешли на новое мое имя без проблем, и когда я входил в комнату, слышал:

– Рыжий, садись есть!

На волейбольной площадке кричали:

– Рыжий, дай пас!

Мне звонили домой одноклассники, чтобы списать по телефону решение задачи, и говорили соседям:

– Рыжего попросите!

Соседи тоже стали звать меня Рыжим. А за ними – весь наш двор. Прозвище прилипло так крепко, что не только близкие друзья, но и дальние родственники, приезжая, не звали меня иначе. Казалось, все забыли, как меня называли при рождении.

Сколько я ни уговаривал себя, что принципиально не буду слышать это унижительное собачье название, я невольно привык и откликнулся на него быстрее, чем на собственное имя. А

имя у меня ей-Богу, неплохое: Долгорукий, Тынянов, Гагарин – мои тетки. Верней, были моими тетками. Меня-то ведь переименовали.

Только почему именно в Рыжего? Почему мне так не повезло? Мало разве на свете приличных слов? В нашем классе едва ли не все подходящие фамилии переделаны в птиц и зверей: Сорокин – Сорока, Лисицкий – Лис и Лиса, Волков – конечно, Волк, Грачёв – само собой, Грач и так далее. Есть у нас Лей и Налей – Олейников, Мешок – Жогин, который самый толстый в классе, есть один Бонапарт. А я Рыжий. Вон, почитайте детективы: воры себя называют Доктор, Профессор, даже Король. А я, человек хотя и честный, но Рыжий.

Надо сказать, что для возмущения у меня имелись основания: в действительности я не рыжий и рыжим никогда не был. Левшой от рождения, по наследству, был. Был еще сладкоежкой, волейболистом, коллекционером марок – только не рыжим. Волосы у меня довольно темные, сколько в зеркало не глядись, не увидишь даже оттенка рыжины. Веснушки если и выступают, то летом, под загаром их не видно, а зимой и вообще нет.

Кличка, однако ж, настолько пристала ко мне, что вне ее я уже не существовал. Даже злой остряк учитель истории Петр Васильевич Гора, ставя мне однажды двойку, сказал:

– Ну что ж? Считаешь, рыжим история ни к чему?

Такого уровня у него было чувство юмора. Чужие несчастья всегда радуют, и класс, чтобы к тому же потянуть время, смеялся долго.

– За что? За что вы зовете меня Рыжим? – взорвался как-то я.

– Да потому что ты Рыжий и есть!

– Нет, я не Рыжий!

– Рыжий! Рыжий!! Рыжий!!!

Спорить одному со всеми, как и обижаться на всех, бесполезно, ибо все – это толпа, а толпа, состоящая даже из разумных людей, разум начисто теряет. И я смирился.

После школы я попал на филфак и решил, что хоть тут с кличкой будет покончено и я вздохну как полноценный человек. Но на соседнем потоке оказался парень из параллельного класса моей школы. Само собой, он звал меня по-прежнему Рыжим, и скоро весь мой курс это отлично усвоил.

Мне нравилась одна симпатичная особь из соседней группы, но стоило мне к ней подойти, как остряки немедленно обыграли тему, и я услышал:

– Видали? Рыжий встречается с Рыжей, чтобы организовать Союз рыжих.

Прошли еще четыре года. Став взрослым, я совсем перестал из-за прозвища расстраиваться. У меня даже хватило ума признаться себе, что Наташа, которая мне строила глазки, вдруг сменила меня на Вадима не только потому, что меня звали Рыжим.

Филфак я с грехом пополам высидел и пришел служить в издательство. Заведующий редакцией назвал меня первый раз в жизни по имени и отчеству. Но кто-то из моих школьных друзей позвонил мне на работу и уверенно попросил к телефону Рыжего.

– Рыжего? – возмутился заведующий. – Как прикажете это понимать?!

Он был настоящим рыжим, я бы даже сказал, очень рыжим.

– Это меня, – хладнокровно сказал я.

Он улыбнулся:

– То-то же!

И тогда я понял, какое слово высекут на моем надгробии...

Как-то вечером, едва я вернулся с работы, жена сказала:

– Рыжий, тебе обрывают телефон.

– Как всегда. Просто ты отвыкла от дома за две недели.

Накануне я привез ее из больницы.

И тут же снова раздался звонок:

– Рыжий, скрываешь? Говорят, у тебя родилась дочь?

– Приезжайте, черти!

Они приехали, мои друзья, мои одноклассники. Раздеваясь в коридоре, хлопали меня по плечам, потом радостно били меня в живот и по спине, тщательно мыли руки, на цыпочках крались к двери.

Я приложил палец к губам, впустил их, и они окружили кроватку. Видели бы вы в тот момент их открытые рты, их довольные лица: у дочери моей волосы были рыжие.

Они победили. Додразнили-таки меня!

Потом мы сидели на кухне, выпивали и закусывали. Валька, который стал учителем литературы, сказал:

– Старик, а ты знаешь, кто первый раз назвал тебя Рыжим? Это был я.

– Но почему? Почему?!

– Помнишь, у тебя в пятом классе была рыжая байковая ковбойка?

Наверное, у меня изменился цвет лица.

– Это была не моя ковбойка, – сказал я. – Это ковбойка Быховского. Мы с ним на один день поменялись после волейбола. И потом, она была коричневая, а не рыжая!

– Извини, – смутился мерзавец Валентин Георгиевич, исковеркавший всю мою юность. – Мне ковбойка показалась рыжей.

Мы пили, ели, трепались, и я вдруг обратил внимание, что все, кроме упрямого Вальки, перестали меня звать Рыжим, а называли по имени. Мне стало как-то не по себе. У человека нормальная кличка, а его зовут непонятно как! То ли это я, то ли нет... В конце концов, у меня дочь рыжая, а я будто ни при чем. Что в моем имени? Да ничего! Всех так зовут. У нас в издательстве семеро Юр. Если же считать с журналами, будет одиннадцать. А Рыжий один. Так я им и заявил после третьей рюмки. Они приняли доводы вескими. И хотя злополучная ковбойка была не моя и не рыжая, все осталось по-старому.

Но прошло еще три года, и моя монополия решительно пошатнулась.

Когда учитель Валька позвонил, чтобы пригласить меня на злополучный диспут о любви и дружбе, он, естественно, спросил:

– Рыжий дома?

На что моя дочь резонно ответила:

– Рыжего нет! Есть только Рыжая!

– Извините, – опешил Валька.

И на диспуте, и после диспута Рыжим меня называть постеснялся...

А дочь мою зовут Рыжей все. И она вовсе не обижается. Ей даже приятно: ведь ей все намекают, что у нее модный и, так сказать, вечно популярный цвет волос. А я-то переживал, собирался ее утешать тем, что одного мальчика Сашу звали то Обезьяной, то Мартышкой, а он все равно сочинил «Я помню чудное мгновение» и кое-что еще.

– Ладно уж, папка, – говорит мое чадо. – Так и быть: пускай ты тоже будешь Рыжим, хотя ты просто примкнувший.

– Мне завидно, что вы все такие рыжие! – говорит жена.

– А ты покрасься, – советует дочь.

Троллейбус замедлил ход, а я все держал в руках записку. Водитель весело объявил мою остановку. Волосы у него были такого огненного цвета, что из соображений пожарной безопасности ему ни в коем случае нельзя было доверять общественный транспорт. А вот доверили. Избавили от размышлений о собственной неполноценности. Может, хоть у него в троллейбусном парке знают, как вообще избавиться от клички?

Я опустил мальчишкину записку в щель билетной кассы и сошел, помахав рукой рыжему водителю.

## ДЕЛО О ШЛЯПЕ

Случилось это в областном городе. Назвать город боюсь, – как бы горожан не прищучили. Скажу только, что он находится между западом и востоком, ближе к северу, а название начинается на одну из букв отечественного алфавита. До города этого, конечно, докатилась волна слухов о словесных брожениях в столице в сфере того, о чем раньше подумать было запрещено. И вдруг разрешили задуматься. Даже насчет кое-чего выразиться. Наконец, указание спустили вниз: проявляйте инициативу, самостоятельность, мы свое дело сделали, теперь выручайте. А куда проявлять? То есть до каких пределов, если не обозначено? Какую самостоятельность проявлять – дозволенную или недозволенную?

Верховный областной руководитель товарищ Гнедой в связи с дуновениями сверху решил, как всегда в подобных случаях, приблизиться к массам. Для этого он замыслил пройти от своего особняка в особом районе города до главного здания, в котором Гнедой был самым главным. Смелая инициатива состояла в том, что он переместится по улицам как совершенно рядовой житель, пешком, да так, чтобы никто об этом не знал.

Утром шофер его персональной «Чайки» открыл перед ним дверцу, а Гнедой, не садясь в машину, дверцу прикрыл. Шофер виду не подал и стал, как верный пес, следовать за хозяином. За ними двигалась «Волга» с личной охраной. Сзади ползла

пустая запасная «Волга» на случай, если сломается «Чайка». Охрана, конечно, по спецсвязи тут же сообщила шифровкой, куда положено, что Гнедой лично идут пешком.

Зимой было дело, едва начало светать. Падал хлопьями пушистый снег. Завмаги снимали замки с дверей, работяги грузили пустую тару. Пьяных, заснувших на улице, спецмедслужба за ночь подобрала. Граждане тихо, без драк выстраивались возле магазинов в очереди, надеясь, что чего-нибудь завезут. Словом, в городе был порядок.

Никто на Гнедого внимания не обращал. В лицо его знали только те, кто сами пешком не ходят. Испугались, правда, инспектора ГАИ, расставленные вдоль всего пути следования хозяина области. Видя странную картину, они, как всегда, перекрыли движение. И Гнедой шагал по улице в торжественной тишине, если не считать грохота ботинок сотрудников службы безопасности, которые по вызову личной охраны уже прибыли на место происшествия. Они бежали по железным крышам домов с обеих сторон улицы, охраняя первого секретаря от случайностей.

Топот ног по крыше разбудил секретаря областного отделения Союза писателей поэта-трибуна Затрещенко, которому недавно выделили квартиру с видом на главную улицу для вдохновения. Затрещенко глянул в окно: внизу медленно двигался кортеж машин, принадлежавших обкому. Поэт-секретарь тут же снял трубку и сообщил своему приятелю, редактору областной газеты, что Гнедой скончался и надо ждать перемен. Редактор, однако, резонно ответил, что из Москвы сообщения о смерти не поступало, значит, надо считать Гнедого живым. Это соответствовало действительности.

Дошагав до обкома, Гнедой остановился. В целом он был удовлетворен как происходящим, так и своей инициативой. Но наверху удовлетворение могли принять за сопротивление перестройке. Необходимо было срочно что-то улучшить.

На площади, перед главным зданием, стоял величественный памятник вождю и учителю всего прогрессивного человечества. Имя вождя я, пожалуй, тоже не назову – мало ли что! Изваянная из бронзы статуя шагала по серому мраморному постаменту. Уверенным жестом гигантской руки вождь указывал туда, где находится счастливое завтра, куда всем надо дер-



жать путь. Отдельные озлобленные лица уверяли, что вождь пытается этим жестом остановить такси, которых в городе днем с огнем не сыщешь, и, отправив всех в светлое завтра, сам норовит просто слинять в Швейцарию, куда ему мама послала из своего имения под Казанью твердую валюту. Но этих юмористов оперативно отлавливали и изолировали от общества, а протоколы с их клеветническими шутками под грифом «Секретно» отправляли с нарочными в центральный офис, в столицу.

Гнедой хотел кивком отдать дань уважения основоположнику и тут обнаружил безобразие. На голове учителя выросла высокая белая шапка из снега, похожая на клоунский колпак. А в протянутой вперед руке, показывающей, где именно находится обязательное будущее, торчало возвышение из снега, похожее на бутылку. В общем монумент приобрел недозволенный для лицезрения рядовыми гражданами вид.

Гнедой быстрее, чем обычно, вошел в свой персональный подъезд, поднялся на персональном лифте и, едва кивнув секретаршам, нажал в кабинете кнопку. Вызвав помощника, молча указал пальцем в окно.

– Снежок, товарищ Гнедой, – весело поддакнул помощник.

– Что ты меня называешь, будто мы живем в осуждаемое время застоя! – поправил его Гнедой. – У нас демократия. Зови меня Федор Иванович. Так что насчет снега?

– Снег растает, товарищ... то есть Федор Иванович.

– Снег-то растает! А политическая ошибка останется.

– Понял вас, – сразу среагировал помощник. – Сейчас поручу кому-нибудь, счистят.

– Счистят! – огорчился Гнедой. – Сколько раз я говорил тебе: не умеешь мыслить по-государственному. Снег-то снова выпадет. Можем мы ему запретить? Пока нет. Вдруг бы я не заметил, а тут гости из Москвы?.. Прошу выяснить возможности и подготовить предложения.

По обкому поползла тревожная весть, что хозяин ходил пешком и обнаружил недостаток. Но поскольку взысканий не последовало, значит, все остальное в городе замечательно, и всем волноваться нет причин. А помощник выкрутится.

И правда, уже на следующий день он постучался к хозяину.

– Насчет снега, – сказал он. – Я вот по вашему указанию кое с кем посоветовался. Наверно, хорошо бы к памятнику

подключить человека. Чтобы ухаживал и снега не допускал...

– Подключить человека? – переспросил Федор Иванович. – Нехорошо ты о трудящихся выражаешься. Ведь это наши люди – гордость страны.

– Виноват! – покраснел помощник.

– А идея в целом конструктивная, если ее конкретно подработать. Дай команду товарищам на местах. Пусть выдвинут на эту почетную работу представителя рабочего класса, члена партии и, конечно, непьющего. И чтобы цели понимал в разрезе гласности, а задачи – в плане перестройки.

– Понял вас, Федор Иванович, – помощник обрадовался, что его предложение одобрено. – Разрешите действовать?

– Само собой! Мы теперь проявляем инициативу. С Москвой согласовывать не будем. В духе нового мышления смело возьмем ответственность на себя.

Получив указание обкома, администрация на местах засуетилась, и вскоре перед помощником предстал Тихон – старик в синем плаще, тщательно выбритый и собой еще крепкий. Губы он плотно сжимал и, кивая, со всем соглашался. Значит, правильно понимал не только цели, но и задачи. А в кадровом отношении его уже проверили. Помощник велел Тихону обождать в коридоре, а сам, учитывая важность вопроса, доложил Федору Ивановичу.

Гнедой был большим другом простых людей. Чтобы показать пример подчиненным, он часто беседовал с официантками в своем персональном буфете. Федор Иванович пожал Тихону руку, спросил о семье. Почувствовав участие, Тихон сказал про больную жену, про внучку, которая живет с ними, про дочку, которая рассталась с мужем и уехала на почетную сибирскую стройку искать другого. Вернется ли дочка, неизвестно, может, там построит образцовую советскую семью, найдет во второй раз свое девичье счастье. Помощник между тем потерял Тихона за рукав, дескать, некогда руководителю долго разговаривать. А Федор Иванович ласково погладил старика по плечу и сказал:

– Труд твой почетен, у города на виду. Видишь, помощник при мне, а ты... осознаешь, при ком? Не подкачай. А если трудности, приходи ко мне лично.

Положили Тихону оклад, прогрессивку за выполнение плана, выделили метлу, тряпки и длинную лестницу. Разъяснили, что работать надо незаметно, лучше в темноте, чтобы вождь по утрам в опрятном виде являлся населению. В том, что указание выполнено, Федор Иваныч убедился сам, взглянув из окна: несмотря на обильный снегопад, голова вождя была чистой.

На прием к Гнедому между тем уже просился редактор областной газеты, испрашивая разрешения своевременно откликнуться на смелое начинание обкома. По заданию редактора поэт Затрещенко, покрывая распущенный слух о преждевременной смерти первого секретаря, написал высокохудожественную поэму «Чистильщик Монуumenta».

*Когда мы спим, обком на страже:  
Чтоб светлый образ не поблек,  
Вождя скоблит и моет даже  
Простой советский человек...*

Федор Иваныч поэму одобрил, но печатать не разрешил, чтобы иностранцы не подумали, что у нас есть грязь. Он также отечески порекомендовал всем деятелям литературы и искусства области сначала советоваться, а затем творить.

– Вдохновение – это народное богатство, – сказал он, – и мы не должны растрачивать его без указаний. Тем более в такое время.

Между тем воспетый в поэме чистильщик Тихон действительно вставал, когда город еще спал. Он приносил и приставлял лестницу, взбирался на высоту и, стараясь не смотреть вниз, смахивал снег с широких плеч вождя. Тихон обнимал учителя за шею, подтягивался, ухватив его за ухо, и другой рукой на ощупь счищал грязь и снег с могучей лысины. Видел он перед собой только две гигантских ноздри, в которых скульпторы схалтурили, недостаточно тщательно вычистили металл, и он торчал сосульками.

Закончив чистку, Тихон медленно спускался и, ощутив ногой землю, облегченно вздыхал. Теперь для разрядки самое бы время принять пивка, да где его найдешь? Ворча, Тихон собирал инвентарь. Лестница была тяжелая, таскать ее за угол, в

помещение охраны обкома, было тяжело, и старик стал оставлять лестницу в кустах. Ну кто ее сопрет на глазах милиционеров, дежурящих на всех углах круглые сутки?

Жизнь вошла в свою колею. Как-то раз дома, похлебавшей, Тихон отдыхал на кровати и глядел на внучку, которая делала уроки.

– Деда, – спросила она, – а ты умеешь спрягать глагол по лицам?

Старик пробурчал что-то невнятное.

– Да это же просто: я вижу, ты видишь, он... Он – что?

– Он ви...дит, – догадался дед.

– Правильно! Мы видим, вы видите, они...?

– Они видят, – радостно произнес Тихон.

– Молодец, дедушка!

И внучка стала, бормоча, записывать это в тетрадь, а Тихон задремал. Пробудился он от того, что в дверь звонили. Никто из соседей не рыпнулся, а звонили настойчиво. Тихон, кряхтя и чертыхаясь, пошел открыть.

– Вам повестка, – сказал молодой человек в темной куртке. – Распишитесь.

– Зачем мне повестка?

– Там написано. Распишитесь.

Тихон, все еще не проснувшись толком, судорожно шарил по карманам, ища давно сломавшиеся пополам очки, но не нашел и кое-как поставил закорючку в подставленной ему под глаза книге сунутой в пальцы ручкой.

– Без очков я, сынок, – ласково молвил Тихон. – Просвети ты меня, дурака...

– Завтра, батя, – снисходительно сказал молодой человек, – тебе надлежит явиться к трем часам в большое здание на улице Вождя. Там тебя встретят.

– Да кто встретит-то?

– Кому положено, тот встретит, – вежливо объяснил молодой человек и исчез.

Лежа в кровати, Тихон пытался сообразить, за какую вину его вызывают. Ясно ведь, куда. Чего же он мог успеть натворить, когда на новой должности без году неделю?

– Хоть мне-то сознайся, чего наделал? – настаивала старуха. – Кого попало туда не вызывают.

– Думаю так, – разъяснил он ей. – Раз теперь к памятникам приставляют людей, надо, стало быть, распространять передовой опыт, как чистить памятники вождам. Дело-то политическое!..

В три часа следующего дня Тихон аккуратненько явился в большое здание, из которого был молодой человек с повесткой. Там, в предбаннике с окошечками, назвал старик свою фамилию, и ему велели ждать. Вскоре по лестнице спустился начальник в штатском, забрал у Тихона паспорт, велел следовать за собой. В кабинете посадил Тихона на стул против большого стола и начал спрашивать. Смысл, о чем спрашивал, был в тумане. Казалось, спрашивал для близира, а сам все уже знал.

Тихон не выдержал и напрямик выпалил:

– Ты уж меня прости, дорогой товарищ. Никак я в толк не возьму, чего вам надобно?

– Не спеши, – усмехнулся тот. – Вопросы задаем мы. А ты отвечай...

Но стал спрашивать конкретнее о том, чем Тихон занимается, когда не занят непосредственно очисткой монумента. Тут до старика дошло: проверяют, не пьет ли он в рабочее время. На этот счет он был спокоен, готов был даже дыхнуть, если потребуется. А его уже спросили про другое.

– Не замечаешь чего такого вокруг памятника?

– Такого чего?

– Сам понимаешь, в какое время живем. Ну, например, как выражают свои чувства проходящие мимо граждане?

– Да ведь как теперь чувства выражают, – сказал было Тихон.

– Ну как? Как?

– Ходят мимо и все! Нынче все только спешат, а чувства не выражают.

– Ну, а такие, которые останавливаются?

– Есть! Из деревни больше. Или с младенцами, на скамейке посидеть.

– А бывает свыше трех собираются?

– Это как?

– Например, плакаты поднять хотят...

Тихону очень хотелось чего-либо вспомнить. Но до сих пор он на это внимания не обращал.

– Плохо, что не обращал! Обязан видеть на таком посту.  
– Виноват, исправлюсь.  
– Правильно! А заметишь, шума не поднимай, тихо общи.

– Кому?

– Нашему сотруднику. Он в велюровой шляпе перед зданием обкома прогуливается у автобусной остановки. Если же он в этот момент по нужде отлучится, тогда сам немедленно звони вот по этому телефону. Да, вот еще... Служба у тебя ответственная, а одет ты кое-как. Иностранцы на тебя смотрят. А ведь ты – рабочий класс, главная сила развития. Вот тебе спецодежда с нашего склада: гражданский плащ и велюровая шляпа. И наши сотрудники тебя ни с кем не перепутают.

Вернулся Тихон домой с обновой, бабе его шляпа очень даже понравилась, и все опять пошло хорошо. Не приходилось ему звонить по телефону. Народ в области сознательный. И работы стало к весне мало. Солнышко пригревает, сушит голову вождю и учителю, снега как не было. Мусор подберешь и сиди себе на скамейке, подремывай.

Ан не тут-то было! Раз слышит Тихон позади себя смех, а может, даже хохот. Пробудился от дремоты, глядит: толпа собралась. И, как на зло, на остановке автобусной сотрудник не прогуливается. Тихон уже встрепенулся бежать, звонить, как велено, но глянул, куда показывали пальцами люди, и обмер. На просторной голове вождя и учителя сидела огромная, черная, как уголь, ворона, веером хвоста закрывая могучий лоб. И серая жижа стекала через бронзовый глаз на щеку, повиснув на губе.

Вскочил Тихон, гикнул, а ворона только крыльями повела и нехотя ответила: «Кр-р-ра». Махнул старик метлой, согнал-таки ее и рысцей устремился в кусты за лестницей, чтобы тотчас забраться наверх и обмыть лицо вождя. Стал ставить лестницу, а народ еще пуше смеется.

– Проходите, граждане, не мешайте работать, – по-хорошему просит Тихон. – Видите ведь, что глупая птица наделала...

А сам глядит на окна обкома, не обнаружили ли уже позора? Там окна занавешены, чтобы враг не догадался о стратегических планах выхода из гласности путем перестройки. Но, небось, следят из-за штор в щелочку на происходящее. Стал

Тихон взбираться по ступеням, добрался до могучей груди, припал к ней плечом, и тут голова у него закружилась. Перевел он дыхание, обнял памятник за шею одной рукой и начал стирать тряпкой серое месиво со щеки учителя.

– Родной ты наш, – прищептывал он в большое ухо, – извини, не доглядел. Несознательная птица подрывает твой авторитет. Сейчас я тебя оботру...

А жижа запеклась на прогретой солнцем бронзе да на ветру окаменела. Утер Тихон губы и щеку вождя, на гениальный лоб передвинулся, и нет-нет, на окна обкома косится: не дай Бог, сам Гнедой глянет. Наконец засверкал чистый бронзовый лоб на солнце. Начал Тихон слезать, и лестница под ним закачалась. Поставил впопыхах нетвердо. Соскользнула она с груди монумента. Одно мгновение – и вот он уже лежит без сознания, разбившийся о мраморные ступени. Толпа окружила его. Утекающим навсегда сознанием старик слышит: «Жизнь за вождя отдал... К ордену его посмертно». Кто-то злорадствует: «Не было бы мертвого памятника, и человек жил бы». А энергии сообщить куда следует у Тихона больше нету. Кладут его на носилки и везут прямым порядком в морг. Все равно ведь сознание вытечет, пока до больницы довезут, так уж дешевле сразу.

Но провал в мозгу его был мгновенный. Соскользнула было лестница, но зацепилась за бронзовую жилетку. Тихон за шею вождя обхватил, и тот ему гуманно сохранил жизнь. Стал старик осторожно спускаться, добрался до нижней перекладкины и ступил на землю бледный, как мертвец. Толпа от переживания тоже замолкла. Народ у нас не весь злой. Посочувствовали ответственной работе Тихона и разошлись.

Полез старик в карман за сигаретами, а они кончились. Пришлось в киоск отлучиться. Вернулся – снова ворона сидит на том же месте, и теперь нос и другая щека вождя уделаны. Проклятая птица, чтобы ты издохла! Хорошо, уже стемнело, в обкоме рабочий день окончен, и сотрудник, который опять гулял на автобусной остановке, в это дело не вникал. Очистил Тихон благородное лицо еще раз. Но покой с того дня кончился.

Утром, как бы рано Тихон ни пришел, оказывалось, ворона уже прилетала. Раз по пять в день она садится, и каждый раз лезь наверх, утирай. Старик изготовил шест с тряпкой на кон-

це и обмахивал вождя, если птица приближалась. А сотрудник с остановки подошел и сказал, что белым флагом над головой вождя махать не положено. Но даже и на красный нужно разрешение.

Вечером старик жаловался жене:

– Пускай прилетает, мне не жалко. Но гадить-то зачем? Да еще таким химическим составом, который не сдерешь!

– Главная беда, что это ворона, – сочувствовала жена. – Плохая примета. Был бы голубь, еще б ничего. Ему простить можно: все-таки борец за мир.

– При чем тут голубь, если это ворона, – огрызнулся Тихон. – Может, сообщить на нее, куда просили? Скажут, для того тебя и поставили, чтобы был обеспечен уход. Может, пристрелить ее? Так ведь если ружье и достанешь, разве по вождю пальнешь? Тот же товарищ с автобусной остановки тебя пристрелит, пока целиться будешь.

Перестал старик справляться с работой, сердце стало на нервной почве колоть. Однажды с утра он решил и прямым ходом в обком. Там его знали, пропускали в туалет. А он свернул, дошел до помощника товарища Гнедого и сказал, что желает поговорить с самим, как тот лично разрешил. Помощник усмехнулся, просил проявить сознательность, не беспокоить главу области. А если есть какие просьбы: очередь на жилплощадь или талоны на продукты, – то и без Федора Ивановича есть кому взять на учет. Тихон отвечал, что по частному вопросу не стал бы беспокоить, дело политическое. И рассказал, какое. Помощник обеспокоился, обещал доложить.

Первый секретарь, ознакомившись с докладом, задумался. Вопрос был маленький, но неудобный. Федор Иванович распорядился демократично посоветоваться с товарищами. Что делать, никто в обкоме не знал. Собрали бюро, выдвигали разные предложения.

Командующий военным округом предложил вызвать из столицы спецотряд по борьбе с угонами самолетов, снайперы уничтожат опасную птицу. Начальник управления КГБ возражал: в центре, если узнают, зачем их вызвали, возмутятся. Надо своими силами, но не ясно, как. Директор химзавода предложил насыпать на лысину вождя яду и отравить ворону. Но членам бюро это предложение не понравилось. Глава областной фи-



лармонии предложил поставить на голову монумента репродуктор, отпугивающий ворону гимном Советского Союза. Директор цирка сказал, что можно затребовать из Москвы гипнотизера, может, у него что-нибудь с вороной получится. Но и это предложение отвергли.

Тогда слово попросил директор научно-исследовательского почтового ящика. В нем секретно разрабатывали новую ключую проволоку, и конструкторское бюро, по мнению директора, такую задачу в принципе могло бы решить. Дабы ворона сесть не могла, надо надеть на голову монумента небольшой венок из колючей проволоки так, чтобы видно его снизу не было. Но, конечно, тему надо сперва теоретически обосновать и провести ряд экспериментов на модели головы памятника в лабораторных условиях. Средства в нынешних трудных условиях институту придется выбивать у министерства, а министерству просить у Совета Министров.

Члены бюро приняли проект единогласно, хотя по новым временам была установка одному-двум воздерживаться. В почтовом ящике тему засекретили и сформировали сектор, задачей которого было создать «Головное ограждение, ворон не оставляющее». В бумагах спецотдела задание это обозначалось аббревиатурой, разгласить которую я не решаюсь.

Именитых ученых во главе с секретарем парткома командировали в Москву за ассигнованиями.

Весна между тем вплотную придвинулась к пролетарскому празднику номер два. А ворона неумоимо прилетала. Исчезала она, только когда темнело. Видно, где-то устраивалась на ночлег.

В канун праздника Тихон весь день чистил до блеска бронзу и мрамор, подметал вокруг, матюгнул ворону, прилетевшую напоследок перед сном отметить, слазил наверх, все отмыл. Тут подошел к нему сотрудник с автобусной остановки.

– Ну, дает тебе ворона прикурить? Смотрю, как ты с ней целые дни воюешь, и у меня рабочее время веселей бежит... Имей в виду: есть приказ внимательно смотреть, чтоб с памятником в праздник номер два все было в порядке. А во время народного гуляния и демонстрации ты должен быть при исполнении и наблюдать, как окружающие реагируют. В общем, обеспечить. Мало ли что...

Тихон, конечно, слушал внимательно. Уже совсем стемнело, когда он собрался уходить. Пошел домой, и вдруг все вокруг озарилось ярким светом. Это на крыше обкома включили для радостного народного гуляния прожектор и обдали монумент вождя сиянием электрических лучей, о которых тот при жизни мечтал. Тревожное предчувствие остановило Тихона, и он вернулся. Так и есть: ворона прилетела на яркий свет, решив, что настало утро. И сидит уже на бронзовой голове. И серебристая в лучах прожектора жидкость стекает по лбу вождя и учителя.

– Кыш-кыш!..

В нервозности поднял Тихон лестницу, полез наверх, вытащил носовой платок и, обхватив вождя за шею, стал стирать с его устремленного в светлое будущее лица неостывшее гуано. И тут в тревоге стал он думать, что предпринять. Ведь демонстрация трудящихся утром. Может, дежурить здесь, в обнимку с вождем, не слезать до утра, чтобы было чисто? Птица ведь не уgomонится. Но силушки не хватит долго тут держаться. От отчаяния стащил с себя Тихон велюровую шляпу и надел вождю на макушку, чтоб защитить его от оскорблений действием. Посидел старик на скамейке до полуночи, пока не начало его знобить. Ворона подлетала к памятнику, каркала в изумлении, но сесть не решалась, исчезала. Успокоенный, Тихон побрел домой спать.

Утром не встал он. Продуло на ветру, спина ныла, и в глазах рябь. Сердце колотилось, готовое выскочить. Старуха поднялась с постели первый раз за много дней и потащила в поликлинику вызвать врача. Вскоре приехал врач с двумя санитарями. Врач велел Тихону одеваться.

– Вы что ж, доктор, в больницу его забираете? – испуганно спросила старуха.

– А как же!

Санитары взяли Тихона под руки, вывели во двор, усадили в машину. Привезли его куда-то, на стул посадили, оставили одного и дверь заперли. Сидел он, держась за голову, и в испарине дышал тяжело. В темноте души его бродило сомнение, больница ли это. Врач придет домой, и старуха перепугается. Тут дверь открылась, и перед ним объявился начальник из большого здания, что давеча вызывал его явиться.

– Та-а-ак! – весело сказал вошедший, глядя не на Тихона, а в какую-то папку. – Мы тебе доверили, а ты не оправдал.

– Чего не оправдал-то?

– Доверия! Кто тебя научил надеть на монумент шляпу?

– Никто не учил. Я как лучше делал. Ворона, неразумная птица, не дрессированная. А отдирать трудно, присыхает. Сей момент поеду, сниму.

– Без тебя сняли.

– А лицо-то не загаженное? – встревожился старик.

Начальник будто не слышал, продолжал:

– Конечно, наши вмешались. Приехали, а залезть не могли. Ты лестницу специально спрятал.

– Там она, в кустах...

– Спрятал! Пожарную часть вызвали, на глазах у демонстрации шляпу снимали.

– Болен я, – прохрипел старик, – водички бы...

– Конечно, болен. Сомнения нет. А то бы мы с тобой не так поговорили. Тут тебя полечат, а после видно будет, как с твоим делом быть.

И начальник в задумчивости удалился.

Ночь Тихон маялся в бреду, а потом вдруг успокоился, потому что увидел памятник. Вождь шаркнул мраморной ногой о постамент, спрыгнул вниз и подошел к Тихоновой койке.

– Ну, чего маешься? – спросил вождь. – Светлое будущее твое не за горами, надо спешить. Иди за мной, не ошибешься...

Тихон встал и пошел, а может, ему только показалось, что пошел, потому что сердце у него уже остановилось. Он махнул руками и, издав протяжный, слабеющий звук, удалился следом за вождем в неизвестном направлении.

Товарища Гнедого вскоре отправили на почетную пенсию за недостаточный процент позитивных явлений в борьбе с достижениями предыдущего режима, которые оказались негативными. Помощник служит новому главному руководителю, назначенному из Москвы. Новый босс весь в идеях перестройки: реконструирует свой особняк. В почтовом ящике исследование «Головное ограждение, ворон не оставляющее» затормозилось. В лаборатории искусственная ворона в натуральную величину по специальному тросу уже опускается на модель головы монумента. Но средства кончились.

А сам монумент в центре города оптимистически шагает в  
счастливое завтра. Живая ворона регулярно сидит на его брон-  
зовой голове, делая свое дело. Говорят, вороны живут по трис-  
та лет.

## КОРОВЬЕ СЧАСТЬЕ

Как я ни шустрил, достать билет в купейный вагон не сумел и ехал из Москвы в Сочи в грязном, набитом плацкартном. Под ногами стояли ящики и мешки. Владельцы их, лежа на полках и не сводя глаз со своего имущества, передвигались с места приобретения к месту сбыта. Ноги этих людей в носках, никогда не стирававшихся, свешивались мне на голову. Рядом за столиком резались в карты.

Пьяный проводник долго и бессмысленно пылил, подметая вагон, потом начал разносить чай. Наливая мутную жидкость в стаканы, он не закрывал крана, и вода весело журчала по проходу. Хорошо, что это был не кипяток, ибо немного спустя проводник опустился в лужу, сладко прижав щеку к стене. Так он благополучно и заснул, держа в руках два пустых стакана.

– Начальника поезда следует призвать, – заявил скуластый монголоид с верхней полки, курчавый, как овца. – Пускай проводника подымут.

– Зачем человека дергать? Утомился, сердешный, – примирительно ответил мой сосед, упитанный парень крупного сложения, одетый, несмотря на летнюю жару, в зимний коричневым костюм и галстук.

– Сообщить надо, чтоб порядок был, – сказал курчавый.

– Поспит – сам встанет. У них работа нервная. А порядка все равно не будет.

– За такой прогноз знаешь что? – не унимался курчавый.

– Ты меня не пугай, я уже пуганный, – дружелюбно сказал парень.

Я, грешным делом, принял его за оргработника районного масштаба.

– А у кого теперь работа не нервная? – спросил я его.

Просто так спросил. Чтоб они не собачились.

– От профиля зависит, – неожиданно серьезно он пустился в философию. – Работа работе рознь. У меня, к примеру, сейчас не работа, один сплошной отдых. А раньше в спеццеху на одних нервах пахал.

– Это где же?

– Да на мясокомбинате. У нас колбаску высших сортов для спецнадобности делают.

– Диетическую, что ли?

– Диетическую! – он хохотнул. – Ну, ты юморист... Не соображаешь?

И он показал пальцем вверх. Там свешивалась нога в грязном носке.

– Для космонавтов, значит?

– У, да ты совсем плохой. От реальности начисто оторванный. Полушариями-то пошевели!

Пошевелил я полушариями, и до меня дошло.

– Хозяевам жизни?

– Им. Кому же еще?

– А колбаска-то вкусная?

Прежде чем ответить, он оглядел меня, приблизительно оценивая мое социальное положение. Оценив, снисходительно заметил:

– Ну, тебе такой никогда не попробовать. На таких, как ты, не напасешься. Колбаска-то во рту тает. Пальчики оближешь. Мало кто такую удостоен кушать.

– Чего же в ней такого особенного?

– Я тебе так скажу: тут весь секрет в мясе. Мясо должно иметь особое происхождение. Простой-то скот на комбинат своим ходом гонят, почитай, по сотням километров. Мясо жилистым становится. А спецтелят специально выращивают, спецкормом кормят, нежной зеленой травкой, везут их на комбинат чуть ли не на легковых машинах, чтобы не нервничали. Спецтелята – не люди, им нервничать нельзя. От нервов у них

мясо невкусным делается, понял? И на всех этапах охрана, чтоб, значит, где чего не подсыпали. Как телок прирезан, в производство должен он пройти не больше, чем через пятнадцать минут. Задержим – начальника цеха снимут, вишь, вкус у мяса уже не тот. Ты колбаску в магазинах какую видел?

– Вареную, кажется... Копченую иногда выбросят.

– Копченая... Да та, которую ты грызешь, годами на складах отлежала на случай войны. Заменяют, а тухлую-то – в магазины. Если бы ты знал, какие отходы в простую колбасу добавляют для весу, ты бы сплеванул на месте. До опилок – все в дело идет! А наш спеццех, почитай, сортов семьдесят выпускает, все в разной упаковочке. К примеру, главный шеф разгон людям дал, понервничал. Дело излечимое. Ручку сейфа крутанул, коньячку порцию вобрал – закусочка тоже там уже секретаршами заготовлена, пожалуйста. Есть дольками нарезанная, есть кусочком в пакетике дремлет, в рот просится. Утомился, к примеру, от экономических мрачных мыслей – взял да остренькой пососал. Отчего не пососать, если по рангу положено? Я бы и сам пососал, но у нас с этим строго.

– Что ж, и попробовать нельзя? – я почувствовал, что начинается слюноотделение.

– Попробовать – для этого специальные дегустанты в штатском в лаборатории сидят. Спиртом ручки обмоют, в микроскоп для блезира поглядят и с ученым видом пробуют. Так сказать, берут риск на себя. А мы только смотрим, как у них пробы во рту исчезают. Потом они акты составляют. А принимают по актам другие, которые на черных «Волгах» приезжают. Надевают белые халаты, чмокают, облизываются, а потом опять важность на лицо напяливают. Тебе такого лица, сколько ни старайся, не изобразить...

– Да и пытаться не буду, обойдусь. А за вами следят, чтоб не ели?

– На то телекамеры в цеху импортные, японские. Никуда от них не увернешься. Говорят, фотографируют, если кусочек чего откусил. Дисциплина, конечно, чтоб ни-ни! В других цехах ешь от пуза, пока на работе, – на зарплату-то не больно пожрешь. А в этом цеху, почитай, каждая прожилка на учете. Заметят, что проглотил, – дело пришьют. У меня всю жизнь порядок был какой? Где бы ни работал, с утречка по дороге

стаканчик приму, потом на рабочем месте закушу. И весь день нервная система сбалансирована. А как вызвали в первый отдел, я маху дал, согласился. Сказали, поскольку ты русский и в партии, мы тебе оказываем особую честь: переводим в спеццех. Ну, и житья не стало.

– Так ведь платить стали больше!

– А мне что, туалет их купюрами оклеивать? Подписку взяли о неразглашении. Чтоб никто не узнал, какую они колбаску, сидя наверху, кушают. Мало им стало анкеты чистой, требуют, чтоб и в желудке чисто было! Если придешь и пахнет, сразу – последнее предупреждение. Врач тебя чуть не по три раза на дно голого ошаривает, чтобы высшие категории чем опасным не заразить. Разные спидометры в тебя суют – против СПИДа, значит. Так что пришлось работать на трезвую. А на трезвую нервное напряжение в организме растет, так ведь по науке-то?

– Кажется, так...

– Сам я на разделке туш стоял. Ноги, значит, молодой телке раздвинешь и электрическим ножом разделяешь тушу надвое. Вынимаешь, значит, у ей внутренности и дальше от себя пускаешь по линии, что куда. Выделили меня на работе. Грамоты стал получать. Включили в список передовиков труда. Вымпел к рогам моих телок привязывали: «Ударная вахта». Оказали доверие: врач меня стал осматривать только раз в неделю.

– Молодец! – похвалил я.

Сосед на меня посмотрел внимательно, как бы оценивая мой умственный потенциал, в котором он было усомнился, но стал продолжать.

– А тут, в аккурат, в магазинах с мясом опять похудшало. Писали, ураган что ли по югу прошел, корма на полях побил, ну, скот-то и подох. Магазины-то и без мяса обойдутся, дело привычное, продавцам жить спокойнее. А у нас в спеццехе мясо всегда должно быть и всегда абсолютно свежее. Не дай бог, высшее руководство вчерашней колбаски укусит, пузик заболит. Это ж дело политическое. На международных отношениях отразится.

– Войну объявят?

– Войну не войну, но и за мир кому охота бороться, когда внутри чего-либо не так? Говорили, на военных самолетах те-



лок к нам везли оттуда, где урагана не было. В общем, разделяю я спецтелок для спецртов, а по вечерам жена меня перед родней стыдит.

– Сидишь, – говорит, – на мясе, а что с тебя толку? Дети без бульончика которую неделю. А теще ты когда последний раз печеночки приносил? И перед соседями стыдно: все люди как люди, сознательные и образованные – все домой тащат, а ты? Сколько можно такое терпеть?

Я ей:

– Дура, – говорю, – понимать же следует. У меня ж спеццех!

– Тем более, – говорит, – неси домой спецмясо, а то спать будем отдельно!

Ладно, думаю, что я – глупей других? Пошел я на комбинат, по дороге купил полиэтиленовый мешок и сунул в карман. Ближе к концу дня у тетки, которую разделявал, вынул аккуратно печенку для тещи. Огляделся – никто в мою сторону не смотрит. Нагнулся под стол, чтобы от глаза телекамеры скрыться, сунул там печень в мешок – и за пазуху. Несу!

– Донес?

– Донес, а как же! Кто-то – на меня.

– И правильно, – встрял в разговор курчавый, который слушал и молчал. – Народное добро надо охранять.

– Ну, вот ты и охраняй, – усмехнулся парень безо всякой сердитости. – А моей теще печенка нужна. Только в тот раз не повезло. Вошел я в проходную – вахтер меня за локоть и к стене прижимает.

– Тебе, – говорит, – вот в эту дверь пройти следует.

Я на шутку поворачиваю, дескать, Некрасова знаешь? Некрасов, помнишь, сказал: «Русский народ вынесет все...»

А он мне:

– Ты, – говорит, – на Некрасова не стучи. Стучать и без тебя есть кому. Сперва с тобой разберемся, а потом и его задержим.

Я ему:

– Давай миром решать. Бери мою печенку, свежая, из спеццеха все-таки, и делу конец. Теща спасибо скажет.

– Ты, парень, – говорит, – о себе пекись теперь. Делу-то не конец, только, считай, начало. А теща моя в твоей печенке не нуждается. Она давно на том свете, там у них всего полно.

Заводят меня в комнату, а в ней тут как тут в штатском сидит главный, который дегустирует.

– Вот, – говорит, – какая неожиданная встреча. Ну что ж, давай расстегивайся, ударник.

Я смотрел на соседа с сочувствием.

– Захомутили тебя, с первого раза не повезло!

– То-то и оно! В простом бы цеху замяли, а тут спец. Это же, говорят, вредительство. Дело чисто политическое, направленное на ослабление руководства. Ведь ты, говорят, у кого хотел украсть? У правительства! Может, даже у самого того, которого и имя произносить вслух не всякий имеет право. А ты на его питание посягнул! Его калории хотел сам сглотнуть, чтобы, значит, он недоел и ослаб. Чтобы враги это заметили и сделали оргвыводы о могуществе нашей шестой части земного шара. Теперь твою печенку даже использовать нельзя – пятнадцать минут давно прошло. И в обычный цех пустить нельзя: там мяса нету, цех на простое. Выходит, ты всему нашему народу урон нанес.

– Крепко они тебя повязали...

– Еще как! Вскоре приехали ихние ребята в хороших костюмчиках, импортных. Веселые такие. Увезли меня в черной «Волге». Ну, там я им, конечно, все как есть рассказал. Ураган, говорю, на юге промчался, вот для тещи и пришлось взять. Самому-то мне это ни к чему. Три дня, почитай, просидел. Кормили за их счет, все выясняли: где полиэтиленовый мешок взял, какие еще действия намеревался осуществить, с кем имел сговор. С женой, говорю. Для тещи. Потом жену таскали, тещу тоже. Обе ото всего отказались: зачем, говорят, нам его печенка, если в магазинах у нас всего полно и все очень дешево? Ну, этого они отрицать не могли и тещу с женой отпустили. Взяли с меня подписку о невыезде. Сперва хотели под суд, но начальник первого отдела хороший мужик оказался. Он, говорит, то есть я, значит, первый раз попал, так что под суд не отдадим, погодим до второго раза, а уж там зараз все наклеим. Но, конечно, в почетном цеху работать ему не светит. В общем, на комбинате оставили, потому как у нас нехватка физической силы, большинство бабы пашут. Кинули меня на общую бойню.

– Значит, ты теперь боец?

– Боец. Убивец, как теща меня зовет. Хорошая работа. Нервов, как раньше, не тратишь. Стоишь себе – корова плывет по конвейеру, мычит. Подплывает – маску ей на рога надеваешь и током бьешь. Бывает, в шоке скотина сорвется и как полоумная скачет. В спеццехе-то оборудование импортное – бьет наповал. А тут то контакт в маске неисправен, то тока нету. Сорвется зверь – все в разные стороны.

– Ты про тореадоров слышал? – улыбнулся я.

– Это которые Америку хотели захватить?

– Не совсем.

– Тогда нет, не слышал, врать не буду, – застеснялся он и спрятал между колен свои ручки. – Мы, значит, врассыпную, а корова бежит по цеху, ревет. И мастер ревет: «Премию на месте, кто ее догонит и прибьет!» За премию на месте почему ж не прибить? Корова худая, жизнью измотанная, ее пешком гонят без кормов. Силенки-то у нее протестовать немного осталось. Глаза безумные, а сама рада – вырвалась. Догоняешь ее, врубаешь ей нож на ходу, и полстакана премии мастер наливает. Ну, и домой каждый день чего-либо несешь. Вахтеру с полочки отделяешь, и он, как тебя видит, отворачивается. Соседям жена мясо продает. Теща тоже меня опять уважает. Телевизор купили, мебель...

Поезд замедлил ход, за окном показались строения, улица, колеса застучали по стрелкам.

– Сам-то куда едешь?

– В отпуск. Погулять надо, от жены с тещей отдохнуть. Убою сейчас нет. Скот, говорят, от каких-то болезней вывелся, мясокомбинат стоит. Всех в отпуска и выгнали. В спеццеху надо круглый год вкалывать, там мясо всегда налицо. А здесь больше сидим, курим. Нет, я жизнью доволен! Может, сойдем на станции – по сто пятьдесят, а? Тело занемело.

– Так ведь где сразу найдешь?

– Самогон-то? На любой станции круглосуточно – только пей. Ну, если брезгуешь, я один...

Сосед мой поднялся и, хватаясь за стенки, пошел к выходу. По дороге он ногой пошевелил спящего на полу проводника.

– Зачем один? – сказал курчавый. – Я, конечно, не пью, но стакан приму. Постереги мешки!

И он побежал догонять бойца.

Поезд затормозил, замелькали сараи станции. Проводник выполз из лужи и бодро стал разносить холодный чай.

Отхлебнув глоток, я подумал о том, как же везет в нашем отечестве некоторым коровам. Подумать только, в какие высокие сферы забрасывает их судьба. Хотя и в виде колбасы.





когда иссякнет у Маньки то не огорчайтесь нам баба Луша угол Коммунистической и Советской всегда сготовит из сахара бутылку и мути нет вся на дне. В кино по увольнению можно конечно тоже но лучше на детский сеанс когда на вахте по охране рубежей а старший лейтенант Каракулько Н.В. дремлет а враг все равно спит.

Ту вашу подругу если приходится брать с собой то сообщи заранее чтобы она непонапрасну проводила одиночество. Я вызову друга собой комсомолец голубые глаза хотя хромает натертая нога но и она не королева. И также командир старший лейтенант Каракулько Н.В. всегда пойдет за бутылку от бабы Луши навстречу солдату с уволнительной учитывая опыт сверхсрочной незаменимости службы и понимание остроты для солдата вопроса девушки как женщины.

Не бойтесь Люда обмана крепкого мужского слова которое мама тебе возможно всегда запрещала говорила не надо ходить с солдатами распивать «Совиньон» и в кино на последней ряд а тем более в кусты то я не такой. Всё будет по чести исполнения солдатского долга по охране рубежей от гнусных замыслов Империалистических Агрессоров. А насчет кустов или искренности чувства увлечения предметом возникшего через бинокль во время боевой вахты заметив вашу красоту то повторю за серьезность намерений не беспокойся.

Если что и утаю так про Афганистан как давал подписку о неразглашении ничего а то. Главное что остался живой и все органы при мне хотя утомление-сдвиг по фазе периодами в сторону мрачных мыслей и запятые средней школы отбило. Травкой больше не буду баловаться клянусь там ведь только со страха за жизнь дружественного народа Афганистана. Зато теперь на погранзаставе как курорт хотя за человека тебя не считают размазывают об пол казармы и голодаем с огородов колхозников ночью прикорм. А если Люда ребенок то даю слово солдатское и в церковь в белом платье вместе пойдем под венец не смотря член в КПСС.

Убедительно прошу умоляю продолжить переписку и знакомство пора кончать печатать не могу за окном командир Каракулько Н.В. окончил распитие вина «Совиньон» и возвращается в гнев без девушки и без сапог из кустов которая убежала как не своя. Мне не миновать губы двое суток на

хлебе и воде но за вас пострадать Людмила приятно думать что за тебя. И за ваши рыжие волосы отдуваемые ветром на небольшое пространство от лба а также за другое что было отчетливо видно в бинокль с которым солдат сверхрочник Аким Поворот когда ты гордо выплываешь на пляж залива Коктебель для принятия воздушных и морских ванн и особенно в надетом черном купальнике на загорелое голое тело всегда на посту. Особенно надеюсь что ты не замужем а если развод был то не отчаивайся другое будет наоборот.

Надеюсь на твое быстрое получение через подругу моего искреннего письма полного горячего стремлением встречаться-дружить для серьезного намерения а не сразу покупать вино «Совиньон» или самогон у бабы Луши для распития в кустах как все.

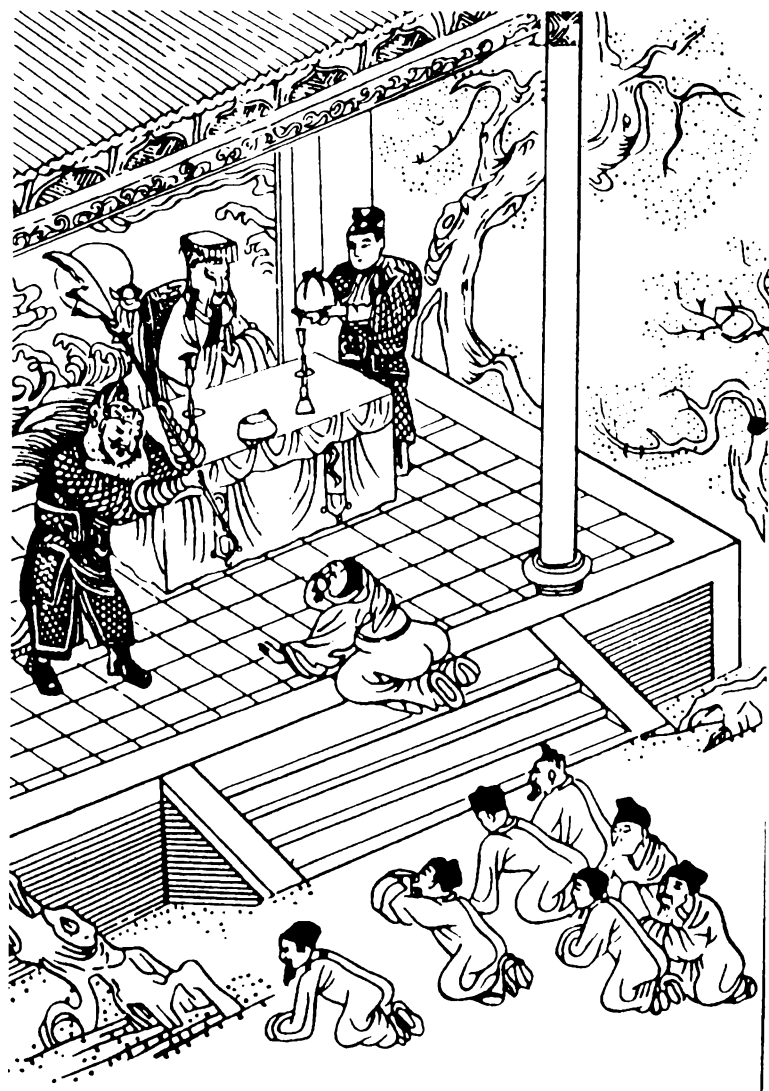
Остаюсь с надеждой на ожидание вас выходить на пляж Залива Коктебель Голубая Бухта в черном купальнике открытая для всех спина а особенно круглый вырез между верхом и низом что захватывает дыхание на третьем году службы по охране рубежей нашей Родины.

Аким Поворот.





## **ПРИТЧИ**



Старинный китайский лубок.

## ЛУЧЕЗАРНЫЕ СТИХИ

Один древний султан прослышал о том, что в соседнем ханстве хан сочиняет стихи и подданные акыны поют их на всех базарах, прославляя талант своего правителя. Султан вдруг понял, чего ему не хватает для полного счастья. И решил: было бы не худо, если б его стихи тоже пели на базарах и передавали по радио. Правда, радио тогда еще не было изобретено.

Султан не знал, однако, как обыкновенные слова превращаются в складную речь. Дал он указание визирю подумать на эту тему. Визирь тут же придумал.

– Среди стихотворцев, населяющих территорию, вверенную Аллахом вашему величеству, – сказал он, – отыщем такого, которому вы милостиво разрешите написать ваши стихи.

– Фу, как грубо! – возмутился султан. – Ты меня в свои грязные махинации не втягивай. А чтобы к восходу солнца был готов поэтический стол, разрисованный музами и другими пегасами для моего вдохновения. Стихи положишь сверху.

– А если краска на столе не успеет высохнуть, ваше величество? – посмел спросить визирь. – Стихи прилипнут.

– Плотникам, и художникам, и тебе – всем по пятнадцать суток, – ласково пообещал султан.

И в этом он никогда своих людей не обманывал.

Плотники и художники принялись за дело. Визирь послал стражника за придворным мудрецом, ведающим музами и пегасами. Когда тот явился, визирь велел срочно выделить для султанатных нужд выдающегося стихотворца.

– Слушаюсь, ваше подвельичие, – поклонился мудрец. – А не подскажите ли вы, для каких именно нужд, дабы я мог с наивысшей точностью выполнить ваше указание?

Визирь сперва решил не разглашать тайны и сообщил, что султан решил расписать стихами стены туалета. Но тут он подумал, что мудрец посоветует юмориста, а султан юмора не уважал.

– Это я пошутил, мудрец, – просто сказал визирь. – Как ты знаешь, наш великий султан занят абсолютно во всех областях. Твой человек должен срочно сочинить, то есть даже не сочинить, а изложить на белой бумаге стихи. Султан переначертает их на еще более белой бумаге с золотой каймой. Ясно? Давай гения.

– Гениев у нас в султанате много, – задумался мудрец. – Но у всех есть один недостаток. Стихи у них, я позволю себе выразиться, индивидуальны. Как не переначертывай, все равно в соседнем ханстве догадаются по стилю, кто излагал.

– Это недопустимо! – вскричал визирь.

– Может быть, в кратчайший срок отбить у них стиль?

– Какой еще срок? – возмутился визирь. – Надо немедленно согласовать кандидатуру. Ну, не гениев, а просто талантов нету?

– Полным-полно, – уверил мудрец. – Возьмите Буля. Сочиняет молниеносно: в день поэму, в неделю семь поэм, от полной луны до полной луны...

– Стоп! Буль не подойдет. Его двоюродную сестру султан прогнал из гарема за сплетни. Нельзя же Булю доверить секретное дело!

– Да, конечно, – сказал мудрец. – Тогда Муль. Проникает в самую суть мироздания.

– Муль? Ты что, забыл? Он кукарекал, когда на площади четверговали преступника, – того, который шаркал ногами, проходя мимо дворца. Ну и кадры подбираете!

– Есть, есть достойный! – прошептал мудрец. – Ни табаком, ни вином, ни женщинами не пользуется. Словесно устойчив. Чист как стеклышко. Это Руль.

– Ни за что! Твой Руль в базарный день врезался на своем осле в верблюда, на котором ехал я, визирь его величества!

– О, Аллах! – задрожал мудрец. – Нету у меня больше талантов.

– Дьявол с ними, с талантами! – заорал визирь. – Выделите из коллектива стихотворца без глупостей, и пусть сочинит до захода солнца, а то...

– Слушаюсь, ваше подвельчество!

Через полчаса стихотворцев собрали у храма муз, который подарил им султан. Храм был заперт, чтобы не топтали паркетные полы из заморского дерева. На верхней ступени восседал мудрец, ведающий музами и пегасами, чуть ниже – два гения, под ними три таланта, а на земле разлеглись остальные.

– О творцы! – сказал мудрец, – Всевышний кладет на вас ответственную нагрузку.

– Без гонорара? – спросили дуэтом гении.

– Заткнитесь! – сказал мудрец.

– А что мы с этого будем иметь? – спросили таланты.

– Вы – ничего! Кто из безвестных изъявляет желание?

Никто не изъявлял, и мудрец на всякий случай постучал хлыстом о голенище сапога.

Тогда в тени под чинарой поднялся, пошатываясь, пожилой стихотворец, вытер руки о халат и сказал, заикаясь:

– У-уж лучше добровольно.

– Ты же пьян!

– Я с-скоро протрезвею.

– Слушай, а из гарема его величества твоих двоюродных сестер не прогоняли?

– Ни одной.

– А ты не кукарекал?

– Н-никогда.

– А на осле никого не сбивал?

– Да у него и осла-то нет, – зашумели стихотворцы. –

Подходит!

– Расходитесь! – закричал мудрец. – Я ему одному объясню что делать.

Стихотворец абсолютно все понял без лишних слов и подписал бумагу о неразглашении государственной тайны. Взял он у мудреца взаймы три медных монеты, купил кувшин вина и отправился домой. К вечеру стихи были исполнены. Стихотворец допил остатки вина, разбил на счастье кувшин о порог и двинулся к визирю. Во дворец его не пустили, стихи страж-

ник отобрал и отнес кому следовало. Стихотворец побрел до-мой, но по дороге уснул под забором.

Визирь прочитал стихи три раза, положил под подушку и тоже лег спать, немножко все-таки волнуясь.

Солнце еще не взошло, когда плотники и художники поставили стол, за которым мог вдохновляться султан. Визирь по-пробовал пальцем, высохла ли краска, и положил стихи на стол. В дверь вошли два стражника. Они очистили помещение от плотников и художников, а визирю велели стать к стенке. Появился султан. Он кивнул визирю, уселся за поэтический стол, посмотрел картинку и повертел в руках стихи.

– Однако оперативно! – похвалил султан. – А тебе, визирь, мои стихи нравятся?

– Лучезарно, ваше величество! Вы – стихотворец номер один!

– Брось, визирь! Такого подхалима, как ты, во всем султанате не найти.

– Нет, я серьезно, ваше величество, – упал на колени визирь.

– Ну ладно, спорить некогда. Переначертывать мои стихи тоже некогда. И читать некогда: у меня завтрак с иностранными послами. Дай-ка кисточку!

Обмакнув ее в тушь, султан надписал свое имя над стихами и повелел, чтобы их читали на улицах и на базарах всего султаната от зари и до зари.

– А ты, визирь, подумай, – велел он, – как переплюнуть хана и довести стихи до отсталого сознания всех тысяч моих подданных, чтобы они сами их читали друг другу.

– Придумал, ваше величество! – тотчас воскликнул визирь, у которого затекли коленки. – Пускай дети учат их наилучше, чтобы передавать из поколения в поколение.

– Разумно, – одобрил султан. – Вот тебе мой носок с правой ноги – носи как орден. Кстати, подготовь указ о том, что я удостоен почетного звания Стихотворца Номер Один. Как ты думаешь, это не будет нескромно?

– Ни в коем случае, ваше величество!

– Ладно. И еще подумай: не сочинить ли мне заодно симфонию?

Вскоре на перекрестках стали собираться толпы людей. Глашатаи трубили в трубы и кричали:

– О наш мудрый султан! Указом своего величества он сделался Стихотворцем Номер Один. Слушайте, слушайте его лучезарные стихи, написанные кисточкой, которую вложил ему в руку Всевышний!

Все это, разумеется, передавали по телевидению, хотя его в те времена тоже не было.

Вот, собственно, и вся история.

Того стихотворца-пьяницу подобрали под забором и обезглавили, чтобы не спал в неподобающем месте. Визиря тоже обезглавили на всякий случай. Всех чиновников его величества посадили в полном составе переписывать и размножать лучезарные стихи. Мудреца, ведавшего поэзией, бросили на поиски подходящего сочинителя симфоний.

И только дети радовались. Был издан приказ учить стихи султана наизусть, а дети их уже знали: стихи принадлежали древнему классическому, их проходили в первом классе.



## ПРИТЧА О ДВУНОГИХ

– Что ж ты не спишь, сынок? Давно пора. Закрывай скорей глазки. Что? Сказку рассказать? Да если кто-нибудь узнает, смеяться будет. Такой ты большой. Ну, да ладно. Расскажу тебе последнюю сказочку. Так и знай: последнюю! Ты уже почти взрослый. А взрослым не нужно сказки рассказывать. У них вся жизнь – беспросветная сказка. Так вот, слушай.

Случилось это давным-давно. Когда ни тебя, ни папы с мамой, ни дедушки с бабушкой еще в помине не было. Кажется, миллион лет назад, а может, чуточку побольше. Из тридцатого царства, семидесятого государства шел ковер-самолет – межгалактический лайнер в район Солнца Зет.

Три тысячи двуногих его пассажиров знать не знали, ведать не ведали, что их ждет впереди. В салонах была тишина. Разговаривать не приходилось, потому что удалые молодцы и красны девицы обо всем уже переговорили. А развлечения, убивающие время, были чужды им. Они созерцали пространство, свой внутренний мир, и этого им было довольно.

Невеселые мысли, словно тучки небесные, набегали порой на сознание. Вспоминали они, как покинули тесную, очень тесную планетушку Восемь в созвездии Лебеда. Теперь плывет лайнер на освоение новых земель. Это не безумство молодцев, не прихоть выскочек, а плановое мероприятие. Всё давным-давно согласовано.

Сперва из Генерального Совета Большого Центра Млечного пути они получили магнитную пояснительную записку. В содержании ее не было никаких обоснований, только сухое указание. Вот она, эта магнитная записка.

**«ВСЕМ, ВСЕМ ДВУНОГИМ! ОСОБО:  
ПЛАНЕТА ВОСЕМЬ ЛЕБЕДЯ, ПЛАНЕТА СИГМА  
КАССИОПЕИ, ПЛАНЕТА ДВА-ШЕСТЬ ПСА!  
ОЙ ВЫ, ГОЙ-ЕСИ ДОБРЫ МОЛОДЦЫ  
И КРАСНЫ ДЕВИЦЫ!**

**В СВЯЗИ С УГРОЖАЮЩЕЙ ПЕРЕНАСЕЛЕННОСТЬЮ И  
СНИЖЕНИЕМ ПРОЦЕНТА ГЕНИАЛЬНОСТИ, РЕКОМЕН-  
ДУЕМ ХУДШИМ, НЕ ЖЕЛАЮЩИМ СТАТЬ ЛУЧШИМИ,  
ПОКИНУТЬ ПРЕДЕЛЫ ТРЕХ УКАЗАННЫХ ПЛАНЕТ  
И НАЧАТЬ СОБОЙ НОВУЮ ЭРУ В НЕОСВОЕННОЙ  
ГАЛАКТИКЕ. А КОГДА ПЕРЕВОСПИТАЮТСЯ И  
ПОУМНЕЮТ, РАЗРЕШИМ ИМ ВЕРНУТЬСЯ ОБРАТНО.  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СОВЕТ БОЛЬШОГО ЦЕНТРА МЛЕЧНОГО  
ПУТИ ПРЕДЛАГАЕТ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ЦЕЛИННУЮ  
ПЛАНЕТУ ТРИ В СИСТЕМЕ СОЛНЦА ЗЕТ».**

И открылись ворота лагерей правильного труда и отдыха на планете Восемь созвездия Лебеда, планете Сигма в созвездии Кассиопеи и на планете Два-шесть созвездия Пса. И повели стражники, с секирами острыми, своих подопечных лиц на космодром. И вот сидят соловьи-разбойники в салонах лайнера и мчатся к Солнцу Зет.

Почему так мир устроен, не могу объяснить тебе, сынок. Может, вырастешь – поймешь. Так уж повелось у двуногих. Любая цивилизация крепко держится за полезных и нужных ей существ. Ну, а те, которые упрямы, или своевольны, или не хотят делать, что велят, а делают, что не велят, остаются за бортом. И не сами остаются: это цивилизация хочет скинуть их за борт или утопить, как лишних котят. Так уж устроен двуногий, что он готов топить таких же, как он сам.

Лайнер идет из тридесятого царства в созвездии Лебеда через пучину небытия к началу новой эры.

Я не помню, сынок, что происходило в это время на тех планетах. Все склероз проклятуший. Давно про это узнал и

уже успел забыть. Помню только, что и с двух других планет, запоздав немного, вышли галактические лайнеры. Посадили на них всех хулиганов и бандитов до последнего. Остались на планетах лишь одни ученые, да поэты, да музыканты, да гой-еси надсмотрщики.

Идут три лайнера из трех галактик к Солнцу Зет. Пока что из-за помех неведомых или козней Бабы-Яги не удалось им установить связь. Но пройдут каких-нибудь три-пять световых лет, и расстояние между ними сократится, связь будет налажена. Нелегко живому существу чувствовать себя худшим, отбросами. Вот отчего думы у них тяжелые. И только непредвидимая надежда на завтра скрашивала мысли их.

Добирались они без хлопот и забот. Управлял ими Генеральный Совет, и удрать куда-нибудь они не могли. В центре была хорошая аппаратура, и задолго до того, как подлетели они к Солнцу Зет, им определили маршрут внутри Солнечной системы к планете Три. К той самой, про которую ты, наверное, не раз слышал. Ни тех, ни других, ни третьих на планеты чужие раньше не пускали. Теперь отправили первый раз, а опыта освоения чужих земель у них не было.

Тем не менее двуногие соловьи-разбойники из созвездия Пса были люди ко всему привычными. Белокожие, но закаленные. Без труда они разместились на планете Три, выбрав для себя, кажется, юг, а может, какое-то другое место. Не знаю точно. Но не успел день смениться ночью, как они увидели своих чернокожих братьев по разуму, которые только что прибыли с планеты Восемь из созвездия Лебеда. Это были такие же существа. Может быть, чуточку покрупней и поздоровей. Ну что ж? Раз они поздоровей, значит, им и работу взять потяжелей.

И те, что из созвездия Лебеда, не возражали.

А на противоположном конце планеты Три в это время опустились ссыльные желтокожие разумные с планеты Сигма из созвездия Кассиопеи. Их было всего несколько десятков, этих двуногих. Они были победнее и не смогли прилететь на больших лайнерах. Их привезли сюда в малых капсулах вроде бочек, и приземлились они в разных местах. Благодаря им двуногие со всех трех планет и стали сноситься между собой.

Сперва все было сносно. А после начались неприятности. Несколько осложнило дело, сынок, что самые худшие с тех

планет оказались и самыми неграмотными. Они привезли с собой кучу роботов и всяких прочих умных чертовщин. Но вскоре переломали большую часть машин из-за неумения. Ты понял теперь, мой мальчик, почему надо хорошо учиться и внимательно слушать учителей?

Однажды белые двуногие даже пытались связаться с Технической комиссией Генерального Совета Большого Центра Млечного пути для консультации. Услышали от дежурного опричника: «Проверьте Р...» То ли рычаги, то ли рамы, то ли радиоустройства, то ли раствор, то ли расу, – никто не понял. Рация повредилась и больше не работала.

Про сосланных с трех планет, видно, попросту решили забыть за ненадобностью.

Было бы еще ничего, если б хоть один из них был образованный, или сообразительный, или просто с умом, направленным на полезное для жизни дело. Но умных, к сожалению, те цивилизации не послали, оставили себе. Готовых средств питания, которые ссыльные привезли с собой, хватило им лет на девятьсот. А детей рождалось все больше, и надо было думать о будущем.

Нужно сказать, мой мальчик, в то время на планете Три росли дикие леса, через которые трудно было пробраться. Избалованные ровной температурой на родине к причудам нового климата двуногие приспособлялись с мучениями. Часть из них была съедена зверями лютыми, пока прилетевшие сами не научились ловить и есть этих диких зверей.

Несладко им жилось. Корабли с продовольствием, которые им перед отлетом обещали прислать, почему-то задерживались. Скоро из лайнеров начали исчезать вещи. Пришлось выставлять солидную охрану.

А двуногих подстерегала новая беда. Переселенцы проглотили все запасы лекарств и начали умирать. Умирили они от болезней, о которых ничего не слышали. Может, их косил грипп? Вместо того чтобы умело, как их сородичи в других галактиках, бороться, чтобы уничтожить болезни, они бродили по лесам и хныкали. Немало погибло от укусов ядовитых змей и насекомых.

Все двуногие: и белые, и черные, и желтые – стали раздражительными и сердитыми. Они ссорились по малейшему

поводу и грызли друг друга, пока еще не в прямом, а в переносном смысле. Им и в голову не приходило, что чужую цивилизацию можно поднять. Вместо этого они опускали свою на недосягаемую низкоту.

Нужно сказать тебе, мой мальчик, что был среди двуногих белых с планеты Восемь созвездия Лебедя человек, попавший сюда случайно. Его звали Рам. Когда-то он был актером Театра невидимок, но был выгнан из театра за то, что пытался стать видимым. Из лагеря труда и отдыха он со всеми попал сюда, и на известной тебе планете Три ему очень не нравилось. С несколькими двуногими Рам создал что-то вроде тайной организации, которая решила удрать обратно. Для этого был один путь: захватить лайнер, который стоял под надежной охраной. Двуногие стали настойчиво готовиться к побегу.

Когда планета Три повернулась к Солнцу так, что в месте, где стоял лайнер, стало темно, Рам с приятелями решили действовать.

Смешали они угольки от костра, желтой серы и селитры и подложили под охранников, которые мирно спали возле лайнера. На планете Восемь никто не знал, что такое порох. Но не рассчитал Рам силу взрывчатого вещества здесь, на планете Три: опыта у него было мало. Взрывная волна опрокинула лайнер и повредила ему рули управления. Разумеется, как ты понимаешь, мой мальчик, актера и его приятелей решили послать за это на съедение диким зверям в джунгли.

Но не таков был Рам. Он не дался. Он бежал и решил проникнуть в лагерь черных двуногих, чтобы украсть их лайнер. Не буду подробно рассказывать тебе, сынок, про это. Дела те настолько жестоки, что ты будешь долго вспоминать их и не заснешь.

Пошел Рам со своей дружной бандой в лагерь черных двуногих. А те догадались, что на них совершается нападение. Умели они читать мысли на расстоянии. У них было кое-что для защиты, и они решили постоять за себя. Видя, что план побега проваливается, актер со своей шайкой решил в отместку уничтожить лайнер черноногих. Подложил пороху – и взорвал. Так путь к возврату был отрезан, потому что у желтоногих их маленькие кораблики давно развалились.

Расстроились пришельцы с трех планет – белые, желтые и черные. Теперь они вынуждены остаться на планете Три не на срок, пока перевоспитаются, а навсегда.

Что делать? Те, кто попрактичнее, а потом и остальные перешли жить в пещеры.

Их красивые, яркие, теплые одежды износились, а новых взять было негде. И они стали убивать зверей, одеваясь в их мохнатые шкуры. Синтетическая пища кончилась, а нужно было на чем-то готовить простую. И они стали разводить костры, печь из глины горшки и варить в них. Оружие для ловли животных тоже износилось с годами. Пришлось делать простые луки и стрелы.

Может, если б они были разумней и трудолюбивей да собрались все вместе, им удалось бы сохранить лучшие вещи из тех, которые они привезли, и создать новые такие же. Но они бесконечно ссорились и много сил тратили на вражду. И пытались навязать друг другу вкусы и привычки своих планет. А скоро и вообще перестали общаться друг с другом. И на каждом материке, в каждой пещере сложился свой мир. Рам, самый прыткий из них, полюбил красивую обезьяну и начал с ней новый род, более приспособленный к жизни на планете Три.

У-уу! Да ты уже засыпаешь, малыш.

Тысячи лет прошли с тех пор, много воды утекло, много двуногих родилось и умерло. И они постепенно совсем забыли о жителях тех планет, откуда они родом, забыли, что они потомки переселенцев с Лебеда, Пса и Кассиопеи, забыли, чья кровь течет у них в жилах. Когда двуногих стало больше, они расселились по всей планете Три. Создали города, много сложной вещей. От худших родились лучшие, а может, и от лучших худшие. И враждуют с тех пор, обижая друг друга. Кое-кто из них и рад бы помириться. Но уже есть у них атомная бомба, а вот-вот появится кое-что пострашнее.

Теперь ты понимаешь, сынок, почему двуногие так настойчиво рвутся в космос. Инстинкт зовет их увидеть ту жизнь, которая их создала.

Но какое тебе дело до каких-то двуногих на планете Три... Спи, сынок! Баюшки-баю...

## ФИОЛЕТОВЫЙ ЛУЧ

*28 октября*

Не иначе как меня продуло: голова раскалывалась от боли, начало знобить. От набегающих огней светофоров рябило в глазах, и они слезились.

– Согнуло тебя, Хохряков, – прокричал машинист, мой напарник, – давай-ка домой!

Он снял трубку радифона и попросил прислать мне замену. Возразить не хватило сил.

Домой я добрался с трудом. Дул ветер, смешанный с дождем. Меня пошатывало, и старшина возле метро, повернувшись в мою сторону, погрозил дубинкой.

Лифт у нас, как всегда, не работал. Задыхаясь, я добрался к себе под крышу на двенадцатый этаж. Ключ никак не хотел попасть в замочную скважину. Сердце стучало, словно колеса на стыках, когда разгоняешь состав: все быстрее и быстрее. Лечь, скорее лечь! Наскоро выпив чаю, я, почти не раздеваясь, упал в кровать и забылся.

Зазвенело стекло, на пол посыпались осколки. Открыв глаза, я тут же зажмурился: резкий свет заполнял комнату. По стенам метались красно-синие языки. Пожар! Собрав силы, я приподнялся на локтях и попытался встать. В окне передо мной стоял человек. Я не мог ошибиться: он шевелил руками и вообще двигался, хотя против света казался тенью. Услышав мой крик, человек круто повернулся и исчез.

Вскоре комната перестала светиться, и снова наступила темнота.

Я заставил себя встать, хватаясь за мебель, добрался до окна и протянул руку. Она стала мокрой от дождя: стекла в раме не было. За окном зияла мрачная яма улицы – ни машин, ни прохожих. С трудом добравшись до кровати, я забился.

Утром потащился к врачу, тот нашел у меня воспаление легких и велел лежать. Я рассказал ему о ночном видении.

– Ну-ну! – ухмыльнулся доктор. – Температура спадет – бреда не будет...

Позвонил приятелю, тот вставил стекло.

*12 ноября*

Через две недели я снова вышел на работу и, сидя в тепловозе, старался не открывать окон.

Сменился я вчера утром, написал на путевом листе «Присшествия не произошло» и домой. В комнате собачий холод. Бросился к окну – стекла опять нет! Я потрогал лоб: может, опять температура. Воры? Но в комнате все на месте. Диплом об окончании Транспортного института висит на стенке под стеклом. На кой мне работать инженером, если машинистом я получаю в полтора раза больше? Нет, не всё на месте: бутылка «Экстры», которую я купил к собственному дню рождения, на треть отпита.

Я спустился вниз за милиционером. Он осмотрел выбитое окно и нехотя достал блокнот:

– Бывает, бьют стекла после поддачи.

– Кто же два раза бил мое окно?

– Кто пил, тот и бил, – он покосился на бутылку. – При чем здесь я? Зови лучше стекольщика.

Но мой адрес, фамилию и место работы на всякий случай записал.

*30 ноября*

Сейчас три часа утра. Не переставая льет дождь. Мы стоим на небольшой станции. Скоро кончат формировать состав.



Два дня только и думаю, как поступить. Ночью сплю плохо, часто встаю, подхожу к окну. Странно: оба раза это случилось, когда я должен был работать в ночную смену. Значит, тип, который стоял в окне, знал, что меня не будет. А если мне снова вернуться домой ночью, неожиданно?

Надо зайти в диспетчерскую и попросить, чтобы завтра кто-нибудь подменил меня. Причину выдумую любую, повесят.

Вечером я никуда не пошел, лег пораньше и, не зажигая света, пролежал часов до трех. Снизу перестали доноситься звуки машин, улица затихла.

Кажется, я был готов к этой минуте, и все же стало страшно. В комнате вспыхнул фиолетовый свет. Я вскочил, одним прыжком очутился у окна и застыл, будто прижатый тормозными колодками. Не знаю, сколько минут прошло в таком напряжении. Никто не появлялся, и я осторожно выглянул в окно.

Будто карнавальный прожектор рассек улицу. Фиолетовая полоса гудела. Она тянулась к моему подоконнику от дома напротив.

Там, в окне, появился человек. Мгновение – и он повис над улицей, между домами. Он медленно, но уверенно шел по воздуху, направляясь ко мне.

Стараясь не дышать, я прижался к стене. Послышались шаркающие шаги, будто по асфальту. Еще минута, и темная рука ухватила за переплет рамы. Массивная фигура взгромоздилась на подоконник и тяжело спрыгнула на пол.

Бросился я на прищельца и схватил его за шею. Внезапность помогла мне, я его свалил на пол. Но, падая, он успел зацепить мою ногу, и я закричал от адской боли. У меня сила есть, но он легко освободился, тяжелое тело навалилось мне на грудь.

– Спокойно, парень, – прошипел человек. – Я же не вор...

– Не вор, а кто же – в чужой квартире? Благодарю Бога, что я ослаб после болезни. Не то вытряс бы из тебя желание ходить ко мне в гости по ночам!

Человек нервно засмеялся и встал.

– Слушай, я всё знаю про тебя, – сказал он. – Знаю, ты свой парень, тебе доверять можно, не то что некоторым. За-

ходи ко мне завтра. Все узнаешь. Только не болтай никому, прошу!

Он поспешно влез на подоконник.

– Дом напротив. Квартира сто восемьдесят три. Меня зовут Фельдман.

Человек пересек улицу по воздуху и исчез, как появился. Фиолетовый луч погас.

*5 декабря*

Утром, когда в смену идти было не надо, поднялся в дом напротив.

Вчерашний гость встретил меня улыбкой во весь рот. Глаза у него не бегали от страха, как тогда. Он запер за мной дверь и пошел додуматься.

Я огляделся. Мне случалось почитать книжки о сумасшедших изобретателях. Приборы, провода, сигнальные лампочки. Не так было в комнате Фельдмана. Обыкновенное жилье среднего инженеришки. Только середину комнаты загромождал длинный шкаф, который делил ее на две половины.

Пока Фельдман вытирался, фыркая от удовольствия, я наконец-то рассмотрел его. Было ему за сорок. Лицо отечное, как у всех работающих по ночам, и вообще вид потрепанного судьбой человека.

– Ты давно машинистом? – спросил он.

– Лет двенадцать, считай, сразу после института.

– А я с детства сижу на электронике, в институт меня не приняли, самоучка. Чинил телевизоры и магнитофоны. Но сейчас они редко ломаются... Не сердись, что влез тебе в комнату. Мне до зарезу нужно окошко напротив моего.

Фельдман подошел к шкафу.

– Над этой штукой я бьюсь давно. Жена не выдержала, ушла и ребенка забрала.

– Я и сам холостой.

– Знаю! Это-то и удобно. Сейчас эта штука – единственное, для чего я живу. Хоть какая-то, да цель! Есть будешь?

Он поставил на стол кефир и хлеб. Я есть отказался, а он глотал так поспешно, словно куда-то опаздывал. Смахнув крошки на пол, он подошел к шкафу, торчащему посреди комнаты.

Фельдман открыл дверцы и, простодушно улыбаясь, смотрел, как у меня расширились зрачки. Гигантский объектив уставился серым немигающим глазом в мое окно в доме напротив.

– Ты, между прочим, первый это видишь, – гордо сказал он.

Кое-что я помнил из курса физики, который нам читал в институте толстый профессор Бруштейн. Но ни о чем подобном слышать не приходилось. Фельдман придумал установку, которая создает – как бы это сказать? – твердый луч. Твердый, как железобетон. По такому лучу можно ходить, даже, может быть, ездить.

– Чего же ты теперь делаешь? – спросил я.

– Повышаю надежность. Спираль выдерживает пятнадцать минут и сгорает. А мне нужен надежный излучатель, чтобы держать луч хотя бы часа два...

– И для этого надо бить стекла?

– Как же мне проверить плотность луча на расстоянии? А из твоего окна я мог безопасно проводить измерения и не висеть над улицей... Да ты не сердись. Пришлось торопиться, вот и разбил стекло... Заплачу! Я тогда изрядно замерз и глотнул водки...

– Послушай, старик, – сказал я, – работа моя нелегкая, но для мозгов простая: стрелки да светофоры – я, наверное, изрядно отупел. Ну, допустим, добьешься ты этой высокой плотности. И что?

– Чудак! Представь себе: дорога, построенная в одно мгновение. Только привез камеру и включил.

– Фантазия...

– Но ты же луч видел! Скажем, мост через реку... Легко передвигать, ставить на определенное время. Не надо ни опор, ни фундаментов. Я хочу лепить из света дома, понимаешь? Настоящие здания. Крыши над городами. Строить везде: на земле, под водой, в космосе...

– Кому это всё тут нужно?

– Никому! Но по лучу рвануть можно отсюда через границу – вот что! А хочешь, рванем вместе? Конечно, риск... Сам понимаешь...

К этому я как-то не был готов. Мы помолчали.

– Тебе помочь? – спросил я.

- Хорошо бы. Только ночью, когда улица пуста.
  - В эту ночь я работаю.
  - Значит следующей.
- Так я стал его соучастником.

*9 декабря*

Около трех часов ночи Фельдман включил установку. Защелкали реле. Розовые и синие искры побежали снизу, заполнив трубу. Она заиграла голубым светом. Мы присоединили дополнительное питание.

– Контакт! – процедил Фельдман, и глаза его сверкнули.

Загудел излучатель. Шелестели вентиляторы, охлаждая воздух в камере. Лучевая трубка налилась фиолетовым светом. Еще мгновение, и луч вырвался наружу. Фиолетовая полоса метра полтора шириной уперлась в мое окно.

– Давай, Хохряков, пробуй, – одобряюще сказал Фельдман. Он видел, что я медлю.

– Ладно, я пойду вперед, ты вали за мной.

Фельдман взялся руками за раму окна и ступил на светящуюся полосу. Поколебавшись, я последовал его примеру. Луч был шершавый и теплый, словно нагретый солнцем тротуар. Идти было легко, но казалось, под ногами что-то вибрирует. Я сделал несколько шагов, глядя в спину удаляющемуся Фельдману. Потом глянул в пролет между домами. Сильно закружилась голова.

– Не смотри вниз!

– Низ-низ-низ... – эхо несколько раз повторило его голос в провале улицы.

Чувствовать себя цирковым канатоходцем не очень-то приятно, и вздохнул я свободно только тогда, когда ухватился за косяк рамы у себя в квартире.

– Страшно? – спросил Фельдман.

Он слегка светился отраженным светом.

– Да брось ты! Говори чего делать!

– Давай перенесем к тебе приборы.

Легкие снежинки крутились в воздухе и таяли, не долетев до луча. Ящики оказались тяжелыми, но идти второй раз было не так страшно. Фельдман то и дело оглядывался.

– Чего боишься?

– Месяц назад мне не хватило полупроводников, – сказал он, – и мне их предложил по дешевке один деятель. А он, оказалось, вынес их из закрытого НИИ. Теперь его застучали в проходной, и уж наверняка он расколется. Если распутают, то и меня потянут.

Фельдман стоял на фиолетовом луче метрах в двух от окна, снимал показания приборов и диктовал мне. Я записывал цифры в таблицу. Он взглянул на часы и двинулся к своему окну.

– Еще две минуты, и сгорит излучатель, – сказал он, – пойду подсоединю новый...

Вдруг внизу завывли сирены. Этот звук до сих пор наполняет мои уши. От неожиданности Фельдман присел на корточки и вцепился в край луча. Нет, они не проехали мимо. Две милицейские машины остановились, и одна направила боковую фару вверх.

Лицо Фельдмана перекошилось, и он метнулся к окну. Бежал он не оглядываясь.

Подъехала еще одна милицейская машина. По стене дома, скрещиваясь и расходясь в стороны, уже ползли две полоски прожекторов.

До окна Фельдману осталось шагов двадцать... десять... три... В этот миг фиолетовый луч погас. Черный силуэт Фельдмана замер, перевернулся головой вниз и исчез в темноте.

– Старик! – позвал я.

– Рик-рик-рик, – отозвалось эхо в уличном ущелье.

В темноте где-то далеко раздался протяжный крик. Через несколько секунд глухой удар донесся со дна улицы. Рев сирены неожиданно умолк, и настала тишина.

Еще не веря тому, что произошло, я протянул руку. Твердый луч исчез, как сигаретный дым.

...Не знаю, все ли я рассказал точно так, как было на самом деле. Теперь этого уже не проверишь. Вчера я снял со счета все свои деньги и на них похоронил Фельдмана – самого головастого парня из всех, каких я встречал.

## РОБИНЗОН ГОШКА

Мать прибежала из кухни, плотно прикрыла за собой дверь и подняла руки к потолку.

– Господи! За что наградил ты меня соседями? Сил больше нет. Проклятая коммунальная жизнь!

Она опустила руки и выразительно посмотрела на отца. Мать была прирожденной актрисой, хотя работала инженером. Отец же никогда не возмущался. Он утешал себя тем, что когда-нибудь неурядицы устроятся сами собой.

– Ну вот, – сказал он. – Опять ты заводишься. Потерпи месяц. Уедем на твой юг, и никто не будет дышать на тебя гриппом и заглядывать в кастрюли.

На юг решила ехать мать, и отец согласился: то был единственный способ заставить ее отказаться от юга. И, действительно, теперь, еще не остыв от кухни, она раздраженно заметила:

– На юг? В эту душегубку, где дерутся за лежак, чтобы протянуть ноги?.. Хватит с меня коммунальной квартиры! Можешь ехать один, мы с Гошкой не поедem!

– Между прочим, – сказал Гошка, – Робинзон жил на необитаемом острове. Абсолютно без соседей...

Мать строго взглянула на Гошку. А отец понял, что его восьмилетний Гошка уже почти человек.

– Дети! – сказал отец. – Это светлая конструктивная идея: двинуть в дикие места, где ни души, кроме медведей. Будем ведром ловить рыбу и смотреть на звезды.

– Это куда? – подозрительно спросила мама.

– Ясно – на дикую природу. Представляешь: Гошка закалится, нагуляет бицепсы вот такие, – отец показал на валик дивана. – Смотри, какой он бледный. Цивилизация его заела!

Отец остановился, ожидая возражений, но, вдохновленный тем, что мать молчит, стал развивать светлую конструктивную идею дальше.

– Во-первых, купим компас. По компасу выйдем через лес к реке. Ставим палатку, живем у костра. Гошка, чего молчишь?

Гошка не торопился высказаться. Чего зря расходовать калории, когда мать скажет «нет» и все.

– Мальчишки! – мать неожиданно улыбнулась. – Папка у нас Сократ. Лес, река, тишина и никакой тебе коммунальной кухни. Сделаем из Гошки Тарзана. Гошка, ты согласен?

– А ружье? – спросил Гошка.

– Ружье?

– Ружье купите?

– На кой тебе ружье? – сказал отец. – Я куплю тебе рыболовный крючок.

– Чем же я вас буду там кормить? – спросила мать. – Где там полуфабрикаты? Их и в городе не достать!

– Да там грибов полно, ягод – махнул рукой отец. – Рыбы навалом. Главное – иметь компас...

Гошка носился по комнате и повторял чудесные дурацкие стихи, сочиненные классиком, пожелавшим остаться неизвестным:

*Поросенок жирный,  
Поезд пассажирный.  
Если поезд не пойдет,  
Пассажир с ума сойдет.*

Стихи звали в дорогу.

Мать с отцом работали в одном конструкторском бюро, и им очень трудно было выбить отпуск вместе. Женщину без всяких проблем отпустили. Главный инженер проекта сказал, что мать так напряженно в рабочее время вязала свитер, что ей просто необходимо отдохнуть. Тогда муж пригрозил админи-

страции распадом семьи, и руководство решило не брать на себя такую тяжелую моральную ответственность.

Наконец они собрались и отбыли. Ехали на поезде долго, в самую глухомань. По дороге отец следил за компасом. Стрелка его показывала, что поезд шел в правильном направлении, не сбиваясь с пути. С утра погода была прекрасная. Дождь закапал, когда они вылезли из вагона на диком полустанке.

– Ну и где же обещанные звезды? – спросила мать.

– Тучи – это еще лучше, – сделал заявление не для печати отец. – У кого есть плащи?

Плащ был у мамы. Она сказала, что вообще с детства не простуживается, и надела свой плащ на Гошку. Отец был одет в два рюкзака.

Шли они между рекой и опушкой леса. Абсолютную дикость природы нарушал запах свинофермы, расположенной на другом берегу. Когда фермы на том берегу кончились, на этом берегу исчез лес, и начались бесконечные поля без единого дерева. Вскоре все покрыла дымка. Гошка начал хныкать, а мать заметила:

– Не подумайте, что я намекаю. Но на юге сейчас сплошное солнце...

Мать тут же пожалела, что не удержалась, и дала себе слово больше не намекать.

Совсем стемнело, и они остановились.

– А что по этому поводу пишет Джером К. Джером? – ехидно спросила мать.

Отец всегда носил с собой и цитировал свою любимую книжку «Трое в одной лодке». Он говорил, что там есть советы на все случаи жизни.

– Сейчас темно, и я не могу прочесть ни строчки, – ответил отец. – Переночуем, а утром все будет ясно.

Под дождем они поставили палатку и влезли в нее. Мокро было и снаружи, и внутри. Они были такие голодные, что мать открыла банку консервов частика в томатном соусе, и все стали дружно жевать его с мокрым хлебом.

– А чайку утром поьем, – бодро сказал отец. – Утром будет солнышко. Давайте спать.

Едва они легли, прижавшись друг к другу, чтобы согреться, как раздался гул, будто они лежали в жерле вулкана. На них



полетело что-то, похожее на холодный душ. Крупные капли разбивались о крышу палатки, и внутрь сыпалась мелкая пыль. Гошка стал чихать. Подул ветер, палатка перекосилась. И упала.

– Вы живы?

– Еще живы...

– Вылезайте! – отец стал карабкаться к выходу. – Вон там, под кустом, не так дует.

В темноте они переползли под куст. Под кустом было мокрее, чем в палатке, но зато меньше дуло. Они постелили одеяло на траву и накрылись палаткой.

– Алеет восток, – грустно сказал отец и вздохнул. – Мне кажется, мы легли на муравейник и долго не пролежим.

– Иди сюда, милый, иди, мой хороший! Тю-тю-тю...

Это был голос над самой папиной головой. Отец выглянул из-под края палатки. Возле куста стоял человек в сапогах и плаще и нанизывал на крючок червя.

– Вам не мокро спать? – поинтересовался человек.

– Нам-то прекрасно! А вот мальчик...

– Так у вас ребенок! Что же сразу не сказали?

Человек бросил на траву удочку и убежал. Вернулся он с молодой женщиной. Та повела сонного Гошку, мать и отца за собой. Было уже почти светло и все видно. Им постелили в пустом углу палатки, возле выхода, и дали укрыться сухим одеялом.

Гошка шел, не просыпаясь, и так же, не проснувшись, лег. Мать устроилась рядом с Гошкой. Отцу места не хватило, и он лег, согнувшись буквой Г на травке, у них в ногах.

– Спасибо... большое спасибо... – пробормотала мать и провалилась в сон.

– Не повезло им с погодой, сердечным... – сказал человек в сапогах и плаще, как будто ему самому с погодой повезло.

От этих слов отец проснулся. Голова гудела, как после большого праздника. Мать с Гошкой спали. Отец еле разогнулся из буквы Г в букву А.

Перед ним лежала поляна, вся в ямах, и кусок реки, прикрытый редким лесом. Тучи ползли низко, цепляясь за верхушки елей клочьями грязного ватина. Дождь – как бы это сказать точнее? – почти перестал, но немного все-таки сыпал-

ся. В пяти шагах от папы стояла палатка. Рядом с ней – еще две. У реки палатки стояли в два ряда. Посреди поляны горел большой костер. На длинных жердях, с разных сторон, в огонь тянулись ведра, чайники, кастрюли на проволочках. Папин нос жадно втягивал запахи, но голода это не утоляло.

Отец решил к тому времени, как мать и Гошка встанут, поставить палатку и развести костер. Есть погода, нет погоды – жить надо. Если поезд не пойдет, пассажир с ума сойдет. Принес отец дрова. Костер, по-видимому, искренне хотел разгореться, но только слегка дымил.

– Эй, товарищ! – крикнул кто-то отцу. – Чего вы там гниете на корню? Тоже мне кустарь-одиночка! Частик в томатном соусе...

Отец послушно пришел к общему костру и повесил свою кастрюльку на жердь.

– Вместо юга, естественно? – полюбопытствовал молодой старик с черной бородой.

– Прочитались...

– Чепуха! На юг только дикие люди едут. А тут цивилизация. Всё централизовано. У этого костра шестнадцать семей кормится, и вам места хватит.

Молодой старик вынул из кармана бумажку.

– Так-с, запишем. Ваше дежурство по костру... в следующую среду. Устраивает? С шести утра до девяти вечера попрошу не отлучаться, пилить и рубить дрова, поддерживать коммунальный огонь, купить рыбу, когда браконьеры принесут ее из деревни...

Отец стал сушить мокрую одежду. Дела было много, потому что высохшее снова мокло. Мать и Гошка проснулись.

Чай вскипел. Гошка ел вяло, пока не увидел, что ребята собираются играть в футбол. Он оживился, запихал в рот кусок колбасы и помчался.

– У тебя будет язва желудка! – крикнула мать.

Тут к ней подошла женщина. Она – дежурная по продуктам, идет в деревню, не надо ли чего? Маме было не надо, но женщина сказала, что надо заказать, все равно дежурят по продуктам все. А когда будет ваша очередь идти в деревню, вам скажут. И папе хорошо бы сразу встать на учет, когда вечером брать семнадцать бидончиков и идти за молоком.

- А с маленькими умеете сидеть?
- Когда-то умела, – мать посмотрела на папу.
- Тогда можете сидеть с ребенком из оранжевой палатки.

В санатории кино, а оранжевые родители ходить не могут. Это раз в три дня...

Гошка наигрался с ребятами в футбол и пришел дышать к своей палатке. Он решил записывать научные наблюдения в походный дневник:

Поймал рыб – 0 штук  
Видал чужих рыб – 6 штук  
Стучало на дереве дятлов – 1 штука  
Муравьев меня укусило – 12 штук  
Комаров убито – 41 штука

---

В с е г о: 60 штук

Сосед в штормовке, у которой один рукав до половины обгорел, пригласил на собрание, которое проводил лесничий на лужайке. Кто-то в лесу срубил живое дерево, и надо назначить патруль из отдыхающих – следить за лесом.

Мать покрасила губы и пошла на собрание, а отец решил прогуляться по лесу, набрать грибов и ягод. Он вернулся, когда стемнело, без грибов и ягод. По небу ползли тучи, похожие на остатки пригоревшей каши на дне кастрюли. Опять полил дождь. Мать отца не очень ругала, заметила только, что он и в лесу задерживается, только бы домой явиться попозже. А Гошка, оказывается, сам разжигал костер, один ходил купаться и играл в футбол за день три раза.

В эту ночь на них не лило: им дали кусок полиэтилена, чтобы накрыть промокающую палатку. Но уснуть они долго не могли: за стенкой ласково хрюкал в мешке поросенок, которого коллективно купили в деревне и решили вырастить на убой.

Утром отец проснулся чуть свет. На поляне стоял человек с рупором, сделанным из газеты.

– Внимание! – объявил он. – Срочно нужен отдыхающий, который может заниматься математикой с отстающими школьниками. Обратитесь в палатку номер шесть!

Отец вскочил и разбудил Гошку: мужчины организовали строительный отряд – надо чистить и разравнивать берег и соорудить мостки для купания и общественный туалет. Женщины собирались в поле рвать щавель.

– Знаешь, – мечтательно сказала мать, выбравшись из палатки, – мне приснилось, что мы дома. У нас так хорошо! Комната уютная, все удобства и только трое соседей. Это все-таки не шестнадцать. И туалет уже построен. А Гошке здесь почему-то нравится.

– Ты не забыла? – спросил, уходя, отец. – Вечером мы приглашены на день рождения. Во-он в ту палатку, над которой флаг из трусов хозяина. Очень милые, интеллигентные люди. Забыл, черт побери, как их зовут... Робинзон, ты остаешься дома один!

– Конечно, – кивнул Гошка. – Я вообще теперь все умею один. Можете вообще ехать домой...

– Господи! – драматически воскликнула мать, воздев руки к небу. – Целый месяц собирались, взяли всякую ерунду. Нет, чтобы захватить для подарков парочку керамических ваз. Нам их столько надарили, хоть выбрасывай!

## ЗАХОДИ, ДОРОГОЙ!

Тиглат открывает свое заведение в семь утра. Он неторопливо снимает замок, раздвигает двери, слегка подметает внутри и вокруг извлеченным из-под стула веничком, раскладывает по местам орудия своего ответственного труда, чтобы не надо было далеко тянуться рукой, и делает маленький глоток чачи из графинчика, который стоит у него под скамейкой.

А у двери уже топчется первый клиент.

– Можно?

Тиглат маленький, болезненный, – кто ни заходит, оказывается здоровее его. На всех Тиглат смотрит снизу вверх.

– Заходи, дорогой! Садись. Сделаем тебе чистим-блистим.

Берет Тиглат в обе руки по щетке, и фабрика начинает смену.

Теперь он уже, за маленьким исключением, не разгибает спины до обеда. Видит он только ботинки, туфли, сапоги, сандалии, тапочки, штилеты, лодочки, кеды, кроссовки, бутсы, – словом все виды обуви, кроме лаптей, которые, как известно, вышли из моды. Он почти не поднимает головы. Ну, уж если как исключение попадается что-то особо изящное, Тиглат незаметно приподнимает черные глаза и ласково оглядывает клиентку с ног до головы, а она при этом потуже стискивает коленки.

Точка чистильщика Тиглата находится на развилке двух шумных улиц, берущих начало у привокзальной площади. Народу тут полно. Кто спешит, кто слоняется. И вам еще учить-

ся, учиться и учиться, чтобы понимать, как он, что за люди заходят в его заведение. По ботинкам Тиглат определяет человека точнее, чем в отделе кадров по анкете. Людей, которые идут к нему, он делит на «верхних», «нижних» и «просто так».

С дальних поездов важно усаживаются перед ним «верхние», те, кто приехал из центра по делам. Значит, какая-нибудь ревизия или просто потребовалось развеяться в командировке. Такие гости в ботинках новых и только импортных, а если в сапогах, то только в хороших, хромовых. Гуталину им надо поменьше, а глянцу побольше.

С пригородных поездов заглядывают «нижние». Это чаще всего деревенские, в грязных сапожищах. Некоторые на городской манер заранее надели штиблеты и по дороге до поезда начерпали ими глины через верх. Они приехали в город и первым делом желают счистить с себя деревенскую грязь. Пожалуйста: за скромную плату – ботинки, чуть подороже – сапоги. Ну, скажите честно: где еще, кроме как у Тиглата, вы станете культурным за такие деньги и за такое время?

«Просто так» – люди случайные и разные. Одни никогда ботинки не чистили, но теперь по каким-то обстоятельствам срочно надо: свадьба там или, может, похороны. Иногда случайные солдаты на побывку к родным. Иные «просто так» к Тиглату вообще не садятся, заглянут только купить гуталин или шнурки. Это люди прижимистые, чистят дома сами. Деньги экономят неведомо на что, скорей всего, просто от скупости.

Трудится Тиглат спокойно, без суеты. До обеда один раз уловит момент, запрет заведение на замок и сбегает в туалет на вокзал, а когда возвращается, уже два-три человека его ждут.

Жизнь, можно сказать, кипит вокруг него, и все прекрасно: ведь могло бы быть еще хуже. И только одно обстоятельство омрачает полное счастье Тиглата, не дает ему наслаждаться существованием.

Едва он заступает утром на работу, он ждет появления тяжелых, кованых сапог. Не то чтобы он их боялся, но это его нервирует: вот-вот брякнут по асфальту подковы, и сапоги явятся.

Сапоги приходят к Тиглату каждый день, иногда раньше, иногда чуть позже. Тиглат отворачивается, будто не видит,

начинает чистить ботинки клиента тщательно и сосредоточенно. А сапоги подбираются крадущейся походкой, и вдруг их владелец кричит над самым ухом Тиглата:

– Не шевелиться! А то буду стрелять...

И хохочет, потому что Тиглат каждый раз вздрагивает. Казалось бы, чего особенно пугаться? Ну, есть левый товар, так у кого его нет? Да и что мне от его продажи остается? Все отдаю начальнику в артель.

Наверное, сапогам доставляет удовольствие испугать.

– Здравствуй! – отхохотавшись власть, говорит владелец сапог Тиглату. – Ну, как сегодня – много заработал?

Какое ему дело до моих денег? Зачем заглядывать в чужой карман? Однако Тиглат поворачивает голову и любезно улыбается участковому уполномоченному по фамилии Бандаберия.

– О, – говорит Тиглат максимально ласково, – заходи, дорогой!

Раньше Бандаберия вежливо и скромно просил:

– Дай щеточку – сапоги почистить.

Тиглат протягивал щеточку, участковый заходил за угол будки и чистил свои сапоги сам. Но без гуталина чистить такие большие сапоги – смех один. Однажды, когда у Тиглата клиентов не было, участковый попросил:

– Слушай, Тиглат, у тебя все равно простой оборудования. Бездельничаешь. Почисть мне, а?

Тиглат навел глянец на его сапоги, а участковый и не подумал заплатить.

На другой день Бандаберия пришел и сел сам вне очереди. В это время ждал другой клиент, но участковый ему сказал, что он при исполнении и ему надо срочно. Клиент плюнул и ушел. Тут Тиглат на участкового рассердился. Про себя, конечно.

Стал Бандаберия регулярно приходиться каждое утро. Он не торопясь рассаживался и, пока Тиглат трудился над его сапогами, всегда начинал один разговор о несчастной своей судьбе. Ему так в жизни повезло, что он родился грузином, потому что грузины – лучшая в мире нация. Но в то же время ему так не повезло, что его отец был крестьянин по имени Бандаберия. Да если бы не проклятая фамилия, которой предки на-

градили милиционера, он давно бы уже был полковником или даже генералом, а не участковым уполномоченным. Хорошо еще, что Берию расстреляли и он не успел уничтожить всех родственников Бандаберии за то, что они – Бандаберия.

Тиглат, конечно, с ним соглашался, а про себя думал, что дело тут вовсе не в фамилии, а в чем-то еще. Вот у Тиглата замечательная нация, тоже, бесспорно, лучшая в мире: он айсор, и замечательная фамилия – Паласар. И он, Тиглат Паласар, может рассказать Бандаберии, что происходит из очень знатного рода ассирийских царей, известных аж в двенадцатом веке до нашей эры.

Но Тиглат не будет ничего ему рассказывать, потому что обижен. Дело не в деньгах, а в уважении. Я все-таки царского рода. Отнесись ко мне по-человечески, попроси по-хорошему, и я тебе сапоги почищу. Так ведь нет! Хочешь показать, мол, ты на участке хозяин и можешь мне бяку сделать. У меня таких начальников, знаешь сколько? Кругом начальники, не считая жены.

Такая пошла нервная жизнь: что ни утро, ждешь унижения. Вчера, мало того, что Тиглат участковому сапоги почистил, тот еще товарища привел. Вместе мы, говорит, на дело идем. Я по-хорошему чищу тебе сапоги, гуталин расходую, и ты мне на шею садишься.

А клиент, значит, в очереди стоит и не дожидается, чтобы почистить ботинки за деньги. Но если всем чистить бесплатно, на что жить? Не говоря уж о том, что Тиглат из-за милиции плана не выполнит и прогрессивки ему не видать. Мне денег не жалко, но я – за справедливость.

С утра до вечера Тиглат об этом думал и не мог ничего придумать. Настолько расстроился, что клиент ему замечание сделал:

– Один ботинок, – говорит, – ты мне черным гуталином намазал. А этот каким?

Глянул – коричневым. Такого брака у Тиглата никогда не случалось.

Вечером, молча пообедав, сел он телевизор смотреть, а жена в кровати лежит, на него смотрит.

– Гляжу я на тебя, Тиглат, уже давно, – говорит. – И что-то ты мне не нравишься. Что-то у тебя такое случилось. Ты от



меня скрываешь. Сам не свой. Молчишь все время. Или у тебя с планом плохо, или еще чего-либо хуже.

Тиглат молчит, смотрит по телевизору хоккей, но ничего не видит. Выключил он телевизор, разделся, влез под одеяло, рядом с женой лежит, в потолок смотрит. Он маленький, хрупкий такой, а она у него толстая, две трети кровати занимает.

– Говори, Тиглат, – жена придвинулась к нему и положила ему руку на шею.

– Он все приходит, – говорит Тиглат.

– Кто?

– Да участковый! Чистить требует бесплатно.

– Может, он узнал, что ты левый товар из артели получаешь, ну там, гуталин, шнуры?

– Ничего он не узнал! Какое его дело! Он может только придаться, что грязно у меня вокруг заведения. Так я с утра всегда подметаю. А по артели я план выполняю, на хорошем счету. Взял обязательство чистить лучше – сделал, в соревновании по блеску обуви всех чистильщиков опередил. Пускай менты платят деньги и стоят в очереди, и я им буду чистить всё, что захотят.

– Ты прав, Тиглат, – говорит жена. – Он просто хам.

– Вот именно, – отвечает Тиглат, выбираясь из-под жены.

– Ишь ты, – продолжает жена. – Почтальон к тебе приходит чистить туфли, так он газету свежую оставляет. Зубной протезист приходит, так он мне качественно зубы сделал. Мясник денег не платит, так за это он меня не обвешивает. А участковый – что? Помнишь, твой брат приезжал, прописаться хотел. Кто отказал? Он! А завтра, может, все отделение, а за ним вся милиция в городе станет у тебя сапоги чистить и, опять же, бесплатно. Не чисть ему сапоги, понял?

Жена грузно развернулась на другой бок, и они заснули.

Утром Тиглат снял замок в заведении и глотнул побольше чаи с твердым намерением совершить смелый поступок. Чистит он ботинки и сапоги с утра с остервенением, злостью, и минуты нет отдохнуть. Клиенты идут и идут. Погода хорошая. Вся деревня в город подалась. Едва успевает один выйти, как другой уже садится. Чистим-блистим! В такое время просто нельзя время тратить попусту. То и дело косит он взгляд на часы, что на здании вокзала. Стрелка уже перевалила за де-

вать часов. Скоро появится участковый и сразу получит от ворот поворот. Тиглат скажет ему всё, что он о нем думает. В конце концов, мы царских кровей!

Тиглат поднял глаза вверх, потому что в будочке стало темно. Шинель участкового Бандаберии закрыла весь дверной проем.

– Здравствуй, Тиглат! Как с планом? Денежки текут?

В щель между участковым и дверью Тиглат увидел, что с вокзала валит толпа. Пришел поезд, и очередь чистить ботинки сейчас вырастет.

С одной стороны, он хам, а с другой – человек не такой уж плохой. Хотя лейтенант, а тоже человек. И от фамилии он всю жизнь страдает. Лично вреда Тиглату никогда не делал. А то, что брата не прописал, так ведь он человек маленький, начальник милиции ему не разрешил.

Тиглат открыл дверь, чтобы выпустить клиента, и махнул рукой Бандаберии:

– Заходи, дорогой! Садись. Сделаем тебе чистим-блистим. А вы, граждане, подождите!..

## МОГИЛА ПОЭТА

Районный ответработник товарищ Суточкин с некоторых пор стал плохо спать. Во вверенный ему областным руководством район вливалась некая неуправляемая струя. Суточкин не знал, что и подумать.

В район шло паломничество с какой-то подозрительной целью. Люди ехали на поездах, добирались попутными машинами и бесконечной вереницей вились через поселок. Они пытались перехватить что-нибудь в небольшом буфете при автобусной станции. Продуктов не хватало на своих. Лимит, спускаемый поселку, паломников объять никак не мог.

И сытые, и голодные вереницей устремлялись на гору, что высилась рядом с поселком, там находились неизвестно сколько времени, потом спускались назад, к морю, шли к автобусной станции и уезжали. Некоторые приезжие снимали углы и оставались без прописки в поселке на несколько дней.

Суточкин был переброшен в район недавно и решил сперва, что это религиозные отправления отсталой части населения, но на всякий случай дал задание своему заму выяснить, в чем дело. Зам всю жизнь служил в местах отдаленных, но был из местных. Через несколько дней он доложил, что, оказывается, тут, в поселке, после революции умер поэт, фамилию которого зам не запомнил. Да и стоило ли ее запоминать, неизвестно, поскольку в учебнике, по которому учится дочь зама, поэт этот вообще не значился. Сей факт зам проверил.

– Спрашивал я насчет этого поэта у приезжих, – сказал зам, – говорят, мол, поэт несправедливо забыт историей.

Тут Суточкин возмущился и возразил довольно резко:

– Как так, несправедливо? Раз история забыла его, значит, было указание и так надо. Непонятно только, зачем поэта на такой верхотуре зарыли?

– Да говорят, он завещал там себя похоронить.

– Мало ли кто что завещает! Официальное разрешение было?

– Кто ж теперь установит, было или не было?

– А граждане, значит, на поминки идут?

– Так точно: инициативу проявляют снизу без согласования с вышестоящими инстанциями!

– Вот это-то как раз и странно... Что-то чувствуется подозрительное.

Решил Суточкин выделить отрезок своего служебного времени и лично проследовать к могиле, дабы убедиться на месте, все ли там политически выдержано. Ведь если начальство встрепенется и прижмет к стене, поздно будет. Смешался поутру Суточкин с толпой и как простой человек стал продвигаться к горе.

День был жаркий, хотелось пить. Рядом шел старик из интеллигентов, которых хотя и посадили в определенные годы, однако двадцать лет спустя реабилитировали. Человек был довольно приятный. Разговорился с ним Суточкин, узнал, что поэт, к которому они держат путь, был человек со странностями, философ и гуляка, ходил в халате, мужикам, которые ему рыбу приносили, ставил чарку водки, о чем надо писать – не писал, а писал что хотел.

Теперь ясно, почему его не включают в историю! Зачем только руководство того времени допустило так нескромно его похоронить? Странно получается, однако. Указаний об оказании почестей поэту не поступало, в газетах о нем не пишут, а люди на могилу едут. И продукты из районного лимита потребляют. Сидели бы себе дома. Или, наконец, на пляже, создавая панораму культурного курорта.

Взгляд Суточкина обратился на людей, попадавшихся возле камней на дороге... Они сидели по двое, по трое и что-то писали на клочках бумаги, в тетрадках и блокнотах.

– Что это они там фиксируют? – поинтересовался Суточкин.

– Стихи переписывают, – объяснил старик. – Хорошие стихи писал поэт.

– Чего же их переписывать? Пошли да и купили книжку. Много ли этак сэкономишь? На кружку пива...

– Эх, куда хватил! Купить! – горестно сказал старик. – Да ведь его же не издают! А стихи хорошие. Настоящая поэзия. Хорошо еще архив случайно сохранился. Потомки будут его печатать.

– Архивы государство сохраняет, – согласился Суточкин.

– Да? Нынешние поэты стихи наизусть учат, а рукописи сьедают, чтобы в случае чего от своих стихов отречься.

Этого Суточкин еще не слышал, чтобы хорошие стихи ели.

– А камень вы несете? – спросил старик.

– Камень? – удивился Суточкин. – Зачем?

– По традиции так. У моря каждый себе выбирает красивый камень и несет на могилу.

Они поднялись наверх. Открылась Суточкину картина перевала, и синее небо, и море, тоже синее, уходящее вдаль. И возникла в его сознании законная патриотическая гордость за вверенный ему район.

Тут Суточкин обратил взгляд на холмик, сложенный из камней. Вокруг большие белые камни, а посреди – мелкие, разных цветов. Люди замедляли шаг, стояли возле могилы. Каждый вынимал из кармана камушек, кто большой, кто малый. Холмик над могилой рос на глазах.

Суточкину положить было нечего. И слава Богу. Поскольку посреди могилы был выложен крест, опусти ответственный районный руководитель камушек, это может быть истолковано неправильно. Всякие могут попасться вокруг люди.

На другой день Суточкин занял место в своем кабинете и тотчас велел соединить себя с вышестоящим руководством. Так мол и так, объявился у нас в поселке поэт, который давно умер. А теперь повадился народ посещать его могилу, хотя никаких инструкций на этот счет не поступало.

– Что вы предлагаете? – спросило руководство.

– Может, дать команду срыть эту могилу? То есть сравнять с землей...

Руководство не сразу ответило, а сказало, что провентилирует этот вопрос, и просило позвонить завтра.

– Ну как? – позвонил назавтра Суточкин. – Сравнить или не сравнивать?

– Нет, – согласовав еще выше, ответили ему. – Раньше надо было думать. А теперь срытие может повести к нежелательным последствиям. В толпе могут оказаться иностранцы. Конечно, им ездить сюда запрещено, но за всеми не уследишь! Это создаст резонанс, нам сейчас не нужный. Так что думайте, как обеспечить в этом деле порядок.

– В каком же направлении думать? – попытался уточнить Суточкин.

– Это ваше дело! На то мы вас и посадили руководить районом.

Легко сказать – думайте. А что конкретно делать?

Для начала подумал Суточкин и дал указание, чтобы лозунги повесили, где нужно, а то ведь ненормальность получается. Поднимаются люди к светлой вершине, а правильных мыслей вокруг нету.

Вкопали столбы и написали лозунги.

Решили улучшить дорогу к могиле, из дорожного участка послали бульдозер, который прорыл дорогу, сравнял отдельные бугорки. Камни засыпали песком, песок превратился в пыль, пыль покрыла окрестную зелень.

Вспомнил Суточкин, как взбирался он на гору, как мучительно хотелось пить. Дал он распоряжение поставить у дороги к могиле киоски, чтобы продавали газировку.

Почему, думал дальше Суточкин, так незапланированно получается? Жил подозрительный человек, никто его не знал, а умер – хлопот не оберешься? Глядишь – на гостиницу деньги выбивать придется, а потом стоянку делать для автомобилей. И музей, чего доброго. Грустно становилось Суточкину, когда он думал об этом.

А тут еще одна неизвестность открылась: поэт, давно лежащий в могиле, когда-то, сидя на пляже, оказывается, писал картины, которые известны в городе Париже, стоящем на берегу никому в поселке неизвестной реки Сены. С одной стороны, конечно, мировая известность месту, возглавляемому лично Суточкинским. Но ведь забот от известности только прибавляется.

И времена вроде бы поменялись. Однажды сверху оповестили, что в район прибывает делегация из столицы, дабы в связи с юбилеем научно обозреть могилу поэта.

К приезду делегации крест, сложенный на могиле из камней, переложили в пятиконечную звезду. Клубный художник изготовил щит, который гласил: «Поэт! Трудящиеся района любят тебя, с одной стороны, как поэта, с другой стороны, как художника!» Щит установили возле могилы.

Делегация посетила могилу и похвалила за проделанную большую работу по увековечиванию памяти поэта. Сопровождая делегатов, Суточкин вникал в разговоры. Оказывается, кое-что из стихов решено в будущем и без спешки издать для расширения кругозора узкого круга доверенных людей. Трудность состояла в том, что стихи поэта печатать невозможно, ибо не все в них одобряет текущий момент. И, учитывая сложность, вышестоящие органы решили сделать поэта более правильным. Стихи уже поручено поправить, чтобы в них исчезли искажения нашей замечательной действительности.

Суточкин было обрадовался: со звездой на могиле он как в воду глядел. Но делегации именно могила-то и не понравилась.

– Не видно, – говорят, – пропаганды достижений технического прогресса. Все камнями завалено, когда есть прогрессивные материалы, такие, как железобетон.

– Все сделаем! – пообещал Суточкин. – Безвыходная одна только проблема: несознательные посетители без конца камни сюда несут. Так, чего доброго, скоро весь пляж переместится на вершину горы. Как быть, а?

– Не знаем, как быть, – пожали плечами члены делегации. – Уж вы сами тут принимайте решение.

Могилу забетонировали на совесть, и местный остряк заметил, что она стала походить на гигантских размеров унитаз.

Долго думал Суточкин насчет камней, а светлую идею предложил его зам. Тут же Суточкин позвонил председателю колхоза, который размещался по соседству.

– Вот какое дельце государственной важности, – сказал Суточкин. – Выделишь колхозника с тачкой на выполнение важной общественной работы.

– А трудодни?

– Трудодни будешь ему начислять, будто он работает в колхозе.

– Незаконно это, – возразил председатель. – Да и людей у меня не хватает.

– Не хочешь добровольно – обяжем по административной линии.

– Тогда лучше добровольно, – сказал председатель.

Теперь ежедневно ранним утром, едва светает, к могиле прибывает старик с тачкой. Камни, которые несут паломники, он неторопливо грузит на тачку, длинной пыльной тропой спускается к морю и вываливает их на пляж.

Люди, которые поднимаются вверх, к могиле поэта, встречают старика, весело катящего вниз тяжелую тачку.

– Камни несете? – спрашивает обычно он, останавливаясь и вытирая пот.

– Несем! – отвечают ему.

– Доброе дело!

И старик удовлетворенно кивает. Трудодни ему набегают равномерно, как морской прибой.



## ДОПРОС

### Микросценарий

Действуют:

РАКУША, инженер, 36 лет

КОНОВАЛОВ, директор института, неопределенного возраста

ЧЕРНЫХ, 29 лет

НИНА, лаборантка, 21 год

СЛЕДОВАТЕЛЬ, 54 года.

#### КАБИНЕТ СЛЕДОВАТЕЛЯ.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. ДВА ОХРАННИКА ВВОДЯТ РАКУШУ.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Садитесь вот сюда. Давайте знакомиться.  
Ваша фамилия, имя, отчество?

РАКУША. Ракуша Вячеслав Антонович.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Сколько вам лет?

РАКУША. Тридцать шесть.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Национальность?

РАКУША. Русский я, русский, вы же знаете!

СЛЕДОВАТЕЛЬ. В партии до определенных событий состояли?

РАКУША. Нет. И вступать не собирался.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Подвергались ли ранее судимости?

РАКУША. Нет, Бог миловал.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Верующий?

РАКУША. С вашим братом в кого угодно поверишь...

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Ваше основное занятие?

РАКУША. Сейчас?

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Да, сейчас.

РАКУША. Туняец.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Я имею в виду профессию. Кем вы работали?

РАКУША. После института работал преподавателем физики в техникуме, потом инженером, старшим. Короче, инженер-электронщик.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Знаете ли вы, в чем вы обвиняетесь?

РАКУША (*с кривой усмешкой*). Догадываюсь. Якобы я убил директора института. Но это же... Это же...

СЛЕДОВАТЕЛЬ (*перебивает*). Признаете себя виновным?

РАКУША (*резко, раздраженно*). Нет! Сто раз нет! Виновным себя не признаю!

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Что ж, вы еще пожалеете об этом заявлении. Чистосердечное признание помогло бы смягчить приговор... Давайте разбираться во всем по порядку. Как давно вы работаете в этой области?

РАКУША. Около десяти лет.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Чем занимались эти десять лет?

РАКУША. Работал инженером-конструктором на разных предприятиях. Затем занимался исследованиями нейрокибернетических систем... (*Взрывается*.) К чему, собственно, вы меня об этом спрашиваете? Уж наверняка органам известны все подробности, даже такие, которые я сам давно забыл...

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Может, не будем меняться ролями? Здесь я задаю вопросы, а вы отвечаете.

РАКУША. Ну еще бы! Хочу только сказать, что за десять лет работы инженером-электронщиком я ни разу не пытался извлечь из своих изобретений материальную выгоду и никому за неудачи не мстил. В другой стране мне бы цены не было, а тут...

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Конечно, теперь даже так разрешается высказываться. Но к данному уголовному делу это не имеет отношения. Сколько лет вы служили в Научно-исследовательском институте нейрокибернетических систем?

РАКУША. Я не служил. Я занимался научными исследованиями. Улавливаете разницу? Но то, что вы называете «служил», продолжалось пять лет.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Как вы начинали свою основную работу и в чем она состояла? Постарайтесь вспомнить подробности.

РАКУША. Чего ж тут стараться? Я все прекрасно помню...

*Затемнение.*

## ЛАБОРАТОРИЯ. РАКУША И ЛАБОРАНТКА НИНА.

*Мельканье на компьютерных экранах. Пощелкивают реле. Нина крутит транзисторный приемник, меняются станции, срывается BBC по-русски, потом джаз.*

РАКУША (входя). Нина, умоляю, выключи это.

НИНА. Сейчас. Я проверяла приемное устройство.

РАКУША. Для того чтобы проверить, вовсе не обязательно слушать джаз. Ну и как устройство?

НИНА. Блеск! Во-первых, слышит, даже если говорить шепотом, и все запоминает, во-вторых, знает все, что делается в этом здании, сквозь стены, полы и потолки.

РАКУША. Ну что ж! Это как раз соответствует техническому заданию. Получается механическая сплетница, так?

НИНА. Вы были у директора? То-то у вас поднялось настроение...

РАКУША. Да, он доволен ходом работы. А я доволен тем, что лаборатория предоставляет возможность осуществить мою идею. Три-четыре года назад они удавились бы, но не разрешили. А теперь шеф говорит, что не нужно стесняться в средствах. Весь вопрос в том, чтобы сделать это быстро. Каково?! Еще он сказал, что нам будет куплена любая западная аппаратура. Я попросил нанять еще пару специалистов, но он ответил, что они есть в соседних лабораториях и их можно немедленно подключить к проекту. Тут я обнаружил, что мы совершенно не знаем, чем занимаются у нас за стеной. Они...

НИНА. По-моему, там хирургия... (С нежностью.) Ракуша, в последнее время вы побледнели и плохо выглядите.

РАКУША. Чепуха! Двигалась бы интересная работа, а остальное не имеет значения.

НИНА. Ваша жена вас совсем не видит.

РАКУША. Она моя жена, что же еще ей нужно?

НИНА. Наверное, нужны вы.

РАКУША. В последние годы я забыл, что значит жить для себя. Представляешь, мы доведем его, наконец?! (*Изображает робота.*) Приказ всем: работать, улыбаясь! Работать, улыбаясь! Улыбаясь! (*Хохочет.*)

*Затемнение.*

## ОПЯТЬ КАБИНЕТ СЛЕДОВАТЕЛЯ. СЛЕДОВАТЕЛЬ И РАКУША.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Не увлекайтесь, Ракуша! Лирика и ваши отношения с молодыми сотрудницами нас пока не интересуют. Нас интересуют факты.

РАКУША. Схему, которую мы делали, нельзя постичь без лирики. Сложность задачи состояла в том, чтобы в функциях руководителя оставить некоторые чисто человеческие качества, а другие, мешающие руководителю, отбросить, учитывая время и условия, в которых мы живем.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Но какие качества мешают руководителю? Я что-то плохо понял...

РАКУША. Вы инженер?

СЛЕДОВАТЕЛЬ (*недовольно*). Нет.

РАКУША. Так какого же дьявола?.. (*Сдерживается.*) Мне кажется, только специалист мог бы оценить размах задачи. Нам необходимо было вложить в мозг знания целого ряда наук, экспериментальный опыт и, конечно, политические и философские знания на уровне сегодняшних установок. Словом все, что потребуется руководителю завода, или даже группы заводов.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Ну и как, машина поумнела?

РАКУША. Поумнела, но это далось не сразу...

*Затемнение.*

ТА ЖЕ ЛАБОРАТОРИЯ.  
НИНА И РАКУША.

НИНА. Ракуша! Ра-ку-ша!! Срочно к телефону!

РАКУША. Иду, иду... Слушаю. Да, я!

КОНОВАЛОВ (*по телефону*). В чем дело, Ракуша? Вы сры-  
ваете график!

РАКУША. Вы правы. Дело в том, что мозговой блок не справляется с нагрузкой и капризничает. Он с нами не соглашается, утверждает, что нельзя увеличивать производительность труда бесконечно, за счет обещаний. Это противоречит данным...

КОНОВАЛОВ. Причины меня не интересуют! Мне нужны результаты. Уберите из мозгового блока этот дурацкий рефлекс возражений! Кстати, Ракуша! Для укрепления кадров вашей группы – о чем вы просили – к вам направляется молодой, но весьма квалифицированный инженер. Его фамилия Черных. Введите его в курс дела, чтобы он все знал.

РАКУША. Хорошо, обязательно. (*Кладет трубку*.) Не понимаю, что это за штуки.

НИНА. А в чем дело?

РАКУША. Сначала нашу группу засекречивают и к нам не допускается ни один посторонний работник института. Я просил помощи – сказали, что дадут, и не дали. А теперь, когда работа почти сделана, нам дают какого-то новичка. Кажется, мальчишку. Что за чертовщина?

*Хлопает дверь, входит Черных.*

ЧЕРНЫХ (*говорит вежливо, но без лишних эмоций*). Добрый день! Я – Черных. Надеюсь, Коновалов сообщил вам обо мне?

РАКУША (*хамовато*). Черных так Черных... Проходите. Раз приказано, будете знакомиться с процессом.

*Затемнение.*

## ОПЯТЬ КАБИНЕТ СЛЕДОВАТЕЛЯ. СЛЕДОВАТЕЛЬ И РАКУША.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Расскажите подробнее о вашем отношении к Черных.

РАКУША. Если честно, то он мне сразу не понравился. Выскочка, познания не блестящие. Зануда. Мне показалось, туповат. Я таких не люблю.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Это ваше личное дело.

РАКУША. Да, конечно. Работе мешало другое. Постоянно испытываешь чувство, будто кто-то следит за тобой. Это неприятно.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Сколько вы проработали вместе с Черных?

РАКУША. Приблизительно недели две.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Вы передали ему всю информацию?

РАКУША. За исключением того, чего он не мог понять.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. То есть? Может быть, вы увидели в нем конкурента?

РАКУША. Да бросьте вы! Просто я тогда не понимал, почему директор института Коновалов решил раскрыть все карты дураку.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Попрошу не оскорблять покойного... Что произошло дальше?

РАКУША. Вы имеете в виду кражу?

*Затемнение.*

## ОПЯТЬ ЛАБОРАТОРИЯ. НИНА И РАКУША.

НИНА. Вы, как всегда, ни свет ни заря.

РАКУША. А ты, Нина, как всегда, проспала? Я пришел пораньше кое-что спокойно прочитать. У меня очень приятное ощущение, что работа позади.

НИНА. Но вас раздражает Черных.

РАКУША. Не больше, чем любой другой недалекий человек! Иногда, чтобы выслужиться перед начальством, выдает мои мысли за свои. У меня их достаточно, и, ей-Богу, не жалко.

НИНА. Чем нам заниматься сегодня?

РАКУША. Я думаю, что вести пространные споры с блоком тебе сегодня уже не придется. И вообще, как ты заметила, он деловит и не реагирует на шутки и на кокетство. Ему бы только работать и работать! Что ж, Нина, сие не так плохо, черт побери!

НИНА. Еще бы! О вас теперь напишут в газетах...

РАКУША. Ну, ну!.. *(Открывает шкаф, ищет.)* Нина, куда ты поставила мозговой блок?

НИНА. Я его не трогала.

РАКУША. Не шути со мной! *(Орет.)* Говори, куда спрятала блок?

НИНА. Псих какой-то! Не трогала я его!

РАКУША. Не шути со мной! Мозг исчез. Ты понимаешь?

НИНА. Исчез? Дайте я посмотрю... Но куда исчез?

РАКУША. Где Черных? Может, это он подстроил глупую шутку? Так вот, я в эти игрушки не играю. Немедленно звоню шефу. Это слишком дорогая штука, чтобы так шутить. *(Нервно набирает номер телефона.)* Это Ракуша. Срочно Коновалова. Никого не принимает? Скажите ему, что из нашей лаборатории исчез блок... Он поймет. Не знаю, куда мог деться. Вы же лучше меня знаете, как у нас все охраняется. Но факт остается фактом. Кстати, где Черных? Заболел? Вот оно что! Как всегда, я все узнаю последним! *(Бросает трубку.)*

*Затемнение.*

## СНОВА КАБИНЕТ СЛЕДОВАТЕЛЯ. СЛЕДОВАТЕЛЬ И РАКУША.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. И вы считаете, что это было дело рук Черных? А если мы подозреваем вас?

РАКУША. Я не так плохо воспитан, как вам хотелось бы... Однако меня удивили два обстоятельства. Во-первых, у нас в институте кто-то начал сознательно распускать слухи, что я виновен в исчезновении блока. Во-вторых, абсолютное спокойствие дирекции, спецотдела и охраны. Ползли слухи, а администрация не делала никаких выводов. Вскоре меня вызвали в отдел кадров. Там сидел человек, представившийся ответст-

венным сотрудником органов. Он сказал, чтобы я не волновался. Ничего никуда не пропало, и в государственных интересах это забыть. Я же не идиот, а потому спросил его в лоб: у вас что, живые стукачи иссякли, коль вам надо внедрять искусственных? Он рассердился и предупредил, чтобы я не совал нос в эту историю. Затем меня вызвал Коновалов и предложил лучше оплачиваемую должность в смежном институте. Я наотрез отказался и продолжал работать здесь, над своей темой. Через некоторое время нам стало известно, что директор института Коновалов уходит на повышение в какой-то комитет Госдумы по науке и технике. И вместо него функции директора поручено исполнять... Кому бы вы думали? Инженеру Черных!

**СЛЕДОВАТЕЛЬ.** Ну и что ж? Ваш подчиненный быстро сделал карьеру.

**РАКУША.** Вот именно! Это-то меня и поразило. Ясно сопоставились два факта: болезнь Черных и его карьера. Мои размышления совпали с приказом нового директора института о повышении коэффициента полезного действия сотрудников. В приказе, подписанном Черных, в частности, говорилось, что в течение рабочего дня никто не имеет права не только говорить, но и задумываться ни о чем постороннем. А кто задумывается, у того будут вычитать из зарплаты. Ведь там уже и вычитать не из чего. Поскольку я всегда задумываюсь о чем-нибудь, то из отдела кадров мне позвонили и сообщили, что приказом нового директора я уволен, как злостный нарушитель трудовой дисциплины.

**СЛЕДОВАТЕЛЬ.** Вы считаете – несправедливо?

**РАКУША** (*с иронией*). Теперь это, по-видимому, не имеет значения. Меня оскорбило, что исследование, которым я занимался три года, прервано столь хамски извне и меня же в этом обвиняют. Тогда я решил действовать. У меня было два факта: болезнь Черных и его карьера. Третьим фактом был я сам. Для чего про меня распустили гнусные сплетни? Почему я уволен? С той минуты, как я начал искать концы, кто-то следил за мной. Я понял: спецотдел меня преследует.

**СЛЕДОВАТЕЛЬ.** Но ведь и вы преследовали!

**РАКУША.** Я добивался только правды и хотел работать. Я пытался попасть к новому директору института. И решился на



унижение, но оказалось, что попасть к нему невероятно трудно. Говорили о том, что он сверхэнергичен и все делает мгновенно. Я этому не верил. Я знал, что он бывает в кабинете с утра один час и в это время не принимает, а лишь отдает распоряжения по телефону. Ровно в девять утра он пронесится по лабораториям, здоровается со своими замами и скрывается в кабинете. Этот-то момент я использовал.

**СЛЕДОВАТЕЛЬ.** А как вы попали внутрь?

**РАКУША.** У меня не успели отобрать пропуск. Я прогуливался по коридору около девяти. Наконец появился Черных. Он еще больше побледнел с тех пор, как работал у меня. Его сухое лицо вытянулось, глаза безумно сверкали, на его лице не шевелился ни один мускул. Я повернулся к нему спиной. Когда он пролетел в дверь кабинета мимо секретарши, я двинулся за ним, отставая на полшага, чтобы секретарша подумала, что я иду с ним. Черных оглянулся. Но это было уже тогда, когда мы оба вошли в кабинет.

*Затемнение.*

## КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА. ЧЕРНЫХ И РАКУША.

**ЧЕРНЫХ.** Кто разрешил вам войти сюда?

**РАКУША.** Никто, Черных. Я прокрался. Спецотдел прав, назвав меня вором. Но теперь мне нечего красть!

**ЧЕРНЫХ.** Советую забыть об этой краже. Наш институт, Ракуша, сейчас интересуют более важные проблемы глобального масштаба. Ваша работа – вчерашний день нашей науки. С какой целью вы пришли?

**РАКУША.** У меня есть новые идеи. Я хочу предложить себя институту. От этой сделки, как вы понимаете, зависят и ваши дальнейшие успехи. Предлагаю знания, энергию, опыт. Могу работать шестнадцать часов в сутки, восемнадцать, двадцать – без починки, пока не умру. Можете разобрать меня на части, Черных. Я хорошо знаю, что моя старая машина не была запрограммирована воспринимать иронию. Сейчас вы молчите, обрабатывая полученную информацию. Интересно, что вы возразите?

ЧЕРНЫХ (*снимает и держит одновременно две телефонных трубки*). Но нам не нужен ваш ум, Ракуша. Умов у нас сколько угодно.

РАКУША. Какой же ученый вам нужен? (*Берет на столе мраморную подставку для книг и вертит в руках*.) Интересная безделушка...

ЧЕРНЫХ (*в обе телефонные трубки*). Срочно доложите о состоянии исследований по темам номер 236 и 251! (*Ракуше*.) Нам нужно, чтобы сотрудник не переставал интересоваться делами института ровно двадцать четыре часа в сутки. Больше нам не нужно. (*Смеется*.)

РАКУША. Двадцать четыре я не могу! Ни одна машина не работает без отдыха.

ЧЕРНЫХ. Так то машина! А у человека резервы больше, чем у машины. Это мы и заложим в его новую программу.

*Ракуша пытается ухватить Черных за пиджак и выгибается от судороги.*

РАКУША (*корчась*). Я коснулся электрического провода! (*Кричит*.) Получи премию, карьерист! Посмотрим, кто из вас тверже – ты, или мраморная подставка! (*Бьет*.)

ЧЕРНЫХ (*стонет*). Охрана!

*Он успевает нажать сигнал.*

*Драка. Ракуша бьет Черных еще и еще. Черных кругами, как заведенная игрушка, идет по ковру и падает.*

РАКУША (*наклоняясь над ним*). Замыкание в системе контроля движения.

*Затемнение.*

## ОПЯТЬ КАБИНЕТ СЛЕДОВАТЕЛЯ. СЛЕДОВАТЕЛЬ И РАКУША.

СЛЕДОВАТЕЛЬ (*потирает руки, довольный тем, что допрос удался*). Так, так, Ракуша... И что же?

РАКУША. Когда он упал, я наклонился над ним. Я убедился, что мой удар пришелся по пластмассе. В его черепе вставлены пластинки. А под ними... Вот как он болел!

СЛЕДОВАТЕЛЬ (*перебивает*). Ну и что дальше?

РАКУША. Дальше? Вбежали двое в штатском, вывернули мне руки, вывели и затолкали в машину. Я спрашиваю, за что меня будут судить? Снова заявляю: я инженер-электронщик, занимался нейрокибернетикой. Мое изобретение в виде так называемого Черных поставлено на место директора научно-исследовательского Института нейрокибернетических систем. (*Кричит.*) Имеют ли право судить меня за то, что я сконструировал недостаточно совершенный автомат и поэтому сам его разбил?

ДВА ОХРАННИКА НАДЕВАЮТ РАКУШЕ НАРУЧНИКИ.

*Конец фильма.*

## КОГДА ИСПОЛНЯЕТСЯ 176

Утром в день рождения Дубов сладко потянулся, включил экран новостей и прочитал недвусмысленное сообщение, что в интересах всего человечества настало его время отвезти в облачную газету объявление о своей добровольной смерти. Газета проецировалась в небе на туманных полотнищах и была видна всем.

Ему исполнилось 176. Возраст обозначался рядом с номером дубовского дома. По закону Дубов мог выбирать: перейти в иной мир сейчас или получить отсрочку в Агентстве по делам расселения, переселения и перенаселения. Рассрочка долго рассматривалась и давалась в связи с особыми заслугами подателя ходатайства, каковых у Дубова не было. А ведь еще недавно разрешалось жить до ста девяноста девяти! Но, в конце концов, самоликвидация – не такое уж неприятное дело для человека, которому абсолютно нечего делать.

Единственное, что удерживало Дубова, это была неосознанная потребность кого-то оставить в жизни после себя. На этот счет официальных ограничений не было. И Дубов, вопреки своим старым предубеждениям, женился. Трудно сказать, зачем. Может быть, надоело двигаться одному, а может, это была последняя попытка противодействовать окружающей его инертности. Словом, он дал Дубовой свое имя и свой катафалк, как он называл передвижной дом, в котором жил, и теперь день за днем и месяц за месяцем они двигались вместе.

Дом плавно нес их по лабиринту дорог. День сменялся ночью, и ночь таяла. Иногда засыпал Дубов, иногда Дубова,

иногда оба вместе. Дом двигался размеренно, с одной и той же декретной скоростью 20 метров в секунду. Лишь иногда он замедлял ход, приближался к торчащим из земли отросткам, присасываясь к ним вытягивающимися хоботками, чтобы заправиться энергией.

Справа и слева от Дубовых до горизонта шли полосы, и по ним плыли в одну с ними сторону и навстречу такие же дома. Семьями и по одному сидели в них люди – веселые и хмурые, чаще равнодушные. С такой же напряженностью и сосредоточенностью, с какой дом нес Дубова вперед, встречные дома несли людей назад. Встречные были уверены, что это они мчатся вперед, а Дубов и прочие – назад. С тех пор как был принят закон обязательного движения, останавливаться или съезжать с размеченных цветными полосами линий было запрещено.

Дубов вспомнил: когда он был совсем мальчишкой и ходил в Профессиональное училище распространения движения, в городе были высокие стеклянные дома, но поток движущихся квартир становился все сильнее. Им стало тесно на улицах, и тогда решили сносить дома, а на их месте строить дороги. Все равно большую часть жизни люди обязаны были проводить в движении. Стоящий на месте дом стал считаться пережитком прошлого. Живя в таком доме, ты не можешь постоянно двигаться вперед, а это необходимо. На дороге ты всегда на виду. Ни у кого не может возникнуть дурных мыслей относительно твоей интимной жизни.

Сады и парки тоже убрали из города, ведь все равно никто добровольно пешком не ходил. На консилиум по выборам городского магистрата все съезжались в полнолуние и количеством сигналов, которые в обычное время запрещались под страхом ходить пешком, голосовали за одного кандидата. По утрам домов касались передвижные школы, которые втягивали к себе детей, а днем родители вытягивали своих детей оттуда.

Помнил Дубов и другое время, когда только еще стал зрелым. Идея освободить человека от управления движущимся домом привела к излишней самостоятельности передвижных домов. Наступила эра избыточной независимости вещей. Дома сами стали решать, куда везти людей. В результате слишком увеличилась смертность от голода и болезней, потому что машины никак не хотели соизмерять свои желания с потреб-

ностями людей. Кое-где дома стали самовоспроизводиться. И тогда полную автоматизацию домов запретили.

Откинувшись на спинку кресла, Дубов глядел вперед. В этом есть что-то вечно увлекательное: просто сидеть, просто смотреть и провожать глазами убегающую под тебя дорогу жизни. Дубова сидела рядом, и взгляд ее также вяло скользил вперед. Они почти не разговаривали, поскольку людям, достигшим согласия, не о чем спорить или обмениваться мнениями. Все понятно без слов. Едешь и думаешь, о чем хочешь, или просто не думаешь. Можно припоминать прошедшее – страшное или приятное. То и другое вспоминаешь с улыбкой, спокойно, потому что знаешь: ничто, кроме однообразной дороги, повториться не может. Изредка Дубов бросал взгляд на Дубову. Ее профиль с чуть пухлыми губами был ему мил.

С Дубовой он познакомился в Молодежном клубе внетехнических связей. На верхней галерее были специальные подъезды для стариков. У большой арены в центре передвижные дома приглашали друг друга и танцевали. Они отталкивались, становились на дыбы и, извиняясь, разъезжались в стороны. Между парами металась бронированная кубы-регулирушки, наказывая ударами электрического тока тех, кто выполнял па из запрещенных танцев.

Увидев через ветровое окно девушку с припухлыми губами, Дубов понял, кого он искал последние полвека. По видеофону он набрал номер ее дома. Дубов для начала выругался. Сказал, что ненавидит ее, что терпеть не может ее предков и ядовитый цвет ее дома. Брань осталась единственным проявлением человечности. И маленькая девушка сразу вспыхнула, правильно приняв обидные слова за объяснение в любви. Они съехались у выхода, потом ее дом сдали под расписку в школу, где его получит очередной совершеннолетний...

Стройный ход мыслей Дубова прервал красный сноп света, ослепивший глаза. Зашипели тормоза, дом замер. Глаза у Дубова потускнели, а у Дубовой расширились от сострадания. Перед замершими потоками движущихся домов конвой из четырех полицейских кубов вел поперек дороги вереницу людей. Они брели понуро, одетые в серые робы. Это были провинившиеся, те, которые пытались переоборудовать свои дома для ручного управления, чтобы ехать по собственной воле, куда им

хотелось. Путь их был бесконечным. Они обречены ходить пешком разные сроки: двадцать семь лет, пятьдесят один, сто четыре года. Долголетие, которого удалось достичь благодаря успехам медицины, дало возможность правосудию более справедливо и гибко применять к виновным сроки наказания, представлявшие собой сокращение срока жизни.

Загорелся зеленый, и дома рванулись дальше.

Дубов почувствовал, что наметилась граница города. Он не увидел, а скорее угадал, по едва уловимым запахам понял, что вдали, за поворотом, лежит узкая полоска леса, зеленого хвойного леса...

В лесу Дубов не был лет восемьдесят, а может, все девяносто. Нынешнее поколение и не ведает, что такое свежий запах леса. В школах их учат, что воздух – это газ для дыхания, сперва отравленный гарью свинцовых батарей, а потом, благодаря мудрой заботе Высшего Совета, очищенный системами кондиционирования. Запах натуральной зелени, учат их, вызывает аллергию, удушье, общий диатез и конъюнктивит, поэтому зелень в городах полностью уничтожена.

С каким удовольствием Дубов отдал бы всю свою жизнь за то, чтобы провести несколько часов в лесу, на берегу ручья! Но этого не будет. Он шагнул в возраст, когда нужно уходить в вечность. Старики и в самом деле обязаны думать об интересах общества. Раньше был, а теперь отменили льготный год на размышления. Вот-вот позади его дома окажутся два черных куба. Они будут преследовать его, пока он не покончит с собой, рухнув в пропасть. Затем дом вместе с владельцем пойдет на переработку и превратится в порошок, из которого будут делать новые дома.

Перед домом Дубова замигал запретный знак. Дом развернулся по виадуку и пошел под небольшим углом к предыдущему шоссе в противоположный конец города, чтобы там снова свернуть и снова двигаться дальше.

Когда дом поплыл, удаляясь от узкой синей полоски леса, у Дубова больно защемило сердце. Он знал, что у Дубовой скоро родится его мальчик. Хорошо, что разрешили мальчика. Потом все снова пойдет своим чередом. Дубов отдаст его в школу, куда отдал двух девочек от предпоследней жены. Мальчик станет совершеннолетним, получит свой передвижной дом

и будет двигаться до ста семидесяти шести, как двигается сам Дубов, если к тому времени срок жизни из-за перенаселения не сократят декретом еще на десять лет. Мальчик не будет мечтать об узкой синей полоске леса. Он никогда не узнает, что это такое.

Дубов стряхнул с себя унылые мысли и напряженно посмотрел в глаза Дубовой. Она поняла его. И хотя была молода и могла двигаться еще 152 года, она согласилась и в знак согласия закрыла глаза.

После этого они двигались еще некоторое время. Пока Дубов ждал мальчика, он тщательно обдумывал свой проект. Он взвешивал детали, много раз подъезжая к концам города, выбирал подходящее место. Дом подвез Дубову к Медицинскому дому и ехал за ним, пока она не вернулась обратно с мальчиком. Теперь у Дубова осталась одна мысль, и он стал ждать подходящий момент.

Рассветало, когда их дом в очередной раз приближался к окраине города. Перед самой окраиной Дубов оглянулся: позади шел еще один дом. Дубов посмотрел на жену, которая сидела рядом с мальчиком на руках, и решился.

Прежде чем притормозить, он пальцем оборвал провод связи с Центром сбора информации о нарушениях в его доме. Теперь можно сорвать пломбу на рычаге управления, что категорически запрещено. Оставалось взяться собственными руками за руль. Дубов осторожно, с непривычки робко и нерешительно, притормозил. Дом, который шел за ними, медленно обогнал его. К счастью, он был пуст.

Круто повернув руль вправо, под запрещающий знак, Дубов съехал с дороги и медленно пополз вдоль оврага. В лице его появилось что-то отчаянное, почти фанатическое. Дубова ничего не спросила, закусил губу и крепче прижала к себе сына. Покачиваясь на рытвинах, дом двигался вперед, туда, где на горизонте мелькнула узкая полоска леса.

Весь день добирались они до этого леса. Почти не спали. Воздух становился все чище и бодрил их. Вот дом скользнул по узкой косе к лесу, въехал в него, закачался на рытвинах.

Еще немного осталось, подумал Дубов.

Они спустились вниз и скоро очутились у речушки. Здесь Дубов остался бы на всю жизнь. Он смотрел, как Дубова выско-



чила из дома, положила мальчика на траву, легла рядом, и руки ее свесились в воду. Блики красного солнца золотили ее парик.

Дубов глядел на них и нервничал. Он то и дело оглядывался. Неосознанный страх не давал покоя. Регистраторов его смерти – черных кубов – не было. Но пройдет еще несколько часов, и информационный центр хватится, что человек исчез, не дав объявления о смерти. Будут объявлены поиски, и тогда страшному наказанию подвергнутся все трое...

И он осознал: надо возвращаться, чтобы не искали.

Он ничего не сказал. Он оставил Дубовой все, что мог: провиант, воздух, медикаменты, которые смог вынуть из дома. Дубова поняла, что он уезжает и они никогда больше не увидятся. Она не заплакала. Она стояла рядом с ним, держа на руках мальчика. Они смотрели в глаза друг другу. Он резко повернулся и пошел.

Давно он уверил себя, что совершенно разучился думать, но теперь он заставил себя размышлять о них. Они спокойно и счастливо проживут здесь сколько-то времени. А после? Трудно сказать, что будет после. После не будет ничего. А пока главное, что утром мальчик увидит живое солнце, выходящее из-за леса, реку, траву, живых птиц. Разве этого мало?

Дубов сел в дом, развернулся и, не оглядываясь, рванулся вперед. Больше в его жизни не осталось ничего. Очень скоро он вернется на дорогу к городу. Он даст объявление о своей смерти и под контролем черных похоронных кубов ринется в пропасть. В пропасть, куда ежедневно отправляются все те, кому исполнилось 176.

# **СТИХОТВОРЕНИЯ**



Гравюра Э.Неизвестного

## ПТИЦЫ

Что гонит птиц на север с юга?  
Здесь низко бродят облака,  
Того и жди, нагрянет вьюга.  
Какая тянет птиц тоска?

Зачем им в темноту стремиться,  
Из плодородья в недород?  
Искать в глуши подругу, виться,  
Зачать и сгинуть – вот исход?

Быть может, в генах эта мука  
Струной протянута в века?  
Смесь магнетизма с ультразвуком,  
Не выясненная пока?

Нет! Птицам, в мрак летящим с юга,  
Не чужд людской наш интерес:  
О смысле думаем мы туго.  
Цель – между целями. Процесс.

*Коктебель,  
1967*

## **МОЙ ПРИЯТЕЛЬ КНИГУ НАПИСАЛ**

Мой приятель книгу написал,  
Так легко и просто написал.

Но его ботинки не соврут,  
Сколько пыли спрессовал маршрут.

Друг домой вернулся, в ту тюрьму,  
В одиночку, где сидеть ему.

Делай проще! Не мудри! Солги!  
Он молчал, росли его долги.

Вырвал с корневищем телефон,  
Чтобы не тревожил память он.

Ни в кино, ни в гости не ходил,  
По ночам по улицам бродил.

Далеко он мыслями витал  
И газет ни разу не читал.

Засыпал, когда восход алел,  
Побледнел, стал желтым, заболел.

Умер он. И утерев слезу,  
Гроб друзья на кладбище везут.

Вдруг встает в гробу приятель мой:  
«Извините, надо мне домой.

Есть идея – хватит мне и дня!  
Вы тут хороните без меня».

Машинистке рукопись отнес  
Поседевший до корней волос.

Я спросил: «Ну как, старик, дела?  
Вот тебя и слава догнала».

«Догнала, – слышалось в ответ. –  
Сколько мне дадут за это лет?»

Мой приятель книгу написал.  
Очень просто: взял и написал.

*Москва,  
1968*

## КОНКУРС ЖЕНИХОВ

На короля сошла идея  
Найти для дочки жениха,  
Чтоб был всех жителей умнее  
И без единого греха.

Ох, как бы не осталась в девах!  
«Да, да, – заметил старший лорд. –  
На всякий случай правых-левых  
Пока сошлите на курорт».

«А можно ли за иностранца?» –  
Послы заморские гурьбой.  
Ответ: «Не сомневайтесь, братцы!»  
Мыслишка: «Все же лучше свой».

Идея овладела массой,  
И все играть рванулись роль.  
«Следите пристально за кассой», –  
Велел охранникам король.

Богатый кинулся к сберкнижкам.  
Солидный подъезжал в такси.  
Кто всех хитрей, вертел умишком.  
Культурный повторял: «Мерси».

Толпились у дворца красавцы –  
Копытом били жеребцы.  
И все уверены, мерзавцы:  
Коль не женюсь, возьмут в отцы.

Кто всех честней, искали связи.  
Кто всех глупей, пускали дым.  
И морду били без okazji  
Те, кто сильнее, остальным.

Газон помяли в тронной драке,  
Не приведи господь во сне.  
Сказал король: «Вот забияки!  
Что за народ в моей стране?»

А дочь хихикала и только,  
Спеша в свой университет.  
Там ейный однокурсник бойко  
Стрелял валюту на обед.

Они бежали от занятий  
И, лёжа, обсуждали с ней  
Насчет свобод, и демократий,  
И королевств без королей.

*Москва,  
1969*



## СМЕРТЬ ЕЩЕ ОДНОГО ПОЭТА

*Д.Шостаковичу*

Дремала ночь на ветках сосен,  
Когда я уходил. И мне  
Он бормотал стихи про осень,  
А истина была в вине.

Установила неотложка  
Не то инсульт, не то инфаркт.  
Сидела возле рюмки кошка,  
Следя, как составляют акт.

У ямы плакали недолго.  
Никто не чувствовал вины.  
Невдалеке чернела «Волга»,  
В ней сладко спали топтуны.

Все очень просто оказалось,  
И тело дадено земле.  
А рюмка полная осталась  
Забытой на его столе.

Гранит на выручку срубили,  
Продав разбитое авто,  
Издать решили кое-что,  
Да из-за суеты забыли.

И все, что было, – шито-крыто.  
Стихи топтун спалил в огне...  
Жаль рюмку ту, что недопита:  
Осталась истина на дне.

*Комарово,  
1969*

## ПОПЛАВОК

*Л.Копелеву*

Я вам расскажу об одном человеке.  
Возможно, и вам он немного знаком.  
Живет и работает в нашем он веке,  
А думает в веке каком-то ином.

Не верит тому он, что пишут газеты,  
И время проводит неведомо где.  
Он мимо ушей пропускает куплеты,  
Которые все повторяют везде.

Ему говорят: «Повышают зарплату.  
Купается в счастье советский народ!»  
А он отвечает: «Народ наш, ребята,  
Запуган на три поколения вперед».

Уверены власти, что он неудачник.  
Его дрессируют, прикрикнув: «Алле!»  
А он по характеру, может быть, дачник  
На проклятой Богом и грешной земле.

За что ты, Россия, его невзлюбила?  
Несет тебе душу – ты в спину плевков.  
Баюкает лесть миллионов дебилов.  
Ты море, Россия, а он – поплавок.

*Дубульты,*  
1972

## НА МАКУШКЕ БЕРЕЗЫ

(Навеяно Робертом Фростом)

*Бернарду Маламуду*

Когда я устаю от долгих размышлений  
И жизнь, как лес, – не видно и конца,  
Мне не раздвинуть веточных сплетений  
И слез не утереть с горящего лица.  
Исхлестанный ветвями чуждых мнений,  
Хотел бы я тогда покинуть этот край,  
Чтобы вернуться после всех сомнений.  
Пока ж игра судьбы: мне обещают рай,  
Но не дают его и не дают вернуться.  
Здесь место для любви, и лучше нет.  
Узнать я не могу, где линии сойдутся.  
И где конец пути. Сквозь веток черноту  
Уходит белый ствол и видит Божий свет.  
Но, дрогнув, дерево сгибается, пружиня,  
Я, сброшенный назад, теряю высоту.  
Одним уж лучше землю, хоть не ту,  
Другим – опасное качанье на вершине.

*Москва,  
1977*

## ПРОВОДЫ

Флаг Родины над полем гордо реет.  
Последний рейс. Увозят навсегда.  
Войдут товарищи, а выйдут господа.  
Ну, что глазеть? Евреи как евреи...

Они вывозят – кто детей, кто мебель,  
Кто Пушкина, кто Сталина портрет,  
Кто колос оставляет здесь, кто стебель,  
А у кого и вовсе корня нет.

Кто виноват? С ума ли, сдуру  
Они пришли на царственный авось.  
И создавали русскую культуру,  
Да вот своей создать не довелось.

Задумывали общества леченье,  
Провозгласив Утопии восход.  
И вот, по диалектике Ученья,  
За максимумом следует Исход.

Таможенники дремлют, но не спят,  
Притыривая все, что им понравится.  
Шмонает Родина вас с головы до пят,  
Отдайте все. Пусть ум при вас останется.

И не спешите праздновать обедню.  
Не знаю, где на ненависть лимит.  
Зеленый пограничник – не последний  
На жизненных путях антисемит.

Аэрофлот вам поднесет вина,  
«Катюшу» стюардесса запекает.  
На хлеб и СОЛТ меняет вас страна,  
А остающихся на что еще сменяют?

Гонителям не лучше жить, поверьте:  
Для вас хоть рейс, для них и щели нет.  
Им до конца молчания обет,  
Им лозунги читать до самой смерти.

Я не забуду, как чадит коптилка,  
Как ел траву, почему был лиха фунт.  
Вся жизнь моя – сплошной эвакупункт,  
Страна моя – большая пересылка.

Летит и тает молодой снежок,  
Не зная ни америк и ни азий.  
Мы остаемся. Выпьем посошок  
За тех, кто там, кто тут и кто в отказе.

О Боже, не суди нас слишком строго.  
Всем без разбора с миром помоги.  
Тебе, дружище, дальняя дорога.  
Давай по-русски сядем. И – беги!

*Москва,  
1979*

## **ЖЕНЩИНА И МУЖЧИНА**

Предназначение женщины – постель.  
Когда кружит над головой метель,  
Когда от снега все белым-бело,  
Мужчин спасает женское тепло.

Предназначение женщины – очаг.  
Кастрюли отражаются в очах.  
Она способна накормить весь свет,  
Но рук красивых кончится балет.

Предназначение женщины – стихи.  
Без лирики глаза ее сухи.  
Молчание – прокисшее вино.  
Страдание – беззвучное кино.

Мужское назначение – война.  
За кровь и смерть на нем висит вина.  
Прошел мужчина – значит, дело дрянь.  
Он там, где дым и драка, пьянь и брань.

Мужское назначение – загул.  
Вот он опять куда-то улизнул.  
Остепениться бы ему пора.  
Но где его собачья конура?

Его стихия – проза. Он творит.  
Но чаще не творит, а говорит.  
Он в табаке, щетине и словах,  
Он потом лености на век вперед пропах.

Два пола вместе – дьявольский портрет:  
Вода – огонь, смешенье *да* и *нет*.  
Скрещенных линий точку назови, –  
Твой зодиак нам ясен, он – в любви.

Любовь – постель, и в ней военный гул.  
Любовь – очаг, и рядом с ним загул.  
Стихи и проза, смесь добра и зла,  
Аннигиляция. И результат – зола.

Священный бред, счастливая беда  
Нам так необходимы иногда.

*Пяру,*  
1980

\* \* \*

Любовь жива намеками,  
От взгляда и до взгляда.  
Играется потоками  
Река у водопада.

Любовь жива движеньями,  
Как танцевальный круг,  
Балетными круженьями  
Двух пар лебяжьих рук.

Любовь жива контактами,  
Соединеньем тел.  
Душевыми контрактами,  
Где физика – предел.

Любовь жива приливами,  
От встречи и до встречи.  
Нет мира под оливами –  
Есть мир на этот вечер.

*Пярну,  
1980*



\* \* \*

Пусть говорят, мол, любят ни за что.  
Знай: я люблю тебя за это, и за то,  
И за вон то, что часть совместного секрета,  
За кое-что еще, а также вот за это.  
Да два-три важных за в запасе остаются  
И объяснению пока не поддаются.

*Москва,*  
*1980*

## ТОЧКА «ЗЕТ»

Влюбиться, разлюбить – шаги просты,  
Как в зной сгореть или в мороз простыть.  
Толстой сказал, мужчине врать нельзя,  
Лгать женщине – обычная стезя.

До точки «зет» ложь укрепляет мир,  
Льстит, завлекает, обещает пир.  
За этой точкой занавес. Мороз.  
Могильный холм. Кусты опавших роз.

Я не могу любить тебя и лгать.  
Вгляни кругом: какая мразь и гадь.  
Смотри: все всё у всех вовсю берут  
И всем за это столь бесстыдно врут.

Бывает, надо лгать, но не всегда ж!  
Не в силах больше я тащить такой багаж.  
Остановиться, знаю, нелегко,  
Как руку дотянуть до облаков.

Но кто поймет, любовь или обман,  
Когда любовь с обманом – атаман?  
Давай не будем врать до точки «зет»,  
А после – ври. И пусть сгниет весь свет!

*Москва,  
1980*

## ПАРТИЯ В ШАХМАТЫ

Гроссмейстером он не был никогда,  
К ферзям чужим рукой не прикасался,  
Не знал он, радость то или беда,  
Когда в цейтноте лично оказался.

Партнеры в напряжении у доски,  
Фигуры перемешаны во мраке,  
И видно, как пульсируют виски  
У короля в преддверии атаки.

Век краток, и размах уже не тот.  
Другой король на поле побеждает.  
Вокруг слонов и пешек целый взвод.  
Защита королеву унижает.

В ней Лариной с Карениной конфликт.  
Другой король – конфликта продолжение:  
Морали отрезвляющий вердикт  
И страсти растлевающее жжение.

И впору снять тяжелый свой венец.  
Нет выхода: банальность ходит рядом.  
Как доиграть той партии конец?  
А может, просто: выхода не надо?

*Москва,  
1980*

## ПРОСТИ МЕНЯ

Мы будем пить с утра и вечером молиться,  
А утром снова пить, как пили мы вчера.  
Когда дано любить, но не дано жениться,  
Нам остается пить, а прочее – мура.

Нет истин на века. Есть на века сомненья.  
Стремясь спасти себя, гляжу в твои глаза:  
Сливаются в одно тревоги поколенья,  
Зеленая трава и неба бирюза.

Разлито в мире зло, а счастья слишком мало.  
Бог руку протянул – надавит кнопку «стоп».  
И только ты и я хотим начать сначала,  
Но где же наш ковчег, чтоб пережить потоп?

Прости меня, прости за пьянство и за трезвость,  
За все грехи мои, пожалуйста, прости.  
Прости меня, прости за грубость и нерезвость,  
За то, что не могу отсюда увезти.

Мы будем пить с утра и вечером молиться,  
А утром снова пить, как пили мы вчера.  
Когда дано любить, но не дано жениться,  
Нам остается пить, всё прочее – мура.

*Москва,  
1980*

## **РАЗМЫШЛЕНИЕ О ЦЕННОСТИ ЖИЗНИ**

Восьмой он кончил класс, когда ее зачали,  
Строчил стихи, считая, что голосок был чист.  
Покуда пол ее едва ли различали,  
Он с женщиной другой не ведывал печали,  
И был он вроде как известный журналист.

Прикованный, как раб, к литературной тачке,  
Несет теперь свой крест, чего-то там творя.  
– Зачем она тебе? – ему твердят чудачки. –  
Не мог ли выдумать полегче ты задачки?  
И брачный риф опять – уж это вовсе зря...

Ее другой учил, как надо делать это.  
И он учил других, таков был жизни пир.  
Теперь не есть, не пить ей без его совета,  
Не видеть без него ей ни весны, ни лета,  
Он в ней, и для нее он есть война и мир.

Каким трудом дается всем отрыв от стада!  
Устелен путь людской немеркнувшим дерьмом.  
Бетонная плита для всех в конце награда,  
Но в жизни для двоих ничтожно мало надо,  
К тому же блуд смирен взрослеющим умом.

Никто под их приезд не станет стричь газонов  
И в Нобелевский лист внести не поспешит.  
Тяжелый риск любить без действенных резонов  
И при отсутствии церковных перезвонов:  
Два крылышка летят, а хвостик не пришит.

Нет проку от вещей и радости от денег.  
С собой брать нечего, поскольку он не Ной.  
Он лишний здесь, простой советский шизофреник:  
Плетет из слов венок, а тот похож на веник.  
Слова его хранить придется ей одной.

Всё тягостней звучат газетные отчеты,  
Всё уже круг друзей, и мысли об одном:  
Слова его зарыть ей предстоят заботы,  
Чтоб повод не давать Лубянке для охоты,  
И посадить травы на холмике лесном.

*Москва,  
1980*

## НОЧЬ С 11 НА 12 МАРТА 1981 ГОДА

Тупая боль. Туман от нитроглицерина.  
Ноль-три. Инъекция. Носилки. Впалость щек.  
Восьмидесятилетние скрипач и балерина:  
Она уже в раю, а он со мной еще.

Анализы. Анамнез. Духота палаты.  
Скрип кардиографа. Таблетки. Унитаз.  
Кокетство доктора. Кровь, вытертая ватой.  
Шофера пьяного бредовый перепляс.

Тюремная похлебка. Храп. Глухой лунатик.  
Прошедший через все лихой Эрнест...  
Как вечность, эта ночь. Но твой в дверях халатик,  
И, кажется, смогу взойти на Эверест.

Ну не взойти – вползти. А не вползти – пытаться.  
Ты только не забудь: чтобы сползти назад,  
Понадобятся ношпа, может статья,  
Валокордин, нитронг, сустак, мепробамат.

*Москва,  
1981*

\* \* \*

Нельзя любить из чувства благодарности  
За прошлые великие заслуги.  
Что было, то растрчено на малости,  
Не нанимайся прошлому в прислуги.

Немыслимо любить за обещания:  
Дороги в ад намереньями крыты.  
Не ожидая в будущем прощания,  
Играешь до конца – и карты биты.

Вчера был у меня сердечный приступ,  
И дышится сегодня чуть свободней.  
Я жив. Я у тебя на шее висну.  
Люби меня, пожалуйста, сегодня.

*Москва,  
1981*



## СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕГИЯ

Ко мне приходит милая, и вот  
Вращение земное замирает.  
То осень, то весна уже который год.  
Бог, как ОВИР, нас долго проверяет  
И, как ОВИР, ответа не дает.

И убегает милая моя.  
Свиданья день – среда иль понедельник.  
Сижу один, как пес бездомный, я.  
След рук ее храню – то мой ошейник,  
Моя свобода, каторга моя.

Опять приходит милая моя  
И с нею вместе сложная задача.  
Ведь с нетерпеньем ждет ее семья:  
Сын, муж, отец, мать, бабушка и дача.  
На всех на них готов жениться я.

Жду час за часом милой силуэт,  
Но вот она звонит по телефону,  
Что занята, что после, что привет...  
И жизнь уподобляется вагону  
Без рельс и графика. Плацкарты тоже нет.

Ко мне приходит милая моя.  
И убегает милая моя.

*Москва,  
1982*

## МОЕЙ ЗНАКОМОЙ ВОСЬМОГО МАРТА

*В.Л.*

Забудем беды, слезы  
И жизни дребедень.  
Желаю вам мимозы  
Встречать и в будний день.

А если будем живы,  
Хочу, хоть нелегко,  
Увидеть Рим, оливы,  
И вас недалеко.

Восьмое будет марта,  
Мимоз дремучий лес.  
И девочки с Монмартра  
Толпой – в трико и без.

Ну, а не хватит силы  
Нам побывать в раю,  
Останемся в России,  
У мира на краю.

Когда сыграю в ящик,  
Иметь прошу в виду,  
Что я любил вас чаще,  
Чем только раз в году.

*Эссендуки,  
1982*

## РОГ ИЗОБИЛИЯ

Из рога изобилия немного  
Нам достается. Ну, а почему?  
Хотел бы я хоть раз услышать Бога,  
Но тайна всё, известное ему.

Куда идем вихляющей походкой?  
Вперед? назад? к блаженству? или в ад?  
История, как очередь за водкой:  
Кто достоин, проглотит результат.

Жизнь – магазин, торгующий удачей.  
Товара нет, и время не течет.  
А завезли, так, может, нету сдачи  
Или опять закрыли на учет.

*Москва,  
1984*

## КРОВАТЬ «ЖЕЛАНИЕ»<sup>1</sup>

*Бывают ночи: только лягу –  
В Россию поплывет кровать.  
И вот ведут меня к оврагу,  
Ведут к оврагу убивать.*

*В.В.Набоков*

Размышлял Набоков об этом,  
Лежа в Штатах. А мне как быть?  
Днем и ночью, зимой и летом  
Я в России. И не уплыть.

Нет, меня не вывезли предки  
В Лондон, Ниццу и Амстердам.  
Жизнь моя – это их пятилетки,  
Ленин, Сталин, колхоз и БАМ.

Убивают меня не в оврагах  
(Все овраги полным-полны).  
Участковый приходит в крагах,  
Под окном дымят топтуны.

Нынче судят нас по указам,  
Письма прячут, лишают сна.  
В лагерях убивают не разом,  
А трудом от зари до темна.

---

<sup>1</sup> Название навеяно Тенниси Уильямсом (*The Street-Car Named Desire*).

Всё святое обгаживать густо  
Научились они давно.  
Убивают своим искусством,  
Театром, книгами и кино.

Убивают меня тихой сапой  
Пропагандой их рифмачей;  
Даже то, что от мамы с папой,  
Забываю от их речей.

Злоключения ностальгии...  
Убивают меня они.  
Как хотел бы я быть в России  
Всей душою! Но телом – ни-ни.

Только лягу – и вижу чудо:  
Из России плывет кровать...  
Но звонок – и пришли паскуды.  
На Лубянку везут опять.

*Москва,  
1984*

## ОДИННАДЦАТЬ ЗАПОВЕДЕЙ

Избегать в инструментах трубы,  
Не вникать в то, что треплют старушки,  
Не бояться давленья судьбы  
И быть искренним в чувствах, как Пушкин.

Сохранять ощущение весны,  
Жить апатией к дракам престола,  
Научиться осмысливать сны  
И поменьше сосать валидола.

Умереть от любви, как в кино.  
После смерти, как Кафка, издаться,  
И, совсем уж немыслимо, но –  
В виде пепла не здесь оказаться.

*Москва,  
1984*

## ПЕРО И ШТЫК

*Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо.  
В.В.Маяковский*

Когда энтузиаст и горлодер  
Мечтал об этом на потребу шефа,  
Стихами украшал фасад он блефа,  
А заодно удабривал террор.

И вот к штыку приравнено перо,  
Машинка уступила автомату.  
С женой браниться, стало быть, старо.  
Я, если что, швырну в нее гранату.

Любовных писем больше не творю,  
Ну, а когда понравилась мне баба,  
Я ей, стреляя, нежно говорю:  
– Ложись скорей, приказ был из Генштаба!

Теперь все перья съела сталь штыка,  
И каждый автор – партии поручик.  
Не слышно скрипа шариковых ручек,  
Но в каждой букве – ухо из Чека.

*Москва,  
1985*

## ЧЕРЕЗ ВЕК

*Е.Аксельрод*

Я живу в девятнадцатом веке:  
Чин, именье, фамильный альбом;  
Мчит в Париж, через рощи и реки  
Баронесса в карете с гербом.

Баронесса меня так любила,  
Баба Лиза, по роду фон Реш.  
Боже мой, а когда это было?  
Если было, теперь это где ж?

Явь прошедшего чудится где-то,  
Русский запах и пар из ноздрей.  
Царь выходит ко мне из портрета:  
– Стол накрыли? А ну, поскорей!

В прошлом мечешься, будто в загуле.  
Гей, извозчик! Не спи, как таксист!  
У Толстого наскучило в Туле –  
Я к Некрасову резаться в вист.

Если очень захочется в Ниццу,  
Паспорт справлю и двину я вдаль.  
Но вернись кушать щи, а не пиццу,  
Лишь скребнется под сердцем печаль.



Я живу девятнадцатым веком,  
Там брожу я и там я дышу.  
Как остаться мне здесь человеком,  
Если книжку про то допишу?

Нас тогда, в девятнадцатом веке,  
Занимали не только балы,  
Были каторга, ссылка и зеки,  
Петропавловка и кандалы.

Всё простившая бабушка Лиза  
На чекистов не помнила зла.  
Сохранилась открытая виза,  
Только бабушка враз умерла.

И свидетельствуют страницы:  
Был волчонок, а явствует зверь.  
Свет зажгут – притворю я ресницы,  
Срежу провод, закупорю дверь.

Голова моя к строчкам все ближе,  
Мысль не скачет, идет по ножу.  
А машинка умолкнет – и вижу...  
Вижу то я, о чем не скажу.

*Клязьма,*  
1985

## ШЛАГБАУМ

*Шлагбаум (нем.) – опускное бревно,  
которым запирается проезд.*

*В.Даль. Толковый словарь.*

*Нормальное положение шлагбаума закрытое.  
Надпись на шлагбауме.*

Дорога опять перекрыта.  
Жжет солнце, и будка в пыли.  
Людей пропускают сквозь сито, –  
Хошь смейся, а хочешь – скули.

Меня не волнуют детали,  
Звучит лишь знакомый мотив,  
Науку у немцев содрали,  
Шлагбаумы с ней прихватив.

Тут не философии заумь,  
А ейный причудливый зад.  
Шлагбаум. Шлагбаум. Шлагбаум...  
Замри! Ни вперед, ни назад.

Нет, мы не народ. Мы орава.  
Шлагбаум спасает от бед.  
Права есть у всех. Только права  
В отсталом отечестве нет.

Спокойно, привычно, несложно:  
Препятствие счастью – бревно.  
Нельзя даже то нам, что можно.  
Что мыслимо – запрещено.

Повсюду решетки косые  
Родной и любимой тюрьмы.  
Опущенный фаллос России...  
Вы там. За шлагбаумом – мы.

*Москва,  
1985*

## СНОВИДЕНИЯ

*Курту Воннегуту*

Мне счастливые сны не снятся,  
И никто не может помочь.  
Да и было бы чем меняться –  
Сон на сон или ночь на ночь.

То в квартире меня забирают,  
То на стул сажают – и ток.  
То в подъезде меня забивают,  
То допрос, то обыск, то срок.

Темнота подступает с затылка,  
И всю ночь идет маята,  
То Лубянка, то пересылка,  
То психушка, то Воркута.

Видно, им не дано уняться,  
Крысолюдям, что снятся мне.  
Снятся, снятся... А нет, чтобы сняться –  
И от них улететь во сне!

*Клязьма,  
1985*

## БАБОЧКИ

Весна. Круговерть ледохода.  
У бабочки зябнет крыло.  
Похоже, добреет природа,  
И словно растаяло зло.

Блаженство разлито в эфире.  
На даче у нас тишина.  
Но диктор вещает о мире,  
А голос – как будто война.

В тачанки впряженные кони  
Нас топчут копытами слов.  
Предвидел ли это Маркони,  
Который по-русски Попов?

Весны проявления случайны,  
Как бабочки легкой полет.  
Мелькнет – и опять мы печальны:  
Зима, и морозы, и лед.

Склерозные, вялые старцы  
Несут свой пугающий вздор.  
Для мира построили карцер,  
И космос ласкает их взор.

В ушах застревают одна лишь  
Система их мертвых имен  
Да пошлое слово «товарищ»  
С татаро-монгольских времен.

Кто против, приколют булавкой,  
На крылья поставят печать.  
Свобода здесь служит удавкой,  
Полет – чтобы сверху стучать.

И даже любовь в этом разе  
Печальная тропочка в ад:  
Сугубо интимные связи  
Есть путь производства солдат.

Вот бабочка – неудержима.  
Не бабочки мы – ты и я.  
Мы бьемся в сачке у режима  
Под пьяные крики хамья.

И чем мы становимся старше,  
Тем ближе наган у виска,  
Тем громче победные марши,  
Тем гуще глухая тоска.

А мы, дурачки, все порхаем,  
Как бабочки в тот ледоход,  
Мечтая на даче за чаем,  
Что сменим закат на восход.

*Клязьма,  
1986*

\* \* \*

Я верю в Бога своего –  
Не в вашего, не в ихнего.  
И мне не надо ничего  
Для веры той вывихивать.

И церковь дома у меня,  
Мой храм, и лучше нет.  
Компьютер, книги у огня –  
Святой мой кабинет.

И служба вечно в храме том,  
И стены в образах:  
То фотографий полон дом –  
Моих друзей глаза.

*Дейвис,  
1993*





## ПРИМЕЧАНИЯ

### ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ

<sup>1</sup> В.Свирский. Проза Юрия Дружникова. Вашингтон, 1994.

<sup>2</sup> Л.Анненский. Процесс перемещения из одной реальности в другую. «Дружба народов», 1997, №1, с.219.

<sup>3</sup> «Панорама», 1992, №582.

<sup>4</sup> Ю.Дружников. Цена точки. В кн.: Я родился в очереди. Тенафлай, 1995, с.30.

<sup>5</sup> Примечания издательства в кн.: Ю.Дружников. Микророманы. Нью-Йорк, 1991, с.176.

<sup>6</sup> В.Свирский. Там же, с. 15.

<sup>7</sup> Ю.Дружников. Вознесение Павлика Морозова. Лондон, 1988, с.3.

<sup>8</sup> В.Свирский. Там же, сс.36-37.

<sup>9</sup> Ю.Дружников. Доносчик 001. Москва, 1995, с.146.

<sup>10</sup> В.Свирский. Там же, с. 55.

<sup>11</sup> Там же, сс. 6-7.

<sup>12</sup> Ю.Дружников. Русские мифы. Нью-Йорк, 1995, с.8.

<sup>13</sup> Там же, с.9.

<sup>14</sup> Примечания издательства в кн.: Микророманы, с.174.

<sup>15</sup> Ю.Дружников. Русские мифы, с.268.

<sup>16</sup> В.Свирский. Возвращение «Ангелов». Диалог критика с писателем. «Новое русское слово», 2 октября 1992.

<sup>17</sup> Там же.

<sup>18</sup> О.Максимова. Будем надеяться. «Панорама», 29 июня-6 июля 1990, с.15.

<sup>19</sup> В.Свирский. Возвращение «Ангелов». Там же.

<sup>20</sup> Ю.Дружников. Узник России. Москва, 1993, с.8.

<sup>21</sup> Ю.Дружников. Узник России. Москва, 1997, с.312.

<sup>22</sup> В.Свирский. Проза Юрия Дружникова, с.129.

<sup>23</sup> Ю.Дружников. Узник России. Москва, 1997, с.317.

<sup>24</sup> Там же, с.391.

<sup>25</sup> Там же, с.318.

<sup>26</sup> Там же, с.336.

<sup>27</sup> Там же, с.330.

<sup>28</sup> Там же, с.390.

<sup>29</sup> Ю.Дружников. «Покамест я еще не женат...» Литературный витраж. Под ред. В.Крейда и А.Либермана. Нью-Йорк, 1996, сс.103-114.

<sup>30</sup> Ю.Дружников. Узник России. Москва, 1997, с.422.

<sup>31</sup> М.Хейфец. Пушкин: побег из Одессы. «Калейдоскоп», 10 июля 1992.

<sup>32</sup> М.Искрин. Откровения «пушкиноседа». «Патриот», Москва, №24, июнь 1995; В.Рудинский. Ненавистник России. «Наша страна», Буэнос-Айрес, 1 января 1994.

<sup>33</sup> Ю.Дружников. Русские мифы, с.37.

## МИКРОРОМАНЫ

**СМЕРТЬ ЦАРЯ ФЕДОРА.** Написан в 1975-78 для Самиздата, откуда попал на Запад. Впервые напечатан: «Время и мы» (№45, 1979) под названием, данным редакцией: «Смерть Федора Иоанновича». Перепечатан газетой «Новый американец», Нью-Йорк, №96, 19 декабря 1981, и другими изданиями. В России: журнал «Октябрь», № 12, 1994.

**РОЗОВЫЙ АБАЖУР С ТРЕЩИНОЙЙ.** 1963, Москва — 1988, Остин, Техас. Опубликовано: «Время и мы», №103, 1988.

**ДЕНЬГИ КРУГЛЫЕ.** 1969. Впервые опубликован с большим количеством купюр в журнале «Работница», №10, 1973. Газета «Известия» 16 августа 1974 г. в статье В.Степанова «Сюжеты журнальной прозы» обвинила Дружникова во вредной философии и искажении образов советских людей: «Не правда ли, — говорилось в «Известиях», — выстраивается своеобразная галерея «героев». И это («Деньги круглые» Ю.Дружникова) напечатано рядом со статьями и очерками о подлинных героях труда, людях духовно богатых, нравственно чистых, живущих делами и заботами страны». Полностью — «Новое русское слово», Нью-Йорк, 18 июля 1989.

**КОНЕЦ КОМАНДИРОВКИ.** 1972. Распространялся в Самиздате. Опубликовано в журнале «Двадцать два», Иерусалим, №20, 1981. В России — в журнале «Сура», Пенза, №3, 1996.

**ПОСЛЕДНИЙ УРОК.** 1966. «Время и мы», №67, 1982 .

**ТРИДЦАТОЕ ФЕВРАЛЯ.** Написан в 1973-1974. Распространялся в Самиздате. Впервые напечатан: «Время и мы», №55, 1980. Публиковался также на английском.

**ЛИШНИЙ ПЕРСОНАЖ В ВОДЕВИЛЕ.** Конец 60-х гг. Опубликовано в сокращении: «Московский комсомолец», 28 апреля 1971 г. под названием «Драмкружок для двоих». Новая редакция — 1989, Дейвис, Калифорния. Главы опубликованы: «Панорама», Лос-Анджелес, 5-22 мая 1990.

МОЙ ПЕРВЫЙ ЧИТАТЕЛЬ. 1969–1982, Самиздат. Задумывался автором в виде «Дневника цензора» для одной из глав романа «Ангелы на кончике иглы». Опубликовано: «Новое русское слово», Нью-Йорк, 26 июля 1988; «Новая юность», Москва, №1–2, 1995; «Смена», №6, 1996.

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ У ПРАБАБУШКИ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕНАЦВАЛЕ ИЗ САКРАМЕНТО. 1994. Опубликовано: «Новое русское слово», 12 и 19 августа 1994; «Дружба народов», №1, 1995, «Человек и закон», №4, 1995, и др. издания.

#### ВИЗА В ПОЗАВЧЕРА

Роман в рассказах. Начат в 1968, Москва. Закончен в 1997, Сакраменто. Отдельные рассказы печатались: «Уроки молчания» — «Юность», №5, 1974; «Сирень и маэстро» — «Вестник», №26, 1994; «Квартира №1» — «Новое русское слово», 24 марта 1995; «Дружба народов», №3, 1996. Полностью роман публикуется впервые.

#### РАССКАЗЫ РАЗНЫХ ЛЕТ

НЕУДАЧНИКИ. Написан в 1967, новая редакция 1997. Впервые опубликован: «Новый журнал», №207, 1997.

ДВА РОЯЛЯ В ОДНОЙ КОМНАТЕ. 1965. Ранее не публиковался.

ПОЩЕЧИНА. «Работница», 1973, №2.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ КЛИЧКИ. «Работница», 1974, №1.

ДЕЛО О ШЛЯПЕ. Написан в 1967, Дубулты. Печатался в русской эмигрантской прессе.

КОРОВЬЕ СЧАСТЬЕ. В сокращении: «Новое русское слово», 6 ноября 1987; полностью: «Вестник», 1992, №1.

«СОВИНЬОН». «Вестник», 1991, №15; «Литературная газета», 8 апреля 1992.

#### ПРИТЧИ

ЛУЧЕЗАРНЫЕ СТИХИ. 1974. Публикуется впервые.

ПРИТЧА О ДВУНОГИХ. 1965. До этого не печаталось.

ФИОЛЕТОВЫЙ ЛУЧ. 1965. Ранее не публиковалось.

РОБИНЗОН ГОШКА. Начало 70-х гг. Публикуется впервые.

ЗАХОДИ, ДОРОГОЙ! 60-е гг. До этого в печати не появлялось.

МОГИЛА ПОЭТА. 1969. Впервые публикуется в данном издании.

ДОПРОС. 1964. Альманах Клуба русских писателей. Нью-Йорк, 1997.

КОГДА ИСПОЛНЯЕТСЯ 176. 60-е гг. Впервые напечатано: «Новый журнал», №205, 1996.

## СТИХОТВОРЕНИЯ

Написанные в разное время, стихотворения частично входили в самиздатский сборник «Шлагбаум» (80-е гг.). Отдельные стихи появлялись в русской эмигрантской прессе.

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                                    |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| В поисках утраченной правды<br>(О творчестве Юрия Дружникова) —<br>Вступительная статья Алиции Володзько . . . . . | 7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

### МИКРОРОМАНЫ

|                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Смерть царя Федора . . . . .                                                     | 31  |
| Розовый абажур с трещиной . . . . .                                              | 52  |
| Конец командировки . . . . .                                                     | 75  |
| Последний урок . . . . .                                                         | 93  |
| Деньги круглые . . . . .                                                         | 113 |
| Тринадцатое февраля . . . . .                                                    | 137 |
| Лишний персонаж в водевиле . . . . .                                             | 161 |
| Мой первый читатель . . . . .                                                    | 183 |
| Медовый месяц у прабабушки, или<br>Приключения генацвале из Сакраменто . . . . . | 204 |

### ВИЗА В ПОЗАВЧЕРА. Роман в рассказах

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Сирень и маэстро . . . . .       | 237 |
| Солист без скрипки . . . . .     | 250 |
| Коробка гуаши . . . . .          | 267 |
| Уроки молчания . . . . .         | 275 |
| Чужая свадьба . . . . .          | 288 |
| Преступление билетерши . . . . . | 303 |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Нефёдов и Нефёдова . . . . .  | 315 |
| Земной шар на нитке . . . . . | 327 |
| Вверх и вниз . . . . .        | 337 |
| Владан. . . . .               | 348 |
| Квартира №1. . . . .          | 365 |

## РАССКАЗЫ РАЗНЫХ ЛЕТ

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Неудачники . . . . .                | 389 |
| Два рояля в одной комнате . . . . . | 408 |
| Пощечина . . . . .                  | 418 |
| Как избавиться от клички . . . . .  | 431 |
| Дело о шляпе. . . . .               | 438 |
| Коровье счастье . . . . .           | 452 |
| «Совиньон». . . . .                 | 460 |

## ПРИТЧИ

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Лучезарные стихи . . . . .      | 467 |
| Притча о двуногих . . . . .     | 472 |
| Фиолетовый луч . . . . .        | 478 |
| Робинзон Гошка . . . . .        | 485 |
| Заходи, дорогой! . . . . .      | 492 |
| Могила поэта . . . . .          | 498 |
| Допрос . . . . .                | 504 |
| Когда исполняется 176 . . . . . | 515 |

## СТИХОТВОРЕНИЯ

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Птицы . . . . .                               | 523 |
| Мой приятель книгу написал . . . . .          | 524 |
| Конкурс женихов . . . . .                     | 526 |
| Смерть еще одного поэта . . . . .             | 528 |
| Поплавок . . . . .                            | 529 |
| На макушке березы . . . . .                   | 530 |
| Проводы . . . . .                             | 531 |
| Женщина и мужчина . . . . .                   | 533 |
| Любовь жива намеками . . . . .                | 535 |
| Пусть говорят, мол, любят ни за что . . . . . | 536 |

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| Точка «зет» . . . . .                            | 537 |
| Партия в шахматы . . . . .                       | 538 |
| Прости меня . . . . .                            | 539 |
| Размышление о ценности жизни . . . . .           | 540 |
| Ночь с 11 на 12 марта 1981 года . . . . .        | 542 |
| Нельзя любить из чувства благодарности . . . . . | 543 |
| Современная элегия . . . . .                     | 544 |
| Моей знакомой восьмого марта . . . . .           | 545 |
| Рог изобилия . . . . .                           | 546 |
| Кровать «Желание» . . . . .                      | 547 |
| Одиннадцать заповедей . . . . .                  | 549 |
| Перо и штык . . . . .                            | 550 |
| Через век . . . . .                              | 551 |
| Шлагбаум . . . . .                               | 553 |
| Сновидения . . . . .                             | 555 |
| Бабочки . . . . .                                | 556 |
| Я верю в Бога своего . . . . .                   | 558 |
| <br>                                             |     |
| ПРИМЕЧАНИЯ . . . . .                             | 560 |